«Terra Обдория» - это чисто сибирский роман. По масштабам обозреваемых пространств, по глубине распашки исторических пластов. По темпераменту. По дерзкому совмещению вымысла и документа. Уточняю: это чисто сибирский роман XXI века.
Юрий Лощиц

Василий ДВОРЦОВ

TERRA ОБДОРИЯ

СЛОВАРЬ «СИБИРИЗМОВ»:

***А**нга* — старица, старое русло реки, усыхающий рукав реки

*Байр**а**к* — лесной овраг с ручьём

*Б**е**льник* (бельняк) — лиственный, чаще берёзовый лес

*Бр**о**вка* — короткая грива

*В**я**зель* — вьющаяся трава, «мышиный горошек»

*Гр**е**бли* — вёсла

*Гр**и**ва* — протяжённый, часто в несколько километров, невысокий холм, водораздел

*Ел**а**нь*— узкие полянки в лесу

*Елб**а**н* — округлый холм

*Зав**о**ина* — омут

*Заб**о**ка* — лес на берегу

*Ильм**е**нь* — небесное море (хляби небесные)

*Калд**а**нка* — плоскодонная дощатая лодка

*Карам**о*** — сезонное охотничье жильё, полуземлянка с печью, очагом

*Кан**ю**к* — коршун-перепелятник

*Костр**ю**к* — молодой (неполовозрелый) осётр

*Коч**а**рник* (кочкарник) — заболоченный луг, заросший кочками

*Кр**у**тик* — яр, обрывистый берег

*Кул**и**га* — большая округлая поляна, чистое место посреди леса

*Култ**у**к* — заросшая густым тальником низина, часто высохшее русло

*Курь**я*** — залив, уходящий в луга или болота

*Кухл**я**нка* — национальная меховая куртка, мехом внутрь

*Лог**а**тина* — заливная низина

*Л**у**ка* — кривой залив

*М**е**нкв* — злой дух угорского пантеона

Миш — добрый дух угорского пантеона

*Моч**а**жина* — заболоченная низина

Муч — петлеобразный изгиб реки

*Нодь**я*** — костёр из целого ствола дерева, самостоятельно горящий всю ночь

*Осок**о**рь* — разновидность тополя, растёт около воды

*Отп**а**ра*, *отн**о**га* — старичка, ответвление, побочное русло

*П**а**рка* — северная национальная верхняя одежда, мехом наружу

*Перет**а**ск* — поперечная мель, иловый порог

*Песь**я**ный* — песчаный

*Плашк**о**ут* — самоходная баржа

*Пол**о**й* — временный залив в половодье

Плёс — мелкое место

Прач — рогатка

Притёка — приток

*П**у**рлига* — маленькая речка, ручей

*П**у**тик* — охотничий участок

Рёлка — узкий, протяжный и высокий холм, с крутыми лесными склонами

*Ржав**е**ц* — болотное озерко

Рям — большое болото

*Слоп**е**ц* — вид давящей ловушки для мелких пушных зверей, боровой дичи

*С**о**гра* — заболоченный, труднопроходимый лес

*Стл**а**нец* (стлань) — настил на болоте, гать

Стреж — течение

*Стрех**а*** — боковая балка, поддерживающая кровлю

*Т**ы**чка* — зимняя донка, устанавливается в проруби

*Урм**а**н* — глухой хвойный лес

*Фит**и**ль* — круглая сеть на обручах, ставится на озёрную рыбу

Чвор — лесное озерко с вытекающим ручьём, речкой

*Черк**и*** — мягкие сапоги, выше колен надставляемые тканью

*Ш**а**бур* — хантыйская холщовая куртка до колен

Шип — кончик носа у собаки

***Ю**шка* — бульон из рыбы

***Я**рик* — небольшой обрыв над рекой

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

1.

Родина рождалась из тумана. Из неплотного, игристо пересверкивающего невесомыми голубыми и розовыми чешуйками колкого ледяного марева, прикрывавшего неспешное отступление первой мартовской ночи. Далёкий жёлтый комочек низкого заречного солнца едва продавливал мириады зависших в воздухе стекляшек, сверху вниз медленно обрисовывая огромный окатистый холм, по которому во все стороны просторно раскинулся райцентр. Отсюда, с берега, чётко виделись фиолетово-синяя в боковых тенях, круто ведущая на подъём дорога с нависшим справа деревянным тротуаром, блестящая чернота молодых кедров из-за едва угадываемого больничного забора да неусыпные узкие окна телеграфа, перестроенного из старинной каменной церкви. А над всем на подпоренных столбах редко и слепо желтели ничего не освещавшие фонари.

Малая родина пронзительно скрипела под подшитыми резиной пимами высыпавшей за ночь порошей, известково припудрившей выскобленную бульдозерами кору проезжей части. Вымерзшее до сухоты небо прочертилось сотнями тонюсеньких серебристо-дымных струек, вертикально восходящих от догорающих утренних протопок. Из невидимых за белесостью улиц и переулков — никого и ничего, кроме отдельных рваных звуков: то звякнет ледяное ведро, то завизжит затянутая куржаком дверь в парную стайку. И каково же в такое время покидать круг милого околопечного тепла, кисло пахнущего шипящей сосновой смолой и запекаемой на брызгающем сале яичницей, оставлять помаргивающий от перенапряжения блеклый свет кухни и, обжигая ноздри и губы встречным густым туманом, выскакивать за порог в синюшную стужу двора. Тут и в туалет-то терпишь до крайности, а ведь перед школой нужно ещё дважды скатать с санками на водокачку, чтобы, каждый раз чудом удерживая флягу на ледяной горке, накачать необходимые хозяйству восемьдесят четыре литра пахучей ржавой воды. И только потом, не дожидаясь, пока брат дочистит дорожки, а родители докормят скот, закинув ранец и нахлобучив старую лисью шапку на нос, отправиться в предстоящий долгий-долгий день за знаниями и… прочим.

Противоположный Лавровской горе правый берег был заливным, пригодным лишь для покосов да охоты, так как весенние паводковые волны до конца мая гуляли там за горизонт. Впрочем, и на их левом берегу земли, пригодной к человечьей жизни с выпашью, только и было, что прерывистая, пятидесятикилометровой ширины, полоса глинистых березняковых холмов. А далее всё междуречье Иртыша и Оби населяли только полосато-рыжие мохноногие комары, лешие и таинственные старообрядцы. Эти бескрайние

торфяные зыбуны и займища, масляной чернотой покрывавшие вечную мерзлоту, накрепко затаили в себе изначальные и оконечные тайны Евразии, спрятав своей непроходимостью удивительные и взрывоопасные находки, способные перевернуть все существующие представления об истории человечества.

Лаврово только год назад отметило двестисемидесятилетние, что для Сибири очень даже немалый срок. Для Русской Сибири конечно, ибо вдоль срединной Оби люди жили со времён отступления ледника. Тысячелетиями напласты культур перекрывали друг друга, так что на лысых вершинах утыкающихся в реку горок и в осыпях яров приезжие городские экспедиции и местные активисты школьных кружков каждый год выкапывали каменные ножи и костяные иглы, керамические черепки и бронзовые наконечники, и расчищали многометровые линзы пепелищ с обгорелыми останками лосей и зайцев. А кроме этого, под обваливаемыми паводками берегами периодически вымываются зубы мамонтов и берцовые кости шерстистых носорогов. Почему всегда только зубы и берцовые кости? Ни одной головы буйвола.

А за южной гранью Васюганского болотного треугольника, за кромкой перекрываемой Великой Тайгой вечной мерзлоты, по которой когда-то проходила, вырубленная в лесоповальные годы, лента реликтового кедрача, всё разрастающимися пятнами еланей начинается Великая Степь. Та самая Великая Степь — Эранвеж, хорда Евразии, по которой тысячелетиями, следуя цикличному зову Зодиака, плескались от Гоби до Дуная и обратно бесчисленные волны рас, этносов, народностей и племён, оставляя в раздавленной копытами, волокушами и колёсами земле совершенно немыслимые сочетания культур и культов.

На берегах медлительно утекающих под полярное сияние рек лежат невзрачные отщепы и ножевидные пластины из чёрного кремня и жёлтой яшмы, которыми древние охотники шестнадцать тысяч лет назад заявляли превосходство человека разумного над творениями пятого дня. Но вышедшие ко II тысячелетию до нашей эры с Арала к лесным границам длинноголовые земледельцы и скотоводы уже знали секреты плавления медных руд и бронзового литья, своими браслетами с витыми шишками и ножами удивительно перекликаясь с нижневолжскими и донскими находками. Когда таёжные гривы, реки и ручьи Западной Сибири переименовывались с самодийского на угорский, в Европе только-только зарождались славянские, германские и балтские этнолингвистические общности. В это же время по всей Великой Степи низкие ковыли пылили под колёсами тяжёлых колесниц, запряжённых огромными быками, и вдоль кулундинских солоноватых просторов поднимались могилы героев, ступенчатыми пирамидами слагаемые из кирпичей плотного дёрна.

Раннее железо породило скифский мир с его обоюдоострыми мечами-акинаками и удилами для солнечных скакунов. Этот, пограничный с

гиперборeями, мир, растревожил эгоцентрическое сознание Греции, плотью прочувствовавшей, что островная рябь Архипелага не есть вся Вселенная. Ибо сама Скифия своей бескрайностью рассматривала соседство Эллады только как собственную неспособность к мореплаванью: лишь горы, снега, пустыни и море могли остановить её всадническую власть. Но где же был центр этого сказочно безмерного царства? Ведь «звериный стиль» золотого литья из мягких ступенчатых пирамид с берегов озера Чаны ничем не отличался от того, что сохранили сокровищницы с границ Ольвии и Боспора Киммерийского.

Сытная Европа отрывала скифов от Азии, маня и вбирая всё новые их родовые токи, за которыми падальщиками двигались алчные сарматы, пока слабые для открытого боя. За триста лет до нашей эры скифы стали скудеть численностью и пассионарным задором и, окончательно покинув Эранвеж, свернулись в Причерноморье. Тогда-то сарматы и заключили победоносный военный союз с греческими колониями, оставив за обессилившими властителями Евразии только Таврию и низовья Борисфена.

Щедрое золото погубило могилы героев и царей. Если крупнейшее собрание ископаемого серебра Эрмитажа составляют, в общем-то, почти случайные находки таёжной полосы России, то поиски легендарных золотых богатств привели в XVII веке к повальному разграблению скифских курганов. Сборные артели по двести-триста человек варварски раскапывали «бугры», переплавляли найденные на костях «цацки», и лишь когда Демидов поднёс свой подарок родившей наследника Екатерине, поражённый Пётр Первый немедленно затребовал собирать все «сии курьёзные вещи» в только что зачатый им Санкт-Петербург. Более двухсот пятидесяти древних золотых украшений из Сибири упокоились в Кунсткамере.

Вновь ропот и пыль от гонимых лавинами табунов и беспокойных стад. Это от границ Китая в Сибирь выплеснулись хунну. Во втором, третьем, четвёртом веках северные хунны роднились с таёжными уграми и, обретя имя гунны, волна за волной излились на Запад. От Урала до Альп греки, кельты, германцы, булгары и славяне были данниками возродившейся Великой Степи, и память Аттилы навсегда оттиснута на руинах Рима. От того похода в окской Чувашии до сих пор хранится говор Байкала.

После великого переселения гуннов в начале I тысячелетия Степь на какое-то время опустела. Нетоптаный пырей, густо перевитый вязелем, ровно затянул следы кочевий, по заросшим тростниками озёрам поколения немыслимых числом уток, гусей и фламинго вырастали и умирали, не увидев ни одного охотника. Редкие роды скотоводов, слишком долго не встречаясь даже на водопоях, вырождались без обмена женщинами и враждовали только с братьями-волками — волк, как и пастух, шаман для овец. Степь спала, туго набирая силу. Грозовые облака молниями касались оплавленных пижмой и посеребрённых полынью шишаков проседающих курганов, иногда зажигая

летучие травяные пожары, а равномерно круглеющая и тающая луна уже не взывала вождей и шаманов видениями военной добычи и необъяснимых чудес.

Тайга всегда жила самостоятельно и самобытно. Тысячи лет в кедровых урманах и еловых сограх медленно, но непрестанно спускались и поднимались охотничьи летники и зимовья по глинистым берегам Иртыша, Оби, Кети и их ветвистых, чайного цвета, притоков и стариц, храня тонкое равновесие убийства и воспроизведения жизни. Две-три семьи вокруг одного кочующего очага карамо от поколения к поколению передавали законность взятия в данном урочище медведя или лося, срок загона косули или облавы на забредшего осенью из далёких тростников гигантского секача. Строгие ритуалы выпрашивали прощение у незримых хозяев леса за причинённый урон, праздниками и жертвами возвращая миру его полноту. Охотники били пушнину тупыми наконечниками стрел — томарами, ибо цельные шкурки соболя, куницы, колонка и белки очень хорошо шли на обмен с проникавшими в таёжную страну иноплеменниками, жившими осёдло по обоим склонам пологих голых камней Северного Урала. Насельники этих обнесённых валами и стенами городищ, кроме обычной бронзы, священного серебра и нежных тканей, выставляли на торг нетупеющие ножи и топоры, неведомо откуда владея тайнами цементирования и науглероживания железа, пакетными технологиями, наваркой стальных лезвий на мягкую железную основу. Но временами таёжникам приходилось и охранять от чужаков свои семьи, для чего мужчины, надевая тяжеленные панцири из лосиных рогов, выбирали себе князцов из отличавшихся физической силой или особой красотой единоплеменников. А ещё добыча пушнины требовала больших переходов, а так как в заснеженной тайге травы не найти, то избранных жеребят охотники приучали к сырому и сушёному, мелко рубленому мясу. Кони от этого вырастали особо выносливыми и жили по пятьдесят лет.

С середины I тысячелетия по Центральной Азии стремительно распространились тюрки. Первый каганат беспрепятственно развернулся от границ Китая до Кавказа, но он был слишком слаб в своей неплотности, чтобы не распасться внутренними распрями. Второй был разбит непримиримыми уйгурами.

В VII–IX веках тюрки проникают в лесостепь, а затем, по речным протокам и замерзающим в зиму болотам, всё дальше и дальше входят в Тайгу. Но для этого жестокого климата и бескрайних просторов людей всегда оказывалось слишком мало, чтобы вести войны на выживание. Амбиции ханов и князьков не вершили судьбы Сибири. Шла вполне естественная дисперсия коренного и пришлого населения, определяемая ландшафтными нишами низин и возвышенностей, ягельной тундры и травных грив, рыбных завоин, боров кедрача и озёр-пурлиг. И в этих нишах народы, занимавшиеся охотой, рыбалкой,

скотоводством и огородничеством, почти всегда находили возможности сосуществования. Хотя, конечно, не просто так возводились остяцкие и вогульские городища, валами и рвами демонстрировавшие боевую и духовную мощь княэпов-богатырей, кроме всего прочего украшавших свои пояса скальпами залетавших из тундры разбойников-самоедов.

Мир перевернулся, когда Великая Степь застонала под всё пожирающей кочевой лавиной, запущенной вспыхнувшей пассионарностью монголов. Полутысячекилометровой колонной, вслед запылённым солнцу и луне, на закат в ужасающем гуле топочущих табунов, стад и скрипящих кибиток, двигались необъяснимым образом расплодившиеся в несколько лет бесстрашные, ловкие и алчные воины. За ними тянулись, словно муравьиные матки, не прекращавшие рожать и вскармливать будущих повелителей тюрок, иранцев, булгар, угров, славян и германцев, завёрнутые в шкуры и увешанные серебром медноликие, почти безглазые женщины. Тринадцатый век. Такое оно неудобное число — тринадцать…

От тех времён осталось феноменальное в своём совершенстве орудие смерти — селькупский лук. Сложносоставной, склеенный рыбьим клеем из четырёх пород дерева в форме соединённых рукоятью дуг, с роговой накладкой под руку и обтянутый от размокания берестой. Он не сгибался при натягивании тетивы, а сжимался своими разнесёнными полукружиями и бил дальше и точнее кремнёвого ружья, далеко обходя его в скорострельности. Такие луки наравне с пушниной сотни лет шли ясаком и были вытеснены из русских войск только затворным оружием. Впрочем, селькупскими луками вооружались формирования инородцев ещё и в наполеоновскую кампанию!

С XI века лесная Сибирь несколькими путями через Камень торговала с Русью. Южный, самый трудный, пролегал по вечно воюющей Степи. Посему торговцы от Великой Перми проходили через Северо-Сосьвенскую возвышенность и далее, обходя Кондинские мочажины по Сибирским увалам, добирались даже к верховьям Енисея. И ещё от поморов шёл зимник по пустой самоедской тундре. Четвёртый, главный, путь был водой: через Студёное море.

Термин «Сибирь» происходит от названия небольшой этнической группы «сипыр» или «сабир» — предков древних угров, живших по Среднему Иртышу. Позднее слово «сибир» стало обозначать вытеснивший их тюркоязычный род, а с XIX века название передалось выстроенному здесь укрепленному городку. Русские летописи XV века «Сибирской землей» именуют лишь район по нижнему Тоболу и среднему Иртышу. Но именно русские, двинувшись далее на восток, распространили это название на одну десятую суши.

Сибирские татары вели вполне независимую жизнь, хотя Тюменское ханство официально являлось восточной частью Золотой орды. Кстати, через его городки и стойбища провозили святого Александра Невского, когда желали

подавить воображение храбрейшего русского князя бескрайностью монгольского мира. Александр внял уроку и потом жёстко передал его ропотливым новгородцам: нигде под солнцем в те дни не было силы, способной сопротивляться империи Чингисидов. Эта сила копилась только в самой империи, слишком молодой, слишком авторитарной. Эта сила, страстно таясь до поры глубинным торфяным пожаром, то там, то сям междоусобицами вырывалась на поверхность, и, как только ослабевала центральная деспотия, зависть и ревность неузаконенного традицией престолонаследия рвали орду на неравные части. Так вот и подступило время, когда покорителя Москвы, потомка Джучи-хана, грозного Тохтамыша смог безнаказанно убить барабинский хан Шадибек.

А в XVI веке, во всё множившихся раздорах и интригах пало и само Тюменское ханство. На юге Западной Сибири в Барабинской и Кулундинских степях образовался Сибирский Юрт, который возглавила местная династия Тайбугидов. К тому же сибирские татары оказались практически отрезанными от волжской Орды ворвавшимися в Приуралье из полупустынного небытия, грабившими и убивавшими всех и вся, дикими калмыками — «чёрными» ойротами и «белыми» телеутами. Связь с Европой, с всё набиравшей силой Русью сохранялась теперь только северными путями через городки обских и уральских угров.

Но вскоре свергнутые с тюменского трона Чингисиды-борджигины, потомки родного брата бессмертного Батыя Шейбани-хана, при поддержке ногайских мурз и активном участии узбеков, захватили власть в Сибирском Юрте. Кучум, прямой наследник последнего тюменского хана Ибака и сын узбекского правителя Муртазы, убил Тайбугидов братьев Едигера и Бекбулата вместе с их семьями и со всеми родственниками. Правление Кучума стало последней попыткой сибирского сепаратизма, ибо вырезанные Чингисидами Тайбугиды после падения Казани открыто желали принять московское подданство. Пришлец-узурпатор, обложивший своим ясаком не только покорённых мурз и князьков, но даже, чего никогда не было, простолюдинов, с неистовой жестокостью карал подданных за любые контакты с соседями. Распространяемый им ужас понудил даже самого северного его вассала, до того потомственно дружественного Руси, пелымского князька Аблегирима напасть на русские сёла Перми.

Имя хана Кучума собрало вокруг себя легенды татар, русских, хантов и кипчаков. Его жестокость, коварство и ненасыщаемая гордыня, кажется, прикоснулись ко всей географии Тобола, Иртыша, Оби, Барабы и Кулунды. На острове одного из величайших мировых озёр Чаны, а ещё в семнадцатом веке оно разливалось на двенадцать тысяч квадратных километров, он де закопал несметные сокровища. И озеро Карачи, возле которого истекают знаменитые, по вкусовым качествам не знающие себе равных, минеральные воды, названо в

честь кучумовского вельможи Карачи, обманом заманившего соратника Ермака Ивана Кольцо в свою ставку. Сколько сёл гордо уверяют, что именно около их околицы произошла последняя битва, и столько же яров указывается местом написания суриковской картины. Противник Кучума, харизматический и для россиян и для сибирян Ермак, тоже оставил достаточно преданий об утерянных бочонках и затопленных челнах с золотом. Даже там, где он никогда не был. Вагайские татары объявили могилу Ермака «святой» и, по щепотке подбирая с неё чудодейственную и целительную землю для амулетов, сравняли её до того, что само место стерлось из памяти. А хошотский тайша, владетель Среднего Жуза Аблай даже затевал с Москвой и Тобольском тяжбу из-за панциря Ермака, которому приписывались магические свойства.

Первым письменно зафиксирован поход московских воев в Югру и Обдорию 1465 года. Одновременно из Твери отправился в своё хождение за три моря Афанасий Никитин. Случайное ли то было совпадение? Чтобы Москва и Тверь да не соперничали в поисках новых земель? Или, действительно, просто сошлись сроки? И вот в последнем году XV века уже четырёхтысячное войско московитян под командой Семёна Курбского, стремительно пройдя мимо топей сосьвенским путём, покорило «Ляпин-городок и ещё тридцать три тяцких и вогульских князьков». А через сто лет Обдорск, ныне Салехард, стал первым русским островком в пронзительно меняющем коротким летом цветность море лиственничной Тайги. Вообще, продвижение русских в Сибири, из-за противостояния с агонизирующей Ордой и не покоряющимися никому калмыками и черемисами, изначально шло с ненецкого севера. Казаки и ушкуйники греблей поднимались против медленного течения Оби и её притоков Надыму, Сосьве, Ляпине (Сыгва), Казыму, Конде, по ходу движения ставя на высоких мысах окружённые тыном городки для зимовки и защиты от беспокойства подкрадывающихся крепким февральским настом кучумовских отрядов.

Так что, хотя раньше всех в Закаменскую Обдорию проникли зырянe-пермяки, но уже к началу XVI века поморцы Ледовитым океаном освоили проход в устья сибирских рек, закрепившись там окончательно после разгрома Иоанном Грозным вольницы Великого Новгорода. В 1571 году они заложили городок Индигирку, а с 1584 года русская Мангазея была известна даже в Западной Европе. Крепостца Надым отмечена на знаменитой государевой «Книге Большому чертежу». Русские доверено и выгодно торговали с ненцами, манси и хантами, эвенками, селькупами и сибирскими татарами, а главное, за ними чувствовалась нарастающая сила московского царя, которая могла противостоять разорительной власти Чингисидов. Кучумовцы в ответ активно зорили и жгли первые русские укрепления, и в 1586 году был издан указ об обустройстве в Сибири государевых острогов. Сургут, Нарым, Томск… До закладки Санкт-Петербурга было ещё больше ста лет, когда местные правители

склонились к руке Московии: так в 1591 году Борис Годунов выдал Мамруку Васильеву грамоту на княжение.

А Великая Степь противлялась отчаянно. Здесь Русь двигалась навстреч солнцу не торгом, а оружием. Мимо Тюмени по Иртышу первыми вошли казаки: терские, сольские и донские. Но на их силу Степь выставляла свою, зачастую сама переходя Каменный пояс в поисках военного счастья. И только Ермак Тимофеевич, почти сказочный бунтарь и закоренелый разбойник, в одночасье покаявшись и приняв со товарищи на поход в бессмертие монашеские обеты, стал более мистическим, чем историческим ключом, отворившим вход в неведомые просторы скифов, хуннов и гуннов, тюрков и монголов. По следам его ратных и идейных наследников Великая степь вновь раскрыла свою веками таимую под спудом связь Крыма и Гоби. Теперь уже славяне, двинувшись от обратного, наперекор Зодиаку соединили, непрерывно пульсирующей сигналами и токами, живой хордой Евразию с запада на восток, от края и до края.

Хан Кучум необратимо терял союзников и ясачников, хотя, молниеносными переходами сохраняя боеспособный отряд и богатую казну, один за другим отбил три предпринятых русскими против него похода. Он отчаянно кружил по сужающейся спирали, пока в 1598 году не был окончательно отогнан в барабинские степи, и тобольская, иртышская и обская Сибирь полностью перешли под покровительство Москвы.

Двадцатого августа в устье реки Ирмень, после пятисотверстовой изматывающей погони, когда гонимые и преследователи, меняя хрипящих пеной коней, скакали по двести километров в сутки, Кучум был настигнут и отрезан от дальнейшей возможности отступления. Битва началась с рассвета и закончилась в темноте. Ненависть Сибирского Юрта к своему былому ужасу была безмерна, и первыми по нему ударили «служивые татаровя». За ними подоспели казаки, окружившие кучумовцев плотным кольцом. Чудом прорвавшуюся сотню преследовали по берегу Оби и, настигнув, посекли и потопили. Сам Кучум, ещё в начале боя бросивши семью и преданных ему музр, на лодках бежал с несколькими слугами и казной. Через несколько месяцев его, полуслепого и больного потомка великого Чингиса, в заледенелых кулундинских солончаках убили и ограбили дикие, никому не ясачные кыпчаки.

Муть бессмысленного обского водохранилища покрывает ныне место этого сражения. И хотя не сохранилось земли, испившей крови той битвы, в историю навсегда вошли воевода Воейков, боярские сыны Илья Беклемишев, Павел Аршинский, атаман Третьяк Жаренный и «литвины» Никита Борзобогатый, Христофор Зеленьковский и Лукаш Индриков.

Пленённая Воейковым семья непокорного Чингисида была с почестями отвезена к русскому царю и там достойно принята и обласкана, согласно

сановности своего происхождения. Так что потомок Кучума царевич Арслан с отрядом сибирских татар уже участвовал в походе князя Пожарского и Минина за освобождение Москвы от поляков.

Насколько Степь-Эранвеж резко сменяла свой лик под царствующими над ней народами, настолько Тайга-Обдория хранила самобытность. Сменялся ли давящий капкан на пружинный, волосяная петля на стальную, но сам принцип, сама основа отношений между заболоченным, промытым гигантскими реками, лесом и тропящим его ягелевые и снытные пространства человеком оставались незыблемыми со времён всё тех же отщепов и ножевидных пластин из чёрного кремня и жёлтой яшмы. Тайга и охотник продолжали сожительствовать на равных, не покоряя и не покоряясь, чутко и почтительно относясь друг к другу. Кочевавшие семьи ритуальным опытом поколений наперёд просчитывали сколько можно взять в данном месте нельмы, рябков, рыси или ореха, чтобы стрелка весов не отклонилась от мистически общей для леса и человека риски, обозначавшей бесконечность их жизни.

Всё сломилось лесоповалом. Миллионные вбросы спецпереселенцев из России, Украины и Белоруссии, тысячами заживо погребаемых снегом, досуха высасываемые гнусом или поглощаемые растревоженными топями, неведомо откуда налетевшей сатанинской силой по конвойным путям партиями вжимались, вдавливались и втискивались в Восток и Север эСэСэСэРа. Тогда мшаники Тайги вдосталь напитались человечьей кровью. Заполняя и переполняя все редкие и бесценные, не заливаемые весенними паводками пятачки, перемешанной с песком и торфом глины, где можно было без лопат и топоров хоть как-то вырыть, выскрести землянки и спасти детей, эти раздетые, разутые и истерзанные нечеловечьим террором кулаки, казаки, пособники белобандитов и панов не понимали, не могли понимать законы таёжной жизни. Они просто выживали. Сегодня. Сейчас. Сию минуту. Это потом их выживание обернулось золотом и алмазами, углём, нефтью, газом, никелем и ураном. Отмечая свои пути берёзовыми крестами или номерными братскими могилами, апокалиптичной ценой они выкупили пробуждение сокровищ Гипербореи и, просекая тальники и мостя гати, вырубая реликтовые боры и выжигая непроходимые тальники и неохватные осокори под запашку, жизнями и смертями пресекли временную черту, ровным полусном тянувшуюся от ледниковых нашествий.

Поднявшись главной улицей имени болгарского антифашиста Димитрова над всё ниже оседающим туманом, райцентр салютовал новому, ослепительно белому дню развитого социализма пронзительно алым флагом, с ноября закостеневшим над портиком свежевыбеленного здания райкома и райисполкома. До десятилетки-то ещё топать и топать, а к начальной школе сворачивать как раз напротив, сразу за высоченным, под крышу метров десять,

украшенным с фасада белыми деревянными колоннами массивно-зелёным кубом Дома культуры. На углу снег, ежеутренне отбрасываемый за штакетник дворником Михеичем, к концу зимы возносился метра на три с лишним и был изрисован-исписан самым разнообразным образом. Собаками, кстати, тоже. За рукотворным сугробом глухая стена, за которой находился кинозал, идеально подходящая для метания снежков. Кто точнее и выше, чтоб под самую стреху. Но какие, в натуре, снежки, когда мороз за тридцать?

2.

Олег, слегка пригибаясь, шагал широко, как лыжник. Ага, конечно, когда тебе каждый день от рассвета до заката талдычат о том, что ты «старший, а это…», то перечень всего, что это значит, не имеет никакого смысла. Родичи, конечно, люди занятые, но в их классе домашними делами больше никого так не донимают. И куда им такое хозяйство? На четверых-то? Корова, прошлогодняя нетель, новорождённый бычок, восемь ярок и баран, две свиньи, кролики, куры. То ли дело быть младшим: Лёшка даже встаёт позже, когда печь уже растопится, и пускай пол всё одно ледяной, но хотя бы умываться не так зубостукательно. И с утра на младшем только расчистка дорожек, а ему, после четырёх фляг воды, нужно и пойло разнести, и сено раскидать. Отец-то который день с радикулитом загибается. Мать, конечно, жалеет, старается сама навоз пораньше, до дойки, выкинуть, да всё равно, едва успеваешь позавтракать, как пора бежать в школу.

— Олег, здорово! — Вовка Бембель всех на голову выше, дылда как восьмиклассник, а только совершенно безобидный, совсем драться не умеет. И простой, как пим.

— Здорово.

Вовка шагал вразвалку, но у него ноги как у верблюда, по два метра почти отмахивают. Приходилось поддавать.

— Ты физику сделал?

Чего спрашивать, когда и так знает, что сделал. Попробуй у «Феди» не сделать. Высушит и выскоблит.

— Дашь сдуть?

— Дашь на дашь!

Вовка погрустнел. На дне его портфеля в газете всегда лежала пара огромных бутербродов с салом. И всегда он их отдавал за списанные уроки. Разве что только иногда сторгуется, чтобы откусить разок. Два бутерброда хватает на математику и физику, но ведь ещё русский и немецкий.

Десятилетка новая, двухэтажная, кирпичная, гладко оштукатурена и выкрашена белым. От выскобленного почти до досок уличного тротуара квадратный дворик перед крыльцом отделён высоким штакетником. Посреди дворовой клумбы осенью торжественно поставили цементный постамент, объявив, что под памятник Ленину. Сам двор тоже вычищен, но неровно, так

как за каждым классом свой участок. У крыльца уже толчётся много своих «бэшников»: Петька Редель, Сашка Маллер, Колька Карташов, Валька Ермолаев, Васька Ветров, Стас Потаковский. И из «ашников» Лёшка Иванов, Костя Абдурашитов и Ванька Бауэр. У всех по последней моде шапки впереди приспущены ниже бровей, а уши туго завязаны сзади. Хоть и мороз, но не заходят, галдят, руками машут. Ну да, вчера «крылышки» продули ленинградскому СКА два–пять, теперь кто-то, кто смотрел, весь из себя делается, по капле выдавая подробности, а кто-то только подсирает. Ермолай больше всех надулся. Наплевать, Олег за «Динамо» болеет.

Руки всё равно жать всем приходится, и Ермолаю тоже. Наплевать. После того, как наши отделали канадских профессионалов, всё теперь мелочи.

В раздевалке толчея, уборщица тётя Нюра даже не орёт, а шипит. Это у неё крайняя степень, дальше уже и тряпкой по шее смазать может. По выкрашенному в полстены тёмной зеленью длинному коридору тоже приходится проталкиваться. Или уворачиваться — в зависимости от встречных пяти— или восьмиклассников.

Первой сегодня история. Её ведёт Пузырёк — Владимир Николаевич, директор. Кличка сама за себя говорит: что вдоль, что поперёк, из-за спины щёчки видно. Розовые щёчки, блестящие, точно так же, как и у его жены, их классной — Мамаши. Огромная, басистая Мария Петровна для шестого «бэ» круговая защита. Если какое чэпэ, так сама внутри всё всем всыпет, а наружу не выдаст — никаких учительских, пионерских линеек или, тем более, педсоветов. Даже Пузырёк у неё по струнке ходит, даром, что ветеран с колодкой в три ряда. Из них шесть планок орденских и только четыре от медалей. Между прочим.

«Олавом Белым звали одного конунга. Он был сыном конунга Ингьяльда, сына Хельги, сына Олава, сына Гудрёда, сына Хальвдана Белая Нога, конунга упландцев.

Олав отправился в поход на запад и завоевал Дублин в Ирландии и всю округу и стал там конунгом. Он женился на Ауд Мудрой, дочери Кетиля Плосконосого, сына Бьёрна Бычья Кость, знатного человека из Норвегии. Их сына звали Торстейном Рыжим».

Олег, на своей предпоследней парте правого ряда, около глухой коридорной стены, читал без оглядки, лишь для приличия прикрывая книгу тетрадью. Директор во время своего урока любил прохаживаться ближе к окнам и сюда почти никогда не заглядывал.

«Торстейн стал конунгом викингов. Он заключил союз с ярлом Сигурдом Могучим, сыном Эйстейна Грома. Они завоевали Катанес, Судрланд, Росс и Мерэви и больше половины Шотландии. Торстейн стал там конунгом, но шотландцы предали его, и он погиб в битве».

Ну не слушать же про то, как французские крестьяне землю обрабатывали. Пусть себе.

«Ауд была в Катанесе, когда до нее дошла весть о гибели Торстейна. Она велела построить тайно в лесу корабль и, когда он был готов, отправилась на Оркнейские острова. Там она выдала замуж Гро, дочь Торстейна Рыжего. Гро была матерью Грелёд, на которой женился ярл Торфинн Кроитель Черепов…»

Пузырёк смачно пришлёпнул книгу растопыренной пятернёй толстеньких коротких пальчиков, не давая утянуть её под парту.

— И чего мы тут читаем? — Мягко потянул, но Олег от неожиданности не отпускал.— Давай, давай, посмотрим. Может быть, действительно, это интересней, чем мы то, что мы про каких-то трубадуров слушаем. Так-так, «Исландские саги». Значит, Торопов, ты у нас викингами увлёкся? Неплохо, очень даже неплохо, а то я уж было Дюма заподозревал. Но, всё равно, напрасно ты от коллектива отрываешься. Сейчас у нас совсем иная тема. Ты, Олег, хоть помнишь, какая? Вставай, вставай.

Олег кособоко приподнялся, изо всех сил раскаянно глядя в пол.

— Ты не молчи, признайся, что, мол, мне скучно. Программа, мол, для средних умов, для тех, кто за другими партами сидит. Не для таких, как Олег Торопов.

Смешки от задних парт к передним. Началась потеха. Ну, началась, так началась:

— Я про франков и сарацинов всё ещё летом прочитал. И про Карла Великого. Да весь учебник. Так что вы напрасно про скуку. Спросите меня — может, только циферки перепутаю. Давно это было, в… июле.

А эти смешки уже Олеговы — от передних к задним. Но Пузырёк только внешне простоват, он с учениками держаться умеет, не дрейфит, не прячется за своё директорство.

— А я учебники вообще не читаю и никогда, признаюсь, не читал. Хотя тебя, Торопов, нисколько не осуждаю. Говоришь, что про смерть Роланда спросить? Или про Витикинда Саксонского? Спрошу. Но прежде хочу тебе признаться, что я сам гораздо более Новейшую историю люблю, так как в ней, вроде как даже и участвую. А где ты сейчас был? Ага, «Сага об Эйрике Рыжем», «Сага о Гуннаре Убийце Тидранди», «Сага о Гуннлауге Змеином Языке». Да, какие названия! Прямо дрожь берёт. Вот только «Сага о Курином Торире» немного впечатление портит. Это что-то про птичник? А где же «Сага об Олаве Святом»?.. Нету… Ах да, это же только исландские саги, без норвежских. И что, ты про другого Торира, Торира Собаку, ничего не слышал? Про его поход в Биармию за сокровищами? Нет? И даже про Биармию не знаешь? Торопов, да ты темнота! Ну, да, да, прости, в учебниках этого ничего не писано.

— Владимир Николаевич, а вы расскажите!

— Расскажите, Владимир Николаевич! Правда! Это кто был?

— Владимир Николаевич!

Попался, Пузырёк! Как бы и не сговариваясь, со всех сторон к нему, как к магниту, потянулись заискивающие взгляды, и три с половиной десятка

совершенно искренних лиц залучились предвкушением чего-то чрезвычайно необыкновенного. Ну попробуй, откажи! Пузырёк понял, что влип, и теперь урок поедет мимо колеи, но… на то он и герой-артиллерист. Владимир Николаевич сощурился, откинув голову так, что светлые глазки совершенно перекрылись его знаменитыми щёчками, и стал прорываться.

— Хорошо, давайте договоримся: я отменяю прогон по домашнему заданию, а вы мне отвечаете на один вопрос. Только на один, но если не ответите до среды, то в среду дополнительный урок. На котором я всех опрошу по последней теме и выставлю отметки. Рискнёте?

Лёгкое замешательство подавил Ермолаев:

— Договорились!

Может, впереди кто-то ещё и сомневался, но с задних парт уже убирали учебники.

— Ну-ну, ладно. Что такое «саги» знаете? Очень хорошо. Садись, Торопов, так тебе и мне будет удобнее. Слушайте. В девятом-двенадцатом веках в лесах, покрывающих берега Северной Двины, Вычегды и верховья Камы, располагалось обширное и могущественное царство. На Руси его звали Пермью Великой, а в этих самых скандинавских сагах оно записано Биармией или Биармалэндией. Про государство это достоверных знаний осталось мало, но известно, что населявшие его народы поклонялись огромному Золотому идолу, святилище которого, находившееся где-то неподалеку от устья Северной Двины, строго охранялась и днём и ночью. По слухам, много сокровищ было накоплено служителями идола, носившего имя Юмала, но первые письменные упоминания о Золотом идоле в «Саге об Олаве Святом» сообщают буквально: «Наружность храма была обложена золотом и алмазами, которые лучами своими освещали всю окрестность. На скульптуре внутри храма было ожерелье в несколько фунтов золота, венец на голове осыпан был драгоценными каменьями, а на коленях стоял серебряный котёл такой величины, что четверо самых больших воинов могли утолить из него жажду. А одежда на истукане была такая, что цена ее превышала богатейший груз трёх кораблей, плавающих по морю Греческому». В начале девятого века, прослышав о таком чуде, Карли, человек богатый и знатный, один из придворных короля Норвегии Олафа, и его брат Гуннстейн наняли для похода за сокровищами опытного морского разбойника Торира, по кличке Собака. Торир обещал братьям большую добычу, хотя сразу предупредил, что затея очень опасна. По его словам, у бьярмов в обычае, если умирает богатый человек, то треть наследных богатств уносят в священный лес, зарывая в курган и перемешивая с землей. Все знают, где эти сокровища, но горе тому, кто на них посягнёт — смерть его будет лютой. Подойдя к устью Двины, Карли, Гуннстейн и Торир весь день для отвода глаз проторговали возле своих кораблей, назначив вылазку в храм Юмалы на поздний вечер. Ещё на берегу они договорились — что бы ни случилось, никто не будет убегать, бросая товарищей. После этого оставили на ладьях охрану и тайно спустились

на берег. Сначала они шли по прибрежной равнине, пока не начался лес. Лес становился гуще и гуще. Карли с братом замыкали отряд, а Торир впереди сдирал с деревьев кору так, чтобы от одного заруба было видно другой. Наконец они подошли к кургану. На поляне стояла ограда из заточенных брёвен, с запертыми воротами. Шесть сторожей охраняли храм, сменяясь по двое в каждую треть ночи. Викинги решили напасть на храм в то время, когда один наряд часовых только бы ушел, а другой ещё не успел заступить на смену. Торир-Собака быстро всадил топор в воротище, с его помощью перелез через ворота. Это же сделал Карли, и они впустили внутрь сообщников. На кургане викинги нарыли денег сколько смогли и с уже полными мешками добрались до статуи Юмалы. Собака схватил с колен бьярмского идола серебряный котёл, полный монет, а Карли прельстился золотой цепью и, пытаясь сорвать ее, рубанул топором по шее Юмалы так, что голова статуи отлетела с громом. На шум появились сторожа и затрубили в рога, призывая помощь. Разбойники побежали через лес, а множество бьярмов гналось за ними с криком и воем. Викинги, отстреливаясь из луков, прорвались к лодкам и отчалили. Приплыв на безопасный морской остров, Торир приказал разбить шатер на корабле, а сам с большей частью команды отправился к кораблю Карли и Гуннстейна, требуя, чтобы братья сошли на берег. Братья вышли, но с ними было несколько человек. Торир стал настаивать на том, чтобы сейчас же вынести всю добычу на берег и разделить её, поскольку не полагался на честность людей, у которых она хранится. Братья не соглашались. Торир считал, что он вообще должен получить все сокровища, так как Карли своей жадностью подверг их большой опасности, а он, отступавший последним, всех спас. На это Карли ответил, что при любом разделе драгоценное ожерелье он отдаст только своему королю Олаву, поскольку по закону половина всего добытого разбоем всегда принадлежит конунгу. Торир позвал Карли, сказав, что хочет говорить с ним один на один. Когда тот подошел, Торир набросился на него и так вонзил в Карли копье, что оно вышло сзади. Гуннстейн видел, как был убит брат. Его люди подхватили тело, бегом внесли на корабль и, поставив парус, как можно скорее отплыли. И все же через несколько дней Торир почти догнал корабль Гуннстейна, так что тому пришлось пристать к берегу и бежать с корабля. Торир причалил вслед за ним и…

До чего же пронзительный звонок! Впервые призыв на перемену прозвучал с такой нежеланностью. Даже девчонки недовольно гудели.

— Дальше, что было дальше? Владимир Николаевич, что дальше?

— А дальше — прочитаете сами. Возьмёте в районной библиотеке книгу «Скандинавские сказания о богах и героях» и прочитаете. Но только, чур, не на моём уроке, лучше на математике или физкультуре. И ещё, так как ты, Торопов, нам сорвал занятия, то, чтобы тебя ночью совесть не мучила, останешься и поможешь дежурным в кабинете прибраться.

— А вопрос? Вы обещали вопрос.— Бедняга Амирханова. Ну отчего ей больше всех надо? Ох, и тупая она, ох, и пробь. Вот-вот, оглянувшись, сообразила, да только поздно.

— Вопрос? Да, пожалуйста, для всех: в чём связь между матрёшкой и Бабой Ягой? Не ответите в среду, будет дополнительный урок. Как договаривались. Всё, отдыхайте.

Возле заднего школьного крыльца во внутреннем дворике пара десятков разномастных и разновеликих собак сидела по раз и навсегда определённым местам, терпеливо ожидая звонка на вторую перемену, когда раздетые мальчишки и девчонки наперегонки помчатся во вкусно дымящую открытой форточкой кухню-столовую. Отпущенные с цепей по пустоте октябрьских огородов на волю, немного оторванными ушами и перегрызенными лапами выяснив отношения, псы с двух-трёх улиц и переулков сбивались в ватаги, внутри общей территории вольно шныряя через жёлто отмеченные лазы со двора во двор. Внешние же границы стайных государств пересекались только в крайней нужде. Но истоптанные, посыпанные крупной сажей школьные задворки являлись чем-то вроде табуированного водопоя: возвращавшиеся после полдника школьники кидались в истекающие струйками слюны собачьи морды припасёнными кусочками. Бросали ребята на собственный выбор, по симпатиям, кому-то из любования, а кому-то из жалости. Здоровенные рыжеватые кобели, чьи предки были вывезены из Туруханска или Надыма, нагловато оттирая более мелких чёрно-пёстрых местных лаек, гордо демонстрировали свои львиные гривы и выкрученные в два оборота пышные хвосты. Таким перепадали половинки котлет. Разновидность псов, из-за видимого ещё присутствия сеттеровых и пойнтеровых кровей, на круг называвшаяся «охотничьей», отмахивая назад длинные уши, лихо хапала брылястыми пастями подлетавшие кусочки калачей и коржиков. А вот мелким бедолагам из совсем уж «дворян» приходилось крупно трястись, сиротливо поджимая как бы отмороженные коротенькие лапки, и им перепала сердобольная корочка. Впрочем, когда после третьей перемены столовая закрывалась, они деловито семенили по домам уже без всяких признаков цинги или воспаления лёгких.

В классе все разговоры теперь крутились о Бабе Яге. Кто чего только не наплёл. Действительно, какая может быть связь между ней и матрёшкой? У Олега же просто из рук всё валилось: раз Пузырёк приказал остаться с дежурными, значит, в библиотеку первым Ермолай прибежит. И сцапает книгу. И специально подольше держать будет. Характер такой — всё назло делает. Ну, и, конечно, наследственность: его мать в начальной школе пионервожатая. Вспомнишь — вздрогнешь. Как же она обожала публично воспитывать их за малейший промах! Выведет какого-нибудь несчастного перед линейкой и

начинает, начинает позорить. Не хватает реальных проступков, так по ходу нафантазирует: «А, предположим, если бы ты…» Чего только не наплетёт, пока до неизбежного будущего предательства Родины не дотянет, сказочница. А вот её сыночек сам ни до чего никогда додуматься не мог, только у других передирал. Например, когда Олег предложил Стасу Потаковскому, Ваське Ветрову, Кольке Карташову и Сашке Маллеру играть в викингов, Ермолай тут же подмазался к четырём Серёгам, чтобы они стали мушкетёрами. Серёга Власин — Атос, Серёга Сурков — Портос, Серёга Литос — Арамис и Серёга Майборода — Д'Артаньян. Себя же назначил капитаном Тревилем. А почему не королём? Чего скромничать-то?

Естественно, мушкетёры стали делать то же, что и они. Вот, например, Олег придумал воскресными утрами на лыжах переходить Обь и на сложенных из спрессованных брикетов сена скирдах устраивать штурмы крепостей. Часть верхних брикетов сбрасывалось, из других выкладывались зубцы. Два-три человека занимали оборону, а пятеро или семеро штурмовали. Бои длились до темноты или до первой крови. А ещё иногда на зимнике появлялся возок сторожа, и тогда враждующие рати в едином порыве бежали прятаться в ближайший тальник. Мушкетёры попробовали играть вместе с викингами, пару раз поштурмовав вознесённые над скалами стены замка Бикки, но их лёгкие шпажонки, сделанные из штукатурной дранки, с треском ломались о мечи, выстроганные из палисадного штакетника:

Хёгни сразил мечом семерых,
восьмого спихнул в огонь пылавший.
Так должен смелый
сражаться с врагом,
как Хёгни бился,
себя защищая.

После полного разгрома мушкетёры предпочли оборонять свой бастион Сен-Жерве в опилках полуразобраного рыбохранильного ледника от соплюнов-третьеклассников.

Пять уроков растянулись на пятьсот лет. Ещё и физика последняя. Тут даже бембелевский бутерброд был уже не в жилу: книгу-то как сорвать? Главное, Олег её видел: такая, ну, малотрёпанная. И чего он её сразу не взял? А теперь фига с два получишь. Ещё сговорятся и будут друг другу передавать. Мушкетёры.

Кабинет истории закреплён за пятым «а». Может, попробовать надавить на мальков, пусть без него приберутся? Посмотреть только — кто, и рвануть в библиотеку? Тогда нужно сразу взять пальто. Тётя Нюра, видимо, кого-то уже отшлёпала и, успокоившись, мирно горбилась на своём низеньком табурете, пришивая оторванные вешалки. Олег сдёрнул свою «шкуру» и через две

ступеньки помчался на второй этаж. Плечом вбил дверь и загремел стоявшим около доски ведром с водой.

Худенькая девчонка с длинной светло-серой косой, стоявшая у доски к Олегу спиной, от неожиданности, не поворачиваясь, подняла ладони к ушам и вжала голову в плечи. От её испуга Олег больше двух «блинов» не выдал. Она медленно обернулась.

— Ты чё под ноги-то ставишь?

— Я не нарочно.

— Ещё бы. Ты дежурная? А кто ещё?

Девчонка подняла оброненную меловую тряпку, тыльной стороной ладони откинула со лба невидимую прядку.

— Так получилось. Напарник сбежал.

Всё. Плакала библиотека. Был бы кто из пацанов, можно б договориться, а её-то Пузырёк обязательно назавтра спросит. «Был Торопов или не был? Помогал или не помогал?» Всё, ловить нечего.

— Ладно, не реви, меня к тебе послали. В качестве шефской помощи.

— Я и не реву.

— Давай, ты доску, стол и парты протираешь, а я пол подмахну? Где у вас швабра?

— Я не знаю. Я — новенькая, третий день, и дежурю впервые.

Где швабра в историческом — не секрет, это Олег так, от горя лишние вопросы задавал. В шкафу под плакатом, на котором обезьяна превращается в человека. Там же и тряпка. Значит, новенькая. А откуда? Но, ладно-ладно, не проявлять же внимание к девчонке из младшего класса. Подняв рукава, он как следует отжал бывший мешок и в два счёта пробежал по рядам.

— Так вот. «Только тех, кто любит труд, пионерами зовут!»

— А под партами?

У него аж дыхание спёрло:

— А ты, вообще-то, кто такая?

— Лазарева. Виктория.

И опять она вжала голову.

— Значит так, Лазарева Виктория, вникай: зимой грязи не бывает. Может, у вас где-то там, в Могочино или Кривошеино, она и есть, а у нас чисто. Снег каждый день новый. Поэтому под партами просто стерильно.

Она что-то хотела сказать ещё, но Олег уже застёгивал пуговицы пальто.

— Привет семье, а мне в библиотеку нужно. Позарез. И, кстати, что общего между Бабой Ягой и матрёшкой?

Олег пустил вопрос почти из-за дверей, как каракатица чернильное облако, чтобы успеть смыться по-английски. И ответ догнал его уже на разгоне по коридору.

— Я знаю, откуда это. Я читала.

Что?! Подшитые резиной валенки по полу не скользили, и он аж пополам согнулся, чтобы не упасть. Что? Поднял шапку, вернулся в класс.

— Где читала?

— В «Науке и жизни». У нас дома есть.

— А не в книге, ну, «Скандинавские сказания о богах и героях»? Что нам Пузырёк называл?

— Этого не скажу. Но статью о происхождении Бабы Яги из финно-угорского эпоса мы всей семьёй читали. Очень интересно.

Может, зря он под партами не протёр? Всего-то минут десять повозиться.

— Слушай, а мне дашь? Ты же прочитала? А то получилось, что я весь класс сегодня подставил. И если послезавтра не ответим — нам Пузырёк контрольный урок вкатит. Он зануда, обещал, значит запендрячит. Так дашь?

— Пожалуйста.

— А когда? Меня, кстати, Олегом звать. Из шестого «бэ».

Он даже ведро пошёл выливать. Когда вернулся, Вика стояла в дверях с портфелем. Чего? Неужели вместе из школы идти? Так-так-так, сам сгоряча напросился. Мог бы и завтра взять. А теперь, если кто увидит, задразнят.

Олег с деланным равнодушием топтался на крыльце, пока она надевала новенькое синее пальто и почти белую песцовую шапку. Сегодня второе марта, к обеду мороз отступил, и маленькое солнышко хоть и с трудом, но приподнялось над ссыпавшими утренний куржак берёзами. Оно не слепило и только наполняло тени, узорами под закостеневшими стволами покрывавшие волнистые сугробы, густой сиреневой резкостью. Рядом пронзительно пропела синица. Так вот незаметно и весна подойдёт. Надо же, насколько берёзы зимой не выглядят белыми. На фоне голубоватого снега они жёлтые, в серо-чёрных коростах. А ветви коричневатые.

— Ты где живёшь-то?

Олег обречённо шагал метрах в трёх справа, ушами и затылком ощущая ехидное внимание из всех окон. Завтра пацаны поизмываются.

— Мы недавно приехали, у нас нет пока своей квартиры. На Романова, у Владимира Николаевича.

— У Пузырька?!

— Да, он папин брат. Старший.

Олегу стало удивительно жарко. Откинув со враз вспотевшего лба шапку, он взмолился:

— Вик, будь добра: я не хочу, чтобы меня у дома директора увидели. Я лучше тут, на углу постою, а ты вынесешь? Ладно?

Как Олег точно догадался! Возвращаясь домой по деревянному тротуару, круто зависающему над уходящим вниз выгибом дороги, в конце лестничного пролёта у «Союзпечати» он столкнулся, наверное, с давно поджидавшим

Валькой Ермолаевым. Тот ещё с издали заулыбался всеми своими лишними зубами:

— Слышь, я через две недели книгу назад сдам. Если успеешь — бери. А то на неё уже очередь.

И как Олег утерпел? Язык чесался, ох, чесался, чтобы срезать козлёныша. Нет, пусть читает, хоть на десять раз, хоть в ту и в другую сторону: всё равно ничего не найдёт. Ответ-то на пузырьковский вопрос вот здесь, в портфеле. Так что пусть пока порадуется. Как сказал ярл Греттир: «Только раб мстит сразу, а трус — никогда».

Ну, сегодня и денёк выпал. Ещё и батя пришёл от дяди Коли поддатый, топил на кухне печь до дурной духоты, курил «Север» над нетронутой жареной картошкой и доставал всех своим гундежом почти до одиннадцати часов. Батяня всегда, когда недоперепьёт, таким словоохотливым становился. Мать в ответ незло ругалась, а они с братом сделали вид, что легли пораньше. Чтоб не приставал со своими дурацкими шуточками, которым только сам и смеётся. Вообще, о чём с пьяным болтать? Вот сидит в своих доколенных трусах, прикуривает одну папироску от другой и бормочет всякую всячину, как глухарь. А мать из дальней комнаты негромко его стыдит, ждёт, пока не задремлет. Потом уведёт, уложит, а уж утром выдаст по полной. Мало не покажется.

Лампочку они у себя погасили сразу, так что даже перечитать статью на второй раз не удалось. Глядя на криво прочерченную по потолку полоску пробивающегося из-за двери света, Олег едва дотерпел, когда родичи угомонятся. Ага, залегли, затихли. Можно встать. Но младший брат уже честно посапывал. Пришлось даже стащить одеяло, чтобы вернуть Лёху на этот свет.

— Ты чего, дурак совсем? — Лёшка опять зло скрючился под затянутым назад толстым верблюжьим теплом в гороховом пододеяльнике.

— «Выйду на остров без страха, Острый клинок наготове. Боги, даруйте победу Скальду в раздоре стали!» — Олег, видя, что его грозно воздетый деревянный меч не производит на брата никакого впечатления, сел ему в ноги, покачался на продавленной сетке и ткнул брата в бок кончиком.

— Ты чего?!

— «Пусть мой меч пополам Расколет скалу шелома, Мужу коварному Хельги Отделит от тела он череп». Не спи! Давай лучше вспоминай, чего нам дед этим летом ночью на покосе рассказывал. Ну, тогда-то, когда гребли и копнили, помнишь? Про то, как остяки что-то на болоте спрятали.

И опять ткнул. Лёшка тихо заскулил, ибо понял, что старший не отвяжется.

— Не помню я ничего. Чего-то там трепался про остров на Карасьем озере.

— Да, про остров! А что там остяки прятали?

— Поспать не дают. Отвали на свою кровать. Не помню, не знаю.

Но тут же Лёшка вынырнул по пояс:

— Клад?!

Теперь Олег вытягивал время.

— Ну, есть одна догадка. Такая, очень предварительная.

— Так что там? Клад? А какой?

— Такой, что весь мир перевернёт. Похлеще, чем у Али-Бабы.

— Что, кучумовский? Нет, правда? Подожди, подожди, дед же говорил, что на остров только остяки ходили. А русские боялись. Там, мол, шаманское проклятье сделано.

Олег и сам всё это хорошо помнил, тогда же дед именно ему в балагане про остров рассказывал. Шёпотом, с нарочитой оглядкой, с понтом — секрет, мол. Ага, как будто их кроме комаров кто-то мог подслушать. Ну, дед, он и есть дед, любил внукам подыграть, словно они детсадники, особенно после баночки с бражкой. Про остров на болотном озере он Лёшку завёл так, просто, чтобы с кем-то разделить распиравшее его изнутри. Но теперь, глядя на всё больше возбуждавшегося брата, уже немного и жалел.

— Так какой клад? Точно кучумовский?

— Лучше.

— Ну?

— Загну! Там должен быть спрятана Золотая баба. Слышал про неё? Нет? Это такая золотая статуя из Перми Великой и Белогорья.

— Из… откуда? И что, она, правда, золотая?

— Вся из золота, вся! И с алмазами.

— Ох ты…

— Тысячи лет ей приносили жертвы, а потом сотни прятали. И теперь мы её найдём. Представляешь, несчастный, какая слава нас ожидает? На весь Советский Союз. Будем как Сенкевичи.

Олег вернулся на свою кровать. И стал словно читать по невидимой книге:

— Идол стоял на холме в густом лесу и его окружал частокол, на который насаживали черепа жертв. А охраняли его шесть шаманов в красных одеждах. Когда жертв долго не было, Золотая баба громко выла детскими голосами. Всё как в сказке про Марью Моревну. Поэтому есть предположение, что наша волшебная Баба Яга и есть та самая Золотая баба. Там много, много что сходится. Например, «яга» — это же по-местному «ягун» или «югам», что у хантов означает «река». То есть она хозяйка реки — «ягун-ике». А раньше, когда она стояла за Уралом, её мордва называла «Еги-бобо»! И ещё «русским духом», которым пах Иван-царевич, у остяков, оказывается, назывался запах дёгтя, которым русские смазывали обувь. Сами-то они пользовались рыбьим жиром.

— Ещё неизвестно, что хуже воняет!

— Не тарахти. Далее — избушка на курьих ножках. Это же чисто лабаз, ну, «чамья». Остяки его так и ставят: на двух ошкуренных стволах, чтобы мыши

не залезли, и всегда к тропинке задом. Но в лабазе они не только продукты прятали, но и своих идолов. Вот мы и поищем на острове такой лабаз.

— А как охрана?

— Кумекай! Дед-то пацаном был, как мы сейчас, а уже тогда там только одинокий старик жил. Поди, давно помер.

— Да, наверное.

— А самое главное: я знаю, как эта Баба выглядит. Она, как матрёшка, из нескольких слоёв скована. Один немецкий путешественник, этот, Герберштейн, кажется, четыреста лет назад про неё чей-то рассказ записал, что, мол, в Золотой бабе как бы второй идол виднеется, а в нём третий. Он-то не понял, как это так, потому что никогда матрёшки в своей Германии не видел. Усёк, засоня? Это значит, что в ней золота три слоя точно есть. Вроде этого египетского… ну, сакро… саркофага.

— Ух, ты! Я знаю, я видел по телику: как футляр. Олег, подожди, а ты как догадался? Или прочитал? Где? Ага, в том журнале?!

Лёшка одним прыжком подскочил к выключателю, едва удалось перехватить.

— Куда! Не тронь чужое. Или Серый Клинок отсечёт воровскую руку. Рано тебе, малявка, у тебя ещё «Мурзилка» непрочитанный. И, вообще, запомни: с сегодняшнего дня я тебя буду проверять и перепроверять, и если хоть одно словечко, хоть кому, хоть во сне или под пыткой брякнешь… особенно маме. Короче, если проболтаешься,— пеняй на себя. Похороню. Утоплю. Изрублю в капусту. Сожгу и развею пепел. И не забудь: завтра воскресенье, с ранья идём силки проверять. Так что спать!

— Ладно, ладно. Сам разбудил сначала, а теперь… Олег, а нам за клад ведь что-то заплатят? Полагается?

— Полагается.

— А сколько?

— Не унесёшь. Спи, я сказал!

Естественно, ещё около часа пришлось выслушивать всякий бред. Про то, что их обязательно по телику покажут. И про то, что можно будет новый «москвич» купить. Зелёный, как у Ветровых. Или к морю съездить. Как Бондаренки. Или… Но Олежек, закрыв глаза, слушал-неслушал, не вникая в пустые слова, которые ничем не отличались от вздохов и покряхтываний остывающей печи, шорохов землероек, вместо ленивого кота гонявшихся в подполе за мышами, и частого чавканья нового будильника. Наконец Лёшка отстал, пару раз зевнул и снова засопел. И Олег, тоже проваливаясь в поток неразличимых картин и мыслей, пробормотал:

— Мы маски наденем. Они от проклятий защищают.

За крутобокой, с лысой макушкой, Остяцкой рёлкой, на которой в позапрошлом году томские монтажники возвели приёмную телевизионную

вышку, распласталась Верхняя Анга. Анга — это заливаемое паводками старое обское русло, заболоченное, заросшее непролазным тальником, ивами, осинками и редкими, гнилыми берёзками, увешенными тяжёлыми шапками сорочьих гнёзд. В высоких, до пояса, косматых кочках гнездилось и размножалось, каждую весну спасаясь от полоя, неимоверное количество «кротов» — водяных полёвок, или крыс. Половодье массами вымывало их на более высокие берега, где ребята их били «пиками» — лёгкими острогами. Шкурки «кротов»-полёвок принимали на заготпункте по сортам. За третий, маломерный, давали семь копеек, за второй, больше десяти сантиметров, девять копеек, а первый, когда от носа до хвоста было сантиметров пятнадцать, оценивался в одиннадцать. Так, Петька Редель, живший на самом краю села, прямо под телевышкой, в одну неделю зарабатывал рублей тридцать! Обилие грызунов, лягушек и гнездовий всевозможной пернатой мелочи привлекало на займище рыщущих и летающих хищников, а зимой за торчащей из-под снега осокой и корой мелкого осинника с того берега заходили осторожные лоси и из подгорных березовых колков прибегали целые компании беляков, устраивавшие здесь в феврале свои весёлые свадьбы.

Зимой же Верхняя Анга разделялась на мальчишеские охотничьи участки. Олегова доля была далековато, не меньше двух часов спорого хода, у основания песчаной стрелки, которая километра через два выходила на берег и дальше врезалась косым хвостом в реку. Обычно у него стояло пять-семь капканов на колонков и несколько десятков стальных петель на зайцев. С этого года Олег брал за собой и Лёшку. Рюкзак таскать.

Лыжи у них старые, «Томь», с ременным креплением, но так даже лучше — и широкие, не проваливаются, и на валенки налезают. Не для соревнования же. Ради тепла натягивалось трое штанов, пара свитеров, меховые верхонки, у шапок отпускались уши, а телогрейки плотно опоясывались. Лёшке мать ещё и шарф подвязала, своей лялечке. В рюкзаке топор, спички, приманка: либо пойманные в подполье мыши, либо синички. Синичек, конечно, жалко, мышеловка их убивает сразу не всегда, но колонок на них идёт смелее.

Как только утро разбеливало от заречья синеву промороженного беззвёздного неба, на восток, навстречу невидимому пока солнцу тянули одинокие точки высоко-высоко летящих сорок. Десять, тридцать. Сто… Куда? А вечером, так же равноудалённо друг от друга, они возвращались. Откуда?.. Каждое воскресение, наскоро позавтракав, костистой полумглой братья покидали огород через открытую с осени заднюю калитку и, если на неделе особо не мело, по накатанной лыжне почти бегом обойдя обросшую березняком рёлку, углублялись в Верхнюю Ангу. Припорошенная лыжня чуть виляла, опуская бровки и мочажины, а остекленевшие кроны тальников, ив и верб заплетали вокруг пространство единой серо-чёрной паутиной. Только ярые взрывы лаковых веток краснотала подцвечивали трудно просыпающийся мир

между слепящей крупными искрами белью сугробов и рябой пепельностью низкой облачности.

Тут всё знакомо, с каждым поворотом, поляной или бугристой ключевой наледью связаны какие-нибудь истории. Вот, например, здесь они летом поймали слепого на один глаз галчонка, здесь впервые смолили ленинградские сигареты с фильтром «Нева», а тут Вша по пояс провалился в жижу ржавца. Он, Вша, вообще неудачливый, с ним что-то да всегда происходит. Впрочем, на болоте с каждым может случиться, и той же прошлой зимой неожиданно посыпал обильный снег, следы завалило, и Олег вдоволь нарезал кругов, пока не вышел на просеку: всё мутно, ни юга, ни севера, и никакой горы не видать. А на дерево не влезешь — чахотные берёзки и черёмушки ломаются, не выдерживая веса. Ох, и наматерился он тогда. Думал, всё, кранты, замёрзнет. Обидно было, что возле самой деревни.

Лыжня то и дело разветвлялась, слабела, сопровождаемая и пересекаемая множеством следов местных обитателей. Хорошо после лёгкой вчерашней пороши на свежак вычитывать крупные и мелкие, групповые или индивидуальные «автографы». Вот полёвки навыныривали из-под торчащих высоченными снежными шапками кочек, мелко настрочили и сныряли под корку наста. Это, шелуша ольховые шишечки, прыгали, чиркая хвостами, снегири, а здесь прокосолапила, озабоченно тыча носом во все щели, ворона. Ага, стоп: с кочки на кочку метрово скаканул колонок. И тоже, в погоне за мышью, надолго ушёл под наст. А вокруг, конечно же, всё истропили зайцы. У косых тут целые магистрали набиты, обильно усыпанные на развилках «орешками». Эх, ружьё бы!

Никто никогда чужие ловушки не смотрел. Западло. Узнали бы про кого такое — всё, лучше на улицу не выходить. Путик дело святое. Точно так же, как и тычки на реке. Пусть хоть всю зиму непроверенные простоят, можно их вообще бросить, но никто и близко не подойдёт.

Самый ближний участок, естественно Ределя. Он наследный, от старшего брата, который второй год служил на границе. Дальше шли гусевские места, потом Васьки Иванова. У разросшейся в несколько корявых стволов черёмухи Олег, а за ним и немного отставший Лёшка, резко завернули налево, к невидимой реке. Всё, это доля своя и здесь нужно быть внимательным.

Про петли ладно, они просто выставлялись в узких местах заячьих троп, там, где не только нельзя было обойти, но и высоко не прыгнуть. Ну, чтобы ветви или заваленный ствол нависал. Там заяц вынужден пронырывать, и больше вероятность его попадания. Петля из тонкой стальной проволоки — ловушка простейшая, но действенная, и при правильной расстановке три-четыре косых в месяц давились. Причём зайцы совершенно не обращали внимания на человеческие следы и запахи. Чуть замёл за собой, и ладно. Одна беда — зачастую первыми попавшихся обнаруживали колонки и вороны и объедали, сильно портя шкурку.

Совсем другим делом были ловушки на самих колонков. Осторожный, безжалостно-ловкий, неутомимый рыжий хищник пугался любого признака присутствия человека. Поэтому ещё в ноябре, когда болото только замерзало, Олег в старом, специально для этого хранимом чугунке кипятил смолу и макал в неё капканы. Резкий сосновый дух чёрной вязкой лаковостью заполнял все шершавчины и раковины лопаток, зубьев и пружин, надолго забивая запах ржавчины. После этого капканы щепочками выносились на мороз, где их дополнительно окапывали куриной кровью. А в оставшуюся смолу окунались старые варежки. С полной осторожностью завёрнутый в вымороженную ткань капкан доставлялся на место. Из пары стёсанных поблизости широких щепок-горбылей к стволу какого-нибудь дерева пристраивался глубокий шалашик — заездок, чтобы к положенной в глубину приманке невозможно было добраться, минуя заряженный под присыпным снежком капкан. Заодно, чтоб и воронам не очень заметно. Приманкой служили окровавленные мыши или синички. А главное, шалашик ставился так, чтобы его можно было осмотреть издали, с лыжни. Без лишнего топтания. Ибо, даже когда капкан срабатывал впустую, заездок разваливался.

Шкурка колонка стоила от двадцати до тридцати рублей, пойманные за зиму пять-десять хищников давали ощутимый привес семейному бюджету и моральное право на неполное соглашательство с предками по любому поводу.

После мирового научного открытия прошло две недели. Точнее, после рождения научно-исторической гипотезы. Братишка, хоть и маменькин сынок, но ничего никому не сболтнул. Честно. Как и сам Олег. Из-за этого Олегова молчания ответ на вопрос о связи Бабы Яги и матрёшки для всего класса завис, и, конечно, Пузырёк таки вставил им контрольный урок. Валька тогда на навоз извёлся: гадёныш верно учуял, что Олег не просто так отступился от перехваченной книги. В которой, действительно, никакой подсказки не оказалось.

Сегодня в силках было глухо. Одна петля сбита, и всё. На обратном пути усталость боролась с голодом, от набирающего злобу послеполуденного ветерка начёс на штанах схватился негнущейся коростой, а голые запястья между верхонками и рукавами уже и не щипало. Лыжи тяжелели с каждым шагом, и братья буквально скреблись, мелко шаркая раздолбанными фанерками. Вдобавок на Лёшку напало нытьё.

— Олег, ну и как точно-то можно узнать? Вдруг там ничего нет?

— Ссышь?

— Я не трус, но я боюсь.

— Нет, так нет. Порыбачим.

— А вдруг остяки эту Золотую бабу всё-таки на Таймыр оттащили? Как написано.

Ну восемь раз уже ему объясняли, что вогулы и остяки враждовали с самоедами, то бишь ненцами. И когда за их главным идолом с северо-запада стали охотиться русские, с юга татары, а с северо-востока эти самые самоеды, то, окружённые со всех сторон, остяки могли спрятать Золотую бабу только где-то здесь. И самое надёжное место — болото. А тем более, остров на озере посреди зыбунов. Не трудно же сообразить: Баба стояла в Белогорье, это где Иртыш в Обь впадает. Там-то Ермак её чуть и не захватил. А потом её видели выше, возле Назино. Это уже посредине между Александровским и Каргаском. Значит, её по реке сюда поднимали.

— А заклятье? — Лёшка даже наехал брату на пятки.— Сам же рассказывал, что все, кто пирамиду раскапывал, в один год перемёрли.

Олег сердито выдернул лыжу и, обернувшись, наглядно постучал обледенелой варежкой себя по лбу.

— Ты совсем дятел! Тоже мне, пионер, блин! Клятву товарищам давал? Ну, «торжественное обещание». А в колдовство веришь. Смотри, узнают и как вот лишат галстука на две недели. За бабушкины предрассудки и дедушкины суеверия. Сопли утри. Я же тебе говорил: мы, как куклускласновцы от негритянских колдунов, спрячем свои лица под колпаками или масками. И проклятье нас не найдёт. Может, просто накомарников достаточно будет.

Весна стремительно приближала сроки экспедиции. Братишка-то, молоток, молчал, но сам Олег — ох, был такой момент, когда он себе чуть язык не откусил. Это случилось в самом конце апреля, уже после ледохода. Обь, вздувшись тяжёлой свинцовой рябью, разлилась так мощно, что противоположный берег, насколько было видно, лишь у самого горизонта кое-где отмечался верхушечками тополей. А в райцентре затопило не только пристань, но и нижнюю улицу. Взбаламученная вода, обильно несущая вымытые стрежем комли и утащенные с лесоскладов кругляки, здесь, за поворотным локтём, словно пугаясь собственной вседозволенности, крадучись, ночью, без плеска вошла в дома и сараи, редкой цепочкой тянувшиеся вдоль невидимого берега, и качалась сейчас под самыми подоконниками. Центральная лавровская дорога, плавным разворотом гравийной насыпи спускавшаяся с заселённого холма, с ходу погрузившись в буро-серую рябь, пару раз судорожно выныривала, прежде чем окончательно затонуть. А нависавший над ней справа деревянный мосток-тротуар, по всей длине вознесённый трёхметровыми опорами над непросыхающей даже и в июле низминкой, одиноко уходил в ежегодную весеннюю безбрежность. Взад и вперёд по мостку-тротуару бегали стайки ребятни, зависая на качающихся перилах над плюхающей под самыми сапогами холодной бездной. Если захотеть, то вполне даже верилось, что там, на последней площадке обрывается мир. И можно было посидеть на самом краю Земли. Однако уже к шестому мая, когда начиналась официальная навигация,

портовики выставляли вдоль фарватера бакены, а к концу мостка подгоняли с зимовки в кривошеинском затоне свеже-зелёный дебаркадер.

Понятно, что по берегу жили лишь одинокие старики да бесхозная пьянь, то есть те, кто своих огородов не держал. Однако, кроме двух-трёх хибар с совсем откровенными бичами, за тунеядство высланными из города, почти все береговые были рыбаками, которые и зимой и, тем более, летом в своих развалюхах только спали, да и то далеко не каждую ночь. А чего? Удобно же, если это для тебя главное, когда вышел за порог — и сразу в лодку. Летом они так и печи не топили, разводили костерки у крылец, к которым Река сама подносила пищу, дрова, подвозила друзей и покупателей. Осетры, стерляди, окуни, нельмы, язи, сырки, налимы, ельцы и прочие употреблялась во всех видах и всеми способами, а картошка, овощи, хлеб и водка выменивались на всё ту же живую, мороженую, солёную, копчёную и вяленую рыбу. В своих заиленных, заросших мать-и-мачехой пустошах огородов они сушили сети и копали червяков. Конечно, кто умел, дополнительно промышлял изготовлением и ремонтов обласков, плетением кукол, морд, резкой разнообразных утиных чучел. А кто не умел ничего, тот просто хранил доверяемые лодочные моторы, вёсла и бензин. Но, главное, все здесь живущие наслаждались свободой, как только кто её понимал. Поэтому, несмотря на ежегодное нашествие весенних хлябей, неухоженные осенние хвори и одинокие зимние смерти, переезжать отсюда не собирались.

В обед батя со своим двоюродным братом подъехали на бортовом «газоне» и, позвав соседа, затолкали в кузов лодку. Но до этого торжества спуска несколькими тёплыми вечерами отец при помощи паяльной лампы внимательно осмолил днище, а они с Лёшкой выкрасили снаружи и изнутри борта, вёсла и сиденья тёмно-синей масляной краской. Когда лодку вновь перевернули, и в срединный с закрывающимися створками отсек вставили восемнадцатисильный движок, Олег тонкой кисточкой повыше номеров вывел на носу белилами двух чаек. Их длинная, из шестиметровых досок, глубоко и широко прогнувшаяся посерёдке, лодка очень походила на разжиревшего в тёплой тине старого карася. Вообще, все лодки, выставленные в эти дни вдоль домов по их улице, кого-то да напоминали. Например, у соседа, дяди Вани Селивандера, она ровная, с длинным острым, чуть вздёрнутым носом и узко сходящейся кормой — вылитый кострюк, даже окраска тоже серая. А напротив, у Устюжаниных, лодка маленькая и лёгкая, как окунёк. Там дальше, у проулка, с плоским днищем — точь-в-точь щука. И у каждой свой характер. Под стать хозяевам.

С прошлого года в Лаврово уже появилось около десятка дюралек. Оснащённые подвесными моторами, они просто перевернули сознание мальчишек: тридцать–тридцать пять километров! Это ж до Могочино можно за два часа дойти! Мнения о преимуществах вместимых «прогрессов» перед манёвринными «казанками», а сильных «вихрей» над экономичными

«нептунами» оспаривалось с той же горячностью, что и точность Мальцева против ловкости Рагулина. Дело доходило до перехлёстов «один-на-один» после уроков за школой или у клуба. Счастливчики, чьи родичи уже купили, и даже те, кто просто прокатился на этих почти глиссерах, никак не могли опустить носы. Остальные терпеливо вздыхали: ладно, кто-то раньше, кто-то позже. Им батя торжественно пообещал, что, как только в октябре сдадут бычка и деды добавят с книжки,— тогда и они тоже купят. «Казанку-М», с булями. Главное, чтоб «Вихрь-30» взял. Он, хоть и жрёт много, но зато очень мощный, под нагрузкой скорость не теряет.

Отец у них не рыбак и не охотник, ничего тут не поделаешь. В принципе, им лодка вообще нужна лишь для покосов на лугах того берега, да ещё для сбора смородины и груздей на Лосином острове. Поэтому она у них тихоходная, километров десять даёт, да и то по течению, вся выгода, что длинная, копну за раз вывезти можно. А на рыбалку братьев брал сосед Селивандер: у дяди Вани своих сыновей не получилось, все три дочки, и старшей, Машке, всего семь. Поэтому он часто забирал с собой тороповских парнишек — и с ночевой, и даже на дальние озёра, что за девять песков. Опять же, опять же, в рыбалке, если она не с плавёжкой, сама лодка нужна только для перехода. А на месте, при поставке сетей, фитилей или самоловов лучше использовать обласок или «резинку».

Да, батя не рыбак, и поэтому они вывезли лодку далеко не первыми. Штук пятьдесят уже сонно покачивалось на стыке чайно-серой, в золото-жёлтых бликах, воды и истоптанно расквашенной, в хрустких прошлогодних хвощах, мусорной тёмно-бурой глины. Здесь, на берегу, лодки отродясь никто не охранял, их просто якорили, запирая навесными замками моторные отделения и носовые багажники. Да и то, если в багажниках было что спрятать.

Зенитное солнце мелко дробилось в слепящих зайчиках вздутого переизбытком сил простора, от бескрайности которого даже влажный ветерок очумел и несколько суток только тупо толкал, гнал по стрежу водяные валы к далёкому северу, взбивая на непокорных скорые пенные барашки. Всё без меры. Сила-силища. Волнующая страшной красотой.

Но тут, на затонувшей пристани, лишь мелко хлюпающие шлепки под бортом, запах смолы, бензина, настоящие мужицкие комментарии о пересосавшем карбюраторе. И перекликающиеся в далёком синем-синем небе первые чайки. От всего нестерпимо распирало грудь, и Олег, мнения которого отец и дядя Коля так и не выслушали, осторожно перевалился через борт и похлюпал на сушу. Из бродней за зиму он, оказывается, вырос, и теперь вода опасно холодила ноги у самого края резиновых голенищ обычных сапог. Выбравшись на сухое, Олег палочкой счистил с пяток глину и медленно побрёл, переступая цепи и тросики приколотых лодок, рассматривая вынесенные прибоем разноцветные щепки и уголь. Народа почти никого — среда, рабочий

день. Метров через тридцать, на новенькой серебристо-серой, с пластиглазовым козырьком «казанке» здоровенный белобрысый мужичина крепил подвесной мотор. А напротив, у далеко вдавленного в ил якорного тройника стояла… Вика Лазарева. Это что же, её отец? Все уже знали фамилию нового директора ДОСААФ, присланного из Томска. И звание — подполковник.

Как ни замедляй ход, но отворачивать уже поздно.

— Привет.

— Здравствуй, Олег. Ты здесь тоже с папой?

— Ага.

О чём поговорить? «Ке-кей, ке-кей, ке-кей»,— над головами зависла малая чайка. Чуть покачиваясь на одном месте, она склонила чёрную на темени голову и вдруг, дико закосив глаз, кувыркнулась в воздухе.

— Смотри, какая смешная.

— Играет. Или жука поймала.

Так о чём же говорить? Кивнул на лодку:

— У вас какой мотор?

— «Нептун».

— Хорошо. Надёжный. А мы «Вихрь» покупать будем.

Олег совсем решил возвращаться, когда она задала вопрос, который нужно было задать в марте:

— Олег, я всё думала: почему ты не ответил Владимиру Николаевичу про Бабу Ягу? Когда он рассказал о том, что ваш класс так и не смог ничего толком придумать, то я чуть было вслух не возмутилась. Ведь ты знал ответ! Но вовремя сообразила, что, наверное, ты неспроста промолчал. Так? И я всё хотела спросить почему, а никак не получалось. В школе-то всё время кто-то слышит. А сейчас ты ответишь?

Как она быстро всё выговаривала. В синем, с крупными ромашками, слишком лёгком для начала мая платьице, Вика постоянно отмахивалась от невесть откуда так рано взявшихся серых щекотливых мушек и, морщась от речных бликов, заглядывала ему прямо в глаза.

— Ну, отвечу. Только… это тайна. Для некоторых.

— Я понимаю, понимаю. Я даже как-то сразу решила, что это с поиском Золотой бабы связано. Правда? И стала сама потихоньку интересоваться. Ведь у Владимира Николаевича много интересного, он тоже когда-то про эту Бабу всё, что можно, собирал. И знаешь, её теперь не найти. Никогда уже не найти.

— Почему?

— Она же была на острове.

— И?..

— А остров тот затопило. Об этом у Льва Теплова написано. Он беседовал с одним охотником, Сургучёвым, бывшим шаманом, десять лет назад. Так что это точно.

Вот тут-то Олег чуть и не сболтнул:

— Ну, и где был тот остров?!

— На Енисее. Около Норильска есть Усть-Хантайская плотина…

— Ха-ха! Да идола в тридцатых годах здесь, на Оби, южнее Александровского видели! Её сюда, сюда привезли! И сейчас она…

Именно в этот момент отец Вики дёрнул пусковой шнур, и мотор, не закреплённый на защёлку, бешено взревев, закинулся в лодку. Фу! Пока подполковник Лазарев, загасив зажигание, вновь окунал лыжину в воду, Олег опомнился.

— Ладно, мне пора.

— А… хочешь, я тебе дам книжку?

— Этого твоего Теплова?

— Нет, другую. У Теплова же только одна статья в «Вокруг света». А в книге у Алексеева очень много свидетельств собрано.

— Ладно, давай.

— Зайди к нам. Мы квартиру получили, в новом доме. Этот, двухэтажный, напротив автовокзала.

— Да знаю я. Зайду. Завтра можно?

«Ке-кей, ке-кей, ке-кей»,— малая чайка чуть покачивалась на одном месте. Надо же, а ведь её отец не сматерился! Вот если бы такое случилось с батей. А ещё хлеще, если б с дядей Колей…

Школа всё-таки кончилась и почти опустела. По ней редкими тихими стайками бродили только восьми- и десятиклассники, нервничавшие перед экзаменами. Они скинули форму и приходили на консультации в цветных рубашках и ярких платьях. И ещё парни почти открыто курили около туалета. А кто им теперь указ? Остальные, получив свои закончившиеся дневники и попрощавшись на общешкольной линейке с учителями до сентября, дружно помыли в классах окна и парты и рассеялись, встречаясь только в кино, на стадионе или на пристани. Конечно, была ещё обязательная «отработка» в школьном саду или в виде ремонта мебели, а самые везучие пристраивались в «Голубые патрули» помогать рыбакам отчёрпывать замкнутых в пересыхающих протоках и лужах мальков и выпускать их в реку. Весна вступила в семьдесят второй год как-то разом: казалось, только-только прошёл ледоход, никто и ахнуть не успел, а во всех палисадниках вскипела и тут же посыпалась черёмуха и раздавленная колёсами и треками грязь даже на самых дальних улицах совершенно затвердела. Теперь в проулках жалобно кричали от страха потеряться рождённые в феврале и марте телята, безжалостно выставленные хозяевами за ворота на молодую подзаборную травку. Взрослую скотину с восхода четырьмя сотнеголовыми, разноголосо мычащими и блеющими стадами выгоняли на ближние тёмные, пока нерасцветшие луга. В последнее воскресение мая Тороповы досадили на собственном, вспаханном дядей Колей огороде картошку, и теперь братья направлялись помогать дедам в Черемшанку.

У Олега и Лёшки всё давным-давно было приготовлено. В их штопанных-перештопанных, просолённых и просмолённых, забитых по швам кедровыми иглами и чебачьей чешуёй, старых рюкзаках, заткнутых подальше на верхнюю полку веранды, кроме тёплых носок, удочек с запасными лесками и крючками, соли, котелка, одеял, сапёрной лопатки и топора, лежали завёрнутые в клеёнку два самопала. Их оставалось только зарядить, и пожалуйста — хоть завтра с утра отправляйся на молоковозе за двадцать четыре километра. Для заряда, конечно, можно было просто настрогать спичечных головок, способ проверенный, но Олежек выменял на свой фонарик у Петьки Ределя старые патроны с дымным порохом. То, что старые,— ерунда, дымный порох хоть сто лет пролежит, с ним ничего не становится, если сухо. И ещё он хорош тем, что послабее «сокола», и не должен разорвать ствол.

Выждав, когда вслед за отцом и мать ушла на свой хлебокомбинат, Олег застелил кухонный стол газетой и осторожно шилом выковырял из трёх чёрно-зелёных гильз первые, залитые парафином, газетные пыжи. Ссыпав тяжёлую «тройку» в эмалированную кружку, принялся за вторые. Эти были войлочными и сидели плотно. Пока он их выколупывал, Лёшка вокруг всё истоптал и изошёл на советы. Но вот чёрной сажевой пирамидкой порох собрался на вырванном из математической тетрадки исписанном листке, а освобождённые гильзы легко укатились в глубину нижнего ящика письменного стола. Сгодятся на будущее.

Самопалы потихоньку они делали всю зиму. Сначала от спинки старой никелированной кровати отпилили два куска ножек, потом в отцовом гараже в тисках заплющили у каждой трубки один конец и, загнув его на три оборота, высверлили на станке дырочки для запала. Из сухого черёмухового ствола выстрогали рукояти и плотно, в несколько слоёв, алюминиевой проволокой прикрутили к стволам.

Для пущей надёжности порох из трёх зарядов разделили на четыре. По одному засыпали сразу, а два завернули в бумажки и залепили изолентой. Тоже на будущее. Пыжами послужила всё та же смятая газета. Плотно пробив деревянным шомполом бумагу, закатили в стволы по стальному шарику из подшипника. Снова бумага, и — готово. Осталось примотать изолентой спички, выложенные в ряд так, чтобы от последней головки пламя попало в дырочку запала. Всё.

Пока Олег заворачивал заряженные самопалы обратно в клеёнку, Лёшка скомкал газету с остатками пыжей и прочим мусором и сунул всё в печь. Вытянув заслонку, чиркнул спичкой, поджёг. Олег растерянно похлопывал ладонями по столу, пытаясь вспомнить, где же пакетики с запасными мерками пороха, когда в печи вдруг утробно грохнуло и в распахнувшуюся дверцу, как и в щели под подпрыгнувшими кружками, выплеснули языки пламени и густо повалил дым. Серое, кисло пахнущее облако пепла с кружащими чёрными хлопьями жирной сажи мгновенно заполнило всю кухню, но ругаться было

невозможно: на полу перед печью сидел негр и онемело хлопал голубыми безресничными глазами. И как только этому растяпе ничего не вышибло?

Конечно, неплохо было бы вначале самопалы опробовать с безопасного расстояния, привязав к развилке берёзы, а то вон Серёге Вше в позапрошлом году оторвало пол указательного пальца, но они никак не успевали. Это же надо подальше, в овраге, чтобы взрослые не слышали. А когда? Ладно, авось, небось, да как-нибудь. Их одноместная армейская палатка с осени хранилась у деда, но вот проблема — бродни. Резиновые сапоги с длинными, под пах, голенищами, просто необходимые на весеннем полноводном болоте. У Лёшки их никогда не было, а Олег за зиму зримо подтянулся, и ноги переросли сороковой размер. Поэтому его сапоги теперь естественно переходили брату, а самому нужно было брать отцовы. Только как объяснять: зачем детям бродни при посадке картофеля? Рыбачить-то в Черемшанке негде, тамошнюю речушку с парой пескарей любая лягушка в два приёма перепрыгивает. А если уж брать без спросу, то кроме отцовых бродней нужны ещё накомарники. Которые есть лишь у дяди Коли.

Верхняя Обь на огромном извороте вокруг Барабинской низменности и Васюганской долины от Новосибирска до Колпашева высоким имеет левый берег, а далее незаливным становится правобережье. Зажатая с одной стороны Великой рекой, а с другой Великим болотом, узкая полоска всхолмлённой земли, шириной пятьдесят и длиной шестьсот километров, распаханными полями и выкошенными еланями кормит несколько десятков тысяч человек, живущих на ней большими и малыми деревнями. На двадцать четвёртом километре, от Лавриво полевой дорогой строго на запад, по самому приболотистому краю своей единственной улицей в полсотни редких дворов придремала Черемшанка. Выбитая в глине колея, то пыльная, то расквашенная, сопровождаемая чуть косящимися столбами с низко провисшими пучками проводов, моталась промеж едва пробивающимися овсяными и ржаными посевами, просекала сосновые и еловые таёжки, деревянными стланями перепрыгивая заболоченные займища, оставляя в стороне узкие выкосы с останками прошлогодних заворов. Широкий бревёнчатый мост, с разбитым тракторами до сквозных дыр настилом, перекрывал ивняковый падун с родниковой речушкой Татош и являлся началом деревенской улицы. Третий от моста, почерневший и закособоченный временем пятистенок, под острой, расцвеченной лишайниками, горбылёвой крышей, принадлежал их дедам по матери. Перед окнами, с когда-то голубыми ставнями, давно поредевший штакетник уже не защищал от вольготно гуляющих куриц и бродячих полудиких свиней палисадник, в котором, кроме гигантской лысой лиственницы да мелкой лебеды и мокрицы, ничего не росло. Высоченные, глухие ворота прятали застеленный унавоженными плахами двор, с одной стороны ограниченный пристроенной к дому летней кухней, а с другой

сложносоставной конструкцией разнокалиберных стаек. Замыкал двор ещё достаточно новый дощатый сеновал, а далее, за выгороженным жердинами большущим огородом, плотно начиналась тайга, островерхим гребнем чёрных елей осекающая всякое земледелие.

Разлёгшись на выкрашенном жёлтой краской полу веранды, Олег рисовал на четвертинке ватмана карту, а безбровый Лёшка как мог тактично подсказывал необходимые к учёту детали. Главная и единственная улица Черемшанки, после клуба и конторы заканчивающаяся МТС и зернотоком, нисколько их не интересовала: дальше только пашни местного совхозного отделения. В другую же сторону, направо от моста, накатанный телегами лесной просёлок вёл на выпасной стан. Отсюда, от глубоко вытоптанного загона и длинного полуразваленного сарая летней дойки с выцветшим плакатом «На ударную вахту, животноводы!», в разные стороны разбегались пешие и конные дорожки и колеи. Одна из них поднималась вдоль береговой бровки километров на десять до Варнацкой гривы, на которой у их дедов были делянки. Ребята хорошо знали эту гриву — и по ежегодной косьбе, и по тому, как прошлым августом в сплошном мелком ельнике соседнего падуна постреляли из обыкновенных прачей целый выводок доверчивых молодых рябчиков. По этой густотравной гриве, с обеих сторон обросшей редким шиповником и корявыми берёзками, а далее болотным багульником и голубичными мшаниками, спускавшимися в хлюпающие, истыканные голыми скелетами мёртвых елей займища, можно было пройти километра три на запад, где начиналась кочкарная некосимая долина, от горизонта до горизонта перерезанная тремя узкими протоками, затянутыми камышами и осокой. Где перебираться через эти протоки, они не знали, но как-то же рыбаки проходили! Это от местных известно, что за последней старицей начинается безмерная лесная трясина, посреди зыбунов которой и лежат Карасёвые озёра, на которых, как говорят, если поставить пяток фитилей и проверять их по два раза в день, то через пару суток потребуются мешки соли. Мерный, в мужскую ладонь, золотой карась, идёт и идёт — сколько утащишь. И вроде как к ближнему Малому через согру пробита просека, по которой легче бы, конечно, пройти концом лета, под осень, когда трясина подсохнет, а карась ещё не заляжет в тину на зимовку. Кто и как туда ходил, это можно будет выспросить на месте у деда. Но, главное, где-то там дальше оно — Большое Карасье. На котором из черемшанцев никто ничего не брал. Ибо нет никакого смысла столько корячиться, уж легче до Оби доехать и нарыбачиться по самое не хочу. И вот, как раз на этом-то неведомом озере, по рассказу деда, и есть остров, священный для остяков. С чем-то припрятанным.

Олег так и начертил: в самом верхнем углу овал, на нём круг и в центре поставил жирную точку. Лёшка разве что зубами не стучал, так его завело: страшно маленькому, хоть и не признаётся. Олег вчера пересказал ему жуткую

историю про отважного полковника Григория Новицкого, который в начале восемнадцатого века упорно искал в тайге Золотую бабу. Погибший при неясных обстоятельствах, он так и не успел дописать свое «Краткое описание о народе остяцком». Братишка до полуночи вертелся. Правильно, пусть побоится, если хочет, чтобы его по телевизору показали. Тем более, если уж совсем-совсем честно, ему и самому немного… того.

Конечно, на карте расстояния выдуманные, но даже по предварительному прикиду получалось, что если выйти по темну, то до обеда они должны оказаться на краю гривы, далее, пожевав, перебраться через протоки, чтобы найти просеку и успеть к ночи добраться до Малого озера. Там заночевать, а на следующий день как-то пройти до Большого. И что дальше? «Что, что?» Дальше «пан или пропан». Так шутил батя, он же развозил по райцентру газовые баллоны.

Итак, в лучшем случае три дня, в худшем — неделя. Понятно, что никто их на столько не отпустит. Ну, на сутки, на двое, никак не больше. Нужно что-то придумывать.

3.

Лёшка лежал на спине под толстым негнущимся покрывалом и упорно терпел, не открывая лица: сквозь стенные щели в сеновал пробрался целый хор тоскливо звенящего гнуса. Как же хорошо ночевать «на воздухе», пусть даже на остатках былой роскоши, пускай жестковатые объедки прошлогоднего сена пахнут трухой и мышами. Всё равно классно, особенно после бани, в которой они с дедом вчера выпаривали туготу перетруженных мышц. Конечно, ни фига себе, за два дня засадить сорок пять соток! У них дома-то огород только двадцать, поэтому и приходится досаживать картошку на дедовском. Сами родичи привязаны к работе и скотине, вот и порешили, что в этом году их с Олежеком будет вполне достаточно: мол, большие: один в седьмой перешёл, второй в пятый. Вот под эту «достаточность» и удалось выторговать новые бродни с накомарниками, мол — или таёжная рыбалка, или… никакого энтузиазма.

Дед грёб за лошадью отворотным плугом, Лёшка с бабкой забрасывали в борозду клубни, а Олежка заваливал. В качестве награды за трудовой подвиг уговорили деда подвезти их на телеге до края гривы. А оттуда они быстро доберутся на Карасье порыбачить. На три дня. И две ночи.

Лёшка лежал на неподъёмном белом тулупе, брошенном поверх палатки, которую они сегодня забирали с собой, и сквозь покрывало слушал, как психуют невидимые комары. Днём-то они пойдут в накомарниках. Вытребовали, и батя принёс от дяди Коли две брезентовые шляпы, обшитые по полям пропитанной дёгтем марлей.

И ещё очень хорошо, что дед мамин отец, а то с его фамилией можно б было застрелиться: Лихобаба. Как он сам-то в школу ходил? Или, может, у него

на родине в Запорожье такими не удивишь? Есть же и в их в классе Колоконь и Люлечко. Тоже хохлы, из бывших сосланных. Только у деда к тому же и имя непроизносимое: Филипп Никитич. Бабка, Нона Антоновна, когда, бывало, разозлится, так его и звала — «Хвилипок». А тот, при вроде как одинаковом росте, по весу в два раза её меньший, огрызался: «Опять Тонна загундорила». Ругались они каждый день с утра до послеобеда, вернее переругивались. Совершенно беззлобно, точнее, друг друга только подначивали. К ужину умирялись, и после дед, отчего-то всегда обильно потея за мелким рукоделием, предавался воспоминаниям и нравоучительным рассуждениям, а бабка поддакивала и подсказывала мелочи. Под хорошее настроение после обязательных двух эмалированных кружек браги дед надтреснутым вскриком мог неожиданно, вразрез теме, выдать и какую-нибудь частушку, которых знал немеряно. Он их в армии набрался, да и сам умел сочинить при случае:

— Бабы дуры, бабы дуры,
Бабы клюнутый народ.
Как увидят — летят куры,
Так стоят, разинув рот.

И заговорщицки подмигивал внукам на излишне громко скоблящую пригорелое дно бачка супружницу.

А иногда они на пару запевали затяжные хохлядские песни:

— Ой, вийду я за ворота,
Гуляю, гуляю.
Як біла лебёдочка
По тихім Дунаю.

На их памяти старики раз только серьёзно повздорили. Понятно, что бич всех, особенно малых, деревень пьянство, но тогда в Черемшанке кого-то из соседских провожали в армию, и потому гуляли просто вусмерть. Дед заявился домой утром невменяемым и, пока бабка в стайке кормила скотину, выдергой взломал сундук, в котором рядом со «смертными» сорочками, покрывалами и венчиками хранились многолитровые запасы черёмуховой и боярышниковой настоек. Сундук был бабкиным приданым, высокий, толстостенный, обитый накрест металлическими полосами и, главное, запирался музыкальным замком. Длинный ключ имел два гребешка, друг против друга со сдвигом. Сначала он вставлялся до середины, поворачивался на пол-оборота, потом вдвигался до конца и прокручивался ещё два раза. Повороты сопровождались тихим мелодичным звоном. Туда и обратно. «Динь, динь-динь-динь, динь-динь» — только маленькому Лёшке бабушка разрешала часами крутить его.

После дедовского проступка они месяц не разговаривали. Мать даже специально ездила их мирить. Это когда старики стали продавать корову, нешуточно порешив разводиться.

Прошлым июнем они с Олежеком также отбывали трудовую вахту. Отец с матерью в выходные покосили, а к понедельнику вернулись райцентр, оставив детей переворачивать и грести. Тут, на черемшанских еланях, их семья каждый год заготавливала пять возов для стариков и пять для себя, потому что с заливных лугов противоположного берега Оби скирды вывозились трактором только в конце декабря, когда лёд становился толще полутора метров. Но на лугах-то была благодать — и косили сенокосилками, и гребли конными граблями. Совхозными, за пару бутылок. И ещё на выдуваемых просторах не было ни комарика. Разве что пауты доставали.

Так вот, проводив бабу-Тонну домой доить и кормить скотину, «мужики» остались ночевать на делянке в балагане, заварив на ужин настоящий запорожский кулеш — пшенную жидкую кашу с кубиками лука и прикопчённого сала. Дед, за день вдосталь наруководившись внучатами, принял свои воняющие дрожжами «фронтовые-наркомовские» и, пришвыркивая со старой, изгрызенной берёзовой ложки, мечтательно понёс про давнюю молодость. Летние полупрозрачные сумерки, неохотно густеющие вокруг костра, переполнялись голосами перепелов, лягушек и кузнечиков. Из заросшей камышом старицы изредка подбякивал селезень кряквы. Костерок прогорал, и его последние алые, с золотыми искрами острые огоньки Олег для дыма то и дело придавливал свежей, обалденно пахнущей кошениной. Лёшка влез в балаган, зарылся поглубже в тряпьё и только чесался, не в силах заснуть от мошкары. Хотя глаза после ужина слипались, но слышал он тогда всё.

Дед вспоминал своё детство.

Их семья в том тридцать четвёртом бедовала особо, так как весной главу, Никиту Ивановича, забрали на шахту в Кузнецк. Мать осталась с пятью детьми и старой-престарой нянькой, дальней родственницей, которую сослали сюда в Сибирь с ними заодно. Зимовка же предстояла совсем аховая, поэтому, как только убрали огород, они все дни с рассвета до темноты проводили в тайге, в поисках любых заготовок. Дикую терпкую смородину без сахара варили сутками, но соль, правда, была, и поэтому на маринад и засолку грибы брали с июня, начиная маслятами, подосиновиками, моховиками и белыми и кончая подмороженными груздями, лисичками и опятами. В общем счёте, в Черемшанке тогда проживало восемь семей по пять-десять человек. Отпускаемая по квартальной норме мука обычно кончалась уже через две недели, и вместо хлеба все ели жмых кедровых орехов, отжатым маслом заправляя кашу. Это по праздникам, а по будням бульбу жарили на горьком пыжиковом. Так как все они были «спецпоселенцами», то ружей никому иметь не разрешалось. Силками же и слопцами дичи особо не наловишь, фитилями мужики брать карасей тогда ещё не научились, и от одной почти растительной пищи детвора постоянно бродила голодная: грибы, они хоть и вкусные, но слишком уж быстро проскакивали насквозь. А ещё от отсутствия оружия к

осени приключилась настоящая беда: обнаглевшие медведи в июле задрали обеих поселковых коров вместе с телятами. Вызванные из райцентра милиционеры попили неделю, постреляли из карабинов и винтовок по шишкам, набили телегу всё теми же грибами и орехами и укатили, «хищников не обнаружив».

Вернулись милиционеры в октябре.

В то утро дед, тогда тринадцатилетний Филиппок, в отросшей жёсткой отаве по дальней гриве собирал волнушки и рыжики. Туман к полудню так и не рассеялся, рыхлой мутью качаясь над вычесанными делянками, лишь ненадолго сбиваясь безначально-бесконечным мелким дождиком. Из пробредаемой белесой пелены наплывали почерневшие возки сена, прикрытые сверху срубленными макушками ржаволистых берёзок, корячились вчистую обклёванные дроздами, шипастые деревца боярышника, острились редкие прутики шиповника с жёсткими ярко оранжевыми ягодами. Края выкосов повдоль начинавшегося кочкарника обозначали мётлы конского щавеля и двухметровые зонты пересохшего дудника. Отупелый от пронизывающей сырости, дед не поднимая головы кругами прошаривал траву и неожиданно так и ткнулся в сидящего за стожком остяка. Вернее, не за, а в стожке. Из глубины подкопанного снизу, мокро-тёмного, ровно приглаженного граблями и дождём сена, вровень ему по росту блестели раскосые карие глаза. Секунду или две, не шевелясь, они молча прожигали друг друга, когда в тумане послышался шёпот и тихие множественные шаги. Филиппок знал, что вчерашним вечером в их посёлок опять приехали те же милиционеры-охотники, но усиленные бойцами комендатуры для проведения облавы на беглых. Шаги и голоса споро приближались. Филиппок быстро сбросил со спины плетёный тальниковый короб с собранными уже грибами под ноги, достав из-за пазухи платок, развернул горбушку, пропитанную кедровым маслом, и присел. Присел на слишком ярко зеленевшую нутряную траву, выбившуюся из серого понаружи стога. Чуть надкусив хлеб, он запел:

— Плавай, плавай, лебедонько,
По сіньому морю,
Рості, рості, тополенько,
Всі в гору, та в гору.

В него уткнулось сразу несколько стволов с пристёгнутыми штыками.

— Ты чего блеешь? — Высокий, худой, как кощей, офицер в новенькой синей НКВДэшной шинели засовывал наган назад в кобуру.

— Я так, дяденьку. Вмерз.

— Черемшанский?

— Та.

— Чего тут делаешь?

— Він, гріби шукаю.

— Грибы, это ладно. А никого разве не видел?

— Ні.

— «Ни, ни»,— передразнил Филиппка толстый, конопатый милиционер с пышными, до ушей усами. Из тех самых, что побоялись в прошлый раз пойти на медведя.— Он же, недобиток, кулацкого корня, даже кого увидит, не скажет.

— Так никого?

— Ні, не бачів.

— Знаешь, что бывает с пособниками контрреволюции? Если врёшь…

— Чуял, дяденько. А кого ж вы туточкі маете?

Офицер молча кивнул, и четыре штыка с маху стали прошивать стожок под разными углами. Филиппок скрючился, зажав голову руками и зажмурившись. Удар, удар, удар — глубоко, с выдохом. Осмотрев кончики штыков, облавщики, так же молча, редкой шеренгой последовали за уходящим в туман офицером. Только конопатый толстяк напоследок пнул короб, рассыпав ломкие волнушки.

Филиппок собрал все, до крошек, грибы, когда за спиной в стожке зашуршало. Раздвигая траву, изнутри медленно вывалился старый остяк в подпоясанном красном шабуре и осборенных, надшитых от колен тканью, кожаных черках. К груди он прижимал длинную берданку. Остяк присел на то место, на котором перед этим сидел Филиппок, и устало улыбнулся узкими серыми губами.

Дед домой прибежал быстро, но никому о встрече не рассказал, боялся, что младшие сестрёнки проболтают и навлекут беду. Облавщики прожили ещё три дня, под присмотром худого командира почти не пили и зубы держали на замке, но всё равно по посёлку втихую заболтали, что, мол, весной в низовьях Оби, на Казыме органы нашли какого-то шаманского идола. Чекисты окружили святилище и в перестрелке поубивали почти всех шаманов. Но кое-кому бежать удалось, вместе с этим идолом. Потом шаманов искали везде, пока возле Могочинского лесозавода чекисты не наткнулись на прячущихся остяков, которые сразу стали отстреливаться. В скором бою одного остяка убили, а другой скрылся. Стали искать шире, ну вот заодно прошарили и здесь.

А месяца через два, зимним утром выйдя из своей полуизбушки-полуземлянки, Филиппок увидел прислонённую к задней стене берданку и рядом кожаную сумку с десятком патронов. Затворное ружьё хоть и гладкоствольное, но из-за длинного ствола било точно, надёжно, шагов на сто. Из этой берданы, конечно не сам он, а его старший шестнадцатилетний друг, с которым они на пару выследили огромного лося, с двух выстрелов подстрелил и, загнав, через сутки завалил бородатого великана. Благодаря спрятанной под поленницей за огородами туше, поселенцы ту зиму пережили все. Добытого подростками лося взрослые поделили на едоков и съели полностью — с требухой, жилами и мелкими косточками. А шкуру и большие мослы пожгли в печах и рассеяли по огородам без остатков — чтобы в комендатуре вопросов не возникало.

Дальше Лёшка почти ничего не помнил, заснул, но после от Олежки слышал пересказ и хорошо представлял, что с тех пор на дальнем Карасьем озере поселился одинокий рыбак-остяк. Его видели, только когда он зимником приходил менять рыбу и шкурки на соль и табак. А потом и вовсе пропал. Наверное, умер. Ведь, если это тот самый, невыданный, так нынче и Филиппку-то стукнуло пятьдесят один. Совсем старый.

— Ты что, всё ещё спишь? Быстро подъём! Дед уже за лошадью пошёл.

Лёшка мгновенно скинул покрывало, вернее, его сдуло исходившими от Олега вихрями. Братья, в два счёта скатав и сложив палатку, побежали завтракать в пристроенную к дому летнюю кухню. Из-за непрестанной варки комбикормового пойла для свиней, уток и нутрий, кисло-горелая вонь пропитала всё настолько, что долго на кухне мог находиться только дед и мухи. Причём дед даже спал тут всё лето. Бр-р-р! По новенькому белому радио торжественно рассказывали о передовиках всесоюзной житницы Кубани, которые — ничего себе! — уже были готовы начать битву за свой урожай. Братья, наскоро, но старательно прожёвывая, поглощали завтрак начала лета: толстые, капающие подсолнечным маслом творожные лепёшки, яичницу с салом, солёные огурцы, зелёный лук, сметану, молоко и квас. Что-что, а бурчание в животе было обеспечено. Бабка исхлопоталась и изворчалась. Ну, как же: внучки добровольно на трое суток в тайгу пойдут, в этакое комарьё. Вот дурь! Дурь! Чёрте чё и сбоку бантик. На кой и кому эти их караси? И как они там готовить собираются, если на болотах-то и сушняка, поди, не нашукаешься? Поэтому насовала с полведра всякой всячины. Если бы не на телеге, то даже не представить, как такое бы унесли. И всё деда туркала, почто тот, шалапутный похвальбун, разрешил дитяткам этакую «аспедицую», леший её забодай.

И сама всё, нет-нет, да и погладит по головке Лёшку. Любимчик, хе-хе. Кохано дитятко. Лёшка понуро краснел от Олеговых ухмылок.

Телега, пока ехали по закатанной буграми глиняной коросте просёлка, просто все мозги вытрясла. И лишь когда за летней фермой, заросшая аптечной ромашкой и конотопом, колея вывела в разряженный, подбитый пышным ковром сныти листвяничник, они размякли. Настоявшийся дух влажно-утренней хвои, по-майски совсем светлой и мягкой, щекотался смолистой мятой. На шершавых растопыренных ветвях живица только что не капала из множества раскрывающихся мелких-мелких шишечек. Пузатый, медно-рыжий мерин на каждый свой равнодушный шаг, как игловодитель швейной машинки, кивал головой, отстрачивая ровный шов приближения к тайне. Тишина вокруг такая, словно в лесу и комаров нет, не то что каких-то птичек или зверья. Только постукивание копыт, поскрипывание заднего левого колеса и дедовский

прокуренный тенорок. Никто его за язык не тянул, но он сам, как по заказу, вышел на нужную тему:

— Вы, как просекой выйдете, так по правую руку поглядывайте затёсы. По им легко озеро обойти. Чтоб не по самому берегу — он топкий, гнилой. А с той стороны есть мысок, невысокинький, порос камышами, но в озеро крепко ведёт, надёжно. Опять же, по ему особо далече не надо, станьте на стрелке и кидайте удочки. Моё слово: в час по ведёрку вынимать будете. Но долго не стойте, вода ледяная, в резинках ноги враз застудите. Поэтому сначала на берегу разведите костерок. Порыбачили — разулись и погрелись. И опять. Я к тому, что не торопыжте, вначале палатку поставьте, заготовьтесь, а караси дождутся, они терпеливые. Место, где для палатки удобно, по кострищам увидите. И дров там вдосталь есть.

Прозрачный листвяник всё чаще прерывался островками остромакушечных тёмно-густых елей. Трава поредела, отступая перед голубовато-серыми и бурыми мшаниками. Сквозь губчато-белую пену сфагнума, то тут то там ворсистыми васильковыми колокольцами прокалывались медуницы. Мерин махал и махал, иногда подпорчивая воздух, и дорога всё дальше отдалялась от речки. Скоро уж и свороток на гриву. Справа пошёл багульник, за которым под мелкими болотными сосёнками невидимо цвели голубика и брусника.

— Только Малое-то Карасье ерундень. Если равнять с Большим, оно игрушка. Настоящая рыбалка на дальнем. Там и линь, и окунь просто огромадный. Только дураков нет туда ходить. Во-первых, далеко через болото тащиться, во-вторых… во-вторых, место проклято. Что, не верите? Не верите? Да стал бы я вас пугать, больно мне нужно.

Дед неожиданно поддал мерину концом вожжей. Потом снял с лоснящейся незагорелой лысины старую капроновую шляпу, обмахнулся.

— Но! Волчья сыть, совсем спишь. Однако ж, на Большее после войны вообще обсеклись ходить. Говорю: проклято оно. А может, что схоронено волшебное, колдовское. Тогда, в сорок, пожалуй, девятом, от нас двое сгинули. Взрослые мужики, отвоевали, дети у каждого. И с концами. Искали их, конечно, до самого Большого по следу искали. Но след-то до воды довёл и канул. С берега виден немалый серёдыш с елбаном, кедрачом поросший. Но его без обласка не взять, остров ровно-ровно посредине. Так, обошли по берегу и вертанулись.

— Дед, а «елбан» что такое?

— Горка по-местному. Навроде кургана.

Лёшка сам слышал, незачем было Олегу его в бок пихать.

— Дед, а почему решили, что там проклятие? Может, просто утонули.

— Может, оно и просто. Да только через десять лет там же топографы пострадали. Из Новосибирска. Оне на горке хотели знак ставить. Пирамиду. Лодку надули и поплыли. Бедолаги. Одного медведь сразу на острове задрал.

Потом нашли: обгрыз лицо и привалил сушняком. А другие двое в свою резинку-то успели сигануть, но перевернулись, вёсла и ружья потопили. Опять влезли и, без вёсел, ладошками выгребали. Их на болоте-то подобрали, спасли, а первого в запаянном цинке домой отправили. И про знак уже не заикались. Прокурор тогда шибко суетился, требовал облаву на медведя. Но нашенские мужики следок медвежий померили и отступились. Зверюга громадный, встанет — под три метра, с ружья такого не завалить. Винтарь нужен, или автомат. Подождали, подождали — не шалит, верно, ушёл куда. Забылось. Всё забывается. Только, ребятки, одно скажу: я в этих местах сорок лет живу, но ни лосей, ни медведей на зыбунах не встречал. Крупный зверь летом трясину обходит, никакой клюквой не заманишь. Нет, нечисто там.

— Дед, погоди, а тот остяк, что на озере жил, он что — никому не встречался?

— Таёжный человек. Сам, когда только захочет, покажется. Если, там, соль, спички или мука нужны, тогда выйдет. А как знать? Слухи в ухи. Мол, прячется, потому что шаман, а их тогда сразу в лагеря да тюрьмы загоняли. Суеверия выкорчёвывали. Однако сам я на Большом Карасьем ни разу не был и врать не могу. Но, молодцы-огурцы, по-любому, на Малом вы ни шаманов, ни медведей не должны бояться. Отсюда места жилые, а оттуда на болоте страшнее комара только мошка. И если в глаз попадёт, промывайте кипячёной водой, не вздумайте болотной — запухнет, хуже, чем от пчелы.

Вот и грива. Лесок отстал, и небо неожиданно высоко и широко просинело. В тёплом встречном ветерке, невесть откуда и куда, дергано летели желтоватые боярышницы, а над конской спиной и вокруг телеги заметались мелкие радужные стрекозки.

Лёшка спрыгнул и пошёл рядом по траве. И увидел, как метрах в пятидесяти перед ними дорогу перебегало семейство гоголей. Чёрная мама, заботливо подкряхтывая, быстро-быстро вела восьмерых чёрных малышей. Забавные, совсем маленькие, но на щёчках уже белые горошинки, всё как у больших. Гоголиха высидела птенцов где-то в заброшенном дупле, и теперь они бежали к озеру или речке. Счастливо! Лёшка загребал великоватыми, вывернутыми как у мушкетёра вниз раструбами, братовыми бродняками, и из-под ног дугами выстреливали крохотные зелёные кобылки. А одуванчики-то уже всё побелели! Откуда-то свысока жалобно прокричал канюк, и в ответ из вербы застрочила сорока. Сильно пахнуло мятой. Хорошо здесь, и ни на какое болото совсем не хочется. Только теперь поздно. К Олегу с такими мыслями лучше и близко не подходить, он уже с месяц просто как чокнутый. Ладно, посмотрим, вдруг да повезёт? Найдут клад, прославятся. Бате машину купят, деду… а что деду надо? Он даже мотоцикла не признаёт. Никакой техники, только лошади: он же и на войне в кавалерии служил. Казак-старшина, от Ростова до Берлина доскакал, а потом с японскими самураями в Китае рубился. Мама рассказывала, что, когда его в Манчжурии, на Малом Хингане взрывом контузило, он

перестал на хохлядском мовить. Как в госпитале очнулся, так с той поры только по-русски и разговаривает.

Варнацкая грива на конце расползлась полукруглой нисходящей логатиной, пересыпанной бледной желтизной уже расцветшей куриной слепоты. Всё, приехали. Дед прослабил коню хомут, вынул из зубов удила. Тот сразу набросился на овсюг и черемицу. Можно подумать, что всю ночь не пасся. Волчья сыть, травяной мешок. Расстелив на краю телеги платок, они расставили на нём заткнутые газетными пробками бутылки с молоком, выкатили крутые, потресканные яйца. Заранее порезанное прошлогодне-жёлтое сало и чёрный липкий хлеб дед дополнил крупными полукружьями лука и горчицей в жестяной баночке из-под вазелина. А вот чтобы есть рыбу перед рыбалкой — нельзя и думать!

— Ну, внучки-паучки, налетай. Жуйте, не теряя времени, и айдать. Лучше пораньше на месте обустроиться. Запомнил, Олега: первую старицу переходите справа, около той черёмухи. Вторую прямо посередь, а последняя мелка, её в бродняx везде возьмёте. Вон там, около борка, увидите выжженный молнией осокорь, а от него просека почти прямо и поведёт. Хитрого нет. Да и вы ж у меня ребята бравые, чай не в первый раз. Пущай моя Тонна погундосит, я прикрою. Бабское дело — ныть. А мужик лес знать должён, как дырки в своих карманах. Я вашими годами так же за грибом или клюквой сутками бродил, ночевал в балагане. Наберу белых — сушу, а моховиков сварю в соли. Потом же, когда шишковали, так в кедраче и вовсе неделями живали. Только на пользу для здоровья.

Олег уже бы и полетел, а Лёшка каждым куском давился. Сейчас дед развернётся, шлёпнет мерина вожжами и покатит домой. А они пойдут туда… не знаю куда. Хотя чего уж там «не знаю» — прямо в логово к Бабе Яге. Добровольно.

— Ну, ни пуха вам. Значит, две ночи перетокуете и домой. Послезавтра к вечеру я тут буду. Леха, брата слушайся. Ничего не забыли? А червей? Тогда, покедова!

До свиданья, до свиданья,
До свиданья три раза.
И ещё раз до свиданья,
Разлюбезные глаза…

Старый осокорь огромным дуплом напоминал пустую, выжженную внутри бочку. Больше половины его ветвей засохли, остальные обвисли, мелколиственными косицами упираясь в пахнущие прелиной хвощи. Лёшка, как упал навзничь, так и лежал не шевелясь. Вокруг в кустах никогда не плодоносящей, залепленной паутиной смородины обиженно ныли голодные комары. Хотя, в общем-то, протоки прошли легче, чем думалось. И погода была просто на пять: ровный ветерок гнал редкие облачка, не давая особо спариться.

Заодно сбивая в траву гнус. Но без накомарников всё равно бы их мошка заела. Как вот так хорошо лежать. Брезентовая энцефалитка постепенно остывала, холодя от земли замокшую под рюкзаком спину. Олег пошёл разведать просеку, а он тут наслаждался покоем. Да, погода чудо. Во второй старице они спугнули двух огненно-рыжих ондатр. Осенью бы сюда. С мелкокалиберкой. У соседа дяди Вани Селивандера-то есть.

Олег совсем одурел от восторга. Ломится через кусты, как лось. Так и сапоги порвать можно. Лёшка толчком вскочил навстречу, завалил за спину свой рюкзак, приготовил братов:

— Ну, чего там?

— Просеку хорошо видно. Есть немного мочажины, но не глубоко, пройдём. На, я посохи срубил, чтобы опираться. И выше голову, мой брат, ибо герои Валгаллы взирают на нас с завистью: «Вот едут Сигурд и Регин в пустынные горы к тропе, по которой Фафни ползал на водопой, и сказывают, что с тридцать локтей был тот камень, на котором лежал он у воды, когда пил».

На озеро они наткнулись совсем неожиданно. Под ногами захлюпала ржавая жижа, тальник проредел и склонившееся к горизонту покрасневшее солнце заиграло в огромном блюдце. Ничего себе «Малое»! А какое же тогда Большое? Берег действительно был ужас каким топким. Но справа на закосившейся ели спасительно рыжел застывшей живицей заруб. Дальше ещё один. Тяжело выдёргивая сапоги из липучей холодной грязи, они почавкали в обход: час огибать, не меньше, а ещё палатку ставить, сушняк собирать. Так что едва ли до темна управятся. Рыбачить сегодня не будут — нужно бабкино подъесть, чего таскать-то.

Костерок на полянке перед входом в палатку развели небольшой. Навесили казанок, в кипящую воду сунули смородиновую зелень. Красота. Баба-Тонна положила им здоровенные куски картофельного с печёнкой пирога. И слипшиеся перемасленные блины. Сначала казалось, что всё сметётся за две минуты, но сытость наступила как-то неправильно рано, а за ней подкрались сонливость и безмыслие. Ну, чего уж, отмахали сегодня немало. Озеро потухло вместе с закатом и закурилось серой шёрсткой испарений. Надо же, за всё это время ни одного всплеска. Как масло. Значит, действительно, кроме карася, в нём ничего нет. Слева и справа от их мыска в зарослях зацветающей крушины равномерно потрескивали чирки. Совсем стемнело. В свете костра пару раз бесшумно крутанулась маленькая совка. Сполоснув кружки, Олег отправил Лёшку в палатку бить комаров, а сам уселся у костра перерисовывать карту.

Аккуратно застегнувшись, с помощью фонаря проверив швы и углы, Лёшка добил последнюю гнусавую тварь и лег на свою сторону. За брезентовой стенкой творилось что-то невообразимое: тысячи серых, белесых и рыжих насекомых, толкая друг друга, искали малейшую щель, чтобы ворваться в осаждаемое тепло, в котором так вкусно пахло пищей, необходимой для созревания миллионов яиц. Из которых, в свою очередь, вылупившиеся

следующие тысячи тысяч будут атаковать всех без разбору теплокровных, чтобы жить, жить, жить. Зачем? В головах рюкзак, а у входа в ногах, около сапог, лежал пугач. Олег со своим сторожил у костра. От кого? Кроме чирков, ни звука. В самом деле, а отчего в озере ничего не плещет?

«В тридевятом царстве, тридесятом государстве, за огненною рекою, за чёрною горою, в дремучем лесу живет Баба Яга…» «Подошёл Иван Царевич: стоит избушка Бабы Яги, кругом двенадцать шестов, на одиннадцати шестах по человеческой голове, только один не занятый…» Зачем люди своим детям на ночь сказки читают? Так вот насмерть запоминаются.

Вечером баба Тонна прямо-таки изводилась: «Ну, куда вы, да, куда?» Как будто чуяла, что внуки врут про рыбалку. «А родители-то, чай ли, знают? Три дня в тайге, три дня. И чего? Отпустили? Вестимо, оне ж у вас безголовые, отродясь о детях не печалятся. И какая вам рыба? Она ж вся в Оби. А тут одне головастики». И так, охая и постанывая, всё подставляла на стол и подставляла. В конце концов, даже варёную свёклу зачем-то вывалила. Как будто её буряк кто-то когда-то кроме неё ел. Дед аж в ладошки хлопнул: «Ты что, старая, боишься, что заблудят? Хочешь, чтоб оне под кажным кустом дорогу метили, а потом по запаху возвращалися?» И хохотали все, кроме бабы Тонны, до слёз. И Лёшка укатывался. Прямо, как крупный заголовок в их районной газете: «Удобрений будет больше!»

«…на одиннадцати шестах по человеческой голове, только один не занятый…»

И чего там Олежек застрял? Шёл бы спать. Вдвоём-то не так страшно.

Мыс, вдававшийся в озеро, с обратного своего конца увалом, поросшим мелким ельником, уводил в глубину бескрайнего зыбучего болота. Тёмный елач посреди серебрящихся ив и тальников смотрелся холкой залёгшего неведомого зверя. Так как всё равно иного пути не представлялось, то, наскоро по холодному позавтракав, через хрустко-цепучую прошлогоднюю череду они двинулись в ельник, косо уводящий в неизвестность. Мёртвые нижние ветки, цепляясь, пружинили и с сухим треском отлетали в стороны. От их шума где-то впереди бежала семейка рябков. Цыплята, едва начавшие обрастать пёрышками на спине и крылышках, молотили ножками, не отставая от чуть подквахтывающей мамаши, но увал был узким, свернуть некуда, а страшные незнакомцы топали и трещали всё ближе и ближе. Наконец, мать подала сигнал, и малыши попадали кто куда, бездыханно замерев. А сама она, растопырив якобы сломанное крыло, демонстративно постанывая, свернула в кочкарник. Ага, будет за ней кто-то гоняться. Лёшка на секунду присел над мёртво лежащим под трёхлистником волчка цыплёнком –серым с рыжими и чёрными пятнышками. Подождал. Прозрачное веко чуть-чуть приспустилось, но тут же вновь схлопнулось. Ну-ну, артист. А вот гоголята просто убегали.

Через два часа стрелка расползлась и сравнялась с общим займищем. Леха заглянул в лицо Олегу: теперь-то куда? Пот под накомарником заливал глаза, щипал губы, а спина, подмышки и промежность давно уже липли и тёрлись. Они скинули рюкзаки и, облокотясь на посошки, отдыхивались. Проклятая мошка всё время пробиралась под сетку и в рукава и выгрызала кусочки кожи даже на груди. А ведь вчера дед жирно подмазал им шляпы и запястья свежим дёгтем. Ничего-то она, тварь, не боится. И ветерок куда-то пропал. Осмотревшись, Олег прочертил путь по краю кочкарника, мимо зыбунной логатины, яро зеленевшей мелкой болотницей и рогозом по тонкой плёнке плавучего торфа. Кроме огромных, под грудь, кочек, край зыбуна отмечался редкой цепочкой почти лысых осинок и хилых кустиков ивняка. Значит, там есть, за что корешкам зацепиться. Но всё равно для начала необходимо было пробрести широкий ржавец. Двинули? Двинули. И неужели без цитаты из какой-нибудь саги? Олег первым шагнул в чёрно-маслянистую жидкость, пузырящуюся ржавчиной размытых железистых накоплений торфа. Ага, чуть выше колен. Он осторожно, протыкивая перед собой посошком, двинулся к кочкам. Лёшка сошёл за ним, но в стороне: по болоту нельзя идти след в след.

Ещё через два часа они увидели маленький плавучий островок. На нём, посреди открытой воды толклись несколько осинок, кустик краснотала и две разновеликие ёлки. Островок — это же здорово. Он, конечно, не настоящий и под весом начнёт тонуть, но отдохнуть они успеют. Пришлось покинуть надёжный кочкарник и опять спускаться в воду. Оп-па! Торф под ногами тихо колыхнулся, зло причмокнув справа и слева фонтанчиками в невидимых окошках. Олег с силой побил посошком. Держит. А что колышется, так это знакомо. Они же с пацанами специально ходили раньше на таком зыбуне качаться. Взявшись за руки по кругу, человек десять начинали разом приседать и выпрямляться. Весело было. Сейчас, правда, не очень.

Лёшка полегче, торф на него почти не реагировал, но непрозрачная ледяная вода поднималась всё выше и выше. Вот-вот зальёт через раструбы. Шаг, шаг, ещё шаг. Почти и суша. Но именно в этот момент его посошок беспрепятственно унырнул в неведомую глубину. Окно! Лёшка вскрикнул, и с островка, несколько раз тяжело ударив широкими крыльями, взлетела сероспинная цапля. Закосив узкую, хохлатую голову, она не сразу набрала высоту, некоторое время неловко цепляя желтоватыми ногами воду. Но наконец-то поднялась, сложила тёмную шею и размашисто полетела: «Крянк, крянк». От увиденного чуда страх пропал. Подумаешь, окно, можно и обойти.

Они лежали, вперемежку кусая остатки пирога и жёсткие солёные огурцы. Олег шевелил пальцами в сохнущих носках:

— А ты гнездо её никогда не находил?

— Никогда. Я её, вообще, второй раз вижу. И ещё так близко.

— Дремала.

Лёшка тоже разулся и блаженствовал. Под спиной сплошные переплетения корней. Так вот, держась друг за дружку, деревьица и создали островок. Весной, в разлив талых вод, он плавает, гонимый ветрами к югу. Да, сейчас бы этого ветерка. Чтоб накомарник, хоть ненадолго, скинуть. Всё ничего, но тенёк хилый.

— Олег, а куда мы теперь?

— Куд-куда!

— Нет, правда?

Впереди кочкарник, как дорога перед витязем, развилялся на три стороны.

— Учись у старших: цапля куда полетела?

— Ну, от нас… А! На воду!

— Правильно. Малое Карасье — там, а она…

— Она — туда потянула!

— Опять правильно. Какой ты, Лёха-малёха, умный. Но медленный. Двинули.

Лежали-то всего ничего, а островок уменьшился вполовину.

И опять Лёшка тупо перетаскивал ноги почти вслед за Олегом. Благо, что всё-таки чуток задуло. Можно было иногда откидывать вонючую дегтярную сетку и подсушивать распухшее чешущееся лицо. Неужели цапля уже на месте? Хорошо ей с крыльями. Куда хочу, туда лечу. А его рюкзак тяжелел, как заколдованный. И как ни старался, но всё же начерпал воды. Теперь идти было совсем туго. Грязь при каждом шаге противно шваркала между пальцев, носки сбились, и великоватые братовы бродни никак не хотели поспевать за ним.

Олег успел оторваться и теперь поджидал его у ивовых зарослей. Лёшка рванул ногу из последних сил и упал. Только этого и не хватало! Лицо, грудь, живот, руки по локти ушли в жирную холоднючую жижу. Подбежавший Олег стянул с него рюкзак, подставил плечо, а главное, ничего не комментировал, пока Лёшка вытаскивал проклятый сапог и вытрясал накомарник. Всё, нет никаких сил больше. Вода стекала по брезентовой куртке, оставляя бурые и зелёные разводы. Всё. Нет сил.

— Лёх, ты чё? Не плачь. Давай до куста доберёмся.

А Лёшка никак не мог остановить рыдания.

— Там, на иве, почистишься. Солнце светит — ты быстро высохнешь. Это я, дурак, виноват, погнал на скорость. Прости, Лёх? А?

Лёшка махнул рукой и, придерживая нахлёбанные бродни руками, зло пошагал к кусту. Без посошка. И пусть торф колышется. Плевать.

— Лёшк, а анекдот хочешь? Крокодил Гена и Чебурашка идут по улице. Гена купил пирожки, ест, а Чебурашка просит: «Дай, дай!» Гена не дает: «Ты чавкать будешь!» Чебурашка всё просит и просит. Тогда Гена говорит: «Ладно, бери, но если хоть раз чавкнешь, я тебя наизнанку выверну!» Идут дальше, Чебурашка: «Чав, чав, чав!» А потом вдруг: «Вяч, вяч, вяч».

— И не смешно.

Он по очереди сливал из сапог воду, полоскал ноги, отжимал и натягивал носки. Всхлипы били всё реже, но настроение не прояснялось. Обидно. Да, просто обидно. Ни на кого и ни на что. Просто. Кусками капроновой верёвки заново подвязал бродни к брючному поясу, смятыми листьями соскрёб грязь с груди и живота, ополоснул рукава, грудь, сетку. Олег терпеливо молчал. Потом навалил оба рюкзака:

— Подержи. Пока.

Скинув накомарник, Олег полез на иву. Три-четыре её стволика веером торчали в разные стороны, тонкие прутья заламывались, гнулись с тихим треском, пружинно уходили из-под него, но он всё же приподнялся на пару метров. Покачиваясь, осторожно отпустил руки, разогнувшись, привстал.

Ветерок крепчал, выгоняя навстречу мелкие барашки серых облачков, даже посвистывал в ивовых прядях. Ну вот, то припекало, как в духовке, а теперь помочит.

— Есть! Есть. Материк. Ура! Лёшка, там — лес! Лес!

Ура! Ура! Ура! Они кричали, кричали и наполнялись силами. Ура! Там конец болота! Лес, если и он тоже мокрый, то это уже всё равно ерунда. Лишь бы не трясина. Распутавшись, где чей рюкзак, споро двинули по правому валу. Если, конечно, эту пупырчатую спину подзатонувшего километрового крокодила можно было бы назвать валом. Через полчаса лавирования от кочки к кочке Лёшка и сам увидел на фоне блеклого неба маяк — старую, с шатрообразной кроной, лиственницу.

4.

Ледник отпустил широту ильменьско-волховских земель примерно в X тысячелетии до нашей эры, а в VIII тысячелетии здесь запылали первые кострища стоянок и поселений. На медлительно затягиваемые лишайниками и мхами, низкими травами и, не ищущими корнями глубины, елями, на раздавленные и выглаженные многотонным прессом, сплошь каменные долины с тысячами мелких, прозрачных, почти безрыбных озёр люди пришли с запада. Аренсбургская палеолитическая культура охотников на северного оленя зародилась на территории нынешних Дании, Нидерландов и Северной Германии, и вслед за отступающим ледником по расширяющимся ягелевым пастбищам начала расселяться в двух направлениях — на северо-запад и северо-восток, огибая нетающую линзу Балтийского моря. Параллельный поток колонистов принадлежал свидерской культуре, оформившейся в X–IX тысячелетиях до нашей эры на территории будущих Польши, Белоруссии и Литвы и во многом родственной аренсбургской. Столетиями направленно двигаясь на северо-восток, свидерцы обжили поросшую молодыми лесами Валдайскую возвышенность и запад Волго-Окского междуречья.

В последующем племена индоевропейцев дошли до бассейнов рек Сухона и Печора.

Невозможно точно определить время появления на севере Русской равнины уральцев. Согласно археологическим свидетельствам, в Восточной Европе, за исключением таежной зоны, племена финно-угорской группы языков появляются довольно поздно. По крайней мере, к берегам Балтики они выходят не раньше второй половины последнего тысячелетия до нашей эры. В более южных районах угры останавливаются на левом берегу Волги, и только по Оке, да в районе Саратова и Пензы, им удалось несколько вклиниться в монолитный массив индоевропейцев.

Закавказье, Двуречье… Архипелаг, Капитолийский холм и дельта Нила… А что мы знаем о севере, и, тем более, о северо-востоке Европы, где события и судьбы народов и героев творили Историю с не меньшей страстностью и провидением? Кто, с кем и как здесь сталкивался, неразрывно сплетался, уступал или побеждал в вечной череде смертей и зарождений? Кто и как?

Тацит писал: «Что касается правого побережья Свебского моря, то здесь им омываются земли, на которых живут племена айстиев, обычаи и облик которых такие же, как у свебов, а язык ближе к британскому. Эстии поклоняются праматери богов и как отличительный знак своего культа носят при себе изображения вепрей; они им заменяют оружие и оберегают почитающих богиню даже в гуще врагов».

Язык, близкий британскому, являлся языком кельтов.

Народ, который греки именовали кельтами, а римляне — галлами, был одним из представителей древнейшей семьи индоевропейских народов, обитавших по всей Европе. Рассеянный на протяжении бескрайних лесных пространств от Скандинавии с севера до Малой Азии к югу и от Пиреней на западе до Карпат на востоке, без дорог и крупных городов, он имел удивительно единообразный быт, одинаковые верования и восприятие мира, и создал собственную оригинальную цивилизацию. Расцвет его культуры относится ко второй половине I тысячелетия до нашей эры.

А далее кельтская цивилизация под ударами римских легионов вроде бы гибнет. Центральную Европу до Балтики подчинили себе сначала славяне, а потом германцы. Также был славянизирован и юго-восток Европы с Балканским полуостровом, за исключением островков латинской Румынии и Трансильвании, захваченной аттильскими уграми. Однако только внешне покорённые пришлыми завоевателями, оставаясь неизменным коренным населением, кельты нигде не растворялись бесследно. Со своим языком, фольклором, преданиями и художественными традициями они открыто сохранились в Ирландии, Шотландии, Уэльсе, во французской Бретани и до наших дней. Да и в остальных местах под покровом латинизмов, германизмов и славянизмов продолжил жизнь мощный пласт древней топонимики в кельтских названиях рек, озер, ручьев, городов, лесов, урочищ, гор. А в архитектуре, произведениях

живописи и музыки, на площадях, на стенах и внутри храмов новых разноязыких городов продолжали виться бестиарные предания древнего подсознательного.

В кельтских языках находили себе объяснение имена первых русских князей и их дружинников из поморских славян и литовцев, через них же расшифровывались названия днепровских порогов. А. А. Шахматов называл кельтскими слова: «слуга», «тать», «отец», «щит», «вал», «бояре». Даже денежная единица Древней Руси «куна» находила соответствие в кельтской серебряной монете «кунос» и в кельтском «гуна» — шкура, поскольку известно, что на Руси в качестве денежных знаков использовались связки старых беличьих шкурок.

Если местом формирования германской общности всеми признаются южные области Ютландского полуострова и прилегающие к нему районы Саксонии, то о прародине славян наиболее обоснованным является мнение, что это земли между реками Вислой и Одрой. И уже с самого момента своего появления славяне предстают разделёнными: позднеантичными авторами они определялись «венедами» и «склавенами». Первоначально венеды занимали земли Северной Польши, а в VI–VII веках начали движение на запад. Местом обитания склавен были области, примыкавшие к Карпатам, и основным направлением их расселения стали Балканы и Северное Причерноморье. Находка берестяных грамот лингвистически подтвердила предположение о принципиально раннем делении славянства на северную и южную ветви, предшествовавшем их разделению на западную, восточную и южную. Обратное слияние стало возможным лишь с принятием ими христианства, подарившего через святых братьев Кирилла и Мефодия единый для всех славянских племён священный язык.

Естественное взаимопритяжение двух славянских потоков, с севера и юга двигавшихся к востоку, навстречу уграм и тюркам, стало основным залогом существования военно-торгового пути «из варяг в греки», связавшего цивилизации Балтики и Малой Азии. О том, что «варяги» не скандинавы, а балтийские славяне, в частности вагры и рюгенские русы, писали М. Ломоносов, Ю. Венелип, П. Шафарик, Ф. Крузе, Ф. Морошкин, И. Боричевский, С. Гедеонов, И. Забелин, В. Вилинбахов и многие другие. Литовский митрополит Спиридон-Савва в конце XV века в своём трактате указывал, что Рюрик явился в Новгород из южно-балтийского Привисленья, где германские хронисты и арабские географы помещали «Русию». Сигизмунд Герберштейн, дважды посетивший Россию в первой четверти XVI века, оставил «Записки о московитских делах», в которых заметил, что балтийские славяне именовали свое море «Варецким», то есть «Варяжским».

Но по Днепру путь «из варяг» установился только в IX веке, а ранее скандинавы и персы под покровительством русов пользовали более дальний маршрут по Волге и через Каспий, а главное, что с конечным пунктом не в

«греках», а в Багдаде: в шведских кладах VIII–IX веков арабских монет много больше, чем византийских. Но под давлением всё прибывавших угров Великий восточный путь вынужденно переориентировался на Византию. И так Киевским узлом скрестились величайшая степная линия Восток–Запад с важнейшей речной поперечиной Север–Юг. Скрестились пути Евразии и закрепились принятием Русью православия.

Датский документ XIII века так описывал балтийский отрезок «восточного пути»: через Финский залив, по Неве, Ладожскому озеру, и далее одно направление шло к Новгороду на Волхове, а потом через Ильмень, Мсту и ряд волоков к верховьям Волги, к Тверцу. Другое ответвление вело по порожистой Свири в Онежское озеро, к устью Вытегры, затем по волокам в мелководное Белое озеро, откуда по Шексне выводило в Волгу в районе Ярославля. Торговля в те времена не отделялась от войны, и русы не селились среди угорских народов, обитавших по берегам Средней Волги. Да и на Верхней Волге их поселения и могильники располагались только на «своём» правом берегу. Одним из первых в верховьях Западной Двины возникло русское Полоцкое княжество — начало, а также генеалогия первых правителей до сих пор остаются некоторой загадкой для историков: полоцкие князья не были Рюриковичами.

По всему Восточному пути возле Белого озера, Ярославля, возле Рязани на Оке, под Ростовом до сих пор находят клады восточных и европейских вещей, поселения и курганы. Под многочисленными курганными насыпями исследователям открываются погребения воинов и купцов с оружием и неизменными принадлежностями тогдашней торговли: весами, гирьками и монетами. Клады арабского серебра, исчисляемого сотнями тысяч штук дирхем и десятками килограммов, найдены на берегах Волги, Оки, на их притоках, вдоль рек Новгородской земли, возле Старой Ладоги, по Западной Двине, на землях всей Восточной Прибалтики, особенно много в Эстонии и Финляндии. Еще больше таких кладов на Аландских островах, на островах Готланд и Борнхольм, в прибрежной Швеции. Но подавляющее количество этого серебряного богатства приходится на земли древнего славянского Поморья, где были расположены города Волин, Колобжег, Гданьск, Трусо, а также на знаменитый остров Рюген, в священном городе Арконе которого находилось центральное святилище балтийских славян — храм Святовита. Ругии, обитатели острова Рюгена, по-видимому, и есть те самые русы, которых Ибн Фадлан встретил и описал на Волге: «Я не видел людей с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом. У них мужчина носит плащ, который прикрывает у него один бок, так что одна из рук свободна. И при каждом из них есть топор, меч и нож, и со всем этим он никогда не расстается. Мечи их плоские, бороздчатые, франкские. И тело иного у них от края ногтей до шеи покрыто изображениями деревьев, животных и людей. Что же касается женщин, то у каждой на груди висит коробочка из

железа, серебра или меди, в зависимости от богатства их мужей, и у каждой нож, висящий на кольце. На шее у них монисты из золота и серебра… а также из бус…».

Найденные на Восточном пути арабские дирхемы отмечены процарапанными знаками древнекельтских рун, как и индийские шахматные фигурки, в которые викинги играли с таким азартом, что проигрывались донага, а стеклянные пастовые и сердоликовые бусы Передней Азии пересыпаны излюбленными скандинавами амулетами «молоточками Тора». Но вместе с археологическими находками живой материал о Великом восточном пути оставили саги. В сагах встречаем и первую информацию о загадочной стране Биармии. Эта страна лежала рядом с Великим Восточным путём и своими сказочными богатствами просто магнитила алчных воинов-торговцев.

Согласно Снорри Стурлусону, создателю «Младшей Эдды» и «Хеймскринглы», первым в 916 году в «стране бьярмов» побывал сын Харальда Харфагра Эйрик, по прозвищу Кровавая Секира. Снорри писал: «Он отправился на север в Финнмерк и дальше в страну бьярмов, где произошла большая битва, в которой он одержал победу». Вторым конунгом, попавшим в Биармию в 965 году, был его сын Харальд Серая Шкура: «Однажды летом он поплыл со своим войском на север в страну бьярмов, совершал там набеги и дал большую битву бьярмам на берегах Вины… Об этом говорит Глум сын Гейри». Третье, последнее и самое обстоятельное свидетельство у Снорри, это сага о Торире Собаке, вернее, рассказ о том, где и каким образом Торир Собака начал свою месть за племянника Асбьерна Тюленя.

Объединившая северных и южных славян, а затем и попавших в зону их влияния финно-угров византийская христианская традиция гармонично наложилась на традицию более древнюю, которая присутствовала как в основе местного календаря, так и в принципах национального мировоззрения. Весь комплекс нового религиозного символизма и ритуализма соответствовал логике более старых культов, которые были не отменены, но преображены христианством в новом синтетическом мифе. В противном случае крещение Руси не могло бы произойти столь гармонично и легко. В православие изначально крестились и кельты Бретани, Ирландии и Скандинавии. Англосаксы были православными до 1066 года, когда Вильгельм Завоеватель, разбив войско последнего саксонского короля Гарольда, ввел католичество. Вся родня Гарольда была перебита, кроме дочери Гиты, которой удалось бежать в Киев, где она стала женой Владимира Мономаха. Их сын Гюрге-Юрий основал городок Москву.

География Русского Севера всегда имела сакральное значение. Этому служил комплекс арийских мифологических представлений, именуемый «основным мифом». В центре мифа — устроение этого мира как результат

поединка между Небесным богом-громовержцем и Мировым змеем, владыкой подземного мира. В славянской редакции этого мифа противники носят имена Перуна и Велеса. С древнейших времен обитатели Русского Севера ассоциировали верхний мир с озером Ильмень (от финского *Ilmeri* — «небо, воздушное пространство, небесные силы»), а нижний — с Ладожским озером, прежде всего с Валаамским архипелагом (финское *Valimaa* — «земля Велеса»). Верхний и Нижний миры связывала река Волхов (волхв — жрец, посредник между мирами). Таким образом, Новгород находился в Среднем мире людей (Midgard). Местом поединка Громовержца со Змеем являлись волховские пороги, а пораженный молнией Змей превращался в камень.

Ещё одна интересная деталь: в низовьях Волхова у Ладоги есть возвышенность Велеша. Здесь находилось святилище Велеса — бога мира мертвых, скота, богатства и… поэзии! Недавние археологические находки свидетельствуют о том, что как раз Приладожье в ранний период своей истории являлось одним из центров развития рунической письменности и дружинной поэзии викингов. На найденном здесь деревянном стержне первой половины IX века руническая надпись является «щитовой драпой» — скальдической песней, описывающей мифологическое изображение на щите. Висы и драпы были священными песнями-заклинаниями, исполнение которых скальдами гуслярами-волхвами открывало воспеваемому в них герою путь в Валгаллу, в бессмертие славных. Поэтому за строку висы или драпы викинг готов был отправиться на край света, в обитель ледяных великанов, в царство мертвых. Желание быть воспетым в священных стихах заставляло викинга на годы покидать родимый край, гнало в неведомое море, бросало сражаться с первым встречным. Поэтому ученый араб Марвази, живший на рубеже XI–XII веков, писал об обитателях побережий Балтики: «За страною Йура находятся береговые люди; они плавают в море без нужды и без цели, а лишь для прославления самих себя, что вот, мол, они достигли такого-то и такого-то места. Они люди, находящиеся на крайней степени глупости и невежества. Вот едут они на кораблях по морю, и вот встретились два корабля. Привязывают их обоих моряки один к другому, обнажают мечи и сражаются. Кто остался победителем, тому и владеть обоими кораблями».

И этой же магической песни «князю славы, а дружине чести» гусляра-волхва Баяна для обретения языческого бессмертия среди вечно пирующих героев Перуна-Одина искал себе в походе к половцам князь Игорь в русском «Слове о полку»… Затмение солнца — его отступление от христианства.

В Подмосковье в культурном слое XII–XIII веков найден серебряный медальон диаметром четыре сантиметра, на одной стороне которого изображена сцена крещения Спасителя Иоанном Крестителем, а с другой стороны — змееногая женщина. Подобные медальоны называются змеевиками; археологи считают, что они пришли на Русь из Византии и представляют малоазиатское

суеверие, пересаженное на местную почву: змееногая дева — это демон, от которого медальон и призван защитить с помощью крестной силы христианского образа. Совмещение христианских и языческих символов ученые относят к разряду признаков, свидетельствующих о мирном сочетании в домонгольской Руси языческого и христианского верований. Впрочем, не исключено, что женщина-змея — это Великая Праматерь скифов, ибо наткнуться на змееногую женщину можно в самых неожиданных местах.

Изображение женщины с двумя или большим числом змей вместо ног археологи часто встречают именно в скифских курганах. Согласно греческой мифологии, и сами-то скифы произошли от союза змеедевы Ехидны с героем Гераклом. Сегодня не требует доказательств, что изначально общая зооморфность древнейших языческих богов со временем трансформируется в антропоморфные образы поздних пантеонов. Поэтапно змея становится, змеедевой, затем змееногой и далее просто одноногой или хромой представительницей всё того же тёмного, холодного, злого мира. Этот признак ущербности или неестественности нижних конечностей универсален для всех пантеистических религий Земли, на всех её континентах. Кстати, женщина со змеиным хвостом вместо ног выбита на скале Бесов Нос, что на берегу Онежского озера, более пяти тысяч лет назад. Аналогичные наскальные изображения встречаются на Кольском полуострове.

Самые распространённые и знакомые всем нам с детства бывшие змееногие персонажи — это Баба Яга и русалки. Возвращаясь к Праматери скифов, стоит упомянуть, что ее образ очень глубоко вошел в культуру Руси: стилизованное изображение змееногой женщины, схожей с той, что представлена на найденном змеевике, есть почти на любой русской вышивке. Возможно, обильное присутствие змееногих женщин в нашей культуре связано с тем, что в языческом прошлом и наша Баба Яга была не ужасной сказочной злодейкой, а Матерью рода, подвергавшей юношей испытаниям инициации.

А ещё в старом русском языке слова *яга*, *ягая*, *ягинична* обозначали одежду из шкуры жеребенка или иную, но обязательно шерстью наружу. В мифологии славян это непременный атрибут костюма волшебника из подземного мира, нежити или нечисти. Глагол *ягать* означал браниться, шуметь, бушевать. Кстати, сходный персонаж есть в мифологии многих славянских народов: поляков, чехов, сербов. Здесь такую волшебницу зовут *Едзя* — лесная старуха.

Заплакал братец Иванушка: «Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезати!» А это сохранилось старинное любовное заклятие: «Помолюся я, поклонюся Бабе Яге и ее дочерям. Ой, еси, вы, яги-бабовы дочки, присушите её ко мне, доброму молодцу. Вы метлами все следы заметите, клюками пути застучите, огонь в печах медных

разожгите, чтоб пеклась так обо мне и калилась ее любовь, как медная печь огненная».

Муки-смерть и любовь-плодородие. Словно две разные Яги. Первая Яга — мучительница, которая, выкравши сама или застав юного героя в своей избушке, вырезает у него из спины ремень и самого пытается изжарить, сожрать. А вторая Яга — дарительница, от которой герой получает волшебных помощников.

Эти образы Яги объясняются двумя типами инициации. Первый тип — посвящение, общеобязательный обряд родового строя, через который юноша, при наступлении половой зрелости, полноправно вводится в родовое объединение, приобретая право на брак. Дж. Фрэзер в «Золотой ветви» выдвинул теорию, согласно которой во время инициации из посвящаемого вынималась душа и передавалась тотемному животному. Вот почему яговская избушка на курьих ножках и двери у неё как пасть. Предполагалось, что во время обряда мальчик умирал и воскресал новым человеком. Он как бы проглатывался животным и, пробыв в желудке, извергался. Обряд совершался обязательно в глубине леса и сопровождался телесными истязаниями и повреждениями. Другая форма временной смерти могла выражаться тем, что мальчика символически изрубали на куски, варили, жарили и вновь воскрешали.

Но иногда избушка посещалась уже взрослым юношей, призванным духами, но ещё не посвящённым жрецом-шаманом. Именно такого героя встречает вторая Яга — дарительница трансцендентных даров. Здесь нет физических пыток, тут испытывается истинный ли он избранник. Дверь избушки — пасть чудовища, вход в чрево смерти, и, чтобы своей волей попасть внутрь, живой должен знать магическое заклинание. В 127-й главе египетской «Книги мертвых» говорится: «Мы не пропустим тебя,— говорят запоры этой двери,— пока ты не скажешь нам нашего имени». Если перед дверями избранник, знающий, зачем он стоит перед глухой стеной без окон, без дверей, он смело кличет: «Стань к лесу задом!»

Избушка подчиняется закликанию, но тут сама Яга вдруг разрастается, заполняя собой всё её внутреннее пространство, упираясь носом в потолок, ногами под печь, а титьками до «грядок». Она сама смерть, и пытается заговорить с героем на сакральном языке предков: «Гой, еси, дело ль пытаешь»? Но живые не владеют словами мёртвых, отвечать нечего, и для временной смерти герой проходит предпогребальное омовение: «Сначала в баньке попарь». А затем причащается жертвенного с собственной поминальной тризны: «Напои-накорми». Египетский материал объясняет, почему сперва надо есть, а потом только можно говорить: еда отверзает уста умершего. Точно так же в Индии, где место сожжения, как правило, расположено у воды и тело вместе с носилками окунают в воду, совершая последнее ритуальное омовение, а затем покойного укладывают на погребальный костер и раздают ритуальную еду, часть бросая духам, а часть символически поднося усопшему.

Смыв живое и вкусив мёртвое, посвящаемый свободно беседует с Бабой Ягой и этим доказывает свою жреческую истинность, за что получает в награду волшебных помощников: клубочек, меч, летающего коня. Или жену. Впрочем, А. Потебня, считавший Ягу, Мору и Морену олицетворением в славянской мифологии зимы и смерти, указывал на постоянную связь в сказках «невеста–лошадь». Сама ли Яга превращается в лошадь или превращает своих дочерей, но «упасти кобылку» означало одно: взять в жёны.

Так Баба-Яга через русские сказки поведала о своих двух функциях: обеспечении посвящения тотему всех подрастающих мальчиков для физического продолжения рода и определении истинности жреческого призвания избранных для связи с миром умерших предков. Есть, конечно, ещё и особая разновидность жреческой инициации — возведение будущего князя в самого тотемного зверя. Например, превращение всё того же Игоря в «босого волка».

В Вятских краях Яга хранит свое древнее имя Еги-бобо, Егибисны, Егибихи, Егибишны. Русские, пермяне и вятичи, издавна общавшиеся с коми и ходившие не единожды походами на Югру, лучше других знали имя одного из главных идолов остяков — Хозяина рыб, или Речного старика, по-хантыйски звучавшее как *ягун-ике*, или *яга-ике*, или *ега-иге*, в зависимости от диалекта. Эти созвучия породили теорию об угорском происхождении богини. Да и Ягабаба, точнее «Яхабаба», в переводе с ненецкого означает «речной предок». Отсюда потянулась связка: Баба Яга и Золотая баба обской Сибири. Схожесть подчёркивалась тем, что в угорской мифологии находящаяся в стадии антропоморфизации, когда-то зооморфная повелительница животных и рыб, тоже имеет звериные ноги. В специальной песне, предназначенной кровавому жертвоприношению в честь югорской лесной богини, хозяйки всех лесных зверей, посылающей удачу охотникам, она описывается так: «…дочь лесного бога, дочь лесного бога, Вот она стоит. Одна нога лосиная, Другая человечья.— Вы, за зверями ездившие двое, Возьмите меня, царицу лесных зверей, Я счастливая!» Материалы раскопок показывают, что у всех древних охотничьих народов европейского и азиатского Севера практиковался изначально культ оленя или лося, впоследствии вытесненный медвежьим. В изображениях так называемого пермского звериного стиля, существовавшего в течение почти всего железного века, самым распространенным сюжетом шаманских бляшек служат ящур, коршун, мужская фигура в головном уборе в виде морды лося и две женские фигуры с головами лосих и копытцами на ногах или лосиными ногами. Женщины-лосихи расположены по бокам бляшек таким образом, что мордами создают полукруг, символизирующий небесную сферу. Эта Великая Лосиха-мать, вращавшаяся вокруг кола Полярной звезды, позже стала Большой Медведицей.

Сторонники расхожей теории «чужой бог — наш злой демон» находят всё новые признаки урало-угорской или сибирской родословной для русской Яги.

Но эти совпадения не в состоянии закрыть вопрос, ибо в данном случае мы сталкиваемся с неким более древним, праарийским божеством, тиражированным во всех мифах последующих культо-культурных ответвлений рас, наций, народов и родов. Например, А.А. Потебня, в ходе своих рассуждений находит, что Яга-кобылица — мать Солнца индийской мифологии. В мифе о браке обратившегося жеребцом Вивасвата с Саранью, пытавшейся убежать от него под видом кобылицы, говорится, что в результате брака у них родились близнецы Агни-огонь и Индра — светлое небо. А ещё Яга проявляет некоторые признаки хранителя огня иранского Йимы. В индийской мифологии древнеиранскому Йиме соответствует бычеголовый Яма — бог смерти, владыка мертвых. И в той же Индии ещё одна богиня смерти, разрушения, страха и ужаса, супруга разрушителя Шивы, *Кали Ма* — «чёрная мать»!

Опять же, А.А. Потебня находил большое сходство Яги-дарительницы с Деметрой древнегреческого пантеона. В мифах Деметра — богиня плодородия и земледелия и также дарительница. Имя ещё одной эллинской богини, Артемиды — «медведица», «медвежья богиня». Она хозяйка животного мира и охоты и судья, наказывающая за убийство священных лосей-ланей. Греческие жрецы Артемиды надевали для ритуального танца медвежьи шкуры, так же как шаманы на севере Западной Сибири. А серебряный медальон с изображением Артемиды, изготовленный в начале I тысячелетия, был найден в конце XIX столетия недалеко от Белогорья, где во времена Ермака находилась Золотая баба. Вторая ипостась лунной Артемиды — тёмная Геката, связывающая миры живых и мертвых. Вид Гекаты страшен: ужасное лицо, змеи в волосах, пылающий факел в руке.

За тысячу лет до появления эллинов на берегах Эгейского моря, в Малой Азии хеттская жрица, помогая умершему совершить переход в царство мёртвых, так же как в Египте, взвешивала душу умершего на весах, потом обращалась к солнечному богу с магической формулой-заклинанием, открывающим ворота в иной мир. Она специальной лопаткой брала сожженный прах покойника, оставшиеся кости и складывала в серебряный сосуд. «А садись-ка, Ивашка, на лопату и полезай в печь»!

Сходства, параллели, повторы… И над всем — Кибела, Великая Мать мира и всех богов, требующая от служителей полного подчинения, забвения и безумия экстаза, в котором жрецы ножами или мечами наносят себе или друг другу кровавые раны. Только тогда богиня открывает двери в иные миры.

О зороастрийских аналогах Яги мы поговорим позже. Да и так, скорее всего, Яма, Кали, Деметра, Артемида, Геката, скандинавская Хель, Баба Яга Руси и Золотая баба Оби — родные дети, наследницы единой Праматери Кибелы. И ни одна из них не обладает преимуществом первородства. Кроме того, некоторые божества хантов явно происходят с верховьев Оби, и исследованиями ученых-языковедов утверждается, что множество географических названий по обе стороны Северного Урала принадлежат народу,

предшественнику современных ненцев и финно-угорских народов. Например, в гидронимах рек и озер это слова, оканчивающиеся на гласный плюс носовой согласный звуки: Надым, Пим, Аган, Ляпин, Сабун, Вымь, Локчим, Ухтым и прочие. Что это был за народ? Есть и фольклорные сведения о том, что хантам в древности предшествовал некий народ. Ими упоминается название «ар ях» — «древний, песенный народ». Интересно созвучие *ар ях* и *арьи*, ведь в хеттском языке слово *ara* значило «свободный», а ирландское *aire* имело значение «вождь». Да и само название Ирландии — *Eire* лексически и семантически соответствует названию Ирана *Airyanam*, означая «Ариана», «Арийская земля».

Истинное местоположение «страны бьярмов», в противопоставление сложившейся традиции объединять почти сказочную Биармию с не менее легендарной Пермью Великой, достаточно прочно аргументировано А. Никитиным, опознавшим в Западной Двине «реку Вину» и доказавшим тождество «Гандвика» с Рижским заливом. Безусловно и соотнесение им с бьярмами ливов: действительно, в отличие от леттов и латышей, ливы жили небольшими селениями, имели дома с хозяйственными пристройками, в которых содержался домашний скот, пользовались банями. Их оружием были копья, мечи и луки со стрелами. При святилищах у них были жрецы, которые приносили по разным поводам в жертву животных.

В «Саге о Торире Собаке» и «Саге об Орвар-Одде», а также в рассказе викинга Оттара повествуется о Золотом идоле бьярмов по имени *Йомаль*, стоящем в священном лесу на берегу реки Вины, об окружающих его сказочных богатствах: «Вверху по реке Вине стоит холм, составленный из земли и блестящих монет; за каждого, кто умирает, и за каждого, кто рождается, несут туда горсть земли и горсть серебра». У всех финно-угорских народов (финнов, карел, саамов, коми и других). *Йомаль* — бог грозы и грома, точное подобие скандинавского *Тора*, русского *Перуна*, литовского *Перкунаса*, югославянского *Ильи*, а если продолжить аналогии дальше — греческого *Зевса*, римского *Юпитера* и индийского *Индры*. Исследователи мифологии финно-угорских народов согласны, что Йомаль-Юмала является божеством небесного свода и само его имя может быть переведено как «жилище грома».

Здесь нужно вспомнить, что у кельтов было распространено почитание священных рощ, в особенности дубовых. Именно у кельтов в рощах располагались огражденные места святилищ с изображениями божеств, которым приносили и человеческие жертвы, развешиваемые на ветвях священных деревьев. У кельтов при святилищах жили жрицы, ведавшие ритуальными действами… У кельтов же был распространен культ отрубленных голов, которые они прибивали к специальным столбам в своих святилищах и водружали на шестах и кольях ограды. В святилище помещалась или столпообразная статуя из камня, или деревянный столб, на который надевали железную или бронзовую маску-личину, украшенную гривной-торквесом. Как

указывали римские авторы, в обычае кельтов было накапливать не только при храмах, но просто в священных местах дары и пожертвования. Золото и серебро кельты приносили своим богам в священных рощах и возле священных деревьев, и никто из жителей не осмеливался до них дотронуться. «Вверху по реке Вине стоит холм, составленный из земли и блестящих монет; за каждого, кто умирает, и за каждого, кто рождается, несут туда горсть земли и горсть серебра!»

Но была ли возможна связь между новыми хозяевами Прибалтики и прежним её населением? Могло ли вероучение друидов передаться волхвам?

А. Кузьмин утверждал, что основным пластом населения южной Прибалтики продолжали оставаться кельтские племена, воспринявшие язык пришельцев. Прежде всего, к «чистым» кельтам должны были принадлежать пруссы — *айсты*, о которых Тацит заметил, что они говорят на языке, схожем с языком бриттов. Дальше Кузьмин предположил, что курганы IX–XI веков на северо-востоке Приладожья с найденными в них котлами тоже принадлежат кельтам, у которых на всем пространстве Европы самой почитаемой вещью был священный котелок — символ изобилия и бессмертия. В священном месте во время торжеств, связанных с плодородием полей, в таком котелке варилось магическое пиво «гобниа» для питания и подкрепления божеств.

Именно такой котёл с жертвенным серебром украл Торир Собака, а его подельник Карли, позарившись на гривну-торквес, случайно сбил загремевшую маску-личину.

Первое письменное упоминание Золотой бабы в русских летописях связано с кончиной в 1398 году святителя Стефана Великопермского: «Это был блаженный епископ Стефан, божий человек, живущий посреди неверных: не знающих Бога, не ведающих законов, молящихся идолам, огню и воде, и камню, и Золотой бабе, и кудесникам, и волхвам, и деревьям…».

В послании митрополита Симона пермичам 1510 года вновь упоминается о поклонении местных племён Золотой бабе.

В Европе о Золотом идоле севера узнали после 1517 года, когда был опубликован «Трактат о двух Сарматиях» ректора Краковского университета Матвея Меховского: «…за областью, называемой Вятка, по дороге в Скифию, стоит большой идол, Золотая баба… Соседние племена весьма чтут его и поклоняются ему, и никто, проходя поблизости, не минует идола. Идут с приношениями…».

Не известно, в каком году жрецами бьярмский идол был вывезен в верховья Камы, а затем переправлен за Урал, в Белогорье — месте слияния Иртыша и Оби. Не известно даже, один и тот же, вообще, это идол. Ибо в описаниях саг и поздних свидетельствах существуют сильные разночтения.

В 1549 году в «Записках о московитских делах» австрийский посол в России Герберштейн составил карту и пояснил: «За Обью, у Золотой бабы, где

Обь впадает в океан, текут реки Сосьва, Березва и Данадым, которые берут начало из горы Камень Большого Пояса и соединенных с ней скал. Все народы, живущие от этих рек до Золотой бабы, называются данниками князя Московского. Золотая баба есть идол у устьев Оби, в области Обдоре. Он стоит на правом берегу… Рассказывают… что этот идол есть статуя, представляющая старуху, которая держит сына, и что там виден другой ребенок… Кроме того, уверяют, что там поставлены какие-то инструменты, которые издают постоянный звук вроде трубного. Если это так, то, по моему мнению, ветры сильно и постоянно дуют в эти инструменты».

Через тридцать лет этот факт переправы идола в Сибирь подтвердил и итальянец Александр Гваньини в своем сочинении «Описание европейской Сарматии». Он сообщил, что идол находится в низовьях Оби и ему поклоняются самоеды, народы Югры и другие племена. Он также пишет, что вокруг истукана слышится какой-то громкий рев.

Та ли это Золотая баба из Бьярмии? Согласно Кунгурской летописи, это древняя богиня «нага с сыном на стуле сидящая», что позволило английскому историку Д. Бэддли отождествлять «Золотую бабу» Оби с китайской богиней Гуань Инь. А князь Н. Трубецкой считал «Золотую бабу» чисто местной обско-угорской богиней *Калтащ* (*Калтащ-анки* у хантов, *Калтащ-эква* у манси) — «божественной матерью», богиней, дающей человеку душу, покровительницей жизни, продолжения рода.

1582 год. В свой легендарный поход за Камень, на покорение Сибирского царства выступил Ермак Тимофеевич Аленин. В ходе боевых действий Ермак отрядил есаула Богдана Брязгу на захват Демьянского и Назымского остяцких городков в низовьях Иртыша, близ его впадения в Обь. Защитники одной из крепостей оказали ожесточенное сопротивление. Через три дня казаки уже хотели, было, повернуть обратно, но услышали рассказ чуваша-перебежчика, бывшего кучумовского пленника о том что остяки «молятся Русскому Богу, и тот Русский Бог из литого золота в чаще сидит»,— то есть поклоняются вывезенному из Русской земли идолу. Во взятом приступом городке ничего не нашли. Выйдя на Обь, полусотня Богдана совершила скорый рейд к священному для остяков Белогорью. По рассказу, именно здесь было «мольбище великое богини древней», был «съезд великий» и регулярно совершалось «жрение». Но и тут казаки опоздали — при приближении русских местные жители спрятали как «болвана», так и «многое собрание кумирное».

Но ещё на протяжении двухсот с лишним лет с перерывами здесь продолжалось «жрение», и именно сюда, в Белогорское святилище, остяки принесли и положили к ногам Золотой Бабы снятый с погибшего Ермака панцирь — подарок Белого царя.

Через год после Брязги к Белогорью вышел отряд Ивана Мансурова. В устье Иртыша воины срубили крепостцу и зазимовали. В феврале большое остяцкое войско, обступив русское укрепление, целый день ходило на приступ. После нескольких отбитых атак, осаждавшие принесли некий идол, поставили его под деревом и начали моления. Мансуровцы, используя момент, ударили в толпу из пушек. Одно из ядер попало в цель: «Древо оно, под ним же стоял бесурменский кумир, разбита на многие части, и кумир их сокрушиша». Но или щепки не очень повредили кумира, или вообще идол был не тот, а сообщения о «жрении» Золотой бабе не прекращались.

В начале XVIII века началась планомерное искоренение язычества. С 1702 года просвещение местных народов возглавил митрополит Сибирский Филофей Лещинский, вызвавший миссионеров и учителей из Киева и открывший в Тобольске славянскую школу для духовенства. В 1710 году владыко Филофей получил царскую грамоту с предписанием отправиться лично на проповедь в землю остяков и вогул, но, по болезни, только через два года смог приступить к исполнению указа. Он совершил несколько дальних поездок, построил много церквей, окрестил около сорока тысяч остяков, вогулов и самоедов, проник даже в дикую непокорную страну на реке Конде. Даже будучи уже смертельно больным, в 1726 году митрополит предпринял своё последнее путешествие к обдорским остякам. Среди людей, призванных владыкой, особо выделялся воспитанник Киево-Могилянской академии, полковник Григорий Новицкий, автор неоконченной рукописи «Краткое описание о народе остяцком». Активно участвуя в миссионерских акциях, Новицкий исходил много мест в поисках легендарного идола: «Достигли жилища сих, называемые юртами Колькетеевыми, по имени начальствующего здесь Колькета Евплаева…» — писал он в свой дневник, но там находил лишь кумиров «иссечен… из дерева, одеян одеждою зеленою, зло образное лицо белым железом обложено…». Русских просто ужасали кровавые и просто разорительные жертвы идолопоклоников: «При главных же кумирах всегдашне стражи и жрецы почитаются. Чин их должности всегда быть служителем лжи. Что ближе татарских жилищ пребывают… на скверные свои жертвы употребляют лошадей. А в дальних пустынных селениях оленей наипаче приносят на жертвы… Скоро ударяют ножом в сердце, испущая кровь в блюдо, кропят сею мерзостью и жилище своя, идолам же уста помазуют, в украшение же и всегдашне воспоминание кожу с главою и ноги даже до колен заедино с кожею на древах завешут над кумирнею… Сим частым приношением в премногую внийша нищету и крайнее разорение, яко чад и жен своих продают заимодавцам своим в работу». Когда, наконец-то, удалось выйти на след настоящей Золотой бабы, неутомимый путешественник и бытописатель погиб вместе со священником Сентяшевым при невыясненных обстоятельствах. В его уникальных по тем временам этнографических записях особо ценно то, что Новицкий, ничего не знавший о трудах Герберштейна и других западных географов, более чем через

сто пятьдесят лет излагает о Золотом идоле сведения, удивительно совпадающие с записями иностранцев. Он подтверждает, что статуя кричит: «Глас вещия, аки бы детища, слышат». И что идол стоит в подобии храма: «Никто же от них тамо самих в скверное капище входить не дерзает».

Вообще, в переписке приходских священников с Тобольской консисторией из века в век продолжаются сетования на то, что даже крещёные инородцы прямо из церкви отправляются на поклонение к «шайтанам». В конце концов, незадолго до революции в «Инструкции Кондинской миссии» прямо предписывалось разыскать «идола, слывущего под названием Троицкого, к которому, как к центру идолопоклонства, стекаются отовсюду инородцы-самоеды, и остяки-идолопоклонники, и христиане, тщательно следить за сборщиками в пользу сего идола, поддерживающими в инородцах суеверные убеждения, донося секретно Епархиальному начальству обо всём, что будет доказано относительно общепочтительного инородцам идола». Село Троицкое находилось рядом с тем самым Белогорьем, почему языческий идол и получил христианское наименование «Троицкий».

В результате сысков, облав и погонь упорные язычники перенесли свою богиню из Белогорья на Конду.

В 1904 году этнограф К. Носилов нашел в верховьях Конды слепого старика манси Савву, который знал о Золотой бабе, но на все вопросы твердил одно: «Голая баба — и только. Сидит. Нос есть, глаза есть, всё есть, всё сделано, как быть бабе».

Сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН А. Бауло: «В конце XIX века был записан рассказ о „серебряной бабе“, выполненной в виде уменьшенной копии с „золотой бабы“. Она представляла собой обнаженную сидящую женщину и хранилась в ящике на „святой“ полке в вогульской (мансийской) юрте на Урале. Уходя на охоту, хозяин заворачивал статуэтку в старый шёлковый платок вместе с серебряными рублями и носил ее на спине в небольшом мешочке из уха молодого лося. Считалось, что „баба“ помогает женщинам и всем промышляющим. Во время посвящённого ей праздника, проходившего в течение семи дней, со всей округи съезжался народ, привозя в дар духу-покровителю оленей, серебро, парчу, шёлк, соболей и лисиц; женщины шили для неё одежду и украшали дорогими вещами. Перед „бабой“ ставили серебряные тарелочки с кровью и мясом, вогулы кланялись божеству и обращались к нему с молитвами».

В 1933 году в компетентные органы поступил сигнал о том, что ханты, проживавшие по правому притоку Нижней Оби реке Казым, скрывают Золотую бабу и поклоняются ей. Казымского шамана арестовали и через какое-то время добились необходимых сведений. К тайному капищу отправили оперативную группу. Но охотники взбунтовались и убили чекистов. Присланный карательный отряд перестрелял почти всех местных мужчин, а у оставшихся

отобрал ружья, чем обрёк общину на голодную смерть. Святилище разорили. Однако казымский идол Золотой бабы обнаружен не был.

В 1962 году Ханты-Мансийским краеведческим музеем принята на хранение фигура женского духа-покровителя, ранее хранившаяся в священном амбарчике хантов в верховьях реки. Казым. Поверх её «одежды» были укреплены одиннадцать серебряных пластин, что позволило исследователям увидеть здесь один из вариантов «серебряной бабы». Приблизительно в это же время потомок мансийских князцов П. Шешкин рассказывал о виденной им «серебряной бабе» в виде женской статуэтки с «индийским» лицом.

В те же 60-е годы исследователю Льву Теплову удалось разыскать старого охотника Григория Сургучева, бывшего шамана, осведомленного о тайнике, в котором потомки жителей Югры прятали священную статую. Но он был лаконичен в ответах: «Этот шайтан,— говорил Сургучев,— находится в покое. Никому не найти. Есть маленький островок среди болот, никому не попасть — не заметить».

В течение двадцати лет, с конца 60-х до конца 80-х годов, изучалось древнее святилище на реке Священный Лес, что в Большеземельской тундре за Полярным кругом. Здесь были найдены предметы как II–I тысячелетий до нашей эры, так и первых веков нашей эры. Обнаружено несколько сотен деталей или обломков женских украшений.

Из записей Екатеринбургского кинооператора Заплатина:

«— А чего рассказывать-то? — ответил он.— От стариков мы знаем, что была она у нашего народа. Так и называли её — Сорни Эква. Золотая, значит, баба. Вот и всё…

Другой местный житель присоединился к разговору:

— Нам нельзя ничего говорить о ней. Люди наши веками молчали, а я, что, болтать буду?.. Ничего я не знаю…

А затем добавил:

— Вам её не найти. Ее куда-то утащили наши старики. Если мы не знаем, где она спрятана, вам-то как её разыскать!»…

5.

Лёшка стоял на срубленном лапнике босиком и без штанов, блаженствуя в стелящемся белом дыму. Костёр, постреливая еловыми искрами, уже почти высушил одежду и рюкзаки и теперь кипятил котелок с пятью шикарными окунями. Озёрные, ярко-полосатые, с оранжево-красными брюшными и золотыми спинными плавниками, они теперь побледнели, выдав жирную, пахучую юшку, в которой рядом с луковицей плясали ломтики двух картофелин и разбухшие крупинки перловки. Бросить лаврушку с горошком перца, потомить минут пять и готово. Вот только палатку они зря сразу не поставили,

после ухи вообще будет неохота что-либо тягать и тесать колышки. Говорил же дед, что до ужина надо обустраиваться.

Вышли они на Большое Карасье совсем даже скоро. По хлюпающей до щиколоток воде, ровно залившей низину разряженной еловой согры, протопали с часок — и оказались на камышовом берегу, подпоясанном хорошей сухой бровкой с соснячком, щедро усеянным валежником. Не так уж и страшно, как представлялось. Главное было не свернуть от направления, заданного цаплей. Но на это у Олега дар, он север–юг и запад–восток и в полной темноте как-то чует. Проверено.

Огромная, тускло рябящая под налетающими ветерками серая масса воды чуть вытянутым эллипсом разлилась в поперечине километра на полтора, да и дальний берег тоже не намного ближе. И ровно посредине, точь-в-точь как рисовал Олег, дыбился лесной остров. Но после всего пережитого радости от того, что и Большое Карасье, и островной елбан, поросший лиственницами и кедрами, обернулись реальностью, теперь оказалось маловато. Озеро-то озеро, а как же клад? Как на остров добраться? Хорошо дома рассуждалось о плоте. Но пусть они даже найдут, зачистят от сучьев и подкатят к воде три-четыре ствола сосны или тополя. На которых, в лучшем случае, смогут переправить сухими рюкзаки. А сами? Вплавь? Эдак через три минуты не только ноги, но и уши судорогой сведёт. Расстроенный в край, Олежек вырубил ему удилище, подтащил дров и ушёл. Лёшка заметил, как брат отворачивался, кусая губы. Такой вот он у них азартный. Пусть побродит. Может, что и придумает. Или просто остынет. А в это время Лёшка на двух червяков вытащил пять полукилограммовых окуней, выпотрошил, выколупав глаза на будущую приманку, начистил картошки и заварил уху. Ох, и дух, аж слюнки капают. Пожалуй, пора снимать. И одеваться.

Эх, так бы забросить удочку, и — раз, вытянуть золотую рыбку. Первое желание — лодка. Второе…

— Лёшка! Лёх!

Смотри-ка, в какой раз Олег сегодня бежал вприпрыжку. Неужели… а?!

— Лёха, скорей! Скорей! Собираемся, давай палатку так скрутим, да ладно, давай просто свалим. И пошли. Лёшка, ты понял? Там — обласок!

— Обласок? Чей?

— Ничей, просто припрятанный. Давай-давай, одевайся поскорее!

Лёшка натянул штаны, накрутил горячие носки, покидал в рюкзак так и не испачканную посуду. А уха?

— Там, на острове поедим. Ты понял, братан, как всё сегодня удачно? Раз за разом. Представь: иду и вдруг вижу: что-то лежит. Чёрное, старой травой прикрыто. Я давай разгребать: целый, совсем целый. А ты сопли распускал! Нам везёт, братан, везёт!

Олежек метался, дёргал то одно, то другое, хватал и бросал, и торопил, торопил, аж слюной брызгал:

— Понимаешь, я в начале думал — бревно. Днищем же вверх. Чуть было не прошёл мимо. Потом вдруг стукнуло. Даже не поверил. Позырил — целый. Ну, струхлявил у носа, и, может, пара трещин есть. Так это же ерунда, тут полчаса плыть, вычерпаем. Большой такой облас. Давай, пошли. Пошли.

Взвалив на одно плечо незавязаный рюкзак и подцепив, как крюком, сучковатой палкой котелок с докипающей ухой, Лёшка поспешил вдогонку за уже убежавшим с кое-как смятой палаткой Олегом. Виляя меж сосенками, они прошли по бровке достаточно далеко, прежде чем около двух почти сросшихся тополько Олег свернул вниз к берегу. Шагах в двадцати от воды, под сбитой на сторону жухлой осокой, чернело длинное гладкое днище. Вдвоём они, раскачав, с трудом вытянули из плотно слежавшейся, многолетней травной путаницы и перевернули долблёнку. Осмотрели. Один, ближний к воде конец как обгрызен, в середине, действительно, дно щепилось трухлявыми кубиками, а две или три продольные трещины были сквозными. Но всё равно это мелочи, понятно, что так просто обласок не затонет. Тем более, в воде древесина распухнет, зажмёт дыры, а на середину они просто не будут наступать. Главное, не дрейфить. По свежей траве облас легко соскользнул к озеру, закачался под заброшенными рюкзаками и палаткой. Чем грести? Да шестами!

Обласок, сибирская долблёная пирога, высекается из цельного тополя по расчётам: на одного рыбака — два размаха рук, на двух — три. Зачищенный и затёсанный по форме с обеих сторон кусок ствола выбирают изнутри теслом, периодически выжигая углями, и снова выбирают, от сердцевины к наружным стенкам. Толщина будущих стенок замечается по контрольным крашеным шпенькам, вставленным в предварительно высверленные снаружи углубления. Когда стенки становятся равномерно в толщину ладони, тополину заливают кипятком, держат над слабым огнём и распирают изнутри частыми поперечными брусками. Сушат в таком виде и снова несколько раз мочат, распирая больше и больше. Остаётся защитить от гниения и зачернить дерево смесью смолы и сажи. Лодка получается лёгкая, ходкая, удобная на все случаи. Единственно, требуются некоторые навыки сохранения равновесия, вроде велосипедных. Лёшка-то помнит, как он первый раз в обласке плавал: так как за борта хвататься запретили раз десять, то он, как упал на карачки, так и простоял, окаменев от страха, раком с час, пока протоку проходили. А потом ничего, пообвыкся, и сам грёб, и самолов перебирал прямо на Оби. Даже кайф — волна качает, тонкий бортик всего сантиметров десять над границей непроглядной глубины, а ничего, спокойно, когда знаешь, что и как делать.

Олег срубил и наскоро отесал две тяжеленные жердины. Зайдя по колено, прижал грудью корму, чтоб не перевернуть. Лёшка осторожно завалился внутрь, присел около носа, и, развернувшись от берега, крепко упёрся в глубоко заиленное дно обеими палками. Теперь забрался Олег. Облас просел, по днищу

закипели малюсенькие бурунчики. Отталкиваться долго не пришлось — метрах в пяти от берега дно уже не доставалось. Они стали часто грести, выворачивая на остров.

Через полчаса грёб только Олег, а Лёха двумя кружками сливал на борт слишком уж быстро прибывавшую воду. Потом грёб он, а выбившийся из сил Олежек черпал. Так они менялись, и остров приближался, нарастая тёмным массивным гребнем с хорошо заметным срединным шишаком.

Первые шаги, после того как с долгим шипением долблёнка врезалась в густую осоку, оказались непростыми. Илистая жижа всасывала сапоги, корневища цепляли не хуже капканов, и, пока они протолкали лодку на настоящий берег, пропали последние силы. Тяжело дыша, Лёшка на карачках выполз на сухой, с колючей корочкой мшаник и сбросил рюкзаки. Олег выволок палатку и котелок. Всё. Прибыли. Потрясая над головой топором, Олег удушливым шёпотом возвестил:

— Выйду на остров без страха,

Острый клинок наготове.

Боги, даруйте победу

Скальду в раздоре стали!

И упал рядом с Лёшкой. Тишина. Только неровный ветерок затяжно посвистывает в хвое и ершит высокую, жёсткую осоку.

— Как думаешь, где наша цапля?

— Где-нибудь здесь. Камыша вон сколько. А это, обласок-то, наверное, точно от шамана.

Олег нашарил рукой отброшенный накомарник.

— Лёха, а здесь комаров совсем нет. Выдувает на фиг.

Лёшка приоткинул свой, подождал. Посвистывало вверху, в кронах, а здесь ни писка. Стянул полностью, но вдруг спохватился:

— А как же про маску? От заклятия.

— Так, ну… мы её нарисуем! Зубная паста, говоришь, где?

Олег, как всегда, вспыхнув идеей, вскочил, мигом расстегнул боковой рюкзачный карман, вытряс оттуда «Поморин», и через десять минут они вряд ли походили на викингов. Разве что, когда те открыли Америку и остались там вождями. А дальше Лёха, всё более смурнея, выслушивал братановы рассуждения в виде виннипуховых вопросов-ответов. Мол, прежде чем поедим, сначала, давай, пойдём, взглянем, что вокруг, так, быстренько, поблизости. Чего? Пусть солнце садится, светлота ещё три часа простоит, всё успеется. Действительно, и уха давно застыла, запечатав в плёнке жира десятка два погрустневших комаров, и всё равно придётся разводить костёр.

Чего? Ну? Чего ну?

Козе понятно, что к ночи идти за кладом может только чокнутый. Вдруг он в самом деле с проклятием? Но Лёшка знал: если брат завёлся — всё, не отступит. Опять же, палатку нужно вдвоём ставить, а дров поблизости мало, да

и… и он согласился. Какая разница, если всё равно хоть так, хоть эдак, придётся оставаться одному.

Но! — только взглянуть. Пусть Олег направо, а Лёшка налево, и по-честному — недалеко, понизу. А на вершину они с утра пойдут, с солнцем. Замётано, братан! Только на всякий-який, если там что, надо самопалы проверить. Пыжи на месте, головки примотанных спичек вроде сухие. Главное, если палить, то держать нужно на вытянутую руку, подальше от лица. Вот так: кусочек чиркалки зажимается под большим пальцем, стоит только шаркнуть. Что ещё? Олегу топор, Лёшке нож. Если кто вдруг что такое увидит, то Лёшкин позывной кряканье, а Олегов филинячье уханье. Последний раз: только вдоль берега, на холм до завтра не заходить. Кто нарушит, тот гадом будет!

Раскрашенное белыми полосками и точками лицо зачесалось сразу. Однако Лёшка терпел, и ещё, стараясь не наступать на хрусткие веточки, терпел нарастающее, прямо неудержимое влечение уклониться, потихоньку завернуть к центру, на холм. Понятно, что даже и думать-то западло, уговор есть уговор,— но! Но вдруг клад, к которому они так долго готовились, который каждый вечер, лёжа с выключенным светом, представляли до мельчайших, правда, не совпадающих меж собой подробностей, клад, сулящий им всемирную славу и, как минимум, машину, а то ещё и каждому по мотовелику, поджидает всего-то в двух шагах?

Еловый борок встал поперёк пути изумрудно-чёрным непримиримым гребнем. Острые, густо увешенные длинненькими шишечками вершинки, масляно блестящая шёрстка хвои, смолистая кора, лапник, затканный свисающими до земли бледно-зелёными мочалинами лишайника. В другое время так и вспомнилась бы, и представилась какая-нибудь берендеевка, старичок-лесовичок или ещё кто мохнатенький, но сейчас ни про какие сказки лучше не думать. Не думать надо, а трясти, то есть идти. Тук! Лёшка аж присел: прямо в лоб стуканул здоровенный крестовик, мирно дремавший посредине невидимой растяжки. Всё лицо залепило паутиной, а бедный паук сиганул в темноту на голодный желудок. Втискиваясь между шершавыми стволиками, отжимая царапающие верхние и отламывая хрусткие нижние ветви, Лёшка продрался метров на двадцать и заскулил. Всё, застрял окончательно. Размазанная по исцарапанному лицу паста стекала уже под горло, а нос от паутины не чесался, а просто разрывался на части. И плечи, и спину, и даже зад со всех сторон кололи сучки и иголки. Ни туда, ни сюда.

А вот точно, что Олег специально его сюда послал. Захотел сам клад найти, один, и пока Алёха, как маленький дурачок, чапает по берегу, буробится в ельнике, сам, поди, давно уже на вершине. Ну, конечно, а потом будет везде хвалиться, как это он, без никого, обнаружил Золотую бабу. И его будут фотографировать, показывать по телевизору, все в школе будут ахать и охать. Олег будет как первый космонавт, а Лёшка — как Белка или Стрелка.

Выбравшись, он только чуть-чуть свернул в глубину, чтобы обойти борок сверху. Не возвращаться же так быстро! Что это будет за разведка? Брат-то уже какой раз сегодня удачу приносил. Ха, удачу! Оставит его кашеварить, а сам идёт куда хочет. Вот и сейчас, точняк, опять словил свою «удачу». Только почему она его? Потому, что старший? И это теперь всегда так будет? Олег и в викингах конунг, а Лёшка даже не ярл, а только херсил — короче, подай, принеси. На побегушках.

У основания холма ёлки рассеялись перед кедрами, сначала невысокими двадцати-тридцатилетками, а за ними и огромными, вековыми, раскидистыми кронами-шатрами перекрывшими небо. Здесь, в сладкопахнущем сумраке, меж чёрных двуобхватных колонн, не было никакого подлеска. Воздушная, торжественная тишина. Как в каком-то храме. Пышный мягкий подклад из десятилетиями не преющей хвои и изгрызенных мышами шишек гасил все звуки. Шаг, ещё шаг. В сторону совсем уже недалёкой вершины опять кедры мельчали. И?.. Что?.. Ещё каких-то метров двести, и он будет там.

А обещание?! И… заклятие?

Мотнув головой, Лёшка решительно повернул вниз, в обход ельника к берегу. Обещание-нужно-выполнять. Мало ли чего кому захочется!

Из-за дальних зарослей два раза ухнуло. Филин? Или Олег? Ага, наверное, следил, сдержит ли братишка своё слово. «Угу. Угу. Ух-угу-гу». Вон там, в ельнике прячется. Не отвечая, Алёха медленно-медленно обошёл широко разросшуюся черёмуху и, согнувшись, почти на четвереньках прокрался к самому месту. Подняв над головой пугач, с шумом выпрыгнул: «Кря!»

Филин с прыжка развернул крылья, и воздух его отмашки шевельнул Лёшкины волосы. Ох ты, какой здоровенный! Чуть не пальнул. Значит, всё же это не Олег. А он-то, было, подумал, что брат подглядывает. Да, щас бы как пальнул, на фиг, только бы перья полетели! Стоп, а только… как бы пальнул? О-о, болван: он же где-то потерял чиркалку. Как теперь воспламенять спички? Болван, болва-ан. Об штаны шаркнуть, так они насквозь сырые. Лёшка пошёл назад, всматриваясь в траву под ноги. Ну и разведчик.

В кедраче совсем стемнело. Нет, здесь ничего не найдёшь. Нужно просто возвращаться. Набрать дров и возвращаться.

И тут он увидел избушку.

На курьих ножках.

Не просто увидел, а прямо-таки натолкнулся. Два, в его рост, отёсанных столба держали вытянутый жердевый сруб. Длинный, чёрный. Как гроб. Двускатная горбылёвая крыша давно провалилась, и за входной зев, почти непроглядный от сухих наслоений многолетней паутины, свет проникал сверху и сбоку. Там что-то… Что?

В глубине смутно светлелось… что?! Он осторожно дулом пугача разорвал ближние трескучие паучьи плетения, и… и в этот момент неожиданно, разом по всему небу, могуче и мучительно загудело, под внезапным ударом

вихря кедровые кроны зашевелились, обильно роняя прошлогодние шишки. Так что же там светлеется? Лёха просунул ствол поглубже. Тугой верховой гул дополнился протяжными стонами напрягшихся кедров. Только не надо пугаться: это гроза. Это всего лишь гроза.

Из-за последней завесы прямо в лицо ему жадно и жутко взглянул вытянутый, оскаленный череп.

Огромный, с жёлтыми саблями скрещенных клыков.

А с боков к горлу протянулись чёрные медвежьи когти.

Лёха, отбросив пугач, побежал, но кто-то схватил за лодыжку, и он, отчаянно заорав, упал навзничь. Изо всех сил задёргавши ногами, оставил сапог и вырвался. Вновь побежал, хромая и крича, крича под первыми тяжеленными каплями осыпающегося дождя.

Он был уже совсем недалеко от берега, когда, заскользив, ткнулся ладошками в мокрый ствол, ткнулся в тот самый момент, когда в дерево ударила молния.

Два высоких и очень широкоплечих менква в кухлянках из чёрных шкур, ухватив под мышки и за кисти, приподняли Лёшку и поволокли по мокрой опавшей хвое. Тащили долго, и он иногда приходил в себя, но не было никаких сил выказать признаки жизни. Он только тупо отмечал, как под ним близко мелькают захвоенные мхи, щекотливо скользят хвощи, шуршат молодые папоротники. В боковом зрении почти бесшумно мелькали чёрные черки, быстрыми шагами отмерявшие неизвестный путь. В голове было совсем пусто, размягчённое тело изнутри пощипывали бродячие мурашки. Но не больно.

Окончательно он очнулся оттого, что его бросили на землю. И ушли. Подождав, но ничего не дождавшись, Лёшка отжался ладонями и, чуть-чуть приподняв голову, медленно осмотрелся. Прямо перед ним завешанный чёрной тряпкой низкий вход вёл в рубленную из тонких лиственниц избушку или амбарчик. Вокруг на вытоптанной поляне разбросанные жерди, кучи порубленных дров, у кромки пихтового леса лоснились какие-то вкопанные, отёсанные и окрашенные красным, разновеликие столбы. Слева от сруба чуть дымилось кострище, над которым висел большой, жирно закопчённый котёл. Со стороны кострища и котла рвотно несло тухлятиной, точнее, воняло от невыделанной лосиной шкуры, висевшей чуть дальше на горизонтальной жерди, привязанной между берёзками. Рядом с костром зелено-чёрный ворон грязным клювом разрывал что-то зажатое когтями. Заметив Лёшкино шевеление, птица присела и, оттопырив бороду, предупреждающе вскрикнула. Потом громче. Лёшка трудно обернулся и увидел, как на вороний зов из леса вышли те самые менквы. Они походили на людей, только очень больших людей, с сильно вытянутыми острыми головами, которые он вначале принял за шапки, да ещё длинные, ниже колен, когтистые руки выдавали природу. И тут до Лёшки дошло ещё одно: а вкопанные-то в землю столбы венчались черепами.

Он хотел, очень хотел встать, чтобы побежать, побежать от них и от того страшного и необратимого, что должно было случиться с ним на этой поляне, но не смог. Менквы разом склонили над Лёхой свои бугристые, какие-то все покореженные лбы, разом высоко подняли и осторожно поставили его на неслушающиеся, бесчувственные ноги. Оказывается, на шею у Лёшки была наброшена толстая петля, сплетённая из множества сыромятных бечёвок.

Чтобы Лёшка не упал, его крепко держали, а ворон, распуская крылья и подсидая, нервно прыгал вокруг, гортанно и протяжно гракая. Наконец чёрная тряпка на входе откинулась, и на пороге встал Кынь-кон. На такую же, как у менквов, вытянутую голову низенького старичка были надеты один на другой семь колпаков. На опояске подвешено множество просверленных медвежьих клыков и когтей. При его появлении ворон вспорхнул на крышу и замолчал, любопытно поблескивая сверху то одним, то другим глазом.

— Ыл-лунг! — хором негромко прохрипели менквы, и Лёшка впервые почувствовал, как больно их толстые кривые когти вонзались в его руки. Старик равнодушно смотрел поверх предстоящих гигантов.

— Ыл-лунг!

Старик не реагировал.

— Атым-лунг!

Опять не то.

— Кынь-кон!

Наконец тот ответил, и начались интенсивные переговоры. Менквы хором хрипели, а Кынь визгливо им что-то выговаривал. Пауза, опять хрип и ответный визг. Сколько ни вслушивайся, ничего не разобрать. Только что-то у них не срасталось, и менквы начали угрожающе дёргать Лёшку за петлю. Он поднял глаза на ворона и через ответный взгляд птицы стал понимать смысл споров: его променивали. За него дух болезней Кынь-кон должен был вернуть их племянницу, которую он ел уже вторую неделю. Менквам всё равно, пусть даже Кынь обернётся богом смерти Кэллох-Торумом и полностью пожрёт человека, им не жалко. А вот племянницу пусть вернёт. Но Кынь не соглашался, потому что человек неполноценный, у него нет лица, а без лица кому он нужен. Менквы ругали его вруном, они считали, что старик только ломается, так как дождь смыл белую маску, и лицо у человека почти всё есть. К тому же он мальчик и, более того, русский — руть. Но хозяин поляны мертвецов в ответ верещал, что полноценная девочка-менкв лучше, чем ущербный мальчик-руть. Тогда менквы заявили, что вот они снимают петлю, и теперь их жертва больше не жертва, и пусть старик сам рыщет по мирам в поисках бродящих душ и теней, и сам их ловит, если ему не лень.

Неизвестно, чем бы закончился их спор, может быть, Лёшку даже и отпустили бы за ненадобностью, но тут из-за спины неуступчивого Кыня послышался еще один голос. Это его мать, древняя-древняя Эвут-ими,

свистящим шёпотом запросила добавки в шкурку соболя и шёлковую ленту для себя, и тогда её сын обменяется.

Ворон опять слетел к кострищу доклёвывать сухожилие, и больше ничего не переводилось.

А и переводить-то было нечего: у менквов соболя с собой не оказалось, но нашлась серебряная монета, которая, вместе с голубой капроновой ленточкой, и решила спор. Как только добавочные дары передали внутрь амбара, оттуда вышла крупная, но до прозрачности бледная, с опухшим некрасивым лицом, девочка в такой же, как у дядьев, чёрной парке. Она, как слепая, едва переступила через порог, но менквы подхватили её своими длинными руками и унесли в пихтач. А старик вцепился в конец Лёшкиной петли и грубо потащил его к ближнему дереву. Лёшка не сопротивлялся, его качало, и он едва переставлял босые ноги. Подвязав выменянного мальчика-человека, Кынь присел к костру и стал расшевеливать угли, подкидывая новые ветви. Старик что-то запел. От его песни вокруг потемнело, а на небе высветились мелкие розоватые звёздочки. Когда огонь набрал силу, в котле бурно закипело. Старик пел, звёзды разрастались, и откуда-то явственно доносился шум ровного широкого прибоя. Лёшка вновь почувствовал приступ слабости, но короткий конец петли не позволял даже присесть. Упёршись лбом в берёзку, он сдерживал тошноту от близости протухшей мездры и пытался вспомнить, вспомнить, как он сюда попал. И куда это «сюда»?

Темп песни убыстрялся. Костёр высоко пыхал багровым, клубящимся чёрнотой пламенем, старик, слегка подпрыгивая вслед новому ритму, быстро отвязал мальчика и рывком повалил его на вытоптанный ягель. Зачерпнув из чана берестяной чашкой, старик попил, а остаток плеснул на Лёшку. Странно, кипевшая вода была холодной. И какой-то совсем безвкусной, словно дождевой. Лёшка вдруг страшно захотел спать, всё вокруг поплыло и зарябило. Но, теряя сознание, он успел увидеть, как, попив и брызнув в девятый раз, Кынь выхватил из-за спины тёмный, неблестящий, почти треугольный нож и точило. Несколько раз шаркнул и стал разрезать ему живот.

Лёшка, как при плавании брассом, то проваливался в оранжево-багровую муть, то чуток выныривал. И в эти моменты видел, как Кынь-кон выдёргивал из него кусочки печени и лёгких, и жадно пожирал.

Было совсем не больно. Только холодно.

Когда появился человек? Лёшка очнулся оттого, что над ним кричали в два голоса. Первый, визгливый, принадлежал Кыню, а второй был незнаком. Он приоткрыл глаза: напротив друг друга два старика, один, слева, в чёрном шабуре, а второй, справа, в красном, сердито махали руками. И ещё Лёшка не увидел, а почувствовал над своей головой какое-то шевеление. Закатил глаза вверх и встретился взглядом с вороном. И услышал смысл спора:

— Ты совсем потерял стыд, Кынь-кон! Нум-Торум велит тебе отпустить руть.

— Это ты потерял стыд, хочешь забрать моё купленное!

— Купленное? А что в мирах можно купить не у Нум-Торума?

— Ничего не знаю, каждый придёт и скажет «отдай»! Уходи, Колькет, уходи. Откуда я знаю, что ты не хочешь поживиться за чужой счёт? Пусть крылатая дочь Калм объявит волю отца. А ты, хант, уходи, я пока не звал тебя к моему дому.

— Беда тому, кого ты зовёшь. Но вспомни, что я из народа Мось. Вэрт мой предок. И Медведь мне по жене тоже дальний брат.

— Ты меня пугать станешь Медведем? Меня, нижнего хозяина Сура, повелителя Земель мертвецов, пугать Ем-Вож-Ики? Совсем обнаглели эти люди. Ничего, Кэллох-Торум ещё встретит каждого человечка в своём городе смерти и каждому напомнит, кто кого должен бояться. Уходи, Колькет, уходи пока сам!

Совсем очнувшийся Лёшка жадно взглянул на того, кого Кынь назвал Колькетом. Обвязанное женским платком лицо красного старика было бледно до серости, губы побелели, щёлки глаз сомкнулись от напряжения в трещинки. Но он продолжал спор:

— Ну, тогда жди Священного города Старика.

— Не пугай.

— Не пугаю. Предупредил только.— И Колькет вдруг пронзительно-высоко закричал куда-то в небо: — Гай-гай-гай! Ем-Вож-Ики! Ики! Гай-гай-гай!

Кынь зажал уши и завертелся на одной ноге:

— Замолчи! Замолчи! Я же только закона требую. Я же выменял мальчика, за него много отдавал. Вот и ты неси выкуп и уходи. Не нужен мне твой медведь. Вечно он на Нум-Небо бегает, Нум-Торуму ябедничает. Давай выкуп и забирай. Только хороший выкуп, с железом.

— Отдаёшь?

— Отдаю.

— Целого?

— А что дашь в жертву?

— За целого дам с железом.

— Хорошее с железом?

— За совсем целого — оружие.

— Давай! Поскорей давай! Сюда, сюда давай мне оружие. Не обманешь?

— Сначала сделай его целым. Я тебя за сто лет хоть раз обманул?

— Нет. Но когда-нибудь ведь захочется. Ладно, забирай.

Кынь-кон согнулся над Лёшкой и стал изрыгать из себя его печень, почки, лёгкие. Ледяными руками он щекотливо быстро укладывал всё по местам, прихлопывая и заглаживая.

— Всё. Даже лучше стало. Давай оружие.

Колькет, напряжёно следивший за Кынем, присел и сам потрогал, пощупал вернувшиеся органы. Кивнул:

— Всё честно. Забирай, Кынь-кон, твоё.

Он протянул чёрному старику Лёхин пугач. Кынь схватил жертву обеими руками, почти обнюхал, и разулыбался большими остроугольными зубами. Хотел что-то сказать, но только махнул рукой и побежал в амбар. А Колькет, приподнял выкупленного мальчика, осторожно и нежно прижал к груди: «Держись».

И они полетели. Лёшкина голова свисала через плечо старика, и он видел, как стремительно уменьшается полянка с освещённой костром избушкой Кыня и кружащей над ней чёрточкой ворона, как за неширокой полоской пихтача вдруг просторно раскрывается тундра, среди которой стеклянно блестит, точь-в-точь повторяя школьную карту, разрываемая Карским морем Обская губа. Тонкие облака под ними осеребрённой рябью перекрывали взгорбленный горизонт, а со всех сторон висели круглые разноцветные звёзды. Как же он оказался на Крайнем Севере? Ведь менквы тащили так недолго… О, да здесь целых семь лун — справа полукругом. Ближняя, такая большая, жёлтая, затем бледнее, бледнее… А потом они стали спускаться, и Лёшка даже закрыл глаза от накатывающего лёгкой тошнотой страха. Земля приближалась, обретая фактуру, звуки и запахи.

— Я устал. Много спора — много сил. Мы маленько отдохнём у друзей.

Лёшка босиком, в одних носках, шагал по следам старого ханта и удивлялся: они шли прямо по затянутому жирной ряской болотному блюдцу и зелёная вода только пружинно колыхалась под ними, прогибаясь лёгкими волнами. Затем они так же легко проскользнули сквозь густой тальник и увидели большую поляну, посредине которой горел костёр. По кругу, на равном расстоянии от огня, росло девять старых, изнутри, как бочки, пустых, осокорей. Толстая кора надёжно покрывала двух-трёхметровые дупла, а ниспадавшие до земли тонкие ветви прятали обустроенные внутри гнёзда из елового лапника и сшитых беличьих и заячьих шкурок. От дупел к костру и обратно весело бегали звонко щебечущие ребятишки и сновали маленькие, с Лёшку ростом, очень красивые женщины. Такие же маленькие и ладные мужчины плотной группой сидели на свету около тёмноликого старика, длинные седые волосы и узкая редкая бородка которого тусклым блеском стекали ниже пояса. Старик держал на коленях угольную, с девятью косыми струнами арфу, украшенную наверху резной головкой гуся.

Вышедших на поляну первыми встретили две белые лайки. Собаки, видимо, хорошо знали Колькета и, ластясь, аж легко подвизгивали. За ними со смехом и возгласами набегали крохотные ребятишки, а женщины, замирая на ходу, улыбались и приветственно кивали. Колькет, оглаживая детские макушки, прошёл прямо к огню и присел. Обернувшись, поманил Лёшку. Тот поздоровался:

— Здравствуйте.— А потом почему-то добавил: — Люди добрые.

Маленькие мужчины необидно засмеялись, жестами показывая на освобождённое место возле ханта, ужё курящего чью-то трубку.

— Садись, они не знают языка русских людей. Но, хотя говорить не могут, всё понимают. Садись, я их переводить стану.

Лёшка сел, постарался так же, как остальные, подвернуть ноги. Ну, как получилось.

После двух-трёх переброшенных по кругу фраз у костра наступила тишина. Седой длинноволосый старик легко коснулся струн арфы тороп-юх, потом ударил сильней. И запел. Колькет склонился к Лёшке и тихо-тихо зашептал:

— Это Арэхта-ку. Он поёт йис-потар, повесть о древних временах, о тех днях, когда сын предвечного Корс-Торума, вечный Нум-Торум творил богов, людей и зверей. Постарайся не спать. Слушай:

На Верхнем небе юрта золотая стоит. Из юрты старый старик, словно снег, белый старик Торум смотрит огромными, как солнце, глазами, слушает всё чуткими, как вода, ушами. Любуется он на три мира, что богато наполнены богами, зверями, духами и людьми, порождёнными им от сестры и жены Калтащ-анки. Породил он все существа такими разными, что и сам забывает, кто из них на кого похож.

Посмотрел Нум-Торум, послушал и ушёл отдыхать. Стар он, стар, и редко вмешивается в происходящее. Только боги-дети да ещё шаманы смеют его беспокоить. Он — творец. А за порядком миров каждый день наблюдает его старший сын, Небесный всадник Вэрт.

Но в то давнее время, когда Небесным творцом лепились люди для разных мест, подобрался к нему его младший брат, знакомый Лёшке чёрный хозяин Нижнего мира Кынь-кон. Тоже захотев творить, но ничего не умея, он взял и переделал некоторых людей народа Пор. Из-под его неловких пальцев получились корявые, длинноголовые, лохматые великаны-менквы, к тому же очень злобные. Они, сильные и зависливые, тут же стали обижать людей Пор и людей Мось. И тогда Творец удалил получившихся без его ведома менквов в мир теней леса. Но и из мира теней они продолжают вредить людям и зверям. Тогда Небесный Торум захотел, чтобы случившееся зло нашло себе противовес в добре. И его волей от больших, уродливых и злобных менквов зародился и ушёл жить отдельно маленький, но добрый и прекраснотелый народ Миш. Добрые миши, тоже живущие среди теней леса, наоборот, всячески помогают людям, голодным подгоняя дичь, выводя к зимовьям заблудившихся и укрывая детей от хищников.

Вот и сейчас миши, увидев, как два менква захватили душу руть-ики — русского человека — и потащили её к духу болезней Кынь, послали серую цаплю с известием к Колькету, с которым дружили они уже сто лет. И он успел выкупить душу из мира мертвецов Сур назад в мир живых Ях прежде, чем Кынь сожрал сердце мальчика.

Колькет, отдохнувший после двух трубок, попрощался с сидящими и опять подхватил на грудь придремавшего Лёшку. Старый хант теперь берёг

силы и не стал подниматься слишком высоко. Миши снизу махали руками, и их костёр ещё долго играл переливчатой искоркой в бархате болот Вежакоры.

6.

Олег прошёл по берегу шагов двести честно, как договаривался с братом, но потом начал как-то незаметно даже для самого себя забирать влево, вглубь острова. За береговым тальником разбросанно росли невысокие кедры, сквозь тёмные кроны которых цедились косые лимонные лучи. Ударяясь о стволы, они разбрызгивались по изумрудным сырым мшаникам, по огненно-рыжей опавшей хвое и нахально красным, в белых бородавочках, малюсеньким мухоморам. Две сороки, треща, как немецкие автоматы в кино, некоторое время провожали его, предупреждая всё живое о вторжении на заповедный остров вооружённого человека. Когда они отстали, Олег был уже у подножья елбана. Совесть немного томила, но, в конце концов, он же тот, кто всё придумал, всё подготовил и практически почти уже осуществил. Братишка, конечно, был необходим, но Олег и не собирался лишать его положенной доли славы и наград. Просто он пойдёт и предварительно посмотрит. Предварительно.

Крутой подъём возводил к разрастающемуся небу. Среди редкого плауна повсюду пробивались округлые трилистники зацветающей костяники. Ветер стих совершенно, вечернее раздувшееся солнце медово лоснилось на мириадах иголочек, нежная хвоя скользила по брезенту, мягко оглаживая плечи, лаская и как бы успокаивая, но от этой обступившей со всех сторон золоченой светлой тишины отчего-то становилось ещё более не по себе. Олег всё чаще смахивал заливающий брови пот, замедляя и замедляя ход. До приплюснутой вершины осталось шагов тридцать. И, что там? А… похоже, что… ничего. Просто ничего.

Просто лысоватая, словно когда-то кем-то вытоптанная площадка. Большой, изгнивший пень.

С которого испуганно спрыгнула бурая остромордая лягушка.

Блин. Блин. Блин.

Вот тебе и елбан, блин.

Олег сидел под деревом и рубил топором землю перед собой. Вот, дошёл, блин. Три месяца готовился и, на, сегодня дошёл. Через протоки, болото, согру. Переплыл в дырявом обласке озеро. И — всё. Теперь можно возвращаться. Домой. К маме с папой. Ибо никакой Золотой бабы не существует. Нет ни трёх слоёв золота, ни алмазов, ни просто-напросто сколько-нибудь интересной вещи. Всё это детские выдумки. Права была Вика Лазарева. И этот, её писатель, забыл, как звать. Все были правы. Все, кто думал, что идола спрятали на Ямале.

Лезвие всё глубже уходило в серый суглинок. Ну, а как же дед? Он ведь взаправду встречался с беглым остяком. И топографы? На которых якобы медведь напал. Это тоже не выдумки. Люди-то взрослые. Может, сегодня не стоит ничего говорить Алёхе? Промолчать, а назавтра как следует прошарить остров. Весь, от края до края. Почему обязательно что-то должно было

храниться на вершине? Вовсе даже нет. По крайней мере, если тот остяк жил здесь, то, кроме обласка, где-то должно остаться и его зимовье. Хоть какие-нибудь следы. Вот, например, пень, на который опять вскарабкалась лягушка, явно из-под топора. А самой берёзины-то нигде нет. Унесёна на дрова? Да! Да! Тысячу раз — да! На дрова ли, на сруб, но отсюда утащена. Куда-то туда, где кому-то для чего-то понадобилась. Так что, паря, рано ещё отчаиваться.

По макушкам ударил сильнейший порыв ветра, и низкое солнце перекрыла как-то незаметно подобравшаяся с юга, сизая, плотно взбитая туча. Олег поднялся, обстучал топор и двинул вниз, к берегу. Завтра всё тут прошарить. Решено.

Когда упали первые крупные капли, Олег даже заколебался — а не переждать ли где под плотным шатром? Но тут так тарарахнуло, что он разом передумал. Нет, в грозу оставаться под высоким деревом ни в коем случае нельзя. Придерживая заткнутый за ремень пугач и поглубже натягивая капюшон энцефалитки, он побежал. А дождь посекундно набирал силу, продавливая ветви до земли, сбивая слабые ещё ростки папоротников. Ага, вот отчего лягушка повыше карабкалась. Трава под ногами запузырилась. Глина не успевала впитывать, сапоги разъезжались по скользкой плёнке, приходилось цепляться за всё, что попадалось. И тут фиолетово-белый, сплетённый из сотен узких сияющих лент, электрический разряд рванул затрещавший воздух немыслимой силой над самой головой, разом ослепив и оглушив. Метров пятьдесят отсюда? Сто? Ну очень близко.

И ливень почти сразу сбавил. Задуло холодом, и в просветлевшем мелким дождиком воздухе запах озона смешался с кисловатой испариной папоротников. Олег доскользил к лодке.

Брата не было. Мокрый, неподъёмный ком палаточного брезента, мокрые рюкзаки, переполненный дождевой добавкой котёл. Олег дважды сделал круг около загубленного ужина и ночлега, но никаких следов не увидел.

— Лёшка! Лё-ха!!

Мельчайшие капли ровно шуршали по осоке.

— Лё-ха! Ух-угу-гу!

Шорох, ровный, сплошной шорох.

Олегу стало совсем холодно: а куда молния-то долбанула? И он, сильно сгибаясь, полурысью зашаркал по мокрой траве. Где-то там. Это там. Зубы даже не стучали — от страха тряслась вся голова. Тяжёлый пугач почти провалился в штаны, только рукоять держалась поясом. Там. Там.

Отлетевшая макушка молодой лиственницы ещё дымилась. От расщепленного, как кисточка, надлома ствола по спирали вниз стекали узкие полоски оголённой розовой древесины. Кору выдрало до самого корня, словно в несколько рубанков — глубоко и гладко.

Лёшка лежал на груди, сгорбившись, уткнувшись лбом в старую хвою, неудобно подвернув под себя обе руки. Босой. Олег, тормозя, на коленях

проехал последний метр и никак не мог заставить себя выдохнуть. Потянул за плечо, трудно перевернул. Бледное личико с плотно закрытыми веками. Губы голубой ниточкой. Брат. Брат! Не слушающимися пальцами раздёрнул замок ветровки, припал ухом к груди. Бьётся! Сердце тихо-тихо отстукивало. Жив! Жив братан. Молодец. Какой же ты молодец.

Поднять его на руки никак не удавалось, расслабленное тело просто вытекало из мокрых ладоней. Олег высвободил Лёшкин брючный ремень, пропустил его под мышками и застегнул на последнюю дырочку. Вцепившись в петлю, отступая задом, поволок брата к лодке, следя, чтобы свесившаяся голова не цепляла лицом за траву и отпавшие ветви. Дождь снова усилился. Теперь, подчиняясь меняющемуся ветру, он брызгал неровными прядями, словно кто-то где-то свысока, развлекаясь, поливал из гигантской лейки двух крохотных человечков, медленно, рывками скользящих по расквашенной глине. Так вот и сам Олег когда-то выгонял из клубники заселившихся там красных муравьёв.

Сердце брата билось, но он не только не приходил в себя, но и почти не дышал. Затянув его на край палатки, Олег попытался прикрыть другой частью брезента, но из всех складок потекла вода, и Лёшка оказался в луже. Что делать? Зайдя в камыш по край бродней, Олег вытолкал обласок на берег, раскачав, перевернул и слил. Подтолкал ещё выше. Из рюкзака выдернул не совсем промокшее одеяло, расстелил в два слоя. Перетащил брата и накрыл лодкой. Нормалёк. И крыша, и не на голой земле. Протиснулся под борт, прижался к Лёшке спиной. Капли сердито стучали по днищу, но под долблёнку не подтекало. Тут, кажется, даже потеплее. Мокрая куртка, свитер и рубашка липли к телу со всех сторон. Нужно переждать дождь и развести костёр. Чем? Вещи залило, и спичкам каюк. Единственные сухие — на пугаче. Олег осторожно, чтобы не толкать брата, вытянул оружие. Вроде, сухие. А где чиркалка? Тут.

Дождь опять перешёл на моросилку. Как бы заставить себя выйти, найти мёртвую берёзу, надрать непромокающей бересты. Костёр нужно развести с одной, ну, с двух спичек. Для этого внутрь берестяных свитков нащипать смолистых сосновых лучинок, присыпать их старой травой или мхом, сверху придавить щепками покрупнее, сложив их шалашиком. Огонёк, выпущенный из ладошек, вначале осматривается, осторожно обнюхивает тонкую белую стружку бересты и вдруг набрасывается на неё, захлёбываясь от жадности потрескивающими искорками дёгтя. Прозрачное, голубовато-розовое пламя легко разбегается, но, правда, так же легко умирает, достигая краёв сухости. И всё же где-то оно уже зацепилось за лучинки, уверенно пожелтело и, проходя сквозь траву и мох, дало белый слезоточивый дым. Потом на шалашик можно осторожно приставлять и кругляки крупных сучьев. И всё же обязательно держать немного бересты на случай неожиданного затухания. Когда костёр наберёт хорошую тягу, в первые жаркие угли кладут две лесины для ночной нодьи.

Олег уже нагрел ладони и повернулся посушить спину, когда проснулся. Дёрнулся: нет, Лёха лежал, как лежал. Сколько времени? Дождя больше не слышно, только ветер пошевеливал листья. Да где-то опять тревожно заверещали сороки. Из-под обласка с одной стороны виднелась уже изрядно ими вытоптанная береговая залысина, замкнутая листвяником, с другой… с другой чёрные камыши чуть проблескивали хлюпающим прибоем. Окончательно темнело после одиннадцати, а раз небо досвечивало фиолетово-серебристыми остатками зари, то, значит, около того и есть. Но сороки в это время молча спят, и отчего ж они встревожились? Олег переложил согретый под мышкой ствол поудобнее к правому плечу, большим пальцем прижал к головкам чиркалку. Прислушался. И беззвучно завыл. Ой-ёой. Вот сейчас-то ему по-настоящему, честно стало страшно. Отчаянно страшно. Ой-ёй! И братан без сознания, и лодка вытянута, а главное, не осталось никаких сил к сопротивлению. Ой-ёй. Слёзы бежали и бежали по измазанным глиной и зубной пастой щекам, щипали ноздри, солонили кривящиеся губы: «Нет. Не хочу. Ничего я больше тут не хочу. Ничего мне тут не надо». Кто-то приближался. Уже не нужно было ни вслушиваться в осторожные шаги, ни вглядываться в скольжение лёгкой тени — это воспринималось нутром, резью узелка солнечного сплетения… Вот совсем рядом…

Когда напряжение потянуло судорогой под челюсть, Олег затылком оттолкнул долблёнку, и с колен, вытянув перед собой руки, чиркнул. Чуть отсыревшие головки разгорались медленно, с громким шипением.

Секундная затяжка. Выстрел.

Сероватое облако дымного пороха заполнило всю полянку, а Олег, обеими руками едва удержавший больно дёрнувший пугач, продолжал чиркать и чиркать пустым большим пальцем по сгоревшим спичкам.

Облако волнисто расползалось, и из дыма медленно проявлялся старый остяк в опоясанном красном шабуре и осборенных, надшитых от колен тканью, кожаных черках. Укоризненно покачав головой, старик перешагнул через ярко тлеющий в темноте травы газетный пыж, и устало улыбнулся узкими серыми губами. В каждой руке он держал по бродню.

— Не пугайся. Надо Лёху спасать.

Остяк мимо Олега склонился к Алёшке и приложил два пальца к виску. Закрыв глаза, замер. Просунул ладонь за ворот к ключице. Потом приподнял его левую руку и прощупал запястье. Олег, всё так же стоя на коленях, не дышал, чтобы не мешать слушать пульс. Старик похмурился, распрямился. Взглянул на остатки зари.

— Не хорошо. Надо спасать. Я его понесу, ты котелок возьми. Помой и догоняй.

Поглубже подхватив Лёшку под мышки, остяк рывком вскинул его себе на грудь, завалив болтающуюся голову за плечо, и, сильно отклоняясь назад, понёс мальчика к лесу. Олег добежал до воды, выплеснул разбавленную дождём

уху и, оглядываясь, пучком воды протёр котелок на несколько раз. Вода у берега за день нагрелась и сейчас, после грозы, казалась парной. Откинув котелок, он с наслаждением смыл с лица остатки маски.

Волоча прихваченные Лёшкины бродни, он едва догнал остяка, когда тот уже входил в листвяник. Старик, несмотря на ношу, двигался споро и, зайдя в хвойную тишину, сразу повернул вдоль берега направо, туда, куда Олег должен был идти согласно уговору. Над головой о частые ветви вербы слепо забилась вспугнутая сорока. Даже умыванием не избавившийся от вязкого оцепенения, Олег понуро тащился за стариком по чёрной на серебристом полосе сбитой с травы росы. Вот-вот, как раз тут-то он час назад и повернул на горку. Зря: всего через каких-то триста шагов чернело вросшее в землю крохотное зимовье-карамо.

Вернее, не вросшее, а вкопанное. Слегка конусообразный, из сужающихся бревёшек, позеленевший лишаями сруб возвышался на поверхности чуть выше метра, пришлёпнутый на два ската пологой жердёвой крышей, перекрытой берестой и мшаным дёрном. Занавешенный облезшей лосиной шкурой вход вёл в жильё через легкую пристройку из горизонтальных осиновых жердин, закрепленных концами в вертикальных лиственных столбушках. Через эту пристройку пять неудобно глубоких ступеней спускались в четырехугольный котлован основного жилья. За косо висящей на кожаных петлях горбылёвой дверью почти полная темнота. Больше чувствовалось, чем виделось, насколько сильно прогнулся каркас крыши, опирающийся на четыре опоры углов и на столб в центре. Осыпающиеся земляные стенки зимовья поддерживались тальниковыми плетнями. Посередине, рядом с центральным столбом находился приглублённый в пол очаг, над которым в крыше чуть-чуть высвечивалось дымовое отверстие.

Старик, подкинув Лёшку повыше за плечо, бочком спустился в темноту, знакомо шагнув, с выдохом привалил бесчувственное тело мальчика на низенькие нары у правой стены. Поправил голову, сложил руки на груди. Олег, подолгу нащупывавший каждую ступень, дальше порога не двинулся.

— Чего встал? Садись там.

Куда садиться-то в такой темноте? Отпустив братовы бродни, Олег двинулся вдоль стены. Налево от угла были такие же низенькие земляные, прикрытые шкурами нары. Ноги разом подкосились, едва он успел присесть. И в голове всё поплыло.

— Меня Колькет зови. Дай котёл.

Олег не увидел точно, но ему показалось, что в очаге огонь вспыхнул от взмаха руки. Может, там были тлеющие угли, а старик только какого-нибудь порошка сыпанул? Но всё равно, пламя со вздохом рвануло на метр, багрово осветив внутренности зимовья, и, опав, часто затрещало, зашевелив рыхло наваленные ветки можжевельника. Колькет поднял выпавший у Олега котелок и вышел.

Блики рябо метались по отжатым осыпями плетням, на срубных рёбрах и по жирно закопчённым провисшим сводам. Копившийся под потолком горьковатый дым нашёл, наконец-то, выход и толчками потянулся вверх. Подвешенный над опасливо лизавшим его огнём котелок медленно набирал тепло, готовясь вскипятить налитую в него дождевую воду, собранную с крыши в подвешенные мешочки из рыбьих шкур. Олег сначала, сколько терпелось, сидел, но потом обессилено прилёг и так, с бочка, молча смотрел, как Колькет стягивал с Лёшки мокрую одежду, как растирал его бесчувственное тело травяным веничком, мазал глаза, уши и губы чем-то из маленькой берестяной коробочки. Потоптавшись, старик задумчиво отошёл к мулу — к приступке у противоположной от входа стены. Опять помедлив, со вздохом отвалил тяжёлую крышку стоявшего на низеньком выступе старинного сундука. Почти такого же, как у их дедов. Из сундука на свет появились семь завёрнутых в цветные тряпочки разновеликих предмета: маленький, как бы игрушечный, меховой колчан со стрелами, разной величины гильзы, продолговатое чеканное блюдце, две закутанные деревянные куколки, просто мотки цветных тканей. Колькет аккуратно расставил всё рядом с сундуком, а с одного свёртка один за другим снял несколько платков, шкурок, фольгу от шоколада. На ладони у него остался чёрно-зелёный от патины крохотный бронзовый медвежонок. Старик что-то нашептал отливке и только потом поставил рядом с другими. Глубоко вздохнул и достал со дна бубен. Не поворачиваясь спиной к мулу, он отошёл к костру и осторожными пасами стал разогревать бубен над огнём. Продолжая чуть слышно бормотать, Колькет изредка пристукивал по коже, вслушивался и снова грел. Бормотание усиливалось, сливаясь в подбиваемую бубном круговую мелодию, прерываемую позывами: «Га-га-га, гай-гай-гай».

В ответ на призывы огонь с шипом вздувался и опадал, ритмично выдыхая тёплую силу. Старик запевал громче, громче, и пламя, как маленькая женщина в оранжево-красном халате, заплясало, взмахивая рукавами языков и пощёлкивая кастаньетами искр, под песню бьющего в бубен ёл-та-ку. «Га-га-га, гай-гай-гай». Продолжая правой рукой постукивать бубном о грудь, Колькет левой зачерпнул из котла высоким деревянным стаканчиком и, поставив его на полочку около фигурки медведя, бросил в горячую воду красную, с белыми пупырышками, грибную шляпку. «Гай-гай-гай». Поднеся стакан к губам Алёши, отжав нижнюю губу, залил. Остаток выпил сам.

Олег лежал и смотрел. Странная песня на неведомом языке пересыпалась знакомым посвистом птичьих крыл, треском ломаемого сохатым сухостоя, плеском щучьего гона. Спал? Не спал? «Га-га-га, гай-гай-гай». Скорее, всё же не спал. Но сказочные видения перекрывали прыгающий огонь в глиняном очаге, поющего и приплясывающего шамана, неподвижно белеющее тело брата. «Га-га-га, гай-гай-гай». Гуси-гуси, га-га-га. За взлетающими гусями, тонко потявкивая, рысила лиса, а мудрый ворон чистил на высоте клюв, ожидая своей доли добычи от медведя. Дым и пар закипевшей воды вдоль центрального

столба ровно возносились в отверстие потолка, и сквозь зыбучие токи горячего воздуха столб оживал, набухая и подрагивая, выпускал ветви, которые тянулись к вызвездившему сквозь крышу небу, а прорастаемая его корнями земля под ним дыбилась, округляясь мировым холмом. От корней к небу и назад сновали разновеликие люди и звери, иногда не различаясь кто есть кто, а округлившаяся макушка уже упёрлась в серебряный гвоздь Полярной звезды, вокруг которой бежала шестиногая Лосиха с вытекающим из вымени Млечным путём… «Гай-гай-гай…».

— Ты не спи. Не спи. Тебе нельзя. Пусть братец Лёха спит, его глаза уже улетели. Он отвар мухомора попил, будет спать ночь и день, пока глаза не вернутся в свои гнёзда.

В очаге почти догорело. Тёмно-рубиновые кубики последней сосновой головни, умиротворённо тускнели пепельной дрёмой. Вновь загустевающая темень зимовья-карамо то и дело царапалась по крыше раскачиваемыми ветром ветвями, шуршала и попискивала мышиными перебежками по стенам, потрескивала остывающими нарами. Необъяснимо отчётливо, до мельчайших подробностей виднелось только лицо Колькета. Словно кожа светилась сама, изнутри, оставляя непроглядными чёрные прорезы глаз и рта.

— У тебя вопросы есть. Ты говори, говори, а то потом себя мучить станешь. Спрашивай.

О чём спрашивать-то? Вроде как всё понятно. Ну, если только… совсем честно…

— Баба, думаешь, где? Не тут Калтащ-анки. Сам смотри: как бы я один её сюда принёс? Шесть человек нужно. Шесть, а я один пришёл.

Старик говорил, но узкие, как у ящерицы, растянутые в полуулыбке губы не шевелились.

— А что геодезисты? Ну, эти, на которых медведь напал.

— Эти-то. Никто бы их не трогал, но они священную берёзу срубили. Пень на вершине видел? С лягушкой? Беда им и пришла. Священного города старик проснулся.

Он даже про лягушку знает. Какие после этого вопросы? Не спрашивать же, где тогда эта Золотая баба теперь. Лучше не спрашивать.

— Братец твой проспится и станет здоровый, его сам Вэрт покрывает. Запомни: братец Лёха — избранный духами, он, когда вырастет, шаманом станет. Всевидящим. Но ты за него не беспокойся, за собой следи. Ты очень смелый. Слишком. А бояться тоже нужно. И никогда не ищи чужое. Найдёшь — захочешь взять. Взять не своё — это перевернуть мир. На земле всё разложено Нум-Торумом по местам, всё каждому по силам и по нужде отмеряно. Как в лодке: передвинешь что-то — и перевернёшься.

Колькет нёс спящего Лёшку легко, шагая размеренно, и, вроде как не глядя по сторонам, безошибочно находил самые мелкие места, так что они

нигде не пробредали залитые рямы выше середины голени. Без перерыва и отдыха шли три часа. Маленькое, но упорно неотступное солнце доставало даже через встречный ветерок, и, сгибаясь под двумя рюкзаками, Олег тупо шваркал в такт старику по прогибающемуся под ржаво-чёрной жижей торфяному дну, а едкий пот струйками стекал по сетке накомарника, мутно скапывая на горячий брезент, пропитанный тем же потом изнутри. В штанах просто чмокало. От нутряной жары все мысли выпарились, ещё когда обходили Малое Карасье, и теперь под черепной крышкой сухо каталась только одна малюсенькая горошинка. Она раздражала и дразнила своей неустроенностью, в тот же такт болтаясь справа налево, слева направо: «дырка». Что это за дырка на спине старого ханта? Под правой лопаткой груботканная материя звёздчато разошлась торчащими во все стороны лепесточками. Это не зацеп за сучок, не потёр на складке и уж точно не моль. И что же это тогда за дырка? Далась же она Олегу. Горошинка раздражения не позволяла отключить сознание, и пустой череп от этой мелкой мыслишки гремел как погремушка. Что-за-дырка-на-спине-старого-ханта?

— Отдыхай пока.

Колькет осторожно привалил Лёшку на плотный тальниковый куст, поправил запрокинувшуюся голову. Олег с громким стоном плюхнулся рядом. Уже лёжа избавился от лямок, несколько раз глубоко вдохнул и, закрыв глаза, покачиваясь и кружа вокруг самого себя, разом поплыл в так скоро догнавшую гундосую дрёму. Сотни вопящих на разные голоса насекомых не могли помешать этому сладкому-сладкому дрейфу. Комары стадами топтались по сетке, через ячейки жадно просовывая хоботки к тёплой, терпко пахнущей плоти, но, не дотягиваясь, обиженно взлетали, сносимые лёгким ветерком. Олег просунул руки во встречные рукава, как в муфту, и дремал, дремал, невнимательно следя за золотисто-алым плеском под веками.

— Идти пора.

Стёртые, наверное, в кровь, плечи горели, энцефалитка сползала назад, давя замком горло, а сбившиеся портянки давно стали стельками. И чего он их не перемотал? Но, несмотря на все эти тяготы, возвращение завсегда спорее выхода — вроде как дорога к дому всегда чуть-чуть короче. Вот и конец зыбунам. Дно затвердело, губчатый торф сменился глиняной слизью. Теперь, по согре-то, можно и не нарезать галсы, а двигать напрямую. И тенёк от ельника просто наслаждение. Ага, сразу стали возвращаться мысли. В виде вопросов. Может быть, это второе дыхание? Вот, например, почему комары над хантом вьются, а не едят? И зачем он повелел всю еду выбросить? Плавучий островок остался довольно далеко в стороне, и интересно, цапля на него вернулась? И … и что за дырка у него на спине?

Через два часа опять отдыхали. Колькет протянул Олегу полупрозрачного, высушенного без соли окуня. Сгрызть-то Олег его сгрыз, обсосав сладковатую шкурку и все косточки, но пить после вяленины захотелось кошмарно. Пока

искал более-менее прозрачную воду, отдых кончился. Раздвинув в мочажине меж кочками плёнку ряски, спешно нацедил через накомарник в шляпу пахучую ледяную воду и не столько попил, сколько вылил на шиворот. Всё равно хорошо!

В третий раз Лёшку положили под тем высоченным дуплистым осокорем, который послужил им маяком при переходе кочарника с тремя старицами от Варнацкой гривы.

— Всё. Пришли. Смотри: вон там на гриве дымок. Это вас Филиппок поджидает. Пойдёшь теперь сам. Лёха пусть ещё часок поспит. Ты — туда-сюда без вещей поскорее. Придёте с дедом, он и проснётся.

Старик улыбался, а чёрные щёлки глаз так и оставались непроглядными.

— Олег, ещё одно прошу: про меня не болтай. Пожалей. Скажи, мол, ударила братца молния, это бывает. Он ничего не вспомнит, а ты не болтай.

Олег кивал, а сам пытался всмотреться в чёрные, не впускающие внутрь щёлки. Взгляд опустился к чуть шевелившимся губам, скользнул ниже. На груди, под правым сосцом, на красной ткани чернела чуть обугленными нитками маленькая дырочка.

— Филиппок догадываться будет, но ты молчи. Прошу: три года молчи. Тридцать девять лун. Потом ему расскажешь. Ладно?

— Ладно. Я обещаю.

— Ты хороший парень. Смелый. Сильный. И брата любишь. Возьми, это тебе памятка.

Колькет протянул кулак, Олег подставил ладонь. И вздрогнул от ледяного касания.

— Прощай.

Старик присел над спящим, приподнял накомарник, трижды дунул Лёшке в лоб и с силой потёр ему ладони. Привставая, повернулся сразу спиной и быстро, не оглядываясь, пошагал в борок. Под правой лопаткой груботканная материя звёздчато разошлась торчащими во все стороны лепесточками.

Так это… это же… выходное отверстие! А на груди дырка от входа. От пули? Или от шарика? Из Олегова пугача… Но крови-то не было. Ноги подкосились, и Олег опять плюхнулся на пятую точку. Нет-нет-нет! Не сидеть: дед уже с утра ждёт.

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

7.

Мир хантов-остяков (*Ас-ях* — «остяк») множит загадки своей угасающей культуры. Описатели и исследователи, начиная с Г. Новицкого, М. Кастрена, А. Регули, Р. Диенеша, Г. Старцева и кончая В. Кулемзиным и Н. Лукиной, иногда просто противоречат друг другу в пересказах наблюдаемых обрядов и ритуалов

и тем более расходятся в своих выводах из увиденного. Не мудрено, ибо единство немногочисленных потомков Югры, более тысячи лет разбросанных по неоглядным дебрям западно-сибирской тайги, не только сильно изорвано языковыми различиями фратрий и родов, но и прослаблено проникающим влиянием слишком непохожих соседей — селькупов, ненцев, татар и славян, через руки которых даже к сакральным святилищам Белогорья и Вежакоры докатывались дары культов и культур Онежья и Дерьячеие, Хуанхэ и Инда. В прошлом веке даже поднимали споры о том, а не различные ли, вообще, народы живут коневодством вдоль Чусовой, рыбачат на завоинах Кети или пасут оленей за ярами Таза. Но выспорилось, что есть нечто, более чем язык и территория, единящее родовые и семейные кочевья в неразрывную метафизичность нации. Это миф. И ритуалы его исполнения.

На Севере и в Центральной Азии нет обрядов для перехода из одной возрастной группы в другую. Инициации у аборигенов Сибири существуют только для посвящения в князей, жрецов и шаманов. При более-менее единообразии мистических и физиологических предпосылок и обязательности набора ритуальных действий в процессе поставления на ту или иную социальную роль, у хантов существуют определённые общественно-психологические установки, разительно смещающие акценты смысла княжества или жреческого служения своему роду. О своеобразии понятия богатырства мы поговорим позже, а вот их шаманизм, по признаниям специалистов, прежде всего, выделяется как бы «неразвитостью», в сравнении с теми же якутами, алтайцами или ненцами. Но как раз эта формальная, внешняя «неразвитость» и позволяет увидеть почти обнажённую суть самого феномена шаманизма, пышно прикрытую разнообразной обрядовостью иных народов.

Стоит ли напоминать, что шаман — не жрец, приносящий жертвы богам, семейным, родовым или государственным. Его присутствие не имеет никакого решающего значения для церемонии бракосочетания, при рождении ребёнка или при погребении. Все эти обряды совершают отцы, старейшины или князья и выделившиеся в касту священнослужители. Да, конечно, шамана приглашают и для принятия трудных родов, и для защиты молодожёнов от злых духов, и для проводов души умершего в иной мир. Но в первом случае он целитель, во втором — охранник, в третьем — опытный водитель. При жертвоприношениях шаман никогда не убивает жертву сам, он указывает хозяину, которого из коней или оленей нужно заклать для искупления от болезни или беды, а сам только молится и «отводит» душу жертвы. Задача шамана, где бы и когда бы и среди какого народа бы он ни жил, всегда одна — быть посредником, связным и толмачом разных миров и их насельников. Он — избранник богов для предстательства перед ними за людей.

Слово «шаман» пришло в русский язык из тунгусского. В других языках соответствующими ему терминами являются якутское *ойун*, монгольское *боге* и

удаган, тюркско-татарское *кам*. География этого явления не ограничивается Центральной и Северной Азией, шаманизм есть в Америке и Океании, Африке и Индокитае, отголоски его существования находят по всей Европе. И одинаково повсеместно шаманы считаются магами, знахарями, проводниками душ, а нередко и поэтами. При этом ни идеология, ни мифология, ни обряды не являются их творениями. Шаманизм, как некие опытно передаваемые, но всё равно всегда личные мистические переживания, везде и всегда движется как бы параллельной тропинкой общественно-религиозному тракту массового сознания. На сегодня общеупотребительным является определение: «шаманизм — это техника экстаза, а шаман — мастер введения в транс и выведения из трансового состояния». Но что касается этих шаманских техник, то они, опять же, вовсе не исчерпывают всех разновидностей экстатических переживаний, зафиксированных в истории религий и религиозной этнологии. Шаман является специалистом по конкретному трансу, во время которого, как принято считать, его душа покидает тело, чтобы подняться на Небо или спуститься в Ад.

В лексиконе хантов есть термин для обозначения человека, который бьет в бубен, созывает духов-помощников и лечит больного — *ёл-та-ку* (у северных хантов *чертан-ку*, *терден-хой*), что означает «ворожит человек». Этот «ворожащий человек» не имеет никаких привилегий ни на медвежьем празднике, ни на похоронах, после заказанного камлания получая лишь небольшой подарок в виде кисета, рубахи или трубки. Хантыйские шаманы, в том же сравнении с алтайскими или якутскими, никогда не выделялись в особую социальную группу, они не живут за счёт даров просителей, а наравне с другими соплеменниками охотятся, рыбачат и пасут оленей или лошадей, кормя свою семью собственным трудом. При исполнении своих шаманских обязанностей они даже не надевают никакого специального костюма для камлания. И их бубны — обязательный предмет общения с иным миром — тоже почти всегда без символических рисунков.

Кроме *ёл-та-ку*, шаманами называются сказочники *мантье-ку* (сказка-человек), исполнители героических песен *арэхта-ку* (песня-человек), сновидцы-предсказатели *уломверта-ку* (сон-делать-человек), предсказатели промысла *нюкулыпа-ку* и заставляющие людей плакать фокусники *исылта-ку*.

К. Карьялайнен, различая у хантов провидцев, колдунов и ворожеев, считал, что появление таких фигур есть следствие деградации некогда сильно развитого шаманства. К противоположному выводу пришел В. Чернецов: обратив внимание на то, что в их необычайно развитом фольклоре совсем не фигурирует бубен, утверждал, что у обских угров никогда не было развитого шаманства.

Главной функцией шамана является целительство. Существуют несколько версий относительно причин болезней, но преобладает концепция «похищения души». Любая болезнь, даже если она результат травмы, приписывается потере-

похищению души больного умершими предками или злыми духами, и, следовательно, лечение сводится к её поиску и возвращению хозяину. По представлениям хантов, человек, как и другие живые существа, активен и деятелен при наличии двух жизненных сил. Одна из них есть внешность, а другая спрятана внутри, в теле. В некоторых исследованиях первую не без основания называют тенью, а вторую — душой. Этнограф по призванию и сибирский генерал-губернатор по должности Н. Гондатти так и зафиксировал: «У человека есть тень *ис* и душа *лиль*».

Вызванный к больному юганский шаман начинает бить в бубен, пока не войдет в экстаз. Оставив тело, его душа достигает нижнего мира, где ищет потерявшуюся душу пациента. Если нет никаких особых обстоятельств, загробным жителям достаточно небольшого выкупа — рубашки или платка. Но случается, что шаман вынужденно прибегает и к более грубым средствам — запугиванию или борьбе при помощи духов-помощников. Выйдя из транса, он крепко держит добытую душу больного в кулаке и заставляет её войти в тело через правое ухо.

У иртышских остяков вызванный на дом шаман сразу приступает к окуриванию и приносит кусок ткани в дар *Санке* («светящийся, блестящий свет») — Всевышнему. Вечером, после дневного воздержания от пищи, он купается, съедает три–семь грибов и засыпает. Проснувшись через несколько часов в сильном возбуждении, он сообщает то, что ему открыли духи: о причине неудач или болезней и об имени духа, которому нужно принести искупительную жертву. Затем шаман снова впадает в глубокий сон и на утро приступает к требуемым жертвоприношениям.

У васюганских остяков шаманская техника намного сложнее. Если душа больного похищена и проглочена умершим, шаман высылает одного из своих духов-помощников, чтобы тот ее нашел. Дух спускается в преисподнюю и, встретив там похитителя, внезапно извлекает из груди другого духа в облике медведя. Мертвый пугается и позволяет душе больного выскользнуть из своего горла или груди. Дух-помощник хватает душу и приносит её хозяину на земле. Все это время шаман играет на музыкальном инструменте и рассказывает о приключениях своего пациента. Если же душа больного похищена не мертвецом, а злым духом, то уже сам шаман должен отправляться за ней. Есть и ещё более сложные и опасные для самого шамана виды путешествий в разные миры.

У енисейских остяков исцеление включает два экстатических путешествия: первое из них является ближней разведкой, а уже во время второго шаман проникает далеко в потусторонний мир. Обычно сеанс начинается пением и танцем, в это время к нему слетаются духи, поочереди загоняемые в бубен. Когда духи прибыли, он начинает подпрыгивать, что означает, что он оставил землю и летит к облакам. Через некоторое время шаман, если он не нашел душу больного или увидел её очень далеко, в стране

умерших, возвращается из транса. Отдохнув, шаман снова начинает танец и танцует, пока вновь не оставит тело и, уносимый духами, не перейдёт в другой мир, откуда вернётся с душой больного.

В любом случае, шаманский экстаз является не пассивным трансом, а состоянием «вдохновения». И главным средством достижения экстаза является музыка. Интоксикация путем употребления в пищу грибов также вызывает контакт с духами, хотя и грубым и пассивным способом. И эта техника представляется поздней и явно заимствованной.

Экстаз, вызываемый дымом конопли, был известен в Древнем Иране. Иранское слово *бангха* (bangha) — «конопля» прямо не упоминается в Гатах, но во Фраваши-яшт говорится о некоем Пуру-бангха, «обладателе большого количества конопли». В Яшт сообщается об Ахура Мазда — «без транса и без конопли», а в Видевдате конопля просто демонизирована. И вот интересно, что во многих финно-угорских языках обозначение шаманского гриба (agaricus muscarius), употребляемого в качестве интоксикационного средства до или во время сеанса, созвучно этому иранскому *бангха*. Например — мансийское *панкх*, мордовское *панга*, *панго* или марийское *понго*. На северо-мансийском языке *панкх* обозначает также «опьянение», «пьянство».

В Сибири отбор шаманов происходит через наследственную передачу шаманской профессии и через призыв богов или духов. Бездетный шаман передает её другу или ученику. Встречаются случаи, когда шаманами становятся по своей воле или по воле рода. Однако такие в сравнении с теми, кто унаследовал эту профессию или последовал зову духов, считаются слабыми. Независимо от того, «наследственный» шаманизм или «спонтанный», он всегда является даром богов или духов, т. е., в определенном смысле «наследственным» он только кажется. Широко описанная обязательность болезненных детства и юности кандидата в шаманы не только не означает дальнейшей болезненности уже посвящённого, более того, перенесённые им до полового созревания лунатизм, депрессивные психозы или эпилепсия являются его обязательным же личным опытом, облегчающим преодоление чужих психических заболеваний и отклонений. Экстатические переживания, определяющие призвание будущего шамана, традиционны для всех церемоний посвящения: страдание, смерть и воскрешение. Если изначальная болезнь избранника есть лишь спонтанное испытание перед посвящением, то переносимая под руководством учителя потеря сознания, вплоть до реальной агонии, символизирует его смерть. Состояние «внутри смерти» сопровождается «расчленением» тела будущего шамана духами, после чего происходит обновление внутренних органов, вознесение на Небеса, нисхождение в Преисподнюю, общение с богами, духами и душами умерших шаманов, разнообразные откровения религиозной и шаманской природы — познание языка растений и животных. Так, якутский шаман Софрон Затеев утверждал,

что будущий шаман «умирает» и в течение трёх дней лежит в юрте без воды и питья. Другой шаман, Петр Иванов, более подробно рассказывает об этой церемонии: части тела кандидата отрываются и раздираются железным крючком; кости очищаются, жидкости выпускаются из тела, а глаза вырываются из орбит. После этой процедуры все кости собираются заново и скрепляются железом.

Выздоровевший через инициацию шаман резко выделяется в среде единоплеменников своими интеллектуальными способностями, устойчивой психикой и физической выносливостью. Эти качества необходимы, когда прошедшего через болезнь и страдание неофита опытные наставники обучают технике произвольного вхождения в транс, все остальные знания он получает сам через тот опыт, который ему удается получить во время пребывания в экстазе. «Там» начинающий шаман узнаёт своего духа-покровителя и приобретает духов-помощников, часто в зверином образе. Во вхождении в транс самым главным этапом является смерть и расчленение его тела богами или духами, после чего оно возрождается в мир с обновлёнными органами. В смерти и воскресении кандидат знакомится с языком духов и зверей, благодаря чему приобретает тайные, скрытые от обычных людей, знания, позволяющие ему более-менее безопасно путешествовать по Космическому древу-столбу во всех трёх мирах. Этими знаниями шаман лечит и узнаёт будущее, изменяет ход истории и сочиняет гимны.

Ритуальные песни остяцких шаманов, записанные В. Третьяковым, содержат рассказы об экстатических путешествиях ради исцеления больного. Но эти песни имеют некоторую автономию по отношению к собственно лечению, поскольку шаман подробно и восторженно описывает свои приключения в небе и в подземелье. Порой создается впечатление, что за переживаемыми событиями пути поиск души больного отходит на второй план или вовсе забывается. Остяцкие шаманы с реки Таз поют о своем полете среди чудесных цветов, о сиянии высоты, с которой они видят Середину Мира, где их учителя когда-то делали бубны. Наконец, достигнув высшего неба, где, после многочисленных приключений, они входят в железный дом, в котором засыпают, окруженные пурпурными облаками.

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Это пушкинское стихотворение вводило в транс Достоевского. Так тропа шаманизма, видоизменяясь временем и приспосабливаясь к давлению обстоятельств, ни на секунду не прерывалась от пещерных трансов неандертальца до экстазов в Политехническом.

В религии и мифологии древних скандинавов некоторые элементы тоже напрашиваются на сравнение с концепциями и техниками североазиатского шаманизма. Вспомним Одина — Страшного Владыку и Великого Мага: чтобы присвоить тайну рун, Один висит на дереве в течение девяти дней и ночей. Хофлер сравнивает это с инициационным влезанием сибирских шаманов на Космическое Дерево. Снорри Стурлусон пишет о способности Одина изменять свою форму: «Его тело лежит, как если бы он спал или был мертвым, но он становится птицей или диким зверем, рыбой или змеем и в мгновение ока достигает отдаленных стран». Вполне обосновано сопоставление этого экстатического путешествия Одина в зооморфном облике с превращением шаманов в животных. Можно догадаться, что и два ворона Одина — Хугинн («Мысль») и Мунинн («Память») — представляют двух «духов-помощников», к тому же на своём волшебном коне Слейпнире он достигает Хела (Ада), чтобы у умершей пророчицы узнать ответы на свои вопросы, а это уже совершенно шаманский способ нисхождения в Ад. Ханты верят, что шаман путешествует во

времени вперед и назад, подразумевая его способность опускаться в подземное царство, где время имеет обратный ход, и возноситься на небо, где оно имеет прямое направление.

Максимилиан Волошин увидел во внутренних морях Европы её детородные органы, и если от зачинаний цивилизации Балтики перенестись к зреющему плоду Эллады, то и тут мы встретим спускающегося в Аид Орфея, чтобы, подобно обдорскому шаману, вернуть в мир живых похищенную Владыкой смерти душу-тень Эвридики. Орфей обладает и другими техниками шаманизма — исцелением, магической музыкой, пониманием животных, гаданием.

Геродот: «Выше исседонов живут одноглазые мужи — аримаспы. Над ними живут стерегущие золото грифы, а выше этих — гипербореи, достигающие моря».

Гелланик: «Они совершенствуются в справедливости, не употребляя в пищу мяса, но питаясь древними плодами».

Ференик: «Живут на краю земли под охраной Аполлона, не зная войны».

Пиндар: «Там идут бесконечные праздники, слышатся гимны, которые радуют сердце Аполлона, и смеется он… Культ муз не чужд гипербореям, отовсюду хоры молодых девушек собираются на… сладкие звуки флейт, и, увенчанные золотым лавром, они предаются радости праздников. Это святое племя не знает ни болезней, ни слабости возраста. Живут они далеко от тяжких трудов и сражений».

«Из страны гипербореев прибыл скиф Абарис… весьма опытный в священнослужении… На подаренной ему стреле Аполлона Гиперборейского он переправлялся через реки, моря и труднопроходимые места, как бы путешествуя по воздуху… Молвят, что во время путешествия он совершал очищения и изгонял моровые язвы и поветрия… делал достоверные предсказания о землетрясениях… успокаивал бурные ветры… и усмирял речные и морские волнения…».

Аполлон Гиперборейский долго шёл к Архипелагу из Минусы Хакасской.

Большая Хакасия. Минусинский котёл — священная жемчужина Эранвежа, со всех сторон окруженная створами гор — Кузнецким Алатау, Восточным и Западным Саянами. Минуса — Гиперборея, что таится за страной аримаспов и грифов и Рипейскими горами и через которую течёт Кампас (Кам, Кем — древнее название Енисея). Анклав растительного изобилия, долголетия и самородной меди, покрытый десятками тысяч алтарей-курганов, стел и хранимый священными крепостями-све. Самые древние следы человека эпохи палеолита обнаружены в гроте «Двуглазка» на реке Толчея. Люди согревались здесь пещерным теплом более тридцати пяти тысяч лет назад. А каменные изваяния и стелы эпохи бронзы? С них смотрят в три глаза странные,

фантастические персонажи. А Великий нефритовый путь середины II века до нашей эры? Петроглифы, писаницы, стелы, обелиски, изваяния и просто вросшие в землю плиты — их столько, что прибывший в XVIII веке первый европеец Даниил Готлиб Мессершмидт принял Минусу за огромное кладбище всей Азии. Действительно, здесь в течении почти пяти тысяч лет неведомые архитекторы возводили величественные каменные сооружения на могилах царей и героев Великой Степи. Торжественно взмывает в небо каменной колоннадой Большой Салбыкский курган, ограждённый рублеными плитами-кубами девонского песчаника весом более пятидесяти тонн. Без сомнения его значимость превосходит Стоунхендж, Нью-Грейндж и Карнак, Аркаим и Трою. А смысл? Эти обсерватории-алтари, исчисляя солнцеворот и жертвоприношениями выравнивая вращение мировой оси, метафизикой единства всех трёх миров сомыкали вроде как несоединимую географию Гипербореи.

Аполлон Минусинский.

Кстати, Аристей из Проконнеза также связан с Аполлоном, он мог появляться одновременно в удаленных друг от друга местах и сопровождал бога в образе ворона, что наводит на параллель с шаманскими трансформациями.

А ещё в одном из храмов сына Латоны стояло отлитое из меди изображение Аполлона в виде волка. Аполлон Ликейский — «волчий», символ утреннего солнца.

В античности волка считали зверем-призраком, один взгляд которого лишает дара речи. Геродот и Плиний сообщают, что принадлежащие к скифскому племени невры раз в году превращаются в волков, после чего снова принимают человеческий облик. В этом, возможно, скрываются воспоминания о волке-тотеме племени. У римлян явление волка перед битвой могло расцениваться в качестве символа будущей победы, так как он связывался с богом войны Марсом. В хеттской, иранской, греческой, германской и других индоевропейских традициях сами воины или члены племени представлялись в виде волков или именовались волками и часто наряжались в волчьи шкуры. В «Саге о Вёльсунгах» Зигмунд и его сын Синфьотли залезли в волчьи шкуры, и не смогли из них вылезти. В «Саге об Инглингах» двенадцать берсерков окружают конунга. Берсерки бросались в бой без кольчуги, ярились, как бешеные собаки или волки.

Общим для многих мифологий Евразии является сюжет о воспитании родоначальника племени, а иногда и близнецов волчицей. Это Ромул и Рем, Кир, китайская хроника VII века о Тюрке, которого выкормила волчица, ставшая его женой и родившая ему десять сыновей. Чингисхан тоже похвалялся своим происхождением от серо-голубого, спустившегося с высоких небес волка.

Масса евроазиатских этнонимов, засвидетельствованных историческими источниками, восходит к имени этого животного: закаспийские кочевники-скифы — *dahae* латинских авторов и *daai* греческих, чье имя восходит к

иранскому слову *dahae* — «волк»; *Hyrcania* — «страна волков», чьи племена *hyrcanoi* — «волки»; фригийское племя *orka* (*orkoi*); «ликейцы» Аркадии; сама *Ликия* (*Lycia*) и *Ликаония* (*Lycaonia*) в Малой Азии; имя самнитского племени *лукане* происходит, по Гераклиту, от *lycos*; народы Испании *лоукентиой* и *лукенес*.

У славянских и балканских народов — болгар, сербов, хорватов, словенцев, босняков святой Георгий накануне своего Юрьева дня собирает волков и ездит на них верхом. «Волк-хорт» — одно из наиболее мифологизированных животных, и предок-вождь племени часто выступает в образе волка или обладает способностью превращаться в волка (как и греческий Долон), что отразилось в фольклорных оборотнях волкодлаках-вурдалаках. Легенда об обращении волком сербского Вука Огнезмия, как и древнерусское предание о Всеславе, князе Полоцком, восходят к общеславянскому мифу о чудесном герое-волке. На фресках одного из храмов Костромы сохранилась незаписанная икона песьеголового (волчьеликого) святого Христофора.

Аполлон Волчий.

Вот и опять промелькнул Босый волк, коим обернулся князь Игорь, бегущий из плена от Кончака («Пса») и Кобяка («Кобеля»). Волки же выли на выход русичей в поход — на кровавую свадьбу, где, заклав брата-Тура и напоив сватов, поял Великим путём «из варяг в греки» заневестившуюся вешним цветом Великую Степь, и, оставив за Донцом своё семя-княжича, вернулся родовой тотем на русалий зов Ярославны, что потерявшей своё дитя кукушкой взмахнула крылами-рукавами со стены Детинца. Ярославны, не имевшей имени, а только отчество, ибо она — Отечество.

«Аще и веща душа въ *друзе теле,* нъ часто беды страдаше» — сказано в «Слове о полку Игореве» о князе Всеславе Полоцком. Веские доводы в пользу перевода «в друзе» как «в другом», «в ином» высказывал Ф. Буслаев, исходя из того, что Всеслав Полоцкий — волшебник, оборотень, перевоплощавшийся в разные тела. «Другое тело, по-моему,— пишет Буслаев,— означает не другого или какого-нибудь человека вообще, а именно другое тело, не свое собственное, а волчье, которое надевал на себя герой, перерыскивая путь великому Хорсу». Про Волха Всеславича: «А и первой мудрости учился… обертываться ясным соколом… ко другой-то мудрости учился он, Волх, обертываться серым волком». Волх — волхв — волк — волок — волга… и Вольга? «Похотелося Вольге много мудрости: Щукою-рыбою ходить ему в глубоких морях, Птицей-соколом лететь ему под облака, Серым волком рыскать во чистых полях».

Мысь от преисподней до седьмого неба вверх-вниз пробегала Мировое дерево, на ветвях которого в гнёздах яйцами Матери-Хищной-Птицы Карса созревали души будущих шаманов, а когда вращающееся вокруг древа-столпа солнце Аполлона-Волчьего затмевалось чёрным диском Артемиды-Медведицы, то в наступавших сумерках прорицательницам снились вещие сны об опустевшем колчане Руси.

Воспевал славу-драпу Босому князю, закликая вход в Валгаллу, в бессмертие славных, баюн Баян, волхв, внук Велеса. Воспевал гимн-заклинание, перебирая узловатыми пальцами струны гуслей с головкой ящура, как воспевает и сейчас под дедову арфу с гусиной головкой, а то и просто под ленинградскую гитару, охотник на яру Конды древнюю быль-арэхту о том, как «остяки Рим брали». Брали! Это бывшие обские жители, венгры, не пожелавшие вернуться в Обдорию из гуннского закарпатского похода, своим кровным родством смывают с лиц хантов и манси всякие приписные тюркские или монголоидные черты. Связь Иртыша и Дуная не прерывалась до монгольского нашествия, и угры, держатели ключей от врат Урала, в смешении с другими переселенцами Великой Степи, торговали и воевали от Алтая до Альп. Так, в житиях святых Бориса и Глеба описывается юный слуга Бориса, венгр Георгий, что собственным телом закрыл своего князя, жертвенно принимая удар копья подлых убийц: «С Георгия же они не смогли снять гривны, отсекли голову ему и отбросили её, так что и после не могли узнать тела его».

Волк и солнце связаны до конца. Конца времён.

У балтийской цивилизации существует легенда о двух Волках *Geri* и *Freki*, сопровождающих бога Одина в качестве его «псов». А ещё Одину приносили в жертву волков, собак, а также людей, «ставших волками», ибо ему было предсказано, что чудовищный волк Фанрир, запертый в недрах земли, во время наступления «сумерков богов» (конца Света) разобьёт свои оковы, сплетённые хитрыми асами, и проглотит Солнце. А затем, погибая сам, убьёт и Одина: «Есть великанша, что живет к востоку от Мидгарда в лесу, прозванном Железный Лес. В этом лесу селятся ведьмы, которых так и называют: ведьмы Железного Леса. Старая великанша породила многих сыновей-великанов, все они видом волки. Отсюда появились и эти волки. Говорят, что того же племени будет и сильнейший из волков, по имени Лунный Пес. Он пожрет трупы всех умерших и проглотит месяц и обрызжет кровью все небо и воздух. Тогда солнце погасит свой свет, обезумеют ветры, и далеко разнесется их завыванье. А Один погибнет в конце света от Волка, сына великанши Хель и Локи. Фанрир — чудовищный волк, он же — Хродвитнир и Лунный Пес».

Опять совпадение: у хантов солнце — женщина, а месяц — мужчина, и это же мы видим в «Младшей Эдде», в Видении Гюльви: «Одного человека звали Мундильфари. У него было двое детей. Они были так светлы и прекрасны, что он назвал Месяцем сына своего, а дочь — Солнцем». И у того же Снорри Стурлусона читаем о начале своего явно «шаманского» путешествия: «Конунг Гюльви был муж мудрый и сведущий в разных чарах. Диву давался он, сколь могущественны асы, что все в мире им покоряется. И задумался он, своей ли силой они это делают или с помощью божественных сил, которым поклоняются. Тогда пустился он в путь к Асгарду, и поехал тайно, приняв обличие старика, чтобы остаться неузнанным. Но асы дознались о том из прорицаний и

предвидели его приход прежде, чем был завершен его путь. И они наслали ему видение…»

Как путешествуют боги?.. Только ли Золотая баба из Биармии путями чуди перенеслась в Обдору?.. Что есть идол без своего культа, что есть бог без своего мифа?.. Сказочные саги, как и «Слово о полку Игореве», очень провоцируют на недоказуемые теории…

Новгородская первая летопись младшего извода: «В лето 6840 (1332 г.)… великый князь Иванъ прииде из Орды и възверже гневъ на Новъград, прося у них серебра закамьское».

С VI века по Волге и Каме стали подниматься азиатские купцы, скупая встречно подвозимые по Северной Двине моржовые клыки, местных прикамских ловчих птиц и печорскую пушнину. А с VIII века в торговлю с Закаспием вступило и Приобье. В обмен на меха за Урал потекло восточное серебро — полновесные монеты, изысканные кувшины и чеканные блюда. Именно это «закамьское» ханты-мансийское серебро иранского происхождения через шестьсот лет составило основу коллекции Строгановых, хранящуюся ныне в Эрмитаже.

Как «священно-белые», серебряные изделия чаще всего оказывались в вогульских и остяцких святилищах? Введение чужих предметов в состав своих ритуальных атрибутов требовало опознания в них принадлежности к местным культам. Характерен иранский ритон в виде слона, виденный В. Чернецовым в 1935 году в святилище *Йипыг-ойки* (Филина-старика) в верховьях Северной Сосьвы. Слону поклонялись как живущему под водой мамонту.

Иконография сложных изобразительных композиций с неведомыми в Обдории сюжетами и поэтому не поддающимися убедительному истолкованию, «дорабатывалась» сибирскими или уральскими жрецами при помощи гравированных рисунков. Так, в июле 2001 года в ходе экспедиционных работ Приполярного этнографического отряда впервые на территории Западной Сибири было обнаружено серебряное блюдо иранской сасанидской династии. На лицевой стороне блюда изображена сцена охоты иранского шаха Ездигерда I (399–421 гг.). К авторской чеканке на блюде над рукоятью меча «дорезана» вытянутая фигура птицы, а перед парящим над шахом ангелом изображена пара оленей — так, что ленты в руках летящей фигуры стали веревками аркана для набрасывания на животных. Владельцем блюда был хранитель Вытвожгортовского святилища. Раз в несколько лет туда приезжали шаманы из Лорагорта и Оволынгорта для недельного ночного камлания в «тёмной юрте» около реликтового кедра, на стволе которого была вырублена личина богатыря-предка. В жертву кедру-предку приносили до сорока девяти оленей. Можно предполагать, что блюдо использовали как в «тёмной юрте», так и при жертвоприношении перед личиной богатыря.

Но иногда новые вещи сами влияют на местные религиозно-мифологические представления и изменяют ритуалы.

Бога *Вэрта* (Мир-сусне-хум) В. Топоров считает самим Митрой, пришедшим на север Западной Сибири в конце последнего тысячелетия до нашей эры. Однако, у манси и у хантов из священных воплощений божества «Смотрящего-за-миром» чисто сибирскими можно назвать его облики гуся, утки или стрекозы, а вот видение его всадником, скачущим на коне, безусловно, имело в основе изображение скачущих иранских царей на серебряных блюдах, попавших сюда не раньше IX века — уже нашей эры. Можно предположить, что тогда это изображение выразилось в реальный обряд, и в жертву «Смотрящему» стали приносить коня, на душе которого он должен был возноситься на небо.

Аполлон Гиперборейский долго шествовал к Архипелагу из Минусы Хакасской. А для встречи с ним спускался с верховьев Ганга Дионис. Как сожительствовали они в эллинизме? Тут все исследователи единым хором обращают внимание на то, что целители или экстатики, которых можно было бы сравнить с шаманами, никогда не были связаны с Дионисом.

8.

Вика, сколько себя помнила, для папы всегда была только Викторией. Не Викушей, не Торией. И, уж конечно, не Викочкой. Впрочем, при нём и мама всегда обращалась к ней так же, ну, правильно. Всё оттого, что тон в их семье задавала комиссарская профессия Антона Николаевича. Замполит роты, батальона, полка. Зимой и летом, днём и ночью двадцатипятилетняя служба живым примером для подражания — вначале под Ростовом, затем в Нерчинске, а в конце в Томске. Армия лекалами уставов и трафаретами уложений определила взаимоотношения не только в семье, но и отрегламентировала количество и качество их общений с внешним миром: даже жёнам в военных городках рекомендовалось дружить с равными, плюс-минус звёздочка. Послабления давались только детям младшего возраста. Мама, со своей жалостливостью, далеко не сразу, но всё же примирилась с иерархичностью распределения ответственности и благ, и хоть в сердцах иногда обзывала «папу человеком в футляре», но это так, отступая и уступая, просто ради сохранения лица. Тоже, мол, имею право на мнение. А так-то Елена Дмитриевна была образцовой боевой подругой, и понимание социального положения «зам по тылу» с годами переросло в естество.

Самый большой из конфликтов, если можно только так назвать их редчайшие размолвки, случился, пожалуй, именно из-за этого их переезда сюда, в райцентр. Из города в деревню, да ещё и не по приказу, а собственной волей… ну где у человека ум?! Ладно б куда-нибудь в Краснодарский край или под Полтаву… а то Сибирь-матушка…. Да они же отдельную квартиру, о которой

столько мечтали, получили всего как полгода — на Красноармейской, в двух шагах от трамвая. Отдельную! Хоть и в старом доме, но сплошь резном, на одни наличники залюбуешься. Где у человека ум?! У неё просто не хватало слов… И мама в первый раз попыталась вовлечь в свой протест дочь. Но Вика знала лишь то, что положено знать природно-послушной девочке, к тому же совершенно искренне соглашалась с доводами папы, что сильный, волевой мужчина и сознательный член коммунистической партии не должен просто уходить на пенсию по выслуге, так как его двадцатипятилетние управленческие навыки и опыт идеологического и патриотического воспитания молодёжи может, а значит, должен ещё долго приносить пользу Родине. Идея переезда в Лаврово всецело укладывалась в ясную логику: близкий профиль должностных обязанностей, несомненная востребованность, плюс хорошие жизненные условия для укрепления здоровья дочери. Последний довод для потихоньку смирявшейся, как всегда, Елены Дмитриевны, конечно же, стал первым: Вика родилась семимесячной, два с половиной кило, поэтому первые свои три года уже провела в деревне, выпариваемая бабушкой с помощью грелок и козьего пухового платка. Но затем бабушка резко поплошала, а Антона Николаевича перевели в Забайкалье, и вот девять лет родители с переменным успехом сами боролись со всеми возможными и невозможными хрониками своей «дохляны».

И пусть в Мельниково, в РОВД, было б несравненно ближе — каких-то сорок минут на машине от города, но в Лаврово жил старший брат, директор средней школы Владимир Николаевич, который и помогал с назначением на должность начальника районного ДОСААФ.

После стеснённого Томска райцентр пугал обилием неба. Округлый холм, на котором улицами, переулками и тупиками вольготно расползлись и рассыпались полторы тысячи дворов, чем-то походил на спину задремавшего Рыбы-Кита из ершовской сказки. Кита, чья крутолобая налимья морда сонно погрузилась широкими губами в изворот Оби на восток, а могучий хвост с совхозными выселками раздваивался вдоль трассы Томск–Колпашево. За рекой до самого своего края заливные луга стелились ровными простынями, с мелкими складками дальних былинских грив, а здесь, кроме главного холма, выше по течению в берег утыкалось ещё несколько узких, разрезанных заболоченными балками, поросших березняком и сосняками горок. На самом ближней — Остяцкой рёлке — возвышалась телевизионная башня, а остальные населяли только бурундуки и зайцы. Но все эти бельниковые рёлки своей тощей остротой только подчёркивали необычайность главного холма, его тайную, вздувающуюся неохватным шеломом из недр, дремлющую до поры, до времени нутряную силу. Оттого, что горизонт с него везде был ниже смотрящего, стоило только притаиться и прислушаться, как становилось совершенно ощутимо глубокое медленное дыхание где-то глубоко-глубоко под ногами. А ещё по большому небу постоянно бежали облака. Они, то множеством, сизой сплошью перекрывающие солнце и луну, то редкой бледной цепочкой крадущиеся по

восточному краю, вздуто-тягучие и полупрозрачно-рваные, белые и фиолетовые, алые и серебристые, стелящиеся и высокие, кучковые и перистые — они были и плыли над холмом всегда. От этого их вечного движения окружённый небом сонный Кит и сам постоянно плыл. Спал и плыл — на юг или на север — навстречу ветрам, тысячелетия без устали дующим вдоль русла Великой реки.

Квартиру папе через два месяца дали в только что отстроенной белокирпичной двухэтажке. Прокрашенные наскоряк и по-сырому полы шелушились, батареи почти не грели, и не протыканные с осени окна заросли несоскребаемым сантиметровым слоем льда, ёлочно-папоротниковые хитросплетения которого мягко переходили в сплошной мох пушистого инея подоконников. Температура никак не поднималась выше десяти градусов, днями они ходили в пальто и в валенках, спали все в одной комнате, в свитерах и в шерстяных рейтузах, а каково же было просыпаться под издевательски бодренький возглас: «В эфире „Пионерская зорька“»! Хотелось просто до весны не высовываться из-под одеяла, чтобы не видеть полосок густого ультрамарина над белизной окна на контрасте с жёлтым квадратом кухонного проёма. Но мама приносила ей в постель разогретое на газе молоко, а свежевыбритый отец демонстративно расхаживал в поисках запонки в одной майке. Перед выходом в школу Вика по самое горло тщательно кутала своего серого мишку в старую шаль. Иначе он замерзал, хоть и был игрушечным. Уроки она продолжала делать у Владимира Николаевича и Марии Петровны. Потом, когда папа принёс «козла», от тёмно-красной спирали самодельного обогревателя разительно потеплело, даже с окон побежало, но он выжигал кислород, и если не выключать, то к утру дышать становилось нечем.

Наверное, летом, когда они доведут квартиру «до ума», докупят мебель, высадят в горшки цветы и заведут котёнка, в ней будет уютно и мило, а пока Вика вздыхала о том времени, когда они жили у дяди. Три комнаты в большом деревянном двухквартирнике, забитые поражающим всякое воображение количеством добротных, рассчитанных на столетия вещей, напоминали Вике музей. Выросшей в аскетике готовности к переезду по первому приказу, девочке до этого только в кино доводилось видеть такие точёно-резные этажерки и сервант-горку, высокие застеклённые «сталинские» книжные шкафы в гостиной, огромный, под зелёным стеклом и с мраморным чернильным прибором стол, плетёное кресло около китайского, с жар-птицей, драконом и длинными кистями, торшера. В кабинете по стенам в деревянных рамках висело множество фотографий, где, кроме заученной Викой родни, большую часть составляли групповые снимки выпускников разных лет. Над диваном накрест с зауэровским ружьём серебрились ножны тяжёлого австрийского палаша. Здесь вообще много было трофейного: студийный фотоаппарат, патефон, бинокль. И даже морской тёмно-бронзовый барометр. Несмотря на сверхзанятость хозяев вечными школьными проблемами, в квартире всё — от кухни, где у духовки

постоянно поднималось тесто для ежевечерней выпечки, до нежного перезвона настенных часов в спальне, всё, всё,— и тёмно-бордовые плюшевые с бахромой шторы, и огромный, разросшийся возле окна непривитый лимон, и вязаные присахаренные салфетки, репродукция шишкинской «Ржи», и даже старый-престарый пушистый сибирский кот-мурлыка — всё источало уют и стабильность. Два сына Владимира Николаевича и Марии Петровны давно выросли, закончили институты и работали в дальних городах, где у старшего даже подрастала внучка Верочка.

Особенно хороши были семейные вечера за общим столом, какие у них самих и представить было трудно. Владимир Николаевич, переоблачённый после работы в мелкоклетчатую байковую рубашку и смешные сатиновые шаровары «времён довоенной молодости», обычно сидел в гостиной у торшера и с помощью мощных очков просматривал многочисленные газеты, а мама с Марией Петровной на кухне в четыре руки что-то жарили и парили, по мере готовности вынося съедобное на большой стол. Отец в те месяцы постоянно мотался в Томск, сдавая и принимая дела, организуя перевоз вещей и мебели. Но даже в редкие дни, когда он тоже присутствовал, всё равно, если его не спрашивали, обычно молчал, без конкретной просьбы никогда ни во что не вмешиваясь. Так уж у него было решено: в гостях чужая воля. Тем более, Владимир Николаевич был старшим братом, а Антон самым последним, седьмым. Трое их братьев погибли на войне, одна сестра умерла от неудачной операции, а ещё одна, тётя Катя, жила со своей семьёй в Казахстане, в Караганде. Вика её знала только по открыткам и фотографиям. Когда стол заполнялся тарелками, тарелочками, блюдцами и плошками с солёной или квашеной, с морковкой или со смородиной, капусткой, маринованными в чесночном рассоле огурчиками, бочковыми белыми груздочками или мелкими-мелкими опятками под нарезанным кружочками синим лучком, чуть приперчённым салом и сложной овощной «икрой», то напоследок выносили «только» исходящую паром зажаренную или потолчённую с укропом и тмином картошку и ставили булькающую жаровню с гуляшом. Кликали корпевшую в соседней комнате за уроками Вику и громко сдвигали стулья. Когда папа оказывался рядом с Владимиром Николаевичем, становилась особенно видна их несхожесть. Братья, а настолько разные: старший невысокого росточка, очень толстый, седой и подчёркнуто русопятый в округлостях светлоресничных и светлобровых глаз, картофельного носа и большого рта. А младший, наоборот,— высокий, крепко оформленный атлет, с обширной ранней лысиной, с тоже светлыми, но могучими, сросшимися бровями над глубокими, без блеска, глазами. И губы ниточкой. Такие достались и Виктории.

Тему разговора обычно приносили с кухни женщины. Что-нибудь местное. Про проводы на пенсию директора пищекомбината с неясностью кандидатуры на занятие вакансии или про завоз индийских чайных сервизов в райпотребсоюз, про нежданно раннюю свадьбу у вчерашних выпускников из-за «щекотливых»

обстоятельств или про рецепты излечения гипертонии. Единственное, о чём никогда не говорилось, так это о школьном. Из-за Вики в том числе. Мужчины удивительно мирно терпели эти сплетни до чая, а лишь после того, как женщины уходили прибирать несъеденое и замачивать посуду, приступали к тому, ради чего Вика таилась в самом затемнённом углу стола, на котором оставался больной жёлтый эмалированный чайник на резном деревянном кружке, фарфоровый цветастый заварник, старинная сахарница с серебряной крышечкой, две-три красивые хрустальные вазочки с вареньями, порезанный пирог с брусникой или черёмухой. Мужчины пили чай с подстаканников, женщины из китайских невесомых чашечек.

Разговоры братьев начинались с обсуждения московских и космических новостей и от воспоминании про прошлогодний небывалый урожай в двести двадцать миллионов тонн и успехов массовой мелиорации плавно переходили на международное положение, где от вьетнамской войны и достигнутого соглашения с США по предотвращению внезапного нападения добирались до параметров современного вооружения, обязательно касаясь войны Отечественной, с её общенародным пафосом. В конце концов приступали к самому интересному — к истории Томской области.

— …в нашем районе, километрах в пятнадцати ниже Могочино, на Оби есть Игрековский остров, на котором томские археологи обнаружили более сотни каменных орудий и наконечников стрел и оригинальную глиняную посуду девятого-восьмого веков до нашей эры. А немного выше, недалеко от посёлка Нарга, раскопана одна из самых северных в Западной Сибири Могочинская палеолитическая стоянка охотников на мамонтов, которой вообще шестнадцать тысяч лет! — Владимир Николаевич, поселившийся в райцентре в пятьдесят пятом, с первых же дней увлёкся местной историей, открыв при школе краеведческий музей. Каждое лето, пока позволяло здоровье, он брал с собой десяток ребятишек и ходил с ними в экспедицию за пополнением археологических и этнографических экспозиций. Они были на Томи и на Чулыме, на Васюгане и на Кети. Встречались со старожилами, осматривали обвалы яров, сами производили небольшие раскопки. Вот-вот, пока в шестьдесят седьмом не приключился скандал, едва не стоивший ему и должности, и партбилета. В облоно пришло гневное письмо из Томского университета с требованием немедленно прекратить варварское разграбление памятников кулайской культуры. Дело завертелось большое, тянулось мучительно более двух лет, пока не закончилось изъятием наиболее ценных экспонатов из школьного музея в пользу университета. И инфарктом миокарда. Хорошо, что за краеведов вступился профессор Матющенко. После больницы Владимир Николаевич больше ничего не «копал», только «келейно» собирал письменные свидетельства древности сибирской жизни. А последний припрятанный костяной наконечник стрелы хранил в домашнем кабинетном столе.

Прижавшись подбородком к сложенным на краю стола ладоням, Вика не дышала. Оказывается, в самом райцентре, на его круглом холме, по признанию официальной науки, люди жили с эпохи поздней бронзы, а потом, со средних веков, на ближних рёлках хоронили своих князей, на их могилах принося обильные жертвы богам и славным предкам. Только курганов тут около сорока — от конца шестого века до семнадцатого. По нескольку могил в каждом кургане. И хантыйские, и селькупские. Что-то уже раскопано, что-то погибло при строительстве райцентра. А вообще есть и такие места, как, например, комплекс у озера Малгет, что чуть выше Шуделги, так там некоторые находки датированы аж третьим веком.

Русские тут поселились с начала семнадцатого. Молчан Семёнов, сын Лавров, выходец из Великих Лук, первоначально служивший в Кетске, в Томск был назначен казачьим головою в 1617 году. Молчан оказался удивительно деятельной личностью. Уже через год по прибытию на должность, он со своими казаками совершил дерзкий поход и поставил Кузнецкий острог, а ещё через пять — Мелеский острог на реке Чулыме, где пленил хакасского князя Кару с семьей. Вообще, русские казаки, при всей своей малочисленности в сравнении с отрядами вогулов, селькупов и татар, брали Сибирь именно тем, что не просто воевали, разоряя местных жителей, а строили. Много строили. Так и внук Молчана, Фёдор Лавров, на месте остяцкого городища основал Лаврово, которое через двести пятдесят лет стало районным центром.

Село, несмотря на своё высокое положение, постоянно сильно поддавливалось Обью, и за триста лет сдвинулось с первоначального места на несколько километров. Только в XIX веке здесь смыло паводками две церкви, деревянную и каменную. Сохранилось здание лишь третьей, 1859 года постройки, в которой сейчас телефонная станция. А ещё было знаменитое наводнение сорок первого года, как раз перед войной. Кто помнит, тот до сих пор вздрагивает. Много людей тогда погибло.

— Кстати, ты, Вика, знаешь, что учишься в старейшей сельской школе Томской области? В тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году она открывалась как церковно-приходская. «Закон Божий» преподавал священник, а читать и писать учила настоящая учительница. После Октябрьской революции школа стала начальной, первое время с четырьмя классами, затем с семью, и переехала в новый дом купца Сергеева, это где сейчас охотхозяйство. А с тридцать девятого года и до сих времён является средней.

— А вот совсем удивительная история. Ты, Антон, как политработник со стажем, можешь даже и не поверить. Но всё же послушай, потерпи.— Владимир Николаевич хитро подмигнул племяннице:

— У нас тут, что ни речка, то Анга, так вот, и за Могочино, на Чулыме одна такая тоже есть. И на ней до «укрупнений» стояла деревушка Верхний Волочок. Маленькая такая, но крепкая, особо славилась шорными мастерами. И прямо посреди той деревни был холм, на котором рос очень-очень старый кедр.

В шестьдесят третьем году местный юноша-паралитик, который и говорить-то почти не мог, стал каждый день с утра на четвереньках подползать к дереву и как-то одной своей здоровой рукой умудряться его рубить. На калеку ругались, его гнали и даже немного побили, но он, ничего никому не объясняя, рубил и рубил. И через год всё-таки завалил кедр. А сам после этого на третий день напился и утонул, провалившись под лед. Ствол кедра наскоро распилили, а когда пень сдёрнули трактором, то под корнями открылось древнее захоронение отыра — воина богатырского телосложения. То есть холм, на котором рос реликтовый кедр, оказался древним курганом! И началось в ту весну небывалое наводнение. Такого паводка на памяти ни у кого не было: место вроде не низкое, а тут дома залило под самые окна, скотина стояла по шею. Вокруг настоящее море. После наводнения Анга изменила свое русло и стала бить прямо в местное кладбище, размывая уже новые могилы. На следующий год из-за ледяного затора на повороте Оби деревню опять сильно залило, второй раз погубив и скотину и припасы. И Волочок как-то разом ослабел, словно с разорённой могилой из него ушла некая сила. Молодежь стала покидать село, перебираясь кто в Могочино, кто в Сулзат…. И я заодно с ними пострадал: из-за этого-то захоронения и понаехали спецы, заглянули в наш школьный музей, ахнули и строго-настрого запретили всяческие изыскания «профанам». Ну, то есть нам, краеведам. Что ж стало делать? Пускай всё погибает.

— Почему погибает? — На Викин вопрос Владимир Николаевич слишком громко загремел ложечкой.— Так у них-то самих ни средств, ни людей вечно нет. А местных не привлекают категорически. Наука-с! А без краеведов как? Как? Наоборот, всё должно быть наоборот! Нужно же, чтобы эти самые местные и сохраняли то, чему они естественные наследники. Нужно воспитывать, растить эту пресловутую любовь к малой родине. Хорошо, что наши дети что-то знают про Египет и майя. Но почему за счёт Рязани и Томска? Неужели нельзя втиснуть в школьную программу хоть несколько часов краеведения? И…и… ладно, ладно. Вот сейчас уже из ребятишек никого своя земля не интересует. Теперь всем дальние страны подавай, чужие горизонты. Космос, глубины. И разбойничье счастье. Чтобы разом, много и за просто так: «Сим-Сим, откройся!» Кто в корсары готовится, кто в викинги. Сегодня так вообще мне урок сорвали. Олег Торопов. Я по его милости минут тридцать соловьём заливался. Ну да, сам виноват, впал в соревновательность и давай, как мальчик, знаниями козырять. Опомнился, когда звонок прозвенел.

Вика уже знала, что если Владимир Николаевич кого-то из учеников ругает, то вовсе не потому, что злится, а наоборот, значит, имеет на него какие-то виды.

— Он, кстати, тебе сегодня помог класс вымыть? Помог, это хорошо. А ничего такого особого не выспрашивал? Точно? Ладно, вот я им устрою контрольную, поплачут у меня эти Куриные Ториры и Рыжие Эрики, ох, порыдают.

Почему Вика соврала? В первый раз — глядя вот так в глаза. Хорошо, что сидела в тени абажура, никто не заметил, как покраснела.

Готовиться к Первомаю начали за три недели. Девочки на домоводстве, отставив штопку и тесто, ножницами вырезали по лекалу из плотного ватмана и накрахмаленных старых простыней пятилепестковые заготовки. После такой работы передавленные пальцы авторучки не держали. А мальчишки на трудах сходили в лог и нарубили гору ивовых и тальниковых прутьев, а потом исстригли целый рулон тонкой медной проволоки. Только-только отошёл ленинский субботник, как вновь все классы дружно оставались после уроков: писали и трафаретили транспаранты, поправляли и укрепляли на древках портреты членов политбюро, космонавтов и героев-пионеров, но больше всего времени тратили на изготовление цветущих ветвей — давнее изобретение и особую гордость своего директора. Две-три заготовки протыкались проволочной скрепкой и прикручивались к веточке, рядом крепились следующие, потом ещё, ещё — пока сорок-пятьдесят таких рукотворных символов готовой к брачеванию природной силы не превращали сибирскую иву с едва набухшими почками в пышно цветущую украинскую яблоню. Для всех школьников, кто не нёс плакат или портрет, две-три веточки были строго обязательны. А воздушные шарики по возможности.

Выход школьной колонны назначался на девять тридцать, но народ подтягивался за час, а то и ранее. Педсостав, по крайней мере, собирался точно с полвосьмого. Физрук и учитель труда, с подозрительно красными лицами, отчаянно благоухали одеколоном, а слабовольная завстоловой впускала их через каждые пятнадцать минут на кухню «руки помыть». Но, несмотря на эти кратковременные отлучки, мужчины очень внимательно следили за выдачей дружинных и школьных знамён, равномерным распределением по классам стационарных транспарантов, наличием ответственных с красными бантами на груди вместо обычных нарукавных повязок, то и дело вступая по этим поводам в мелкие стычки с классными руководителями, завучем и пионервожатой. В это время директор, парторг школьной первичной ячейки Лидия Яновна и присланный курировать проведение демонстрации второй секретарь райкома ВЛКСМ Аркадий Мосалов, сидели в кабинете Владимира Николаевича и принципиально ни во что не вмешивались: если подготовка прошла правильно, то никаких чэпэ быть не может. Не должно. Директор, в заказном зелёном костюме, при всех боевых наградах, сидел за своим столом под большой типографской копией картины «Ленин и дети» и степенно рассуждал о ледоходе и перспективах посевной. «Химичка» Лидия Яновна тоже хранила вид неколебимого утёса, как бы между делом проверяя тетрадки с уравнениями окислительно-восстановительных реакций аммиака. И только молодой Мосалов, потирая широкие, вечно холодные ладони, нервно вышагивал туда-сюда длинными тощими ногами, то выглядывая в окно, то замирая у двери и

вслушиваясь в любые коридорные звуки. Но в тот момент, когда куратор, с которого «если что, то голову снесут», окончательно посерел и начал заметно подёргивать щекой, Владимир Николаевич, подмигнув парторгу, громко продул нос, снял невидимую пылинку с лацкана и очень неспешно всмотрелся в свои командирские: девять пятнадцать.

— Ну, что ж, пора в массы, товарищи.

Горн, потянув слишком высокую ноту, было, сорвался, но поддерживаемый дробью четырёх барабанов, вернул звуку торжествующую силу. «Знаменосцы, впе-ерёд!» — и в девять двадцать пять общешкольная колонна, провожаемая маршами из радиоузла, бурля весенними эмоциями под несанкционированные крики «ура», толчками классных сочленений — младшие вперёд — выдвинулась по украшенной со вчерашнего вечера улице Димитрова. На стенах и над воротами совхозной и рыбзаводской контор, управления милиции, гостиницы, книжного и хлебного магазинов, Дома быта и библиотеки дежурно краткие щиты «Мир, май, труд!» и «Слава КПСС!» чередовались с длиннющими транспарантами «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи. В. И. Ленин» и «Да здравствует советский народ — воплотитель коммунистических идеалов!». В моросящей сизости непроснувшейся сибирской природы их пионерско-комсомольская колонна буйно пенилась беспечной бравадой ивана-царевича, сжигающего постылую лягушачью шкурку едва ли закончившейся зимы. Равномерная белая кипень бумажного цветения, растягиваясь по мере удаления первых рядов октябрят от топчущихся десятиклассников, служила великолепным фоном для яро-красных полотнищ с энергичными обещаниями. Низко провисший полог серовойлочного неба усиливал протестную красочность праздника солидарности с ведомыми только через газеты и радио пролетариями всех стран.

Вика лишь два раза в жизни ходила на демонстрацию. С мамой. Это когда отца уже перевели в Томское училище связи. А до того в военных городках бывали только торжественные построения на плацах, где участниками являлись парадно «оформенные» офицерский и рядовой составы, а жёны и дети оставались зрителями. Особенно трудно было просто стоять в стороне от тяжело хлопающих бархатных знамён, сопровождаемых обнажёнными клинками, рядов чеканных всплесков наполированных голенищ, ровного подрагивания примкнутых штык-ножей их военногородковским мальчишкам. Да и у девочек сердчишки тоже едва удерживались от разрыва всей этой красотой. И вот теперь, в гуще ровесников, сама став соучастницей общемирового проявления солидарности трудящихся, Вика сжимала побелевшими пальцами две веточки с бумажными яблоневыми цветами, с подвязанными к ним тремя зелёными шариками — красные, оказывается, в универмаге и «Союзпечати» раскупались за месяц до мероприятия — и счастливо улыбалась всем-всем-всем.

Девочки их пятого «а», держась под руки, растянулись двумя неразрывными цепями, старательно рассекая своих мальчишек на три группы. Те, конечно, время от времени пробовали найти слабое звено, но их атаки с весёлым визгом отбивались. Вика шла почти крайней, и ей не особо доставалось, если не считать хулигански проколотого спрятанной во флажке иголкой шарика.

Несмотря на два прожитых в Лаврово месяца, она продолжала ощущать отстранённость одноклассников. Понятно: племянница директора. Да вдобавок из города. После обыкновенных проверок первых дней, когда на каждой перемене вокруг собирались три-четыре девочки и задавали в очередь самые разные вопросы, интерес понемногу остыл. Даже сидящая с ней Лена Бек предпочитала на уроках шушукаться с Олей Тумановой с передней парты. Почему? Она же ни в чём не важничала: самая обыкновенная девчонка, училась, конечно, хорошо, только по алгебре и физике четвёрки. И даже форму носила как у всех, разве что кружевные воротнички капроновые. Правда, Вика имела постоянное освобождение от физ-ры. Но это ли причина для отстранённости? Порой прямо при ней девочки договаривались о встрече у кого-нибудь в гостях или в кино, а потом в клубе, куда она, как бы случайно, приходила на тот же сеанс, садились рядом, угощали орешками. И только возвращалась домой она опять одна.

Когда школьная колонна благополучно влилась в густой, почти полуторатысячный митинг, мятущийся перед райкомом, где рабочие за ночь соорудили деревянную, обтянутую кумачом и украшенную алюминиевым профилем Ленина трибуну, морось развернулась настоящим дождём. Поднимающийся от реки ветер сильно раскачивал хлопающие знамёна, дёргал парусящие транспаранты, взбивал девичьи причёски. Несколько воздушных шариков, неожиданно обретя свободу, под счастливый визг и одобрительный гогот покатились прямо по головам, упорно не даваясь в руки. Дождь усиливался с каждой минутой, безжалостно размывая бумажные цветы и написанные зубным порошком лозунги и призывы. Где «мир», где «май»? Краска сползала по окостеневшим пальцам, затекала за рукава. Хотя праздничное настроение от непогоды не убывало, но на трибуне, по-видимому, было принято решение процесс солидарности ускорить. Гремевшее из алюминиевых колоколов «сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути…» неожиданно оборвалось прокашливанием секретаря райкома Гурьева, и начались торжественные и отрывистые, неразборчивые от ветра выступления руководителей района, весело заканчивающиеся общим раскатисто-задорным «ура-а-а!».

Около Вики вдруг появилась мама.

— Ты совсем промокла. Пойдём к нам, а то простынешь.

На них мгновенно скрестилось несколько любопытных взглядов.

— Пойдём, там не так дует.

Папа, как номенклатурная единица, был хоть и не самой трибуне, но стоял на крыльце, среди других директоров и начальников. Наверное, уже полкласса жадно смотрели на то, как Вика отрицательно качает головой, не поддаваясь на уговоры воспользоваться «блатом». И долго она так продержится? Елена Дмитриевна, приобняв, силой повлекла дочь к выходу из строя.

— Мама! Ты что?!

От неожиданности Елена Дмитриевна не только её отпустила, но даже спрятала руки за спину. И только сейчас заметила окружившее их внимание.

— Ты чего… кричишь?

— А ты чего? Не понимаешь, что я тут с друзьями? — чуть слышный шёпот, и губы у дочери стали совсем отцовы.

— Прости. Прости! Дай я тебе только платок подвяжу.

Мама сорвала с себя и подвязала ей свою шёлковую косынку. Прямо поверх вязаной белой шапочки. И, не оглядываясь, быстро ушла. Упёршись глазами в ноги, Вика никак не могла подцепить ногтём скользящий маленький узелок.

— Да ладно ты, оставь. Послушай, как всё кончится, зайдём ко мне? Чего в школу-то возвращаться? Обсушимся, чаю с малиной попьём. Мы с мамой вчера булочек настряпали. И Наташа, и Лена тоже зайдут.— Высокая Ольга Демакова, пригнувшись, заглядывала в лицо ей снизу: — Зайдём?

— Конечно.

— Вот, я тебе котят покажу, они недавно глаза открыли. Такие смешные!

— Конечно.

Вика только делала вид, что продолжает колупать узел, а сама просто прятала вдруг защипавшие глаза.

Котята, действительно, были просто чудо. Серо-полосатые, с белыми передними лапками и мордочками. А носы розовые. Пока Вика рассказывала про свой бывший томский класс, они исцарапали и изгрызли ей руки. До крови.

Владимир Николаевич, как перенёсший инфаркт и поэтому не пьющий по уважительной причине, на торжественном обеде в актовом зале райкома надолго не задерживался. Отмечался, выпивал несколько рюмок с компотом и, когда после начальника речпорта подходила его очередь, говорил возвышенные и приятные слова о заботе партии и правительства о воспитании тех, кому доведётся жить при коммунизме, передавал эстафету директору почты и под руку с Марией Петровной бесшумно уходил домой. Основное и искреннее веселье по поводу интернационализма мира, весны и солидарности трудящихся для них проистекало на квартире, где со вчерашнего вечера раздвинутый стол сверкал хрусталём и начищенным мельхиором в окружении двенадцати стульев. А вот Антону Николаевичу, новому начальнику районного ДОСААФ, протокол предписывал праздновать в райкоме до конца. С супругой, естественно.

За домашним столом, кроме хозяев, сидели четыре пожилые пары и Вика. Вика, конечно, временно, до прихода родителей. Мужчины пришли важные, все при орденах и медалях, но после второй рюмки скинули пиджаки на спинки и порасстёгивали ворота одинаковых белых, в тончайшую синюю полоску, нейлоновых рубашек. Женщины, тоже в почти неразличимом полупрозрачном гипюре и бусах крупного искусственного жемчуга, первое время высоко и несуетливо державшие свои «химки», выкрашенные поступившей к празднику в продажу тёмно-рыжей хной, понемногу отмякали, становясь родными, и всё чаще вскакивали, помогая Марии Петровне с выносом новых блюд.

Вика, съёжившись, колупалась вилкой в насыпанных ей на тарелку разнообразных салатах, а сама всё прокручивала в памяти картинки гощевания у Оли Демаковой. Это же в первый раз её здесь пригласили к себе. В первый раз. И Наташа, и Лена оказались такими милыми и даже чуть-чуть наивными девчонками, что расставаться никак не хотелось. Договорились, что завтра они придут к ней слушать пластинки с Карелом Готом и «Цветами». К тому же выяснилось, что из всего класса Поль Мориа вообще есть только у неё. А на шестое мая они вместе встретят первый, открывающий навигацию, теплоход из Новосибирска. «Марию Ульянову».

Из задумчивости её вывело знакомое имя. Когда покурившие на крыльце гости вернулись, они почему-то дружно напали на хозяина, обвиняя его в том, что он, педагог, растит неизвестно что и неизвестно для чего. Тот отбивался:

— Ну, вы, товарищи, совсем даже не правы. Видели бы, как сегодня простой мальчишка все эти разговорчики разом смёл. Дождь-то такой, что на обратном пути почти половина моих учеников разбежалась. И этот, отличник Ермолаев, что знамя пионерской дружины должен был нести, тоже смылся. А знамя передал другому. Так вот, я смотрю и вижу: идёт Олег Торопов из шестого «б», несёт флаг и вдруг — бац! — поскользнулся и плюхнулся прямо в лужу. Но! Дорогие мои товарищи,— держит! Знамя-то над собой держит. Даже лёжа в луже. Настоящий пионер. Почти как Андрей Болконский.

Гости примирительно рассмеялись вместе с хозяином. А Вика, зажмурившись, представила картину из фильма, где Тихонов-Болконский в красивом белом костюме, но с красным галстуком лежит раненный под дымом и бегущими мимо солдатами, лежит и держит над собой развевающееся знамя дружины. Красиво, и ничего смешного. Только Олег светлый, а не чернявый.

После борщика покончили с анекдотами про русского, американца и немца и перешли на Чапаева и Петьку: «Прилетает белогвардейский аэроплан. Чапаев и Петька спрятались в кусты. Летчик их не заметил и вернулся. „Пронесло“,— сказал Петька. „Меня тоже“,— признался Василий Иванович». Анекдот с бородой, всем давно знаком, и хохотали больше от удовольствия встретиться и вот так уютно посидеть в приятной компании. «Василий Иванович зовёт: „Анка, пойдем на речку купаться?“ Анка: „Не, неохота потом одной возвращаться“». Раньше и громче всех тонко заблеял бывший директор

дорстроя Лялин, жена его даже пристукнула по спине, а здоровенный лысый хирург Шпедт подливал: «Петька жалуется Василию Ивановичу на Анку: „Иду мимо бани…“» Но тут взрослые заметили в своём кругу девочку и напряглись.

— Викочка, собирай и выноси пустые тарелки на кухню. И помоги мне со сладким,— Мария Петровна, в школе с коллегами и школярами такая категоричная, даже до жёсткости, дома словно подменялась. Сняв свой чёрный двубортный костюм с большими зелёными пуговицами, смыв ярко наводимые с утра губы, ресницы и брови, она становилась мягкой, хозяйственной любительницей вкусной и обильной готовки. Что так явно отражалось на внешнем виде Владимира Николаевича, метко прозванном мальчишками Пузырьком. Впрочем, кличка Мамаша тоже удивительно совпала с сутью Марии Петровны.

— Чего тебе там со взрослыми сидеть? Неужели интересно? — Вика подносила использованные суповые тарелки и ставила их в таз на печку. А Мария Петровна выдавала ей взамен протираемые десертные.— Я в твоём возрасте ещё в куклы вовсю играла. И чтоб слушать про политику или экономику, даже и представить себе не могла. Я, вообще, очень долго ребёнком себя чувствовала. Наверно, оттого, что младшей в семье была, поскрёбыш, и маменька меня не хотела от себя отпускать. Хотя уже от Николая, от старшего брата, у неё и внуки были, племянники мои, близняшки. А какие они племянники, если мы под ёлкой вместе песенки распевали? Я же их на три года только старше. Так до семнадцати лет в малышках и сюсюкала. Ладно, отнеси и возвращайся, я тебе одну забавную историю расскажу.

— Папа тогда на железнодорожной станции служил, инженером, и у нас свой дом в Мценске был, это недалеко от Орла. Большой, в шесть комнат, с мансардой и со старым яблоневым садом. Сколько ж в том саду было переиграно! Мы тогда все болели американскими индейцами Фенимора Купера. Старший брат изготовил нам луки и стрелы, а нянька, которая была у нас из Черни, до того наслушалась наших разговоров, что даже выщипала хвост у своего петуха нам на украшения. В дальнем углу сада, за сиренью мы с племянниками выстроили вигвам и отсиживались в нём от гнева «предков». Особенно он пригодился, когда в нашу петлю-ловушку угодил бабушкин кот. Ловушка была сделана по всем правилам, беднягу за ногу подтянуло к верхним веткам дерева, он там истошно орал от ужаса и отчаянно царапался, не даваясь желающим помочь. Кстати, получается, что ваше словечко «предки» имеет немалую историю.

— А что потом?

— А потом, в семнадцать лет я вдруг ни с того ни с сего повзрослела. Забросила игры и полюбила читать. До страсти — и днём и ночью читала. Всё подряд, даже газеты. А в то время у меня коса почти до колен была. Вот, как-то ранним майским утром, пока все спали, вышла я в сад с книжкой и села на качели волосы чесать. Дело долгое, даже болезненное, я сижу и читаю, как

сейчас помню, роман Кондратьева о нашествии Наполеона, страшно сопереживая бедной пани Лубенецкой. И…

— И?

— И — всё. Я к тому, что ты зачем-то стремишься в мир взрослых. Не нужно, рано. Помоги-ка мне с пирогом, подай нож. И самое главное, завтра — выходной, вот с самого утра ты пойдёшь и навестишь Ираиду Фёдоровну.

— Зачем?

— Затем, чтобы не иметь долгов.

— «Долгов»? Но я уже сдала работу по алгебре.

— Вика, ты, что, в самом деле не понимаешь о каких я долгах?

Вика, поджав губы, вышла с очередной порцией посуды в гостиную, но, сколько ни тянула время, понимала, что раз Мария Петровна решила её «воспитывать», значит, дождётся. Может, уйти домой? Так родителей нет, а когда они вернутся? Вдруг под утро, как после двадцать второго апреля. Одной ночевать страшно.

— Вика, это не дело: увиливать от ответа.

Нет, тётю взглядом не прожжёшь. И не потому, что она жена директора.

— Хорошо, Мария Петровна. Я завтра обязательно навещу Ираиду Фёдоровну. Что прикажете ей отнести?

— Узнаешь о здоровье и отнесёшь молоко и малину. А, может, у неё опять давление? Тогда нужно черноплодку с боярышником. Виктория! Прекрати паясничать, я вовсе не собираюсь тебя воспитывать. На это у тебя папа с мамой есть. Но то, что она сегодня не вышла на демонстрацию, это впервые за все годы нашего знакомства. Ираида Фёдоровна — коммунист с тридцатилетним стажем, у неё, как ты знаешь, есть особые проблемы со здоровьем, и я очень хочу быть уверенной, что её сегодняшний неприход никак не связан с тем инцидентом.

9.

Олег принял последнюю берёзку и, прижав, затянул петлю. Всё, верхушка замётана и укрыта. В одну сторону столкнул вилы, в другую соскользнул сам. Рубашка задралась, и подсохшее сено больно шоркнуло по голой спине: трава на заливных лугах толстая и грубая. Спружинив, далеко выпрыгнул и оглянулся — крепко уложенный стог даже боком не колыхнул. Всё, конец сенокосу! Раскинув руки и зажмурившись, он пошёл по чуть пылящей золотом ломкой отаве, ловя остужающий встречный ветерок. Всё.

Мать собирала остатки еды в сумку, а батя, из последних сил терпя сухоту, нервно увязывал между мотоциклом и коляской длиннющие вилы. Солнце ещё высоко, наверно, четырёх нет, и если выехать сейчас, то можно успеть к парому на полпятого. Движок стриганул с первого тычка, и пока мама устраивалась в люльке и укрывалась брезентом, Олег пытливо заглядывал в батино лицо: даст порулить или сам поведёт? Но тот, настроенный на скорейшее отмечание

окончания страды, даже не дрогнул. Перекинул ногу и, не ожидаясь сына, отпустил сцепление. Олежек едва успел подсесть на заднее сиденье, как «ижик», оставляя синюшную полосу выстрелянного разношенным цилиндром дыма, через Былинов увал помчал подпрыгивающее семейство Тороповых напрямую к летней пристани.

Людей на берегу накопилось уже немало, одних мотоциклов по косогору штук десять. Да у самой воды растопырили дверцы два «москвича» и бензовоз. Народ спешил встречать стадо. Разговоры, переклички, где-то смех. И одна тема: окончание покоса. Кто-то тоже завершил сегодня, кому-то ещё метать да метать — опоздали с греблей, хорошо, что хоть крепкое вёдро установилось, можно пока не волноваться.

Судя по отцовой целеустремлённости, у него сегодня «святое дело» пройдёт по полной программе. С бормотаниями на кухне до зари. И мать это признаёт, куда деться, если, действительно, такое закончено — тридцать два воза в трёх скирдах и двух стогах. Пятнадцать корове, пять телку, два овцам, остальное для дедов. «Святое дело!» Поэтому Олегу жуть как хотелось куда-либо смыться. Ну, правильно, раз отдых заслуженный, так пускай для всех! Эх, на рыбалку бы с ночевой или с двумя, так дядя Ваня Селивандер ещё не кончил ставить, а с кем ещё? С Ределем? С Попом? Нет, сегодя вечером из пацанов уже никого не сблатуешь. Олежек, разувшись и закатав штанины, бродил бирюком по отмели, распугивая стайки греющихся у самого берега мальков.

Паром — ржавая промятая баржа, сцепленная с чумазым толкачом,— неторопливо отчалил от того берега. Он был практически пуст: пара мужиков и телега. А здесь уже загодя выстраивалась нервозная очередь. Батя разве что ремень от шлёма не жевал, так нетерпелось. Олег обречённо обшаркал о траву подошвы и не спеша начал обуваться, когда произошло чудо: заворот парома к пристани нежданно подрезал маленький плашкоут. Сюда?.. Сюда! Паром и самоходка ткнулись в присыпанную шуршащим гравием мель одновременно и почти бок о бок. Неужели? Это же дяди-Колин старший сын, Олегов троюродный брат Борис! Вот оно, то самое спасение!

— Ну, как, молодогвардейцы, заветам Ленина верны? — прямо на откинутый для машин паромный подъёмник с плашкоута спрыгнул Борисов матрос Толян. Вечно чуть датый, сутулый, сплошь татуированный сорокалетний малоросток, корячась, потащил тяжеленный брезентовый мешок в глубь парома, здороваясь направо и налево. Это хорошо, что Толян сошёл, он такой надоедливый, что за пару часов любому кишки вымотает своими легендами о победоносных драках и удачливых блядках. Если бы при этом ещё его самого не видеть, то можно было б слегка поверить, но когда смотришь на этого острогрудого ощипанного петушка с выбитыми в ранней молодости зубами,— легче утопиться, чем терпеть незамолкающую похвальбу. Толян повёз домой рюкзак с заказной стерлядью, и Борис просто расцвёл от столь своевременной просьбы взять Олега к себе. Ну, конечно, конечно, место в

кубрике теперь свободно, а вдвоём-то попроще — где помочь швартонуться или даже у штурвала постоять. Да, да, до завтрашнего вечера. Пусть родичи не беспокоятся, не в первый раз. Мама только подкинула несъеденные яйца, огурцы и уже подзадохнувшуюся в целлофане полутушку обжаренного кролика. Чтоб сын не был нахлебником. Ох, мама, мама!

Борису Громову было уже двадцать пять, но он никак не женился. Высокий, широкоплечий, с ярко-голубыми глазами на всегда легко улыбающемся лице — по нему все девки в клубе на танцах млели, а он как связался со вдовой утонувшего три года назад бакенщика, так и болтался ни то ни сё. Всё потому, что та ведьма его присушила. И пила из него силы. Это Олежек от дяди Коли и его жены тёти Нины уже раз сто выслушал. С разными подробностями. Второе лето Борис, отслуживший на Тихоокеанском флоте торпедником, ходил за капитана и моториста на крохотной самоходке-холодильнике, собирая на переработку для рыбозавода улов от рыболовецких бригад, раскиданных по Оби и притокам километров на пятьдесят, а то и сто, от райцентра. Работа не пыльная, всегда при стерляди и соляре, так что если кто с умом, то и прибыльная. Но Борис был совершенно не жадным, если не сказать больше.

Они на малом ходу вошли в зацветшую зеленью старицу. Качая волной притопленные стволы и лиственный мусор, прибитые к поросшим ивами берегам, и гоня перед собой долинивающих, тяжких на подъём уток, медленно-медленно двинулись навстречу мутно-коричневому току болотных вод. Старица, слегка изгибаясь меж невысоких грив, через три километра окончилась курьёй — заиленной мелью, за истоптанным куличками перетаском которой начиналось озеро Курдо. Это, в общем-то, и не озеро, а всё та же старица, отделяющаяся от Оби только с середины лета. Запутанными протоками изрезающее огромную площадь дальних, невыкашиваемых лугов, Курдо сверху походило на зачирканный каким-то гигантским малышом лист бумаги, где тёмные линии подпитываемых с болот водяных зигзагов то пересекались, образуя длинные узкие межмучные островки, то пресекались обширными сростами осоки. Весеннее половодье промывало озеро от травяных и листьевых завалов и наполняло разнообразной рыбной мелочью, на которой потом всё лето и осень жирели окуни и щуки, пока собственные караси и лини спокойно отлёживались в холодном пудинге торфянистого дна. Тысячи куликов и уток спокойно гнездовались по камышовым и тальниковым зарослям, до осенней охоты вспугиваемые только лисами и ондатрами. Лишь трижды в сезон сюда забирались рыбозаводчане и пробредали неводом тупиковые заливы, выгребая плановые центнеры «добычи».

В этот раз Борис должен был забрать улов у сысоевской бригады, заброшенной сюда на водомёте пару дней назад. Зачалив плашкоут метрах в

пятидесяти до мели, они спустили за борт маленькую фанерную плоскодонку и на греблях отправились искать рыбаков. Борис сильно тянул, а Олег с кормы важно указывал каким загребать поболее. Протолкавшись через наносы ила, они вышли на хорошую воду и ходко заскользили по рыже-прозрачной глубине отноги. Тишина, отмеряемая скрипом и хлюпаньем вёсел, играющее в ленивой ряби нежаркое, склоняющееся к западу августовское солнце, и чуть улавливаемый ветерок, сносящий в воду пушинки молочая. Воздух в грудь набирался, набирался, и выдохнуть его можно было только песней. Олег не вытерпел и тихонько замычал: «Не слышны в саду даже шорохи… всё здесь замерло… до утра». И вроде бы под нос-то замурлыкал, но вдруг Борис громко и красиво довёл: «Если б знала ты-ы, как мне дороги подмосковные ве-че-ра-а!»

Рыбацкий стан они заметили по дыму. Три четырёхместные, выцветшего брезента палатки и балаган из свежей осоки сходились лазами к закосившемуся дощатому навесу, много лет назад поставленному над просоленным, забитым по щелям чешуёй узким столом и двумя высоко вкопанными лавками. Перед навесом беспригляднo пылал никчемушно большущий костёр, словно в разведённом выше человеческого роста пламени сжигали что-то опасно лишнее. Под станом к крутому вытоптанному берегу причалены два длинных, в четыре весла, баркаса, а сами люди, разделившись на две группы, растягивали по чистовине сырой шестидесятиметровый невод. Стоящий в стороне бригадир Сысоев, белобрысый, но с кирпичными, как у индейца, лицом, шеей и грудью, беспрестанно сплёвывая, отчаянно что-то и кого-то крыл семиэтажными матами. На секунду отвлекшись, чтобы пожать руки поднявшимся Борису и Олежке, он опять затрубил на дальнюю группу с прежнем напором. Однако, краем глаза уловив, что Борис собирается отойти к навесу, вдруг совершенно спокойно, делово буркнул:

— Привёз чо ли?

— Два литра. Как обычно.

— Тогда мы щас.

Под навесом, плечом к плечу, спрессовались семнадцать курящих махорочные самокрутки и наперебой галдящих, третий день небритых мужиков, перед которыми на застеленном лопухами столе, посреди груд вяленых язёвых костей, шкур и голов, четырьмя горлышками чарующе блестела, медленно-медленно, по надонышку, из синеватых гранёных стаканчиков смакуемая томская «столичная». Олег только чуток погрыз почти сырой жирной рыбы и отвалился к костру на кучу скошенной жёсткой травы поиграть с шестимесячным бригадирским лайчонком. Что ему до того, что арабы организовали совет совместной безопасности с нашей помощью, а вот теперь президент Садат отказался от СССР? Чёрно-белый, ещё лопоухий Кунак отчаянно трепал острыми, как шило, новенькими зубами Олегову брючину, очень грозно рыча и вопросительно кося на него выпученными карими глазёнками. Ну-ну, конечно же, напугал! Настоящий медвежатник. Волкодав!

Наконец последние капли стекли по гортаням, и все, дёрнув кадыками, дружно повылезали из-за такого, как вдруг оказалось, тесного сиденья.

— Так чо тебе тут делать? Ну, забирай, чо есть. Вон, с Тимкой черпайте в садке за заездком. Я даже смотреть не могу, засоси тебя комар, совсем ноне без плана. Послезавтра к вечеру подходи, можа, наберётся пара центнеров.

Три рыбака вместе с Борисом спустились к запруженному ивовыми плетнями заводку и стали вычёрпывать из него отчаянно плещущую рыбу. Всего набралось четыре мешка, и, подцепив на буксир фанерку, на одном из баркасов в четыре весла Борис, Олег и рыбак Михеич поплыли к плашкоуту.

— Так чего ж, на, не злиться? — Пожилой, с изрезанным, как кора, глубокими и частыми морщинами, тёмным скуластым лицом, Михеич сидел у руля, а гребли молодые.— Уже и в позапрошлом годе та же история, на, была, и ранее помню, в шестьдесят девятом. И чо ей надо? Стояла б в камыше, на, и стояла. Нет, обязательно на шум выйдет. Ну, мы её и загребли, на. А я как задом почуял. Смотрю: вода на завоине буруном пошла. С чего бы, на? А это она так хвостом вильнула. Мы ближнюю луку загребли, потянули к берегу. Так, понимаешь, на, обычная щука, на, через верхнюю тетиву перепрыгивает, а эта тварь разгоняется, на, и таранит, на. Я внутри завода был, низ выбирал. Гляжу: она вот так, на, совсем рядом прошла. Торпедой ударила, невод ка-ак дёрганyло! Дыра — сами видели!

Разгорячаясь по ходу всё больше и больше, Михеич, присев на дно поближе к слушателям, переключился на высокий, какой-то мальчоноческий крик.

— Ну, коли, старики говорили, на, что они её сто лет назад уже видали. Она и тогда, на, с бревно была. И тут, я думаю, метра три или более. Зелёная с чёрным вся, на, и тиной, как бородой, заросла.

— Михеич, ты руль не бросай.— Борису возбуждение рассказчика не передавалось, а вот Олег уже и не грёб.

— Ты чо, не веришь, на? Сам же дыру видел, на. В неё вся наша-ваша рыба ушла. Одни караси остались. А ты подумай, на, какая силища требуется, такую сетку прорвать.

— А кто эту щуку раньше видел? — Олег дёрнулся невпопад, обрызгав Михеича с левой гребли.— И когда?

— Я же говорил, на, двести лет ей. То есть сто лет, на, как она такая здоровая. Мужики и стреляли, и острогой её били.

— И чего?

— И ничего. Картечь, на, о воду плющится, сила не та. А с острогой она уходила. В камыш зайдёт и вертится, пока не избавится.

— А ловить не пробовали?

— А на чо, на? Она давно одной уткой и ондатрой питается. Рыбу-то ей не догнать. Можно, конечно, бригадирского кутёнка за наживку закинуть. Не даст, на, задавится.

Под днищем зашуршала отмель. Олег и Борис одновременно перевалились за борта, осторожно опустились по пояс в тёплую воду, и, продавливаясь в ил до колен, стали проталкивать баркас с уловом через курью. Михеич, натужно помогая с кормы веслом, понемногу успокаивался:

— У меня-то бабка остячка, на. По матушке. Так помню, как она мне свои сказки на ночь рассказывала. Мол, есть такие лоси, медведи, осетры и щуки, которые не умирают, а уходят под землю. И там у них вырастают бивни. Ну, они, на, мамонтами становятся. А я её тогда спрашивал: а какие-такие не умирают? Она говорила — большие, которые очень большие. Я опять: а почему они такие большие? А оттого, на, что в них шаманская сила, на. Мол, когда шаман внезапно умирает и силу другому человеку не успевает передать, она, эта сила, или в особое дерево, или в животное переходит. Вот это дерево, на, медведь, на, или щука, на, так и растут, растут, а умереть не могут. Пока мамонтами не станут.

За мелью они с Борисом вновь забрались в лодку и погребли к плашкоуту. Борис подмигнул Олежке, но тот был не на его стороне:

— Михеич, значит, та сосна, что в Чёрном логу растёт, тоже с шаманской силой?

— Наверно, на. Если бабкам верить, на,— Михеич тоже подмигнул Олежке.— Боря, а, это, на, у тебя ещё чо выпить есть? Отбатрачу, на, вот выйдем на реку, кострюками или нельмой отдам! Веришь? Мы же с тобой, на, старые друганы, на!

Засолка у тёти Марты Селивандер всегда больше походила на приготовление лекарства. Мало того, что в её в светлой, аккуратно выкрашенной голубой краской летней кухне всегда идеальная чистота, но в эти дни и заготовленные к пастериализации банки блестят длинными рядами, как в аптеке, и овощи выложены в тазах по калибру, соль развешана в блюдцах, а распределение на столе кучками зубков чеснока, листиков смородины, горошинок перца, зонтиков укропа и прочего, необходимого рассолу для вкусноты, произведено со строжайшим учётом, по рецептам. И где только она находила эти настолько одинаковые листики, зубки и горошинки?

Олежек, не заходя, с порога заискивающе поулыбался:

— Здрасьте, тёть Март. А дядя Ваня где? Не на вызове?

— Здравствуй. Нет, сегодня спокойно.

— А где?

— Ты садись там, подожди, он вот вернётся.

Олежек присел на вынесенный на крылечко табурет.

— Давно тебя не видела.

— Покос добивали.

— Всё закончили?

— Позавчера.

— Хорошо. А как Лёша?

— Оклемался. Ходит уже нормально, вон, пока нас не было, сам по хозяйству управлялся. Спит только плохо.

— Что плохо?

— А просыпается посреди ночи и сидит, качается до утра.

— Майн Гот! Доктор что сказал?

— Сказал, надо босиком ходить. И обливаться холодной водой. Да, ещё нужно отвлекать от этого, как его? Забыл. Короче — от ступора. Чтобы не заклинивался. Да днём-то всё нормально, а ночью, как проснётся, так и клинится.

— Бедная мать.

Олежек тоже громко вздохнул. Хотя бесполезно, к тёте Марте не подлижешься.

— Она как терпит? Ты помогаешь за братом ухаживать?

— Ну да! Нам всем Лёшку жалко.

— Матери всегда больней. Олег, а ты его на рыбалку возьми. Ты же с этим к Ивану пришёл?

— Да. Но, я не знаю… я хотел дядю Ваню на озёра уговорить. На Курдо.

— Хорошо. На озеро даже лучше, безопасно. Обязательно берите Лёшу. А я тогда Ивана сама попрошу, чтобы на озеро. Он завтра отдежурит, вы вечером и отправляйтесь. Хорошо?

— Зер гут, майне либер фрау Марта! — Олежек даже табурет опрокинул.

— Ну, я тебя! Маме скажи, пусть зайдёт, я для неё семена турнепса приготовила.

— Спасибо! Скажу!

И в самом деле, разве Лёшка будет помехой? Пусть покостерует или с удочкой посидит у палатки. А за это тётя Марта в сто раз лучше Олега дядю Ваню на озеро уговорит. Хо-хо! Держись щука! «Выйду на остров без страха, Острый клинок наготове. Боги, даруйте победу Скальду в раздоре стали!» Нет, что-то уже ни в каких бьёрков не играется. Впрочем, с этим покосом даже в футбол с пацанами погонять некогда было. За день так упластаешься, что и выспаться не успеваешь. За месяц в кино только три раза сходил. Но и не обидно.

А то, что с Золотой бабой не получилось, никак не его вина. Если бы Лёшку молнией не ударило, то ещё неизвестно, чем бы дело кончилось. Да оно и не кончилось! Олег отступать вовсе не собирается. Вот вырастет, выучится на вертолётчика и облетает всё Васюганье. Сверху-то видно: где остров, на каком болотном озере. Всё прошарит, каждую кочку, каждую лужицу. Ведь, когда он серебряную монетку Пузырьку показал, ну, которую ему старый остяк на прощание подарил, так у директора глаза, как у кошки ночью, заблестели: «Откуда, Торопов, у тебя средневековая драхма?» Прямо как лиса Алиса с котом Базилио в одном лице, вокруг на цыпочках ходил. И в лупу смотрел, и на

весах взвешивал. Даже перерисовал. «Откуда?» Оттуда. Ясно же, что вещица из клада Золотой бабы. Но Олег, конечно, соврал, мол, на берегу нашёл. И в музей ни за что не отдал, хоть директор явно обиделся. Нет, она его талисманом будет. Как залог будущих поисков.

Щука — рыба особая. Главная героиня множества сказок, она издревле почиталась русскими крестьянами, гадавшими по её икре об урожае и применявшими в качестве оберега от змей её зубы. А в Сибири наряду с тайменем, щука воспринималась повелительницей подводного мира — части мира подземного. Поэтому она окружалась множеством табу: её запрещалось чистить незамужним молодицам, да и вообще все женщины не ели мерзлой щуки и не употребляли в пищу некоторых её частей, что несколько напоминает отношение хантов к убитому медведю. Возможно, это связано с тем, что вид щуки принял один из сыновей верховного божества обских угров Ас-толах-Торум.

Одинокая охотница всех рек и озёр Европы, Северной Азии и Канады, осторожная и дерзкая одновременно, развивается она быстро, так что на четвертый год может иметь полуметровую длину, но продолжает расти до глубокой старости. Достоверно признано, что длина щук тридцатилетнего возраста достигает почти двух метров при сорока килограммах веса. В 90-х годах XVIII века в подмосковном пруду была поймана окольцованная щука с гравировкой: «Посадил царь Борис Федорович», то есть к моменту вылова ей было свыше ста лет. Щука имела более двух с половиной метров длины и весила около шестидесяти килограмм. А в Европе в соборе города Мангейма хранится скелет длиной пять метров семьдесят сантиметров, с кольцом императора Фридриха Барбароссы, щуки, будто бы прожившей двести шестьдесят семь лет. В 1961 году журнал «Вокруг света» опубликовал письмо Виктора Твердохлебова. Геолог писал, что в Якутии на озере Лабынкыр он наблюдал всплытие неведомого животного. Исследователи озера тогда склонились к тому, что он видел гигантскую щуку. Ведь на соседних озерах находили ископаемые щучьи челюсти, через которые, если их поставить на землю как ворота, мог проехать всадник на олене. В принципе, ближайшими родственниками наших хищников являются панцирные щуки Центральной и Северной Америки и острова Куба — ганоиды, считающиеся самыми крупными пресноводными рыбами. Тело их покрыто панцирем из толстой чешуи, состоящей из внутреннего костного и наружного эмалевого слоёв. Согласно документальным данным, максимальная длина современных ганоидов достигает двух метров девяноста сантиметров, а масса — ста двадцати килограмм. Еще в начале века такие же огромные экземпляры этих рыб вылавливались в низовьях Миссисипи.

Дядя Ваня просто удивительно, как точно чувствует всё, что творится под водой. Посидит, бывало, молча, чего-то послушает, окунёт за борт ладонь. Щурясь, прикинет высоту солнца, направление ветра, соседство завоины или плёса. Кажется, даже не дышит в это время. А потом разом разулыбается двумя рядами давно не блестящих железных зубов, брызнется: «Вон там поставим». И всегда возвращается с уловом. Хоть сети, хоть морды, фитили, кружки, закидушки, поставки или самоловы. Даже на простой поплавок всегда больше всех окуней и чебаков надёргает. Вот и сегодня они тоже выставили две «рыжовки» возле притёки, согласно его внутреннему голосу. Но это так, более для отчёта перед тётей Мартой. Караси, лини и травянки сегодня сами решали свою судьбу, встречи с ними особо никто не жаждал. Сколько ни попадётся — всё ладно, всё неважно. Ибо дядя Ваня заболел Олеговой лихорадкой.

Вчера они на пару весь день готовили «дорожку». От лески отказались сразу, прокрасив в синьке капроновый шнурок, пятьдесят метров которого намотали на большую деревянную бобину, в качестве клинящего тормоза приспособив капроновую воронку. Поводок изготовили из тонкой сталистой проволоки, которая, даже зажатая в тисках, отчаянно пружинила и с трудом поддавалась скручиванию петелек. На поводок посадили самокованный двойник, больше похожий на маленький якорёк с остро заточенными жалами. Осталось выбрать приманку. Олег предлагал резиновое чучело кряквы. Опробовали, но только зря исковыряли — при первой возможности чучело переворачивалось, а тяжёлый двойник либо свисал слишком открыто, либо оставался внутри резины при «поклёвке». Перебрали варианты, и вдруг дядя Ваня хлопнул себя ладонью:

— Так что ты говорил насчёт бригадирского щенка?

Олежек аж вздёрнулся: да как можно? Это же собака, лайка! У кого ж на неё рука поднимется ради, может, пустой затеи? Он вспомнил карие, выпученные азартом игры глазёнки. Фу! Даже подумать нехорошо. Хотя, почему именно щенок, а если вон — соседский Шарик? Эта, почти безногая, жирная колбаса своим незатыкаемым визгливым лаем на их улице всех достала. Ага, только за своего злобного коротышку Устюжанины сами кого угодно на крючок посадят. Уж лучше, в самом деле, у матери курицу свиснуть. Но дядя Ваня уже возвращался из сеней со старой ондатровой шапкой.

— Мы сейчас такую крысу заварганим!

Оторвав ухо, он вставил внутрь кусок пенопласта и протянул, выпустив жала, двойник. Зашил входной край шкуры острой мордочкой, а торчащая сзади бывшего уха завязка получилась как хвост — отличная молоденькая ондатра. Опробовали в жёлобе. При протягивании приманка играла и подныривала, крутилась, пуская заметную волну. Здорово! Лучше настоящей.

Остановиться они решили на том же рыбацком стане: место утоптанное, навес со столом, лапник и колышки для палаток, балаган и даже дрова — что ещё нужно для лагеря? Моторку закрепили за вбитые под водой колья причала,

а на привезённом с собой обласке выставили под свой берег две сетки и осмотрели местность. За сотню метров влево от лагеря озеро делало поворот, за которым широкой и кривой курьёй разливалось до самого леса. Справа вода двумя протоками охватывала длинный, узкий тальниковый остров и где-то там распадалась ещё на несколько рукавов. Щука привязана к своей территории, и, раз рыбаки загребли её в курье, значит, она постоянно стоит в этих местах. Где? Противоположный берег глубоко и широко входил в воду опадающими веерами плотной осоки, а к остову прижималось достаточно топляка. Где? Камыш или коряги? Олег очень надеялся на дяди Ванино предчувствие, но тот мудрёно подстраховался.

Дядя Ваня, действительно, с позавчерашнего буквально горевший идеей попытать удачу с исполинским хищником, после разговора с родителями, отпустившими Лёшу только под его «честное слово, что…», сразу же побежал в свою пожарку и, расставив в ней несколько капканов, за ночь отловил четырёх крыс. Теперь он шилом пробил в груди каждой тушки дырку и воткнул по высокому белому гусиному перу. Получились полупритопленные манки с сигнальными «флажками». Ближе к вечеру они развезли крыс на места возможной лёжки щуки, расставив уже подвздувшиеся на солнце и чуток завонявшие маячки так, чтобы перья было видно от лагеря. Заря обещала быть чистой и долгой, пёрышки острыми иголками далеко белели на серо-коричневой глади, чуть рябящей розовыми дорожками, и, сколько ни вглядывайся, даже не шевелились. Днём бы тушки немедленно потаскали коршуны, а так был шанс понаблюдать пару-тройку часов, до выхода на охоту филина.

Лёшка, счастливый до не могу, старался во всём быть полезным. Перетаскивал и раскладывал по палатке вещи, подшевеливал костёр, даже принёс в бидончике воды от родничка. Ходил он уже нормально, только быстро уставал. Бледнел, покрывался испариной, однако, как мог, улыбался и упрямо отказывался от помощи. В наступившую перед ужином паузу дядя Ваня отправился пошукать по гриве рыжиков, посадив мальчишек удить с моторки. Клёв был не ахти, за час — пара окуньков, подъязок и несколько белых карасиков. Не важно, главное, как там маячки? Заря огромным радужным пузырём раздулась уже в полнеба, от малиновой грани горизонта наливаясь золотом к лучистому кокону вокруг опускавшегося тёмно-красного зрачка солнца, и далее блеклой зеленью оттесняла насыщенную сыростью голубизну к тёмному западу. Два пера, карауливших камышовый берег слева, были в Лёхиной ответственности, а за двумя справа, расставленными в протоках вокруг острова, наблюдал Олег. Лёхе хорошо, заросший берег давал тень, в которой спокойно плавали его крысы, а вот приседающее солнце с каждой минутой всё ярче слепило отражённием от воды, и Олег, как ни закрывался ладонями, ничего толком рассмотреть не мог. Не выдержав пытки, он скрутил на удилище леску, и взобрался на берег.

— Лёха, там, кажется, один пропал… Слышь, пропал! Или… нет?

Он кубарем скатился обратно в лодку, лёг к воде почти лицом, но всё равно точно ничего не виделось.

— Лёха, ты это, побудь. А я на обласке сгоняю, позырю. Я — скоро!

Облас едва не черпнул от резкого разворота. Загребая под себя, Олег вырулил и поплыл к закату. Лешка, чтоб было повиднее, взобрался по земляным ступенькам к лагерю. Вот чёрная полоска обласка повернула в дальнюю протоку, притормозила, по инерции скользя по золотисто-розовым разводам и искрам. И медленно повернула назад.

Лёшка осторожно спускался к лодке, когда, взглянув на свои флажки, чуть не потерял челюсть: из масляной плёнки застывшей безветрием воды с беззвучным всплеском появился чёрный треугольник разинутой пасти и поплавок из оперённой крысы исчез. Только бурун закрутился на том месте.

— Лёша, я так обещал твоим родителям. Ты не должен обижаться.

— Я и не обижаюсь.

— Хорошо. Но ты нам тоже пригодишься. Мы с Олегом побуксирим «дорожку», а ты возьми багорик и иди вдоль берега. Только не по самому краю — щука услышит шаги и заляжет. Иди и смотри. Если нам повезёт, мы будем вытягивать её сюда, подальше от камыша и коряг. Как приткнёмся к берегу — подбегай. Понял?

— Понял,— Лёха изо всех сил старался, не показывал ни малейшей обиды. Ясно, что и так-то его отпустили на рыбалку только под дяди Ванино «честное слово», мол, «без всякого риска». Но, губы сами кривились.

— Тогда по местам.

Расплющенное, трясущееся нерешительностью солнце осторожно коснулось горизонта, чуток покапризничало и залегло спать. По небу, вмиг из золотого перетёкшему в серебряное, цветасто догорали мелкие облачка, а на земле разрозненные длинные тени слились в единую зябкую полумглу. Это ерунда, в равнинной Сибири светло до полуночи, особенно на воде, но Лёшка, осторожно переставлявший ноги по слабо вытоптанной в пожухлой траве тропке, всё с меньшей надеждой следил за братом и дядей Ваней, которые уже в третий раз проходили поворот от острова до курьи и обратно. Грёб Олежек, а дядя Ваня, обернув на раз тетиву на рукав предплечья, с кормы вёл отпущенную метров на двадцать «ондатру». Чтобы случайно не хлюпнуть, Олежек не вытаскивал весло до конца и, следя за равномерностью скольжения долблёнки, даже не оглядывался. «По щучьему веленью, по моему хотенью, ловись, ловись, миленькая! Мы же тебе такую вкуснятину приготовили». Лежащая в засаде где-нибудь около затонувшего бревна, рядом с зарослями водорослей или просто в донной яме, щука ищет свою добычу, главным образом, при помощи зрения — поскольку её глаза расположены на вершине головы, она далеко видит вперёд и вверх. Однако у хищницы ещё великолепно развито обоняние, поэтому чучело

ондатры они предварительно обмазали крысиной кровью. И что, неужели, такое могло не понравиться?!

Хапок произошёл с негромким всплеском. Петля мгновенно слетела с рукава дяди Вани, и катушка, как бешеная, запрыгала у него под ногами.

— Есть! — они вскрикнули одновременно с запрыгавшим на ярике Лёшкой.— Есть! Есть!

Шнур зигзагами уходил к камышам.

— Олег, греби! К берегу! К нашему берегу! — Дядя Ваня в брезентовых верхонках, как мог, тормозил стравливание.— Греби!

Шнур неожиданно провис. Легла? Не в силах стерпеть азарт, забыв про катушку, дядя Ваня стал выбирать, наматывая капрон от локтя через ладонь. Секунда, десять, сорок. Шнур обрёл натяг и снова провис. Что? Поднимается? Привстав на колени, он пошарил глазами по ничего не выражавшей, абсолютно ровной глади. Идёт навстречу? В такой момент выбирать нужно крайне осторожно: это щука пытается выплюнуть заглоченную наживку. Моток, ещё моток. Чёрное оскаленное рыло появилось почти под бортом. Жёлтый масляный глаз злобно скользнул по обидчикам. Олегу показалось, что голова никак не меньше лошадиной, и он от испуга закричал и выронил весло. Рывок был такой силы, что дядя Ваня, завалившись с головой за борт, чудом остался в лодке. Олег, всё ещё крича, упал ему на ноги и, лёжа, хватал за ускользающий брючный ремень, пока тот пытался хоть немного стравить бечёвку. Дядя Ваня то выныривал, то погружался левой рукой с головой под воду, правой намертво вцепившись в борт и растопырив ноги, а чудовищная сила буксировала заливаемый через борт обласок к острову. С удаляющегося берега в унисон Олегу отчаянно кричал Лёшка.

В какой-то момент дяде Ване почти удалось вползти назад в лодку, но его рука, туго затянутая в несколько оборотов, оставалась вывернутой и тянула, тянула их лёгкую посудину в дальнюю протоку. Мокрый, посеревший от боли, дядя Ваня через стон вывернулся и, пузыря кровавой, от раскушенной щеки, слюной, прохрипел:

— Олег. Снимай сапоги. Прыгай.

Олег замолчал, недоуменно оглянулся: куда? зачем?

— Как близко к берегу будем — прыгай.

Пройдя уже до середины острова, щука вдруг заметалась, резко меняя направление. Обласок послушно тыркался во все стороны. Выгибаясь вслед рывкам, дядя Ваня уже не стонал, а только сучил ногами и громко выстукивал своими железными зубами. Олежек вдруг всё понял, суетливо стянул сапоги, привстал — и — куда? Рядом из тёмно-зелёной ряски торчали белесые голые стволы давным-давно умерших елей. Они, как скелеты так и не вышедших на берег тридцати трёх богатырей, растеряв ветви и кору, окоченело ждали очереди спокойно залечь на дно к своим старшим товарищам. Щука явно хотела тут, среди голейного топляка, попытаться запутать и оборвать снасть.

Этот рывок произошёл вразрез ходу, вывихнутая рука послушно дёрнулась под обласок, затянув дядю Ваню через бортик. Лодка, хлюпнув большим пузырём, перевернулась, и Олег, не успевший присесть, ударился плашмя и пошёл ко дну. Ничего не соображая, он дёргал в наступившей темноте ногами и руками и медленно опускался, опускался, пока забившийся под энцефалитку воздух не остановил погружение, а потом не потянул вверх. «А-а-ап!!» — жадно вдохнув, он, плюхаясь по-собачьи, доплыл, догрёб до ближайшей лесины и зацепился. Мёртвая ель когда-то была великаном среди окружавшей её мелочи, подавляя своей тенью и корнями возможных конкурентов, но наступившая вода равно убила всех, оставив за ней право упасть одной из последних. Убедившись, что хоть немного жив, Олег инстинктивно попытался взобраться повыше. Сучки под тяжестью звонко ломались, отстреливая далеко в стороны, так что, изорвав брюки, он едва выгребся из воды. Обнявшись со стволом руками и ногами, обессилено замер.

Щука, рванувшись, и сама на несколько секунд затихла, преодолевая болевой шок от всё глубже врезающихся под челюсть жал. Дядя Ваня вынырнул и здоровой рукой прихватил перевёрнутый обласок. «Если сейчас опять рванёт — конец, затянет в коряги». Мысль получилась короткой и убедительной. И что? Что делать-то? Страшно гаркнув на самого себя, он перекинул через днище вывихнутую руку со свободно провисшим шнуром. Есть! Он теперь грудью лежал на перевёрнутой лодке. И, потеряв сознание, дядя Ваня уже не почувствовал, как ожившая рыбина вновь тянула и дёргала, но бороздящий поперёк усилиям облас тормозил, гасил её отчаянные попытки уйти, избавиться от навалившегося на притопленную лодку ловца.

10.

Лёшка, сгорбившись, мелкими шажками бежал, спотыкаясь и почти падая, но, не останавливаясь, упорно трусил по кромке берега, пока длиннющий остров не кончился. Однако с того края обласок не появился. С размаху шлёпнувшись на срез ярка, он, то ли задыхаясь, то ли всхлипывая, беспомощно обшаривал глазами веерно расходящиеся в темноту рукава. Неужели опоздал? Неужели щука утянула их в какую-то из проток? И что? Он теперь остался один? Всхлипы перешли в передёргивающую тело икоту.

— Олег! Дядя Ваня! — даже эхо не откликалось. Через полчаса белёсая пенка зари окончательно растворится в уже зазвездившейся синеве, и наступит ночь. Глухая, безлунная ночь. И что? Где-то лениво несколько раз цыкнул и затих престарелый кузнечик. Потом совсем рядышком пропищала полёвка. Вспомнилось, что он потерял багорик. Теперь до утра не найдёшь. А чего он сидит-то? Нужно бежать к лодке и искать утащенных чудовищем. Искать!

Вытолкнутая на глубину тяжёлая лодка медленно разворачивалась против часовой стрелки. Открыв машинный короб, Лёшка с минуту вглядывался в расположение маслосборной крышки, ремня генератора, помпы. Это маховик с

цепью на вал. Две свечные головки. Всё, как и у них. Да, почти у всех на деревянных лодках такие же двигатели. Не нужно волноваться. Главное, ничего не забыть — батя же учил их с Олегом, объясняя последовательность и смысл действий. Конечно, больше старался для Олега, но сейчас не об этом. Сейчас нужно только вспомнить что за чем. Первым делом он открыл кран на бензопроводе, нащупав педальку, подкачал в карбюратор топливо. Стоп, батя сто раз повторял, что тут важно не перестараться, не пересосать. Теперь намотать на барабан пускача шнурок и равномерно потянуть. Шнур лежал на привинченной к борту инструментальной полочке — у немцев всегда всё аккуратно, не то что у них, вечно что-то теряется. Олежек вставил узелок в выемку, намотал два оборота, потянул за деревянную бакулку. Никак. Нужно сильнее? Уперевшись ногой в стенку, рванул: й-ёхх! На один раз провернулось, но никаких признаков зажигания. Потрогал поплавок — пружинит. Вновь намотав шнур, дёрнул изо всех сил. Во! Хотя бы уже чихнуло. Ещё раз, ещё, ещё! Движок дико взвыл невыставленными оборотами, и над серебрящейся водой взлетело сизое облачко. Лодка неожиданно рванулась по широкому полукругу, целясь в покинутую было пристань. К рулю! Вывернув москвичовскую баранку, Лёха направил нос на остров. А где же газ? По поводку от карбюратора проследил прикреплённый к стенке, оказывается, тут же, около руля, рычажок, осторожненько отжал вперёд. Рёв ослаб. Отлично! Довольно затактакав убавленными оборотами, моторка вошла в дальнюю протоку. Всё получилось просто «на отлично»!

Левый материковый берег, за которым закат прогорел окончательно, покрывали редкие ели, мёртвыми голяками кое-где спускавшие в затянутую ряской воду. В береговом, живом ельнике стояла сплошная чернота, в которой, сколько ни всматривайся, ни черта не видно. Справа тёмный тоже остров хотя бы рябо серел стружками чуть шевелимых ветерком тальниковых листьев. Скоро остров кончится, и тогда придётся выбирать в какой из стариц искать облас. Нет, выбирать нельзя, нужно начать с самой дальней, потом возвращаться и прошаривать следующую. Одну за одной. Не могли они особо далеко уйти. Не должны.

Сначала он боковым зрением заметил что-то плюхнувшее в воду, а потом до сознания дошёл крик:

— Лёша! — из-под распускаемой лодкой волны вытянулась рука, потом голова с чёрным провалом широко разеваемого рта.— Лё-ша!!

— Олег! Олег, я сейчас!

Здесь было слишком узко, чтобы развернуться, это же не «казанка», пришлось дойти до конца острова. Обратно он возвращался на самых малых. Вот та огромная лесина, с которой спрыгнул Олежек. Брат опять цеплялся за белеющий ствол, оставаясь в воде по пояс. Лёшка задавил рычажок до отказа, и двигатель, дважды чухнув на прощанье, затих. По инерции лодка чуть было не проплыла мимо, но Олег оттолкнулся от закачавшейся лесины и нырнул

наперерез. Перегнувшись через борт, Лёшка успел протянуть весло и, уперевшись, подтянул брата. Намертво вцепившись в борт, Олег безумно смотрел на него снизу и запнувшейся пластинкой шептал: «Блин. Блин. Блин». Наконец попытался влезть. И откровенно, в полный голос заплакал. Плакал и Лёшка, дёргавший его за куртку, за ремень: у них никак не хватал сил.

Только когда, погрузившись с лицом, Лёха сумел поймать братову штанину, ему удалось вытянуть на борт его ногу. Перекатить Олега плашмя было гораздо проще.

Откинувшись, они долго сидели напротив друг друга на залитом водой и бензином дне и продолжали всхлипывать.

— А… дядя Ваня… где?

— Там… ты… проско… чил.

Лёха приподнялся, пытаясь хоть что-нибудь увидеть. Темнота под берегом полная.

— На… веслах… надо.

Лёха грёб, проворачивая в скрипящих уключинах неимоверной и, как казалось, всё добавляющейся тяжести вёсла, которые то непроворотно заглублялись, то, наоборот, с громким чмоканьем выскакивали в веере брызг. Олег, лёжа на носу, свесив лицо и руки, кричал, иногда подправляя движение:

— Дядя Ваня! Селивандер! Левее, Лёха. Дядя Ваня!

На его крик поднялись и слепо метнулись по-над самой водой две кряквы.

— Дядя Ваня!

Они проплыли мимо лагеря. Дальше начинались заросли осоки. Вёсла то и дело цеплялись за крепкие подводные стебли давно отцветших кувшинок, и лодка как бы сама норовила завернуть в траву. Ещё немного, и сердце у Лёшки выскочило бы из груди. Но скоро поворот к курье, там мелко, и щука туда явно не потянула. В опущенную Олегову руку что-то упруго упёрлось. Невольно отдёрнувшись, он присмотрелся: крыса, дохлая крыса с торчащим пером.

— Лёша, давай я погребу. А ты смотри.

Теперь Олег рвал вёсла из подводных захватов, а Лёшка отчаянно пищал:

— Дядя Ваня! Селивандер!

Щука больше не сопротивлялась. Уходя от преследователей, она вошла, вбилась, втягивая за собой обласок, в плотную чащу осоки, с надеждой оторваться от тянущейся за ней боли. Но слишком уже потратившись на борьбу и слишком глубоко забравшись на мель, не смогла развернуться. Некоторое время рыбина извивалась, отчаянно хлестала хвостом, разбрызгивая взмученную бурую воду, и секла оскаленным ртом сжимающую со всех сторон траву. Но рывки всё слабели, паузы между взрывами ярости затягивались, пока в какой-то момент она не затихла окончательно. Поводок, соединявший ловца с хищником, провис, и расстояние между ними было не более десятка метров. Селивандер, полулёжа на днище воткнувшегося в ил обласка, всё чаще терял

сознание. Иногда ему казалось, что щука, выгнувшись, закидывала над водой голову, чтобы взглянуть на него. Наверное, и она тоже понимала, что, раньше или позже, он всё равно должен сползти в воду и захлебнуться. Дядя Ваня кусал себе губы, но это помогало мало — от холода чувствительность давно пропала, он даже не ощущал боли в вывернутом, с возможным разрывом связок, плечевом суставе. Отёкшая от пережима кисть вообще стала чужой. Холод, по позвоночнику поднявшись в череп, возбуждал сны. Сны, размыкая причины и следствия, успокаивали. Покой возводил в вечность. И рыбак тоже больше не сопротивлялся.

Он замерзал, засыпал, тонул. Когда близко, почти над головой, раздался детский зов.

— Здесь! — слабый ответный вскрик шёл прямо из зарослей. Олег затабанил правым, разворачиваясь на доносившийся сквозь осоку голос:

— Сюда, ребятки. Сюда, милые.

Закинув вёсла на дно, они хватались за острые ленты листьев телореза и тянули, тянули на голос. Лодка, как ледокол, задирала нос и всей массой продавливала заросль. Вдруг обо что-то стукнулось.

— Я здесь, милые.

Они, толкаясь, бросились вперёд: слева под бортом высоко торчала корма обласка. Дядя Ваня, откинувшись от него, перехватился здоровой рукой за лодку. Теперь уже опытный Лёшка сразу полез искать его штанину. Вдвоём они враскачку завалили окоченевшее тело.

— Спасибо, милые. Спасибо,— истекающий обильными струями дядя Ваня, прикрыв глаза, всё же старался «железно» улыбнуться.— Лёша, Олег, ребятки.

Олег попытался ослабить петли на безжизненной руке. Никак. Он наклонился и начал грызть.

— Погоди. Мы не сдадимся. Сперва зацепите шнур за нос.

— Мы не сдадимся! Не сдадимся,— Лёшка на несколько оборотов обмотал железное кольцо, к которому крепилась якорная цепь. Потом они вдвоём с Олежеком завязали самыми, какими только смогли, нераспускаемыми морскими узлами конец с освобождённого дяди Вани. Так вот. Намертво.

— Давайте на воду, она теперь наша.

— На воду! — И братья с той же страстью стали дёргать пучки травы в обратном направлении. По уже проделанной дорожке лодка из зарослей выходила гораздо легче. Даже когда натянулся шнур. Не разворачиваясь, кормой вперёд, они стоя выгребали к пристани, а за ними лёгкими бурунами отмечалась буксируемая добыча.

— Постойте! — Дядя Ваня вывалился вслед за ребятами за борт.— Осторожно. Тяните осторожно.

Олег и Лёша вдвоём, перекинув тетиву через плечо, как бурлаки на знаменитой картине, натужно тянули щуку на берег, беспрестанно оглядываясь. Хотя разве что высмотришь? Фонарик, упавший на днище, отмок, костёр давно погас, а луна сегодня так и не появилась,— влажная темнота испариной облепляла всё и вся. Несколько звёзд, висевших в разрывах чёрно-синих, с серыми оплавами по краям, облаков, только подчёркивали непроглядность ночной утробы. Их мигающий свет, долетавший к озеру за тысячи лет, тонкими иголками колол мутную сонную влагу, морщившуюся в ответ блестящими радужными разводами. Но Олег и Лёша ждали, ждали. И вот в черноте, в масляно отблёскивающей далёким солнцам и галактикам воде как бы обрисовалось чёрное же сигарообразное тело. Дядя Ваня шумно шагнул навстречу, занося над головой топор. Коснувшись брюхом дна, рыбина завалилась на бок и в последний раз судорожно забилась, отползая назад, в глубину. Дядя Ваня левой рукой с широкого взмаха ударил её по затылку обухом, потом ещё и ещё. Щука обмякла, широко зевнула и замерла.

— Всё. Она теперь наша.— Он сидел прямо в воде, а Олежек и Лёшка с воплями и брызгами плясали вокруг так и не вытащенной на берег добычи: «Наша! Наша! Наша!» Два, то ли индейца, то ли негра, вскинув руки, прыгали бочком, хлопали по себе ладонями и вопили: «На-ша! На-ша!» И откуда взялись силы?

Смотреть сбежались со всей пристани. Рыбина от кончика носа до хвостового плавника оказалась два метра два сантиметра и весила сорок шесть килограмм. Толстую, резиново-черную, в редких пятнах шкуру по спине и бокам мохнато покрывала тина и множество растревоженно шевелившихся пиявок. Посеревшее на воздухе рыло вызывало особый восторг: даже самые маленькие зубы были гораздо больше, чем у овчарки. Когда добровольные помощники перевалили щуку в кузов батиного «газона», туда напрыгало человек с пятнадцать Олеговых и Лёхиных одноклассников. Не впущенные малявки только завистливо подтягивались и заглядывали в щели бортов, где белобрысо-обросшие и загорелые за лето взрослые пацаны, забыв про территориальные и возрастные барьеры, склонились над щукой и наперебой кричали, как весенние воробьи. Впрочем, возле кабины даже женатые мужики возбуждённо суетились, словно в очереди за зарплатой. С Селивандера и бати хором требовался немедленный «магарыч». Кто-то занудно напоминал, что нужно бы обязательно сфотографироваться и послать снимок в районную, а может, и областную газету.

К гордо стоявшему, с подвязанной к груди рукой, дяде Ване вплотную подошёл Кокоша — это в его ближней береговой хатке Селивандер хранил свои вёсла, бензин и кое-что из снастей. Худющий, прокопченный солнцем и ветром не хуже головёшки, отродясь не мывшийся в бане бобыль Кокоша дотянул

прослюнявленную самокрутку до самых своих жёлтых ногтей, уронил и тщательно растоптал:

— Ты почему не обрезал?

— Так топор в моторке остался. А нож я с первого рывка утопил.

— Дурак. Детей подставлял.

Кокоша неспешно повернулся и, высоко откинув голову, пошагал вдоль берега. Мужики смущённо примолкли: у Кокоши три года назад вот так же погиб младший брат, утянутый в яму матёрым осетром.

Слюноточивый дух не отпускал далеко от кухни, где мама слепляпа и пекла на противнях пирожки. В два тазика: сладкие — с ревенем, с черёмухой и мясные — с курятиной и яйцами с зелёным луком. Надоела рыба? Нет, конечно же, не щука! Щук вообще, когда они больше пяти килограмм, невозможно есть — жёсткие, как мочалка. Только и годятся на варку свиньям. Хрюшки-то с комбикормом всё что угодно слопают. Просто послезавтра в школу, вот мама и решила детей побаловать.

А вчера из города приезжала целая бригада корреспондентов: фотографировали, расспрашивали. Отобедали у Селивандеров и забрали голову и скелет «реликтового экземпляра» в университетский музей. «Изучать феномен». Правда, они до обидного не хотели соглашаться, что щуке больше пятидесяти лет. Дядя Ваня тоже поехал с ними, чтобы пройти какое-то особое лечение растянутых и надорванных сухожилий какими-то необыкновенными лучами. Наверное, он впервые в жизни пропускал утиное «открытие». Вот так вот! Теперь Лёшка и Олежек стали в райцентре самыми знаменитыми. С ними чуть ли не все здоровались за руку, даже старики. В футбол на поляне Олежек последние два раза играл в нападении с девятиклассниками, а Лёшку из запаса поставили в ворота. И прощали, когда он пропускал.

Надо же, вот уже и в школу пора. В шкафу на плечиках ново синеют одинаковые костюмы, на полке рядом ненадёванные белые рубашки, внизу в коробках — резко пахнут кожей полуботинки. Всё немного на вырост. После утренней парикмахерской шею и уши непривычно холодит. А ещё с этой осени он вместе с братом будет ходить в дальнюю десятилетку. Пятый класс — это всё теперь не так, теперь их учить будет не одна только Ирина Григорьевна, а по каждому предмету свой учитель. Конечно, немного страшновато, но ему-то с братом куда как легче, чем многим другим. Мама всё время твердит, что бы он, чуть что, к Олегу обращался. Да что лишнего-то говорить, и так понятно, что брат всегда отмажет. Ну, от шестиклассников и семиклассников,точно.

Батя с Олегом с обеда уехали к дедам, а ему мама после удара молнией велела просто забыть про Черемшанку. Ха-ха, а если бы они ей рассказали все подробности «экспедиции», то она, наверное, Лёшку за ногу к кровати привязала. Больше всего жаль деда, который вообще ни в чём не виноват, ведь они его даже немножечко надули, ну, про рыбалку-то, а досталось ему от бабки

и матери по полной. Присутствовавший Олег потом в лицах рассказывал и показывал, как деда прорабатывали: «пень трухлявый, хохол дрипанный, пим солёный, петух лысый, алкаш безмозглый, клизма лысая, муха срамная» — и ещё много чего подобного. А тот терпел, терпел, да и свистнул в ответ:

— Не ругайся, старушонка,
Не суропься грозно –
Молода сама, бывало,
Приходила поздно.

Дед, конечно, не мог о чём-то не догадываться. Ведь не зря же столько про остяцкий заговор предупреждал. Однако и сам же их всегда учил, что мужицкие секреты в юбки не заворачивают. Поэтому, видя запиравшегося от лишних подробностей Олежека, дед, от греха подальше, надел шляпу и враскачку пошествовал до соседей:

— На меня наговорили,
Пусть ещё поговорят.
Мои глазки поморгают,
Мои щёчки погорят.

И там здорово напился. После чего «женсовет» порешил безответственного деда «от ребятишек изолировать». По крайней мере, от Алёшеньки.

В больницу его не взяли. Навтыкали каких-то уколов и оставили лечиться амбулаторно, то есть дома. Он честно отлежал две недели, слушая «Радионяню» и «Клуб знаменитых капитанов», вставая только когда припрёт — на ведро, умыться — или когда медсестра заходила мерить давление. Потом начал втихаря выбираться посидеть на крылечко или поискать свежий огурчик в теплице. Голова побаливала, и тело было совсем без веса, как пустая одежда, ничего не чувствовало, поэтому первое время для сохранения вертикального положения приходилось придерживаться за стены. Но с каждым днём здоровье входило в норму, и ещё через неделю он даже по двадцать раз каждой рукой выжимал утюг и тридцать раз приседал. Теперь нутряная, выжинающая льдом спину пустота накатывала только по ночам: он куда-то возносился, мимо лун, звёзд и облаков, высоко и стремительно. А потом падал. Так вот он летал и падал, когда был совсем маленьким. Но сейчас ужас от тёмной высоты усиливался знанием, несомненным знанием неминуемой беды, которая снизу зло караулила его приземление. Полупроснувшись, сидя на поскрипывающей кровати и зажимая руками грудь, из которой вырывалось сердце, Лёша продолжал держать, отчаянно держать состояние полёта. Полёта — куда? Ну? Куда-то… Ведь даже о том, как они дошли до Большого Карасьево — Олег рассказывал, а он только верил, представлял, но не помнил.… Ни самого озера, ни грозы… Вот как цаплю вспугнули — и всё. Очнулся, когда дед на телегу укладывал.

Мама пекла профессионально — она же технолог на хлебокомбинате, но и Лёшка не менее профессионально пробовал. Вся хитрость в том, чтобы пирожок был не горячим и не холодным. Надкусываешь уголок и продуваешь начинку. Горячий пар ответно ударяет в нос, вызывая слюнотечение. Но не надо спешить. Теперь откусываешь побольше сверху, опять дуешь. И только потом, не обжигаясь, наслаждаешься внутренней вкуснятиной, запивая жирным холодным молоком. Тесто для стряпни заводилось всегда с вечера, в десятилитровой кастрюле. Поставленное в тепло, разрастаясь, оно время от времени выглядывало из-под покрывающего его полотенца в робкой попытке выбраться на пол, за что и получало ласковую взбучку.

Этой зимой приключилась забавная история. Их достаточно повидавший на белом свете, старый и драный, рыже-полосатый котяра Шерхан, заявившись утром с морозных февральских гулеваний, долго слонялся по дому в поисках тепла и покоя. Наконец улёгся на нечто мягкое, стоявшее на табурете около приоткрытой духовки, сунул нос себе в живот и устало заснул. Как на облаке. Полотенце под ним опускалось, но так нежно и незаметно, что когда через пару часов, он, великолепно отдохнув, попытался потянуться, то вместо сладкого зевания из его глотки прорвался отчаянный вопль: если бы Шерхан знал про существование осьминогов, то, наверное, так бы и подумал, что попал в липкие щупальца головоногого. Кот орал и вырывался, однако даже после того, как ему удалось выскочить из опрокинутой кастрюли, мягко, но намертво вцепившееся в него это самое «нечто» выбралось вместе с ним и преследовало до самой дыры в подпол. Когда мама пришла с работы, она первая всё поняла и организовала поиск. Олег и Лёша с фонариком излазили все щели, пока не обнаружили затаившееся за балкой некое чудовище, которое, даже страшно сверкая зелёными глазами и знакомо шипя, больше походило на некрупного, но решительно настроенного никому не сдаваться бегемота. И как они потом вчетвером отмывали Шерхана в ванне, рассказ особый. Стоит лишь упомянуть, что на последствия ушло полфлакона зелёнки.

Вообще мама у них рукодельная. Соседки всегда удивлялись — когда же успевает? С тремя-то мужиками? И покормить, и обстирать. И с хозяйством управиться. Да ещё, вон, напечь, наварить. Батя в ответ довольно хмыкал и деланно хорохорился: мол, на то ж она и хохлуша, что лучше жинки нигде не найти. Не зря ж он старался, столько за ней ухлёстывал: «Хохлушка — вечная вертушка». Только иногда, сев расчёсывать на ночь свои длинные густо-чёрные волосы, мама не похоже на себя раскисала, жалобно перечисляя свои болячки перед трюмо. Больше всего её умучивал хондроз, и на перемену погоды она просила Олежека или Лёшеньку помять правое плечо — у бати-то пальцы грубые, бесчувственные. Сыновья по очереди щипали кожу и остро давили на сустав, под её постанывания. А больше она никогда ничем не лечилась. Даже грипп на ногах терпела.

И почему же она тогда так любила лечить других? Вот Лёшку и сейчас во всём ограничивает — «ведро не поднимай», «на сеновал не лазь», даже в магазин «пусть Олежек сгоняет». А чем летом дома-то заняться? Пощипать ягод, собрать яйца, покормить цыплят. Гусениц с капусты повыбирать. Всё это девчачьи радости. Пацаны из его класса первое время забегали, выспрашивали на десятый раз о молнии, пересказывали кино про Зорро и Гойко Митича. Но потом им надоело, они только отзванивались, пролетая мимо на великах. Особенная тоска началась с покосом: родичи с братом то у дедов, то на лугах, в плохую погоду за малиной на гарях или с утра по рёлкам за маслятами, а он вечно «на хозяйстве». Лёшка с горя прочитал «Тома Сойера», «Тимура и его команду», «Дело было под Ровно» и ещё больше засмурел. Отдушина была в том, что с ним, тоже на карантине, сидел бычок Мишка, который где-то сильно ободрал ноги о колючую проволоку и теперь, обмазанный жёлтой вонючей мазью, к которой отовсюду слетались мухи, без аппетита питался кошениной в затоптанном навозном загоне. Лешка любил, навалившись грудью на изгородь, гладить ему обалденно пахнущую парным молоком морду, чесать рыжий вихор на лбу, царапать за ушами и под горлом. От последнего Мишка млел, высоко задирая скользкий пупырчатый нос и томно приспуская длиннющие ресницы. И они оба тяжко вздыхали о свободе.

В дверь с натугой втолкнулся дядя Коля:

— Привет честной компании! Ух, какой дух. А где хозяин?

— У дедов. В Черемшанке. Тебе пирог с чем?

— А мужицкий, с яйцами,— дядя Коля выбрал из указанного тазика похолоднее, надкусил. Жуя, грустно осмотрел кухню, причмокнул:

— Хорошо ты, Любка, печёшь, вкусно, право дело, как в столовой. И чего твой не толстеет? А когда он вернётся?

— Не загадывай, поздно будут. Ищи сегодня другого собутыльника,— мама нарочито громко вдвинула в духовку противень и хлопнула дверкой.

— Ладно-ладно, уймись. И почему у баб всегда одно на уме. Нет, чтобы там за жизнь, за погоду поговорить. Так оне только об выпивке и думают. Лёха, ну, пошли, что ли, щенка смотреть?

— Уже?!

— Эй, Николай, погоди, ты же говорил, что в конце сентября? Какие сейчас собаки, парни же учиться не смогут. Нет, никуда он не пойдёт!

— Мам! Ты же обещала!

— Что «мам»? Я на начало школы не согласна. И так хлопот будет, без этого вашего щенка. Кормить, подтирать. Мало ли? А запустишь уроки сразу, так потом весь год из троек не выкарабкаешься.

— Да уймись ты, право дело. Смотреть — не брать. Мы только так, прикинем. Лайку-то глядят, пока кутёнок слепой. Пока характер в чистом виде светится. Не торопись, Лёха, шнуруйся, я ещё успею один пирог смякать.

Дядя Коля покороче закрутил цепь лизавшей ему руки Лизки и, чему-то хмурясь, одного за другим вытащил из будки четыре тёпло-вонючих катушка. Рыже-бурые, с чёрными мордашками и белыми лапками, они казались неразличимо хороши, и Лёшка, слишком резко придвинувшись, чуть не получил несколько дырок от метнувшейся наперерез собаки. Прищуря лисьи глаза, Лизка с рывка цакнула зубами около самой руки. Цепь отдёрнула её, чуть не перевернув, но Лёшка понял и потом держался от щенят в стороне, любуясь ими издали, точно так же, как и их мать — нервно подрагивая от возбуждения.

Дядя Коля брал чуть попискивающие комочки, внимательно рассматривал каждого от шипа до голого пуза и по очереди ставил на низкую широкую чурку. Первые два, добравшись до края, кубарем скатились на землю и завопили. Третий и четвёртый, потычась тупыми носами в пустоту, завертелись на месте, ища, где безопасно. Этих сообразительных дядя Коля поднял за шкурку, но не у холки, а ближе к хвосту, и слегка потряс. Один щенок молча терпел, второй стал вырываться. «Хороша девка!» — Раздвинув грубым мозолистым пальцем беззубые челюстёнки, он заглянул в пасть: чёрная полоса по всему нёбу, все пять рубцов разрезаны крестом. «Значит, по перу: на утку пойдёт, на тетёрку. И, смотри-ка, право дело, к тому и когти разноцветные». Ещё на раз переворошив помёт, запихнул остальных назад в гнездо, а выбранного щенка подал Лёшке: «Это — лучшая, совсем как мать будет». Лёшка с трудом оторвал глаза от такого вдруг родного, вдруг уже любимого комочка, который сослепу попытался присосаться к его мизинцу. А рыжая, раскосоглазая Лизка только просительно приседала на привязи, мелко виляя двойным свитком пушистого хвоста и перебирая тонкими, в белых чулках, передними лапами. Да, если вырастет такая же красавица… Но, неужели придётся ждать целый месяц?! А можно же будет приходить и просто смотреть?

И кличка очень хорошая есть: «Тайга».

11.

Великая Река течёт сверху, от южных сакральных стран — через мир живых — в устье, холодную страну мёртвых. Где-то там, на севере, вечный кругооборот, и она уходит вниз, чтобы подземной темнотой протечь в обратном направлении и, раздав по пути воду притокам, как старый человек силу своим детям, вновь появиться на свет маленьким ручейком. Великая Река и есть сама Жизнь, ибо она владычествует над Срединным миром, во времени и в пространстве связуя всё и всех. Мальчику, впервые севшему в долбленую лодку, мать смачивает ладонью макушку, веря, что он, умерев через много-много лет, как река в обратном направлении, проживёт под землёй от достойной старости до чистоты младенчества и вновь родится, как крохотный родничок.

Посредине Оби, у впадения в неё Иртыша, сотни лет стоял Обской старик, «Ягун-ике» — высеченный из дерева болван с золотой грудью, у которого нос

был «аки труба жестяны, очеса стекляны…», и он притягивал рыбу носом, как хоботом. Ягун-ике приносились обильные жертвы, так как из стружек строгаемых им деревьев рождалась все рыбы, и только он решал — кому и сколько их попадёт в ловушки. Когда в 1715 году русские подпалили идола речного бога, то, рассказывают, из пламени его костра вылетела и устремилась в небо душа, принявшая облик белого лебедя.

Впервые Западная Сибирь упоминается в русской летописи в XI веке под именем «Обдория». С 1187 года нижняя Обь вошла в «волости подданные» Великого Новгорода, а с 1502 года Великие князья Московские стали добавлять к своим титулам «Обдорские и Югорские». Не со времён ли новгородских экспедиций остались загадки параллельных названий рек Сибири и европейского Севера: Сума — приток Чулыма и река в Ленинградской области, Уса — приток Томи и приток Печоры, Кожа — приток Бии и Онеги, Юра — приток Серты (приток Оби) и река Юра, впадающая в Неман (Литва)? Новгородцы, ходящие в Югру, познавали Обь с нижнего течения, ермаковские казаки впервые зашли выше впадения Иртыша, то есть ни о каком славянском первоназвании (мол, «Обь» — это «обе» — от слияния Бии и Катуни) не могло быть и речи. Но, главное, по всей реке наименование *Обь* употреблялось только прибылыми русскими, а для хантов она была *Ас*, для тюрок *Умар*, на кетском Обь звучала как *Ю* или *Чу*. Как называли её старообрядцы, селившиеся здесь лет сто до «покорения», никто не знает. Можно предположить, что название главной реки закаменной страны Обдории новгородцы услышали от своих проводников-зырян (коми): «Обдория» — «Об» и «дор», где слово «дор» по-зырянски «местность». А что означало «об»? *Обва* на языке коми — это «снежная вода», но гораздо употребительней — «тётушка, бабушка». Вообще-то, в топонимии Сибири самым причудливым образом смешаны и соединены финно-угорские, самодийские, монгольские, тюркские, иранские, славянские и другие языки. И среди рассыпанного разнообразия наиболее достоверной на сегодня представляется гипотеза о происхождении названия реки Оби от иранского *аб* — «вода», «большая вода».

Происхождение топонима «Обь» из языкового «далёка», прежде всего, подтверждается тем, что близкого по звучанию слова просто нет ни у одного из ныне существующих народов-аборигенов. Как в большинстве языков, сибирские топонимы часто состоят из двух слов, причём главное значение имеет последнее — «река», «вода», по которому опознаются их хантыйское, селькупское или тюркское происхождение. Так вот, у ненцев «река» — *яха*: Табьяха, Мудуйяха, Мярояха; ненецкое «яха» ханты передают как *яг*, поэтому в местах их совместного проживания встречаются: Ягыляг, Кругяк, Еголяк. В прямом хантыйском звучании река — *иган*, *еган*, *юган*: Ларьеган, Ватъеган, Васюган. У манси река — *я*: Атымья, Пелья, Калья; у селькупов — *кы*, *гы*, превратившимися у русских в «ка», «га»: Корлига, Чурулька, Лозунга, Суйга; у

южных самодийцев — *бу*, *чу*, *бы*, что, опять же, на русский манер — «ба», «ма», «ва», «ча»: Амба, Касьма, Дача. Тюркская река — *илга*, *юл*, *су*: Илгай, Мрассу, Чичкаюл.

Есиповская летопись «О Сибири и о сибирском взятии»:

«Сия убо Сибирьская страна полунощ(ная), отстоит же от Росии царствующаго града Москвы многое разстояние, яко до двою тысяч поприщ суть. Сих же царств, Росийскаго и Сибирьские земли, облежит Камень превысочайш(ий) зело, яко дося(за)ти инем холмом до облак небесных, тако бо Божиими судьбами устроись, яко стена граду утвержена. <…> Первая река в Сибирскую землю изыде, глаголемая Тура. <…> Река же Тура вниде в реку, глаголемую Тобол; Тобол же река вниде в реку, глаголемую Иртиш. Сия же река Иртиш вниде своим устием в великую реку, глаголемую Обь. <…> Сия же великая река Обь вниде своим устием в губу Мангазейскую. Сия же губа двема устьи вниде во акиян море прямо к северу. В сих же устьях леди искони состарешася и николи же таяще от солнца, и непроходимо место, и не знаемо чадию.»

«Тура», «Тобол», «Иртиш»… «губа Мангазейская»… Входящий в топонимические системы древний иноязычный слой принято называть «топонимическим субстратом». Так как же иранская вода протекла от Алтая до Ямала? Возможна ли такая долгая жизнь топонима? Археологические данные свидетельствуют о наличии в протохантыйских культурах иноэтических компонентов. Так, относительно потчевашской культуры, академик В. Молодин отмечает тесные взаимодействия её носителей с соседними саргатцами. Элементы прибылой культуры, такие как геометрический орнамент, до сих пор присутствуют в декоративном искусстве ханты и манси. В свою очередь древние угры, контактировали с еще более южными, ираноязычными, культурами, заимствуя у них мифологические сюжеты и термины. Установлено, что названия крупных рек правобережья Оби, такие как Пим, Казым, Надым, объясняются древнесамодийским наречием, на котором окончания этих названий переводятся как «большая река».

Ну, а если вспомнить могилу вернувшегося «домой» под Аркаим, «просветителя персов» Заратустры, и таёжные клады сасанидского серебра, то зыряне вполне могли узнать слово *аб* от родственных им южноуральских угров, веками продолжавших прямую торговую связь с иранцами.

Как пример передачи топонимической эстафеты — наш Томск: острог — городок — губернский и областной центр на берегу реки Томь. В самом начале XVIII века русские в междуречье Оби и Енисея застали вымирающее племя, названное ими *пумпоколами*. Малочисленный народ вскоре окончательно исчез, не успев оставить даже самоназвания. Но около сотни слов их языка оказались записаны, среди которых было *том* (тоом), означавшее «река», «тёмная река».

Общий термин *том* стал названием конкретной реки и впоследствии, в соответствии с русской грамматикой, приобрёл женский род — «Томь». И никакая красавица Томь, полюбившая князя Ушая и наплакавшая реку от разлуки с милым, здесь ни при чём.

Есть предположение, что пумпоколы относились к очень древнему народу, пришедшему в Западно-Сибирское междуречье за полторы тысячи лет до нашей эры. Ближайшими родственниками исчезнувших пумпоколов являются нынешние кеты, давшие много топонимов, в том числе название реки Кеть. Эти скотоводческие народы осели на территории нынешних васюганских болот три с лишним тысячи лет назад, когда здесь были сухие выпасные луга. С климатическими изменениями, когда пастбища начали заболачиваться и зарастать лесом, часть племён отошла, а часть ассимилировалась с местным финно-угорским населением. Археологические остатки материальной культуры кетов дают право считать, что они пришли с запада. В первой половине II тысячелетия до нашей эры по каким-то причинам они массово двинулись из Малой Азии на северо-восток, частично осев на Северном Кавказе и Южном Урале, большей же частью расселившись в южных степях Западной Сибири и Минусы. Ещё первые русские, кроме пумпоколов, застали в Сибири вымирающие племена асанов, котов и аринов. Сейчас на Чулыме и в нижнем течении Енисея осталось около восьмисот кетов, последних представителей загадочного народа, это живой остаток алярадийской группы — самой древней ветви населения Евразии, не относящейся ни к индоевропейской, ни к семито-хамитской, ни к алтайской языковым семьям.

«А верхь по Обе город Сургут на левой стороне, хлеб не родитца, места такие жь, что и на Березове. А рыбы, и птицы, и зверя, лося и оленя много. А ясачные люди остяки. А в Оби реки рыба осетр, стерлядь, белая рыба, нельма, тоймень, шокур, пелеть, сиг и всякая белая рыба, опричь леща, головля, судока». Из дописей к летописи «О Сибири и о сибирском взятии».

Из всех северных рек России Обь — самая рыбная. В ней описано около полусотни видов и подвидов рыб, половина из которых промысловые. В нижней Оби, Тазе и их притоках добывают ежегодно более десяти тысяч тонн ряпушки, пеляди, муксуна, чира, сига-пыжьяна, тугуна, омуля и нельмы, что составляет почти половину улова сиговых России и треть мирового. За осетровыми и сиговыми идут частиковые — щука, язь, налим, елец, плотва, караси, окунь. Но разве возможен сухой перечень названий, если через память детства смуглыми тенями выплывают виденные и ловленные, оглаженные собственными руками, эти самые двухпудовые осетры и пудовые нельмы, полуметровые язи, нежно скользящие сырки, мясистые муксуны и быкоголовые налимы. А щучки-травянки, плисточками выпрыгивавшие из стеклянной полуденной глади за истекающими «салом» полупрозрачными ельцами? Эх…

Именно мутная, как буро-зелёный бульон, непрозрачная обская вода, в которой минеральные растворы и взвеси горных истоков соединяются с биосубстратом торфяных размывов, даёт основу этой пищевой пирамиды. В её медлительных стоках вызревают неисчислимые личинки насекомых, вскармливающие мириады мальков, а соединение ледниковых глубин и мелких плёсов, вымерзающих притоков и разливных просторов дают жизненные ниши хордовым и зеркальным, хищным и фильтраторным подданным Ягун-ике.

Из дописей к летописи: «По сих же реках жителства имеют мнози языцы: тотаровя, колмыки, му(г)алы, Пегая орда и остяки, самоядь и прочая языцы. Тотар(ов)я закон Моаметов держат; колмыки же которой закон или отец своих предан(и)е (держат), не вем, понеже бо писмени о сем не обретох и ни испытати возмогох. Пегая ж орда и остяки, и самояды закона не имеют, но идолом покланяются и жертвы приносят, яко богу, волшебною же хитростию правяше домы своя всуе, понеже егда приносят дары кумиром своим, тогда же молят, яко сего ради приносит, яко подаст ему кумир он (вся многая в дому) его».

Включение Югры и Обдории в состав Русского государства и установление прочных экономических связей с местными народностями содействовало росту могущества России. В 1660 году сибирская казна давала свыше 600 тысяч рублей или около одной трети доходной части бюджета государства. В крае была развернута широкая торговля пушниной, мамонтовой костью, олениной, рыбьим клеем, птичьим пером, березовой чагой, лодками, меховой одеждой и другими товарами. Этому способствовала знаменитая Обдорская ярмарка, на которую в январе-феврале торговать с обскими и иртышскими вогулами, остяками, ямальскими самоедами, чулымскими селькупами и томскими татарами, съезжались купцы с Архангельской, Тобольской и Енисейской губерний. Главной денежной единицей служил белый песец, ценой более десяти рублей. Позднее ярмарка переключилась на торговлю рыбой, и к началу двадцатого века из Обдорска вывозилось на рынки Перми, Тобольска, Томска и Красноярска до 200 тысяч пудов рыбы в год.

Из дописей к летописи: «А вершина реки Оби из озера Телеского с степи вышла. А вышла река Катуня, а з другую сторону вышла река Бия, и сошлася вместе, и то стало Обь река великая. А в Обь реку великую впали реки большие, ходовые, пловучи на низ, с правую сторону река Томь вышла из Камени, река Чюлым, сошлися в вершине два Июса, Черной да Белой, и стала река Чюлым; река Кеть, река Тым, река Вах вышли из болот. А с левую сторону река Иртиш, вышла из (с)тепи, река Тым, река Сосва вышли из лесов».

Разнообразие жизни в глубинах и по берегам Оби определяется её прохождением через пять природных зон: тундру, лесотундру, тайгу, лесостепь

и степь. Сложнейшая сосудисто-капиллярная система Великой реки связует эти зоны в единую, пульсирующую жарой и метелью, дышащую туманами и полярными сияниями, рефлексирующую на добро и зло, живую и мудрую плоть. Неисчислимые ручьи, старицы, заливные озёра, речушки, речки и реки, проводя и сбивая с пути, перенося семена и семьи на тысячи переходов, смешивая и рассыпая чаянья, стремления и судьбы героев великих этносов и старейшин малых племён,— они пятнадцать тысячелетий вбирают, смиряют и покоят всех, кто уже набродился по свету, навоевался сам и настрадался от других покорителей вселенной. Западная Сибирь, Обдория — гигантская чаша терпения, которая никогда не переполняется.

В основании Западно-Сибирской равнины лежит Западносибирская плита — молодая погружающаяся платформа, в ходе своего развития не раз захватываемая морскими трансгрессиями. На востоке она граничит с Сибирской платформой, на юге — с палеозойскими сооружениями Центрального Казахстана, Алтая и Салаирско-Саянской области, на западе — со складчатой системой Урала. Северная граница плиты неясна, она покрыта водами Карского моря. В основании Западносибирской плиты находится скрытый под мощным чехлом осадочных пород палеозойский фундамент, глубина залегания которого составляет около семи километров.

Великий Ледник естественной плотиной закрывал стоки в Северные моря. Вследствие чего тут образовалось крупнейшее из озёр Евразии — Мансийское или Западно-Сибирское, которое покрывало практически всю территорию равнины, где сейчас расположены города Тюмень, Томск и Новосибирск. Часть этой воды нашла выход на юго-запад через систему Новоэвксинского бассейна, бывшего некогда на месте Черного моря. Далее через Босфор и Дарданеллы сибирская вода попадала в Средиземное море. Шестнадцать тысяч лет назад, вслед отступающим льдам, воды Мансийского озера, наконец, смогли стекать в Северный Ледовитый океан, образовав современные речные системы Обь-Иртышского бассейна.

Любая река характеризуется длиной, площадью водосборного бассейна, годовым стоком, максимальным расходом воды и еще целым рядом показателей. Обь — одна из крупнейших рек Земного шара, третья, после Енисея и Лены, по водоносности в России, сливающая в Карское море около четырёхсот кубических километров воды. Её длина 3650 километров, при площади бассейна почти 3 миллиона квадратных километров. При том, что Западно-Сибирская равнина состоит из двух, слабо разделённых Сибирскими увалами, очень плоских чаш, течение по которым чрезвычайно замедленно, и что сковывающий водную жизнь ледостав продолжается от 150 суток в верхнем течении до 220 в нижнем, в Приполярной Оби в продолжении всего лета глубина на плёсах достигает 30 метров.

Слабо выраженный водораздел с Енисеем наталкивал на идею возможности его преодоления. Первый проект о сооружении перешейка между двумя величайшими водными бассейнами Сибири в 1797 году предоставил на высочайшее утверждение генерал-майор Новицкий. План был благосклонно принят, директории водных коммуникаций департамента путей сообщения поручено было «привести его в исполнение». Однако средств на производство работ тогда не нашлось. Вернулись к грандиозной затее лишь в 1881 году, наметив от Екатеринбурга до Тюмени постройку железной дороги, дабы дальше грузы везти по воде — через Иртыш, Обь и Енисей, Ангару, Байкал и Селенгу, до самой границы с Китаем. К той поре вся подготовительная работа, включая экспедиционные изыскания о создании непрерывного водного пути в пять тысяч верст, от Уральского хребта до Забайкалья, была закончена. Удалось найти и кратчайший путь для сооружения Обь-Енисейского канала, соединившего бы приток Оби Кеть и приток Енисея Кас. Проложенный здесь за тридцать лет, вручную, с огромным противлением болот и глухой тайги, канал имел длину семь с половиной верст и ширину по дну шесть саженей. По тем временам это было технически сложное сооружение с каскадом шлюзов, вполне соперничавшее с Панамским каналом, с которым и строилось параллельно, с разницей в пятнадцать лет. Открытый в роковом 1914 году, с Гражданской войны канал технически не обслуживался, и поэтому, когда во время Великой Отечественной войны по нему попробовали перебросить нескольких судов из Енисея в Обь, задача, к сожалению, оказалась уже невыполнимой. Транссиб и Северный морской путь закрыли тему.

Лишайниковые и моховые, птичьи, оленьи и песцовые тундры, перемежающиеся крупнобугристыми болотными массивами, занимающие полуострова Ямал и Гыданский, на всех своих полутора тысячах квадратных километров практически не знают деревьев, кроме редкостойных криволесий лиственницы в долинах речек.

Тайга сопровождает Обь почти две тысячи километров. В эту лесную и лесо-болотную зону входят северная и средняя части Тюменской области, Томская область, северная часть Омской и Новосибирской областей. Основу составляют темнохвойные леса с преобладанием сибирских елей, пихты и кедра. Необходимо вспомнить, что Западно-Сибирская равнина характеризуется исключительной обводненностью, так что её средняя и северная части относятся к одним из самых переувлажненных пространств земной поверхности. Здесь расположен крупнейший в мире Васюганский болотный массив.

Сложнейшая пищевая пирамида лесов венчается крупными хищниками. Только крупный зверь способен знать и соблюдать бесстрастную меру собирания дани со своего ареала, не опьяняясь безнаказанностью убийств. Медведя величают «хозяином тайги» не только за триста килограмм мощи, но и за незаурядный ум. Именно умом он отличается от следующего за ним по

опасной силе хищника Сибири — росомахи. Если росомаха, в основном, берёт от жизни своё дерзостью и навалом, то о «человеческих» качествах любопытного и музыкального, упорного и азартного, аккуратиста и сладкоежку «босого мужика» охотники рассказывают правдоподобные легенды. Рысь, молчаливая ровесница саблезубого тигра и пещерного медведя, в царстве косолапого ведёт вольную жизнь только в период его спячки, а волки и вовсе, подрастив щенков, набегают в тайгу погонять лося или косулю лишь поздней осенью и по весеннему насту — в глубоком рыхлом снегу они беспомощны.

Вообще-то, согласно общему мифу обских угров, медведь когда-то счастливо жил на небе во дворце Нум-Торума. Творец мира и сам на праздниках богов мог воплощаться в своего любимца. Но однажды медведь отпросился на землю. Здесь, пользуясь покровительством Творца, он стал творить бесчинства и обиды людям. Нум-Торум в наказание оставил его на земле и признал за людьми право на самозащиту. С тех пор убийство медведя, хоть и огорчает бога, но не считается смертным грехом. Каждый раз, как только кому-то случается добыть зверя, его родственники устраивают медвежий праздник, с целью примирения убитого и охотника. На священное место мули-пал укладывается медвежья шкура с головой и лапами, перед которой, в зависимости от пола и возраста медведя, от двух до пяти дней звучат мифы-песни йис-потар, под струны панан-юх происходят театрализованные представления катра-ёх-потар, в которых мужчины изображают вооруженных саблями и копьями богатырей-предков, идёт лепка из теста фигурок диких и домашних животных и, конечно, обширное семейное пиршество.

Южнее тайги, в Притоболье и Приобье распространены естественные островные сосновые боры, лиственная растительность лесостепи представлена берёзовыми и осиново-берёзовыми лесами, которые к югу Новосибирской области встречаются в виде всё более редких колков вокруг блюдцеобразных понижений. И всё шире цветут разнотравные Кулундинская, Алейская и Бийская степи, узко прорезанные ленточными сосновыми борами, отмечающими древние ложбины стока ледниковых вод.

Здесь, у подножий Алтая, Великая Река, теряет, отпускает своё владычество над безмерными складчатыми просторами, и, развилившись, разбегается гибкими коленами и петельными мучинами Бии и Катуни, чтобы далее, наверху у самых ледников, как смешливый ребёнок беззаботно и звонко играть цветными камушками на тайменных перекатах.

12.

Вика медленно шла вдоль зелёной больничной ограды и рыдала. Навзрыд, громко, с подвыванием, никого не стесняясь. Всё, всё. Ираида Фёдоровна Коржина. Умерла. Солнце чуть качающимися струями истекало в щели длинноигольчатых крон молодых кедров, ему навстечу из подсохшего у

штакетника вязиля наперебой верещали кузнечики, пестрели цветы ромашки и льнянки, в щербины старого деревянного тротуара с любопытством выглядывали розоватые шляпки молоденьких поганок. Всё на своих местах. Всё живо. И только она умерла.

А что Вика знала о смерти? Когда она была совсем маленькой, ну, лет в пять, то она очень боялась засыпать. Ей казалось, что стоит только закрыть глаза, как вслед за теряемым сознанием тело тоже перестанет дышать и тут же остановится сердце. Подчиняясь взрослым, Вика лежала зажмурившись, но, сжав кулачки, изо всех сил следила за своими мыслями. Только бы не уснуть! Только бы думать, не останавливаясь думать, думать. О чём угодно… Просыпаясь, она каждый раз смеялась от счастья того, что и сегодня она снова жива, что впереди предстоит целый день, длинный-длинный день игр со сверстниками, с обедом, прогулкой, переодеванием, папиным уроком и маминой лаской. А вечером пытка возобновлялась. И невозможно было никому рассказать, нечем объяснить, пожаловаться на этот безымянный, неописуемый страх перед обязательным собственным ночным бессмыслием и бесчувствием.

Потом она хоронила голубя. Это уже в школе, после того, как сама без чьей-то помощи прочитала «Дюймовочку». Закинувшая головку сизая птица ничего не думала и не чувствовала. Словно действительно спала, прикрыв потускневшие красные глаза полупрозрачными веками. Лучшее место нашлось в овраге. Прихлопав ладошками закапанный слезами песчаный холмик, Вика воткнула в него деревянную палочку от эскимо и вдруг подумала, что давно перестала бояться сна. Ну, засыпания. Наоборот, ей теперь очень даже нравился момент отката дневных забот и событий и прибытия ночной полутьмы, в которой можно самой придумывать разные картинки и необыкновенные разговоры. Как в сказке. Это потому, что она привыкла обязательно просыпаться, и этой привычкой научилась отличать смерть «навсегда» от временного бездумия.

А отношения с математикой у Виктории не складывались с первых классов. Не то, чтобы она чего-то недопонимала, а… а просто, если, вот, за буквами всегда стоят живые звуки, в своём сочетании несущие конкретные предметы и знакомые части окружающего, то, как только за цифрами пропадали «два яблока» или «шесть палочек», рисуемые загогульки и крючочки — просто «два» и просто «шесть» — веяли холодной необязательной пустотой. Она очень даже сочувствовала Буратино, когда тот отказывался отдать «одно яблоко» некоему «Некто», «хоть он дерись». Вика тупо зубрила правила и таблицы, потом также механически забивала в голову теоремы и формулы, но всегда только как мёртвые, пустые рисунки и чертежи, без всякой надежды вникнуть в смысл их жизни.

Так продолжилось и в Лаврово.

Ираида Фёдоровна Коржина была маленькой, сухой горбуньей, в вечном коричневом глухом костюмчике, с несменяемым кружевным стоячим воротничком над чёрной каменной брошью. Тяжёлые роговые очки с круглыми неблестящими стёклами на длинном желтоватом лице, валик редких седых волос. Что ещё? Ногти, всегда аккуратные, ухоженные ногти на морщинисто-прозрачных птичьих пальцах. Вика, как и все, бездыханно замирала, вытянувшись около парты, пока учительница математики семенила к своему столу у окна, забрасывала на него тяжёлый мужской портфель и, не глядя на класс, буркала:

— Здравствуйте. Садитесь.

Сама же она всегда стояла или прохаживалась между рядами. Ну, правильно, сидячую-то её из-за стола не увидишь. По ходу урока, ближе к концу опроса по предыдущей теме, Ираида Фёдоровна понемногу отмякала, лоб её разглаживался, а при переходе к новому материалу сипло придыхающий голос и вовсе обретал некоторую человечность. Объяснять она начинала всегда издалека, подготавливая «ребятишек» занимательными примерами, от этого некоторые теоремы и правила у неё звучали как выдаваемые по дружбе секреты неких магических фокусов, сопровождаемые торжественно-тайным выговариванием имён их первооткрывателей. Вика смотрела на вдохновлённую в эти моменты неведомыми видениями учительницу с некоторым испугом, и ещё больше тупела от стыда: ну почему ей-то в этих «а-квадрат» и «квадрат-гипотенузы» совсем ничего не чувствовалось? Не вызывало не то что восхищения, но даже простого любопытства. Склоняясь на зелёную, исписанную и исцарапанную двустишьями старшеклассников столешницу, Вика под опущенными ресницами старательно прятала накатывающую тоску.

Для черчения на доске Ираиде Фёдоровне всегда требовался помощник, и поэтому самые длинные в классе Коля Паршев и Гена Моисеенко заранее складывали тетради и ручки, ожидая вызова в очередь. Но в тот раз к доске вдруг попросили выйти Лазареву. Все, перегибаясь друг через друга, удивлённо воззрились на медленно выбирающуюся из-за парты новенькую. От буравящих со всех сторон глаз у неё на пол, вслед за карандашом, упал и учебник. А за ними посыпались и тетрадки. Вспыхнувший, было, смешок оборвался от недоброго шипа:

— Лазарева, поскорее. Что ты, как на базаре, товар высыпала? К доске!

— Я не могу. И… не пойду.

— Это как так? — Роговые очки поползли вниз, а взметнувшиеся брови выстроили «домик».— Лазарева, ступай к доске.

— Я не пойду.

— Это как? Это что? Вызов?

Теперь не то чтобы хиханек-хаханек, а ничьего дыхания не было слышно.

— Нет, никакой не вызов. Ираида Фёдоровна, я просто не хочу идти к доске.

Теперь все смотрели на учительницу. Тишина до звона. Наверное, впервые за много лет ей кто-то вот так дерзко перечил. Ну, и что она в ответ сделает? Отправит к директору? Это племянницу-то? Или просто закатит «пару»? Пауза затягивалась.

— Объясни, пожалуйста, какое значение для педагога должно иметь желание или нежелание ученика исполнять его приказ?

— Мне всё равно.

— Лазарева, специально для тебя, новенькой: в нашей школе нет такого ответа — «не хочу». Есть ответ — «отказываюсь».

— Благодарю за разъяснение. Я отказываюсь.

— Как… как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне?!

— В каком?

— В… Не юродствуй! И… не позорь родителей. Я думала, что дочь офицера достаточно воспитана в понимании того, что дисциплина есть основа отношений старших и младших.

— Ираида Фёдоровна, я не желаю ни от кого выслушивать ни про своих родителей, ни про других родственников.

Это было что-то. На задних партах только в ладоши не захлопали. Жёлтое обычно лицо Ираиды Фёдоровны начало быстро багроветь, и она впервые села на свой стул. Крохотное, приплющенное с боков тельце колыхалось от тяжёлого глубокого дыхания, очки уползли на самый кончик длинного носа, а пальцы беспомощно перебирали пуговки вздувшегося на деформированной груди пиджачка.

— В таком случае ты, Лазарева, можешь больше не посещать мои уроки. Поди вон.

— Спасибо.

— Ну, ты, Победа, вощще! — третьегодник Вовчик Сысоев показал большой палец. Но Вика не видела, как и не слышала всеобщего одобрительного шороха, сопровождавшего её уход. Зато запомнила, как испугалась, когда в закрытую за нею дверь изнутри грохнул брошенный учительницей цветочный горшок.

Неделю Ираида Фёдоровна, действительно, как бы не замечала, что Лазарева прогуливает её уроки. Забившись в заугольный конец коридора около кабинета домоводства, Вика читала прихваченную из дома книжку и извиняться не собиралась. Мальчишки её зауважали открыто, а сочувствующие девочки напряжённо ожидали развязки. Естественно, рано или поздно, но в учительскую о конфликте настучали, и в кабинете директора собрались, было, старшие педагоги для поиска деликатного решения. Но тут, как раз перед Первомаем, у Коржиной случился инсульт. И ситуация неприятно зависла.

Вот тогда Мария Петровна проявила над племянницей свою не педагогическую, а родственную власть. Однако Вика не сразу понесла к больной молоко и черноплодное варенье. Прошло второе мая, третье, шестое.

Только когда в школе стало известно, что болезнь у Коржиной действительно серьёзна и что Ираида Фёдоровна вряд ли поправится до контрольных и экзаменов, она вместе с неоставлявшей теперь её Олей Демаковой отправилась в воскресенье на самый край улицы Сорок лет Октября. Деревянный тротуар тут заканчивался, и то и дело приходилось перепрыгивать заполненные грязью ямины. Оля всю дорогу рассказывала про якобы влюблённых с марта в Генку Моисеенко Ленку Бек и Наташку Туманову, из-за этого не желавших больше дежурить вместе. Более того, когда позавчера Ленка осталась после уроков помогать Генке выпускать «Пионерский прожектор», то Наташка в ответ соскоблила с обложек все переводки, которые ей Ленка раньше подарила.

— Представляешь, до чего дошли? А дружили же — не разлей вода.— Самая высокая в их классе и всё никак не прекращающая расти, Оля то и дело зашагивала вперёд и, двигаясь спиной, в лицах восторженно показывала Вике глупость девчоночьих расчётов, без стеснения на всю улицу громко тараторя и чуть ли не дёргая за галстук, как будто даже и не вспоминая о цели их прогулки. Или она так прятала любопытство?

— У Наташки же через неделю день рождения. И она уговорила маму разрешить мальчиков пригласить. А сама Генку-то напрямую позвать стесняется. Так придумала: чтобы я к ней со своим братом пришла! Он же у меня с Моисеенко дружит. Сегодня на последней перемене отводит меня в сторону и говорит: «Ты можешь без подарка прийти, только пусть твой Ромка с собой Гену приведёт»! Представляешь? «Ромка — Гену»! Ещё бы «Геночку».

Вот и третий номер. Маленький, обшитый потемневшей вагонкой домик навязчиво сиял из-под разросшейся рябины свежевыкрашенными белыми наличниками. Калитка на ослабленной пружине сама до конца не закрывалась, пришлось вбивать её, чтобы задвинуть защёлку. Чистый дворик, ограниченный крытой поленницей и сараем с большими воротами, узкий проход вдоль голой клумбы, крыльцо с навесом, новая тёмно-коричневая обивка двери. Девочки несколько раз постучали, пока услышали ответное шебуршание. Откинулся крючок, и к ним выглянула очень древняя, как им показалось, до плесени, сморщенная старуха.

— Мы к Ираиде Фёдоровне. Из школы. Попроведать.

Старуха молча повернулась, и они вслед за ней прошли через тёмные пустые сени.

— Ирка, это к тебе! Из школы, попроведники. Ну, чё топчетесь? Скидайте одёжу и проходьте. Там она.

Вика и Оля разулись, подвесили на крючки пальто и, пихая вперёд друг дружку, прошли в дальнюю темноватую комнату. Здесь отвратительно пахло смесью камфары и мази Вишневского. Разросшийся «венерин волос» — домашний ползучий папоротник — своими дважды-триждыперистыми бледными листьями занимал весь промежуток между высокой самодельной кроватью и таким же самодельным вишнёвым шифоньером. Над кроватью

вытканные олениха с оленёнком пили из горной реки, а самец с роскошными ветвистыми рогами гордо смотрел в окно. Ираида Фёдоровна, без пиджака и очков, приваленная пышно-стеганым атласным одеялом, была неузнаваема. Длинное её лицо, казалось, ещё более вытянулось, заплетенные в жидкую косицу седые волосы изгибались дохлым мышиным хвостиком, и только холёные ноготки оставались прежними.

— Вы?.. Я, простите, не ожидала.— Ираида Фёдоровна быстро ощупала голову, спрятав косицу, подтянула подушку на сторону.— Ну, и чего вы там встали? Проходите, берите стулья. И… здравствуйте.

— Здравствуйте. Мы вот — молока принесли. И черноплодку от давления. Мария Петровна передала.

Оля присела на край забросанного неглаженным бельём стула, а Вика только оглядывалась.

— Дарья, подай девочкам табурет! Это моя сестра, она за мной ухаживает, пока я тут вылёживаюсь. Садись, Лазарева. Рассказывайте.

— А чего? — Оля восторженно рассматривала ковёр с оленями.— У нас всё нормально. Математику пока Лидия Яновна ведёт. А ещё «немка» Альбина Артуровна тоже заболела. Почечные колики. В больнице лечат, лечат, только всё равно ей придётся до осени терпеть, пока арбузы не завезут. У моей мамы такое было: поест арбузов, сходит по-маленькому — камни и выскочат.

Вика благодарно кивнула Дарье за принесённый табурет, но не села, а продолжала переминаться, пока вдруг, спрятав руки за спину, срывающимся голосом громко не произнесла:

— Ираида Фёдоровна, я хочу перед вами извиниться. Я вела себя неправильно.

— Вот и молодец, Лазарева, вот и верно.— Нащупанные под подушкой очки водрузились на нос, и учительница сразу стала прежней.— Садись, мне неудобно так на тебя смотреть.

Оля от удивления даже рот не закрыла. А Вика продолжила:

— И я ещё прошу, если у вас есть силы, немного подтянуть меня по математике. Ну, пока вы болеете.

У Оли и глаза округлились.

Ираида Фёдоровна ещё на раз пробежала ноготками по краю натянутого одеяла. И по жёлтым щекам одна за другой заблестели две мокрые дорожки:

— Вика, милая, конечно. Конечно, приходи. И ты, Оленька,— я вам буду помогать, пока жива. Пока болею. Я вам помогу. Я же очень хочу оставаться полезной.

Вика ходила раза два-три в неделю, иногда с Ольгой или ещё с кем-нибудь из девочек, но чаще одна. Дарья, первое время недовольничавшая, постепенно привыкла, даже стала выдавать мелкие поручения. Ираида Фёдоровна сама вставать и передвигаться на украшенных красной и синей изолентой детских костыликах начала только к концу лета. Но постоянно

бодрилась, уверяя всех в скором окончательном выздоровлении и обещая к сентябрю обязательно вернуться в учительскую. С Викой математику они заново «пробежали» с третьего класса — военные городки оставили большие бреши, а потом заглянули даже на будущее. Ираида Фёдоровна не могла заниматься ровно, она, в зависимости от сообразительности девочек, собственного самочувствия или погоды за окном, то излишне горячо веселилась, то, презрительно надувая губы, фолила на грани оскорбления. Потом спохватывалась, переводила урок на гостевание, угощая жиденьким чаем с вареньем и неизменными Дарьиными ватрушками. После того как она стала вставать, запах камфары из квартиры постепенно выветривался, да и хозяйка старалась больше времени проводить подальше от постели, принимая на уставленной бегониями и самшитом кухоньке. Здесь, на застеленном клетчатой красно-белой клеёнкой столе, они подолгу рассматривали большие кожаные альбомы со старыми фотографиями: папа, семьи дядей, папа с сослуживцами, с дочерьми. А это соклассники Ираиды Фёдоровны по педкурсам, потом и по институту, её первые ученики, вторые. Военный цех под открытым небом. Подружки-токарихи. Старая деревянная школа в райцентре. Дом отдыха в Ялте. Калинин вручает ей орден в Кремле. Областной слёт педагогов в Томске. Опять ученики. Писатель Никульков с сельскими учителями на пароходе «Патрис Лумумба». За фотографиями шли пачки конвертов с письмами и поздравительными открытками из самых разных точек Советского Союза.

— Мой папа, Фёдор Зиновьевич Коржин, был командиром партизанского отряда, воевал с колчаковцами. Орденоносец. Потом председатель Верх-Таркского сельского совета. Видите, какой герой: усы, револьвер. Умер в сороковом от вдруг открывшихся старых ран. А мама… Маминых фотографий не осталось. Она была удивительно красива. Мне тогда исполнилось девять лет, а Дарья, получается, ваша ровесница…

Отвратительно дождливым июньским полднем 1919 года, растянувшейся колонной по двое, в Биазу вошли три сотни кавалеристов под командованием поручика Кашина. Волостной центр Васюганья встречал представителей колчаковской военной администрации напряжённо молчаливыми улицами. Высокие плотные заборы с двускатными крышами глухих ворот, непроглядные окна чёрных срубов за лысыми палисадниками. На улице из любопытных — десяток мальцов да две старухи. Даже курицы попрятались на задниках. А чем интересоваться-то? Насмотрелись за этот год досыта. Понять не хитро: всякий вооружённый отряд затребует от местного самоуправления квартиры, фураж, продовольствие, подводы, лошадей, а то и прихватит несколько рекрутов, если родители не успеют сплавить взрослеющих пареньков в тайгу. Взамен селу оставят разнообразные расписки об обязательном возврате займа по окончании боевых действий за очищение Российских земель от — или красной, или белой — заразы. Два года чередований власти приучили крестьян особо не

вслушиваться в речи залётных пропагандистов. Всё одно, ответное мнение местных никто не спрашивал, и вооружённые люди, надавив на гражданскую сознательность и пообещав золотые горы, мобилизовывали и экспроприировали кого и что могли, и уходили. Избранный сходом на свою нелёгкую, а порой и просто опасную должность, староста Евдоким Данилович мудро складывал все эти бумажки в железный запирающийся ящик двумя стопками, на случай чьей-либо окончательной победы. И, каждый раз доставая нужное, с всё большим надрывом перечислял уже отданное посёлком для скорой и окончательной, торгуясь и сбивая запросы новых мытарей.

Дождь не прерывался практически от полуночи. Мелкий, липкий, без ветра и без просвета. Конские копыта скользили по раскисшей глине, пробитые несколькими часами мороси шинели раздулись мохнатыми войлочными панцирями, хмурые лица в тени скапывающих башлыков не выражали ничего, кроме предельной усталости. Кашин знал, что красные покинули Биазу только позавчера и далеко уйти не могли, но сейчас не было такой силы, которая заставила бы его людей продолжать поход. Отдых необходим. А пока сотни разведутся на постой, пока интенданты определятся с питанием личного состава и фуражом, коржинские бандиты успеют уйти через зыбуны в Морозовку, разрушив за собой гати у Остяцк-Медвежки. Тогда их оттуда до зимника не выкуришь. Но что поделаешь? Люди, действительно, чертовски устали за эти две недели непрерывных рейдов, разъездов, разведок и мелких, ничего не решающих огневых стычек. Есть легкораненые и заболевшие. Так что придётся здесь обосноваться накрепко и надолго, по крайней мере, партизаны будут заперты в затарских топях. Дождь. Бесконечный дождь. Вода разводами стекала по чёрным лошадиным спинам, скапывала с грязных хвостов, с опущенных вниз стволов карабинов, с кончиков ножен. Не повезёт тем, кому сразу придётся заступить на охрану, как всегда не везёт коноводам и вестовым.

Медвежатнику Степану Каратаеву за семьдесят. Белая с желтоватым отливом борода нептуновскими космами по широкой груди, длинные, до плеч, волосы тоже сплошь седые. Всю жизнь он прокормился «с ружья», хозяйствовал не богато, но охотник был всеми уважаемый, не чухонь какая-нибудь. Староста и священник отрекомендовали его самым положительным образом. Говор у Каратаева неспешный, убедительный, разве что в глаз не смотрел. Шляпу в руках не мял, держался аккуратно и сесть не пожелал, простоял, не топчась, весь час на широко расставленных, в высоких остяцких бродняхногах. И что же тогда Кашину в нём не понравилось? По всему — мужик самостоятельный, принципиальный, со своим мнением на всё, так неужели за полсотни пудов муки, пуд соли, карабин и цинк патронов он пожелал заиметь стольких врагов? Понимает же, что вывести на партизанский отряд, да чтобы те потом не узнали и не приговорили, невозможно! Нет, Каратаев не тот дурак, что за корысть в смертники подпишется. Так зачем же это ему?

Поручик долго расхаживал по высвеченной двумя керосинками длинной, увешанной репродукциями комнате, неудобно выходя через тёмную прихожую покурить на крыльцо — батюшка просил в его доме не дымить. Часовой каждый раз дёргался, отгоняя дрёму, и деланно бодро прохаркивался у забора. Возвращаясь, Кашин с ненавистью косился на высоко взбитую под китайским верблюжьим одеялом перину, на заманчиво разложенные пуховые подушки, и опять шагал, шагал. Косой рубец от разорвавшей щёку немецкой шрапнели наливался кровью и зудел. Зачем Каратаеву помогать им? В чём может таиться лукавство? Ах, как велик соблазн довериться: за десять дней, проведённых в посёлке, рядовой состав не столько отдыхал, сколько разлагался. Жалобы шли каждый день — то гуся украдут, то девку обидят. Самовольно, без его суда выпороли отца на глазах детей. Народ суровел, ещё немного и начнут ответно пакостить. А может, именно так, наведя на партизан, местные решили от них избавиться? Мол, побьют солдаты красных, и уйдут. Такое очень даже возможно: посовещались миром и делегировали на это дело старика-бобыля. Что? Очень похоже! Кашину от такой мысли стало легко. Пожалуй, стоит вызывать подкрепление, чтобы рискнуть на рейд в дальнюю согру.

Длинный извилистый увал, зажатый с двух сторон залитым водой кочкарником, местами переходящим в откровенные поляны зыбунов, окончился кальджой — разливом жидкой зелёной грязи. До нового сухого пути было с четверть версты, передовая сотня из алтайских казаков сбилась у топкого края, никто не рисковал искать броду. Кашин шёл во второй сотне, третья, под командованием подпоручика Люже, была вне видимости, замыкая движение отряда. Подскакав к хаотично толкающимся казакам, Кашин протеснился к бережку, выискивая Каратаева.

— Вашбродь, дале цепочкой надоть. Я первым, а за мной след в след.— Вынырнувший из-под конского брюха Каратаев, весь перепачканный паутиной и ряской, совершенно напоминал «косматку»-лешего. Поручик впервые успел заглянуть во вскинутые на мгновение глаза: один голубой, второй карий! Ага, понятно, почему он их всегда прячет.

Полуэскадрон разведки благополучно выбрался из грязи и сходу порысил дальше. Каратаев, оставшись на том берегу один, призывно замахал руками.

— Первая сотня! Колонной по двое. Рысью. Вперёд а-арш! Вторая сотня! Колонной по двое! Слушай команду! По двое! — Поручик, привстав в стременах, всё тревожней оглядывал заспешивших, рванувших, ломая порядок, кавалеристов. Зря хорунжий и прапорщики, словно передразнивая его, требовали сохранять строй и дистанцию — лошади, храпя от недоверия к пузырящейся под самым брюхом оливковой жиже, непослушно рванулись широким клином. И вот, по дальнему краю, сначала завалился в невидимую яму один всадник, за ним сразу трое. Нужно было бы дождаться окончания

переправы казаками, но, и сам вдруг засуетившись от безотчётного страха, Кашин приказал форсировать кальджу своим кавалеристам.

Страх у офицера, воевавшего с пятнадцатого года, не мог быть не пророческим. Когда первые казаки уже выбирались на сухое, а он с основной массой месил середину торфяного киселя, с двух неприметных плавучих островков перекрёстным нахлестом часто затявкали два «максима». Люди и лошади валились как снопы, бестолково разворачиваясь, кричали, сталкивались, и отряд ещё более безнадёжно увязал, разжижая грязь своей кровью. Потери, потери, потери! «Пре-еда-али-и»! — Крик повторялся и множился, из-за паники никто толком не отстреливался. Из четырёх их пулемётчиков только один сумел вернуться и с берега вступил в дуэль с правым партизанским расчётом. Кое-как удалось из спешившихся развернуть цепь для прицельного огня. Кашин сам с колена стрелял в пороховые дымки рассредоточенных за кочками красных. И тут они увидели отчаянно прорывающуюся назад разведку. Пятеро казаков доскакали до взбаламученной, побуревшей кальджи, по которой островками масляно чернели десятки трупов и ещё агонизировали и кричали смертельно раненые. Разведчики поспрыгивали с сёдел и обречённо залегли. Лошади в непрестанном ржании слепо кружили вокруг хозяев, одна за другой падали, взбрыкивая ногами и умирая. С этой стороны хорошо было видна ужасающая плотность земляных фонтанчиков, в которой никто из казаков не имел ни малейшего шанса выжить.

Подоспевшая сотня Люже выставила ещё два пулемёта, которые, подавляя огонь партизан, позволили отступить.

Каратаева привели уже изрядно избитого. Люже, разъярясь, истерично затребовал воткнуть ему в зад раскалённый шомпол, и солдаты восприняли его крик как приказ, так что Кашин едва сумел удержать их от немедленной расправы. Во второй раз с разбитого лица на поручика поднялись разноцветные глаза:

— Пошто, вашбродь? Я же сам пришёл.

— Сука! — Люже кулаком сбил со стола чернильницу и вылетел во двор. Двое солдат, вывернув руки, держали старика на коленях, ещё двое кололи в спину штыками.

— Я сам. Хочу же помочь.— По усам и бороде из носа и рта текли ярко-красные струйки, скапывая на синюю, грязную рубаху.— Я знаю, где Коржин свою бабу и девок прячет.

— Почему ты жив? — Кашин с маху ударил его по скуле, но, несмотря на возраст, мосластый, жилистый Каратаев вроде как и не почувствовал. Опять тягуче заглянул:

— В Верх-Тарке у его семья. А тута, в селе, партизанский связной. Я укажу который, только поверьте.

— Почему ты жив?!

— Дак в кочкарнике двое дней просидел. В воде по горло.

— А зачем пришёл?

— Ещё с батяни Федькинова, с Зиновия, обиду имею. С вами, думал, его добыть.

— Врёшь? Врёшь! Я тридцать семь человек положил, мне тебе верить нечем.

— У Коржиных семьи, а у меня нету. Из-за Зиновия так, он дорогу перебил. Вот пущай его Федька теперь побобылит. Наш счёт. И грех на мне только будет. Верь мне, вашбродь, я крест поцелую.

Коржинского связного Казанцева, так и не выбив из него никаких путных сведений, в назидание сожгли на костре, нагнав для вразумления биазцев. Кашин съехал с квартиры пугающего его небесными карами попа, приказав заселить в своей комнате прапорщика Исмаил-Пашу. Вот пускай мусульманина поукоряет! Сладкопевец.

Исмаил-Паша насиловал первым. За ним мать и старшую тринадцатилетнюю дочь насиловали ещё более десяти карателей. На младшую желающих не нашлось. Её просто били. Били нагайками и сапогами, кидали в бегающую по двору растерзанную девчушку поленьями, пока она от чьего-то попадания не упала и не затихла. «Сдохла, что ли?» Обезумевшую, истошно вопившую мать пришлось зарубить. Заодно порубили приютивших партизанскую семью старика со старухой и высекли всех взрослых мужиков с улицы за укрывательство. Когда колчаковцы покинули деревню, бабы обмыли мёртвых и живых. Хоронили спешно, псалтырь читали втайне — в Верх-Тарке оставался отряд милиции, сформированный из ветеранов японской войны, принявших присягу Верховному правителю Российского Государства.

Девочки оказались покалеченными навсегда: старшая тронулась умом, а у младшей был перебит позвоночник.

Солнце проскальзывало в щели крон молодых кедров, из подсохшей травы верещали кузнечики. Через заднюю калитку Вика вышла на засыпанный угольной крошкой и шлаком двор больничной кочегарки. Длинная железная труба на растяжках, слепой кирпичный сарай с двойной, оббитой рваньём дверью, замкнутой большим висячим замком. Закопченные берёзки с уже жёлтыми прядками. И куда теперь? К кому? Вдруг над всем заметался яркий живой цветок! Чёрно-бордовый «павлиний глаз» сделал несколько стремительных кругов над коричневыми зонтиками отцветшей пижмы и скрылся за дальним забором. Такая красивая бабочка, а рассмотреть почти никогда не получается — недоверчивая, стремительная. Спешит, спешит. Значит, есть куда. Всегда есть куда. Вывернув подол, Вика вытерла лицо — платочек она где-то потеряла, а мама просила заглянуть к ней на почту.

Мама, мама! Как же вдруг отчаянно захотелось побежать, побежать, обнять, обняться, вжаться в мамин живот, стать маленькой-маленькой, как

котёночек. Маленькой, глупенькой, ничего ещё не знающей. Ни про какую смерть.

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ

13.

Лёха рассуждал в ритм собственным весёло скрипящим шагам: «Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького, вжик, вжик, вжик, кто на новенького»? Позавчера они встретили новый семьдесят пятый год, а сегодня у него день рожденья. И, эх, если б родиться немного пораньше, на каких-нибудь три-четыре дня, то можно было бы везде писать, что ты с девятьсот шестидесятого, а не шестьдесят первого. Совсем бы по другому смотрелось. Уважительней. Вот хорошо Олегу, он в декабре родился, двадцатого, и хотя ему только-только шестнадцать стукнуло, а всё равно с пятьдесят восьмого. Но, ладно, ладно, всё равно здорово: четырнадцать лет! Хо-хо! Можно без пионерского галстука ходить!

Мороз неделю как придавил — днями за сорок, а по ночам, если луна, то и ниже пятидесяти ртуть падает. Воздух высох, аж глаза режет, вымороженная влага пластинчатыми блёстками лежит на складках сугробов, стенах домов, свисающих ветвях деревьев, отовсюду сверкая цветными огнистыми радугами. А какая же красота под луной! Выскочишь на секунду и замрёшь: слов не находится, как под приниженной чёрнотой неба вздутая ему навстречу синева сугробов переигрывается мириадами рассыпанных зелёных, жёлтых, голубых и розовых искр. Окружённая двойным кольцом луна гасит своим сиянием звёзды; развесившиеся старые берёзы, подсвеченные снизу окнами и уличными фонарями, стоят как огромные зеленоватые и фиолетовые фонтаны. Наверное как фонтаны, если их кто видел. Ну, не по телевизору. «Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького…» Нахлобучив лису ниже бровей и упрятав нос в оранжево-чёрный мохеровый шарф, Лёха размашисто ширкал по пустынной улице к Дому быта, где родителев подарок — заказные брюки поспели ко дню рождения тютелька в тютельку. Десять дней назад они с братом сами ходили в универмаг выбирать материал. Выбор, правда, был не ахти какой, костюмных тканей лежало всего две: тёмно-синяя, с белой перерывистой ниткой, и коричневая, в «ёлочку». Лёшке, конечно же, больше понравилась тёмно-синяя, почти такая же, как у Олега, но она была метр сорок в ширину, и поэтому только из коричневой, которая в девяносто сантиметров, если за те же шестнадцать рублей брать две длины, клёши получались в сорок сантиметров. Сорок сантиметров! Это до самых носков ботинок без всяких клиньев. И вот Лёха, несмотря на стужу, весело спешил забрать свои первые настоящие клёши до одиннадцати, как просила закройщица тётя Люся Миронова. Да, понятное дело, что второе января и всем ещё чуть-чуть догулять хочется. Не зря же в

России ещё рождество и старый новый год придуманы. Чтобы хватило. «Вжик, вжик, вжик», ну и холод, ну и достаёт, переносица, веки и скулы, даже в такой узкой щёлке меж шапкой и шарфом, закостенели. Эдак, пожалуй, все каникулы дома просидишь.

На свой день рождения Лёха наприглашал восьмерых, да плюс они с Олегом, так что запихать за один стол десять человек будет непросто, придётся состыковать полированный раздвижной стол с принесённым, более высоким, письменным. Стулья, табуреты, скамейка с веранды. Комната родичей заполнилась под завязку, даже швейную машинку пришлось убрать под ёлку. Угощение простое: холодец, пельмени, салат «оливье», тушёная с крольчатиной картошка, грибы и огурцы, выпечка, ну, естественно, торт «наполеон». Из питья — клюквенный морс и чай. Батя пытался понамекать, что, мол, парни-то совсем взрослые и чуток им не помешало б, но его намёки до мамы не доходили.

Первыми зашли Витька-Сурок, Сашка-Киля и Колька-Кулай. Они с мороза долго раздевались, толчась на скользкой клеёнке в прихожей. Наконец, свалив шапки, пальто и крытые полушубки в одну кучу и перепираясь шёпотом, кому вручать подарок, гуськом протопали в комнату братьев, где расселись по кроватям.

— Держи! — Киля вручил Лёхе ком из навёрнутых одна на другую десяти или более газет. Лёха, торжественно одетый в белую рубашку и новые брюки, как полагается в таких случаях, слепил недоуменное лицо, покачал объёмный ком, как бы взвешивая, и стал медленно разворачивать. Понятно, что тут чем неспешнее, тем уважительнее к остроумию друзей. Гости не очень натурально хихикали каждому новому слою, а стоящие в дверях родители ещё и излишне громко комментировали раздевание. В конце концов, в Лёхиных руках заблестела красно-медная, с чёрным полем, чеканка «Царица Тамара». Такую же точно они недавно подарили Сурку, да, наверное, в последний месяц её по всему селу дарили всем «новорожденным». Как до того «Сову», тоже чеканную. Только «Сова» была ещё и на цепочке.

Буквально через пару минут после водружения подарка на стену, с низким облаком пара в двери гурьбой впали Ванька Редель, Вовка-Демак, Вша и Михась. У них тоже был припасён огромный газетный ком. Когда Лёха его разворачивал, гости веселились гораздо искренней. Причём только что вошедшие и уже отдарившиеся смеялись хоть и вместе, но явно по-разному. Ну, конечно — внутри четырнадцати газет таилась «Царица Тамара»!

Так как мест в «детской» комнате больше не было, то отставшего Попа решили не ждать, а сразу садиться за стол. Ребята, смущённо посмеиваясь, шикая и пихаясь, расселись. Мама на сотый раз оглядела накрытый стол, проверила наличие ложек и вилок, распределила кому и что раздавать. Батя разлил ребятам морс и чокнулся с ними домашней наливкой:

— Ну, Лёшка, поздравляю! Расти, сынок, большой, слушайся нас, родителей. И, вот ещё, держись за брата. Держись!

— Ура!! — Все выпили, и ложки с вилками застучали по тарелкам, словно летний дождь ударил по крыше веранды, а мама заметалась, едва успевая подносить доваренные, обильно парящие партии мелких, по два-три в ложку, жестковатых лосиных пельменей, чуть переперченную тушёную крольчатину и подрагивающие янтарным нутром под белесой плёнкой жира слоёные кубики холодца. А вот салат и сало оставались почти нетронутыми. Ложки стучали, и смех смехом, но через десять минут все вдруг наелись. Что теперь? Это девчонки в фанты играют и косточки неприсутствующим моют, а им, мужикам, что — приближение XXV съезда обсуждать? Немного обсудили советско-американский космический полет «Союза-Аполлона», потом повспоминали показанную в Новый год «С легким паром». Комедия полный копец, особенно первая серия, где мужики в бане пили. Поподражали кто кому, поцитировали считалку в аэропорту, но всё равно веселье под присмотром родичей разворачивалось не особо. Не обо всём же можно. Попросив чая, поели пирожков и булочек и обсудили конфликт Мальцева с командой. Что ещё? «Слушай, пацаны, а сегодня же в клубе „Афоня“ с Куравлёвым!»

— Мам, ты принеси нам торт, и мы пойдём, в кино сходим.

В это время батя впустил затерявшегося Вовку Попа. С большущим газетным свёртком. Вот тут-то искренне похохотали все, кроме опоздавшего — это когда на свет появилась третья «царица» с мечом и пышными кудрями до колен.

В клуб они попёрлись, понятно, не из-за какого-то там Куравлёва, «Афоня» фильм зашибись, но смотреть второй раз неохота. Просто Олег прикупил для Лёхиных гостей пару пузырей мятного ликёра, а дома никак не получилось. Поэтому, распихав по карманам порезанное сало и хлеб, прихватив стограммовый стаканчик и спички, партиями повыскакивали на мороз. Пока вышли последние, первые чуть не окочурились, так после тепла прихватывало. Вдобавок и Лёха замешкался — он хотел под новые брюки надеть ботинки, но мама встала в дверях Матросовым, и пришлось натягивать клёши на валенки. Налезли, сорок сантиметров всё-таки.

Впихнувшись в затянутый толстым инеем деревянный туалет клуба, прислушались — нет ли кого на женской половине. Понарошку шугаясь, ломающимися спичками отожгли край капроновой пробки и с «чпоком» открыли. Редель, Демак, Вша и Михась курили уже год, взатяг, остальные пока никотином не баловались, но пить никто не отказывался. Первый стаканчик протянули имениннику: «Давай, брат!» Лёха не то сощурился, не то сморщился, выдохнул и настороженно, сквозь зубы, выцедил. Тягучая мятно-зелёная патока отвратной теплотой обложила желудок и чуть было не рванулась назад. Он быстро положил на язык пластик сала и вышел из туалета. Ребята пили по кругу, а Лёха, с ужасом ожидая повтора, прислушивался к творившемуся внутри. Там

от живота волна мутью ударила в голову, и он, мучительно краснея, попытался не поддаться неприятному отупению, от которого в глазах поплыло и на язык ничего, кроме пары матершинных слов не приходило. Пьянеть ему никак нельзя, ибо, если узнают, что он в этом деле «девочка», засмеют.

Когда сцедили последние капли, выяснилось, что на начало опоздали, пришлось пережидать журнал в вестибюле, возле лестницы. Билетёрша Груня, вреднющая шестидесятилетняя бабёнка в бессменном военном бушлате и с какими-то особо выпуклыми линзами железных очков, за которыми её глаза казались удачно присосавшимися медицинскими банками, сердито шикала на развеселившуюся молодёжь, а они не могли удержать хохотушки, вспоминая, кто и как пользовался этой самой Груниной слепотой, чтобы проникнуть на «Анжелику — маркизу ангелов». Лучше всех тогда нашёлся Лёха — ему-то, тринадцатилетнему, вообще ничего не светило, но он взял корочки «Член ДОСААФ», где нет фотографии, жирно переправил год рождения на пятьдесят седьмой, маминым карандашом нарисовал себе усы и, подложив в сапоги под пятки комки бумаги, на цыпочках предстал перед билетёршей. Груня подвох почуяла и, медля отрывать корешок, долго выспрашивала про родителей, про десятый класс, но, так и не разгадав, пропустила. Историю эту пересказывал Олег, так как он и веселее умел, и Лёха чего-то расквасился.

Перед входом в дом Олег внимательно оглядел брата, которого всё-таки вырвало, правда немного и почти одной слюной, и, на всякий случай, обтёр его снегом. Главное, клёши не зацепило.

А дома Лёхин день рождения уже вовсю отмечали взрослые. Зря братья нервничали — хоть задышись, никто бы ничего не учуял. Ребят усадили рядом с дядей Колей и тётей Ниной, напротив молодожёнов Малиновских и четверых Литвиненко, которые тоже, какая-никакая, а родня: за дядей Женей была их троюродная сестра Вера. Стол опять ломился, но вместо компота разливали «Экстру», а для женщин «Агдам». Дядя Коля служил за тамаду и торопил тосты, как под бомбёжкой. Лёхе от имени дедов вручили тёплую байковую рубашку и две пары самовязанных носок, а остальные родственники, скинувшись, дарили ему приёмник «Альпинист». С шестью диапазонами и выдвижной антенной.

Квіточкі рве, квіточкі.
Вяночкі сплетае.
Вяночкі сплетае,
Бели ручкі мае…

В сибирском застолье украинские песни поют всегда и все — татары, русские, немцы, поляки, остяки, литовцы, мордва и белорусы. Оттого, что они, эти песни, самые душевные. И пляшут тоже все, выбивая пятками половицы, под «Ти ж мене підманула, ти ж мене підвіла» что-то среднее между «гопаком» и «цыганочкой».

Дядя Коля, ловя моменты, пока тётя Нина отвлекалась, успел раза три-четыре пропустить «внеочередную». И с какой-то стопки вдруг засмурнел,

перестал громко, на публику шутить и задавать темы к разговорам. Веселье далее пошло само по себе, а он, облокотясь на сильную, всю играющую из-под закатанного рукава иструженными до лошадиных жил мышцами, руку, только влажно смотрел на молодожёнов Малиновских, изредка вздыхая. А потом, склоняясь к Олегу, хрипло зашептал:

— Чего делать? Чего делать-то? Борька наш совсем погибает.

Олег, а через него Лёха понимающе потупились. Все в селе знали, почему Борис, единственный сын дяди Коли и тёти Нины, засох до стружечной желтизны. И перестал общаться с друзьями-ровесниками, которые все давно переженились. Двадцать шесть — уже и на танцы-то ходить зазорно, а та вдова, что то живёт с ним, то не живёт, уж пять лет держит его как собаку на длинной привязи. Ни себе, ни людям. Сколько девчонок по нему вздыхало, да какие хорошие, а теперь уже и не вспоминают, рукой махнули. И Борис, хоть почти не пьёт, а словно какой-нибудь алкоголик или язвенник, не в возраст состарился, усох, даже ростом вроде как уменьшился. Его болезненное, ненормальное безволие никакой любовью не объяснялось. Кабы любились — давно б поженились, и никто их не остановил бы, никакие уговоры. Всем понятно, что это присушка.

— Сосёт, она его сосёт, змеюка, все силы изымает, до косточек. И что делать-то? — Дядя Коля тяжело приобнял Олега за плечи и закривил рот, удерживая свою знаменитую, непересказуемую матершину.

Неожиданно к ним присоединилась тётя Нина:

— Олежек, Лёша, милые мои, хорошие, помогите! — тётя Нина тоже зашептала, хотя все остальные гости пели так самозабвенно и громко, что можно было б и кричать, всё одно, почти только по губам слова и читались: — Помогите! Сделайте ей так, как я скажу, пусть тварь загнётся!

— Да, парни, к ядрёной матери! Я бы сам за сына её, гадину…

— Тебе нельзя! Ты отец, а надо, что б чужие были. Не побоитесь?

— Тёть Нин, мы с Лёхой за Бориса чего захочешь сделаем, но, ведь это, мы же тоже родственники? — Олег отвечал в голос.

— Борис вам троюродный, это ерунда, не считова. Я вас научу, а вы эту ведьму свяжете.

То ли мама что-то почувствовала, то ли, пробираясь на кухню, просто походя обняла сынов, но разговор пресёкся. А народ сладко-печально допевал:

— Купалінка, купалінка,

Тёмная ночка.

Тёмная ночка,

Где ж твоя дочка?..

Лёха заглянул Олегу в лицо и узнал то самое, страстное братово напряжение. Что? Готовится новое приключение? Олег ответно сверкнул глазами, зло оскалился:

— Тёть Нин, а чего надо? Говорите, мы постараемся.

— Олежек, милый, завтра к нам приходите, завтра. Но только чтобы ни мать, ни отец не прознали. Приходите, я весь день дома. Свежанинкой угощу, мы аккурат перед Новым-то годом кабанчика забили.

В этот раз Лёха на воротах не стоял, так как имелись и помладше, тринадцатилетние. Кулай привязал себе поверх ватных штанов его вратарские щитки — две доски с просверленными дырками для верёвочных креплений — и надел самоплётную алюминиевую маску. Только это так, понт — всё равно маска не помогала, и при хорошем щелчке синяк или кровь из носа гарантировались. Но счастливый доверием Кулай терпел, честно бросаясь под удары, и даже отбил четыре выхода один на один.

При счёте «шестнадцать–восемнадцать» стемнело окончательно. Уже шайбу-то не разглядишь с двух шагов, а не то что кому её куда пасовать. Как только скорость игры спала, все разом ощутили, насколько пронзительно от Оби тянет крупенная, колкая позёмка. Ладно, «шестнадцать–восемнадцать» приличный результат, такой проигрыш никому не обиден. Расшнуровывая забитые снегом коньки, Лёха вчувствывался, как в ударенную коленку возвращается боль. Это они с Демаком в падении столкнулись — лезвие Вовкиной «полуканадки» попало прямо по чашечке. Когда первый шок прошёл, Лёха ещё поиграл, даже очень нормально поиграл в защите. А теперь вот опять заболело. Олег, переобуваясь метрах в пяти, о чём-то активно шушукался с Михасём и Килей. Они то горячились, даже руками размахивали, то, спохватываясь, сближались головами и заговорщицки шипели. А чего там, Лёха и так знал, что Олег блатовал пацанов пойти с ним в Заполой. И тоже понятно, что те особого желания не выказывали. Действительно, кому ж вот так, по уши наигравшись, захочется переться по темноте за километр ради глупости.

Переговоры продолжались минут десять, и счастливый Олег навис над сидящим в сугробе-бортике братом:

— Лёха, они согласны, только ты с молодыми отнесёшь их клюшки, щитки и коньки.

— Все?!

— Ну, ты только мои возьмёшь и Килины. А Михася Толян прихватит.

— Зачем ты их вообще звал? Мы же сами могли.

— Ну, ты чего повторяешься? Там же дверь и два окошка, и надо одновременно с трёх сторон подойти, иначе ничего не получится. А вдруг она выскочить успеет, тикать придётся. Ты же хромой, не сможешь.

Если убегать, то Лёха, и правда, не помощник. Обречённо вздохнув, он тяжело встал, закинул на плечо три исписанные цветными шариковыми ручками буковые клюшки, с толсто замотанными чёрной изолентой перьями, подождал, пока брат подвесил на них связанные коньки.

— Лёх, ты не обижайся. Мы ж оговаривали: надо, чтобы всё сразу получилось.

— Да, ладно. Принято.

Собственно, Лёха особо-то и не рвался. Олег вечно куда-нибудь втравится, а в результате достаётся ему.

Карась, Силя, Толян, Кулай и три брата Островские попрощались и потопали к горе напрямую через тальники, а он, Редель и Поп свернули на тропку к пристани.

Встречный теперь ветерок зло колол и царапал лица. Пацаны вначале поприставали — куда, мол, Олег со старшими, но тропка узка, Лёха хромал, и, чтобы задавать ему вопросы, нужно идти спиной вперёд, поэтому Редель и Поп скоро, как всегда, заспорили, лучше ли щёлкал Рагулин Мальцева, сильнее ли «бортил» Эспозито Петрова и сколько уже буллитов за эту зиму взял Третьяк. Вот и лады. Пусть себе. А вообще-то, Олег в последнее время от Лёхи стал часто отделываться, причём иной раз достаточно грубовато. И всё из-за того, что в школе танцы для седьмых-восьмых классов отдельно, а для девятых-десятых отдельно. Подумаешь, а шейк он и сейчас не хуже брата выдаёт. И в комсомол в первый же день после каникул заявление напишет.

Дом Ределя стоял отдельно от всех, под самой Остяцкой горой. Хозяйство у них большое, и поэтому обшитый вагонкой, высокий пятистенок с обеих сторон зажимали заваленные по самые крыши снежными барханами стайки, сараи, гараж со столяркой, сеновал и дровяники. Во всех ределевских окнах ещё издали зазывно жёлтело, а из трубы рвано вихрился дымок, гарантируя сухое тепло и давно готовый, допревающий на печи ужин. Петька уже дёргал приметённую калитку, когда до Лёхи дошло: ой-ёй! а один-то нож, нужный Олегу, остался у него! Ё-кэ-лэ-мэ-нэ!

— Петь, слышь, я у тебя клюшки брошу? Блин, мне к брату надо вернуться.

— Бросай. А зачем тебе? — И Петька, и Поп ждали правдоподобного ответа.

— Да он, это, забыл.

— Чего забыл? — Любопытство сжимало круг. Что же соврать? Как же объяснить, зачем парни попёрлись в Заполой почти ночью, да ещё и по пурге? Там и днём-то делать нечего: десять бабок и три деда в полутора километрах от райцентра своё доживают и ещё несколько изб просто заброшено, только огороды летом используются. И тут Лёху осенило:

— Да сегодня Олька Демакова с Викой Лазаревой и Ленкой Бек у демаковских стариков ночуют. Ну, они и пошли поклеиться.

— А! По бабам! — Общий выдох.— Так ты бы сразу и сказал, а чего-то темнил. Ленка — это да! Бакие буфера, блин, я бы и сам туда пошёл, если б сразу узнал. А чего они у тебя забыли? Пряники для приманки? Или надувные шарики?

— Секрет.

— В натуре?

— В натуре только в бане.

— Ой, ой, какой блатной. Поди, подсматривать попрёшся? Хе-хе! Ну, бывай, не кашляй!

— Бывай, не забывай! Чао! Чао какао! — Пожав руки, все разошлись — Редель потащил в дом амуницию, Попу тоже осталось недалече. Бедный Лёха, вздохнув, ускоренно захромал обратно к речке Пола, где они с осени зачищали и поддерживали свой собственный, «низовой» каток.

Ветер порывами толкал в спину, вознося из-под ног звонкую ледяную крупку, пронзительно свистел в сплетениях тальниковых ветвей, чёрно нависающих со всех сторон. Там, где кустарник хоть немного расходился, тропинку сразу же переметало. И попробуй закосить хоть полшага вправо или влево — по пояс. «Буря смешала землю с небом, Серое небо с белым снегом» — батянина любимая песенка. После «Крепче за баранку». И правда: тёмное, мутно-косматое небо и белая, в змеино-скользящих бурунах, земля. «Шёл я сквозь бурю, шёл сквозь ветер… Но до тебя мне дойти… нелегко». Нужно б поднажать, но нога разбаливалась всё сильнее, колено просто огнём прижигало. А может, и на самом деле Олег его, как маленького, кинул, а сам с Михасём и Килей по бабам рванул? То есть это не он для отмазки придумал, а так оно и есть? Нет. Не может быть!

Вот и Пола. Вдоль кривящейся речной долинки метель неслась без преград, площадку за час занесло так, что и следов от их игры не осталось, только дымящие снежной пылью отвалы-борта да острые жерди ворот над волнистой белью. Придётся теперь попотеть, пока лёд расчистишь. А только когда? Послезавтра в школу, опять грызть гранит науки. Эх, ох, пролетели каникулы, мелькнули, как бенгальские искры, со всеми ёлками, «огоньками» и горками, а весенних-то ждать да ждать. В снеговой тьме с того берега чуть заметно перемигивались красноватые огоньки. Ни фига себе, сколько ему ещё топать! Может, парни спохватятся, что одного ножа не хватает, и вернутся? Хоть бы, чтоб не тащиться в такую даль. Отвернувшись от ветра, Лёха шумно подышал в верхонки. Промокшая во время игры, овчина застыла сквозной ледяной коростой, и пальцы едва сгибались. Потёр ладонью бесчувственный нос и щёки — только обморозиться не хватало. И начал подниматься в горку.

На полподъёма, и так-то едва различимая, тропинка вдруг развилилась надвое. И по какой ему? Скорее всего, по левой, ведь домик вдовы самый крайний.

В шорох и перезвон метели вмешался посторонний пугающий звук. Вой, что ли?

Или поблазилось?

И тут Лёха увидел, как два далёких крохотных огонька отделились от остальных и, помаргивая, частыми толчками стремительно близятся навстречу. И огоньки эти какие-то не такие: все красноватые или оранжевые, а эти зелёные. Жёлто-зелёные.

Кто?!

Огромный чёрный зверь, тяжело выпрыгивая, мчался сверху прямо на Лёху. Чёрный на белом, лохматый, он летел неотвратимо, и яро светящиеся жёлто-зелёные его глаза, казалось, заранее расчленяли застывшего в ужасе подростка.

Что? За что? Лёха судорожно перебирал все возможные причины, оправдывающие его непослушание старшему брату: он же ни в чём не виноват, он только хотел помочь, хотел принести забытый в валенке нож. Нож! Да, нож! Вытянув перед собой длинный, узкий, источенный посередине капустный тесак, он, как смог угрожающе, закричал:

— А ну! А ну, пошла!

Собака, подсев, пробороздила по снегу и затормозилась в шагах десяти. Сильно морщась, оскалила два ряда крепких, со страшными клыковыми перехлёстами, зубов и длинно зарычала. Её угроза прозвучала гораздо внушительней.

— Пошла! Пошла отсюда!

Ответный рык, и псина стала заходить слева. Лёха, не опуская нож, стрелкой компаса поворачивался за магнитящим, утягивающим в зелено-жёлтый ужас взглядом. И чего теперь? Рычание стихло. Пауза. Он чуть-чуть отшагнул на правую тропку. Пёс не сдвинулся, словно чего-то ждал. Лёха отшагнул ещё раз. Ещё. Собака зарычала не так непримиримо. Она, что же, охраняет свою дорожку? К своей избе? Ну, так сразу бы и сказала. Какие дела, Бобка? Или как тебя? Стой, стой, псина, там, где стоишь, а он и по другой тропке пройдёт. По своим делам. Ну, договорились, Шарик? Лёха шагнул уверенней, даже повернулся вполоборота. И, вскрикнув от колющей боли в колене, по самый пах провалился в целину мимо натоптанной дорожки.

Откинувшись на спину, он, словно в дурном сне, увидел, как медленно-медленно собака пружинно вжалась грудью в снег и сильно выпрыгнула. Он видел, как мотнулись назад уши, как волной откинулась кудлатая, свалявшаяся длинными прядями шерсть. Вытянув огромные лапы, она близилась, налетала, разрастаясь жадной мордой, щеря жуткую пасть с жёлтыми саблями слюнявых клыков. Ему даже показалась, что он успел почуять тяжёлый, мутный запах её дыхания.

Зверь приземлился в метре, в глубоко проломившемся под ним насте. Но вместо второго и последнего броска вдруг, полурявкнув-полувзвизгнув, резко, как под ударом, изогнулся телом и отскочил назад. Уже не рыча, а только часто-часто клацая оскаленными резцами, чёрная собака, ссутулившись, пятилась, пятилась от Лёхи, пока, ещё раз взвизгнув, не развернулась и не рванула по собственным следам обратно в гору. Чёрная в черноту.

Лёха осторожно закосил глаза: над ним возвышался незнакомец в широком прорезиненном плаще с острым рыбацким капюшоном. Ветер с жестяным скрежетом дёргал негнущиеся полы, но сам человек оставался

неподвижным. Тёмный брезентовый силуэт, чуть присыпанный по острым плечам снегом. И из-под низко надвинутой непроглядности капюшона лица не разглядеть. Кто это?

— Спасибо, дяденька. Я… спасибо.— Поднимаясь, Лёха всё пытался заглянуть своему спасителю в невидимое лицо.— Я, это, упал. А она чуть не укусила.

В ответ полная тишина. Только скрежет колышимого плаща. Леху отчего-то затошнило. Встав, он отряхнулся и робко вышагнул на тропинку.

— Я пойду? Меня дома ждут.

Незнакомец медленно поднял руку и показал в сторону Заполоя.

А там, где-то в бело-чёрной мятущейся снежной слепоте, раздался жуткий, с переливами и подзёвываниями, протяжный вой: «Воуаоуу! Воуаоуу!»

— Туда? Надо? Ну, хорошо-хорошо, я пойду туда. А зачем? — Как-то без своей воли, Лёха похромал по тропке.— Ладно, я уже иду. Спасибо. До свидания.

Оказавшись от развилки на достаточном расстоянии, чтобы вновь заиметь собственное мнение, Лёха убрал за голенище валенка тесак и оглянулся: так зачем же его послали в Заполой? Тёмный силуэт удалялся вниз по течению промёрзшей до дна Полы. А как? Там же снегу по грудь… Неужели наст взрослого человека держит? Или нет, просто он, дурак, со страха не заметил, что незнакомец на лыжах. Фигура почти растворилась, когда Лёхе показалось, что в какой-то особо сильный порыв плащ разметнулся и полетел, понёсся, сминаясь и вновь разворачиваясь, кувыркаясь вслед за позёмкой в тальниковую темноту. А человека под ним как бы и не было.

Фу! Фу!!

А метельная маета опять рождала звуки и призраки. Нет, нет, это, громко перекликаясь, навстречу Лёхе бежали Михась, Киля и Олег. Настоящие, живые. Они смеялись друг над другом и толкались, по очереди проваливаясь и падая в перемётах.

— Ты понял, это же уссаться было можно! — Олег, перекинув руку Лёхи через свою шею, помогал ему поменьше наступать на больную ногу. — Никакой Гоголь не придумал бы, похлеще, чем на его хуторе близ Диканьки. Уссаться! Мы только когда подошли, я вспомнил, что третий нож тебе давал, новую штангу на ворота вырубить. Пошарил — точно, только два. Ладно, думаю, вывернемся, возвращаться-то неохота. И ещё, как стали к Заполою подходить,— вдруг как задуло, замело, и темнотища, хоть глаз коли. Ну, Киля и давай балдеть: мол, всё точь-в-точь как в «Ночь перед Рождеством» — и луну бес, наверное, в трубу утащил, и Солоха, поди, пару мешков мужиками уже набила. Один, последний, для нас оставила. А сам ещё то подвывает, то постанывает. Я-то сдуру давай поддакивать, мол, конечно, пятница к добру не водит, и так, всякую глупость. Михась сдрейфил, стал отставать, отставать, а

потом и вовсе заканючил: «Ну, всё на фиг, вернёмся домой, пока чего не случилось». Кое-как успокоили. Выбрались на улицу, в других домах свет горит, а в крайнем отшибном, куда нам нужно, темно, но печка вроде топится. А метель! В проводах свистит, и из труб дым аж в землю вбивается. Осмотрелись: хибарка крохотная, глиной поверх брёвен обмазанная, в сугробах под самую крышу, и двор, похоже, отродясь не чищен, так, пара тропок к дровам да в сортир пробита. Всё как тёть Нина нам говорила. Свет-то, оказалось, всё же был, но окна с глухими ставнями. Мы попытались, было, в какую-нибудь щёлку заглянуть — бесполезно, голяк. Михась совсем сник, Киля тоже, смотрю, уже не особо веселится. Да чего там, самому жутковато, всё думаю: как же нам без одного ножа? «Пацаны, говорю, давайте, вы ставни снаружи просто подопрёте чем-нибудь, а я нож над дверью воткну». Забор разваленный, пару жердин легко вытянули, и Киля с Михасём полезли с ними к боковым окнам. Я же встал перед дверьми и, чтобы одновременно ведьму запечатать, вслух считаю: «Раз, два, три!» И только я замахнулся ножом, как дверь и отворилась.

Это я задним числом догадался, что вдова стирала и просто вышла мыльную воду выплеснуть. А в тот момент чуть в штаны не сходил: дверь распахнулась, оттуда пар, и в пару появляется полураздетая, волосы дыбом, натуральная ведьма. С дымящим ведром. Я с поднятой рукой так и замер. А она, тоже от неожиданности, на меня уставилась, а потом, когда нож увидела, как завопит! Или завоет. Ну, и я тоже, это, заорал. А руку опустить не могу — заклинило. Пацанам-то из-за углов не видно, что со мной происходит, они просто услышали наш ор, жерди побросали и бежать. Только снег-то по грудь, тут же рядом и поувязли, барахтаются. И давай тоже подвизгивать. А вдова вдруг из ведра в меня помоями как плюхнет: «Хулиганы! Сволочи! Подглядывать вздумали? Да я сейчас на вас собаку спущу!» Меня после её обливания отпустило, я и ломанул. Пацаны за мной. Стометровку секунд за десять сделали, похлеще Борзова. До самого конца улицы молотили, никакая собака бы не догнала. Лёх, но это точно — вылитая ведьма: волосы вот так, ниже пояса, всклоченные, и в одной только белой рубахе. А вопль! Аж уши заложило. И, потом — плюх! Помоями-то. Вот тебе и «сделали»! «Ребятки, милые, помогите!» — нет, я, блин, этого тёте Нине вовек не забуду. Понюхай, чем воняет? Точно не моча?

Теперь уже Лёха осматривал под фонарём и оттирал Олега снегом и вслед за ним тоже всё время оглядывался. Ага, собака не догнала, потому что на него набросилась, а то убежали бы они. Но Олег никого, кроме себя, не слышал и всё повторял и повторял рассказ про своё приключение, подхихивая и тревожно крутя головой.

Родители уже давно спали. Осторожно, припрятанной для этого тонкой сталистой проволочкой, они откинули крючок верандной двери, на цыпочках пробрались через кухню, по дороге прихватив хлеб и чеснок.

Хорошо протопленная печь утробно постанывала и потрескивала, из раскрытой духовки пыхало жаром так, что лежащий напротив на табурете Шерхан всё время вынужденно поворачивался. Фонарь за окном немного погорел и погас. Час ночи. Расслабившийся Олег сопел, а Лёха, закрыв глаза, вяло выслушивал вздохи печи, лизание поджаривающегося кота, мышиную перекличку в подполе. Метель стихла окончательно, и на небе сквозь сетку рябиновых веток засияла маленькая далёкая луна. Эх, спать пора. Но каждый раз в момент, когда глаза под набухшими веками заворачивались, огромный чёрный зверь, тяжело и медленно-медленно выпрыгивая, мчался сверху прямо на Лёху. Чёрный на белом, лохматый, он налетал неотвратимо, и отматывались назад уши, волной откидывалась кудлатая, свалявшаяся длинными прядями шерсть, и сморщенная морда разрасталась, жадно щерясь жёлтыми саблями слюнявых клыков. Ну, и как тут заснуть?

А ещё вот вопросик: кто же отогнал пса? В мороз в брезентовом плаще… который ещё и ветром сдуло… ну, со страха чего не почудится… наверное, кто-то из береговых, Кокоша или Силыч… нет, те невысокие… всё равно, с береговой…

Издалека, из глуби заоконной лунной ночи чуть слышно послышалось протяжное: «Воуаоуу! Воуаоууу!».

И ещё кот, сволочь, нет, чтобы пойти ловить мышей, всё крутится и крутится, постукивая короткой ножкой табурета.

14.

Вика с Леной чистили картошку, а Оля помогала своей бабушке заводить тесто на завтра — девчонки специально остались ночевать в Заполое, чтобы научиться выпекать хлеб «по старинке», караваем. Дом дедов Демаковых высокий, в полтора этажа и, судя по остаткам резьбы на наличниках и вдоль стрехи, был когда-то красавцем. Полуподвал использовался под зимнюю стайку, а верх, ровно разделённый печью с полатями на кухню и светёлку, был жилым. Когда-то мощный сруб от времени и ежегодных весенних подтопов передними нижними венцами иструхлявил и закособочился, да так сильно, что походил теперь на что-то внимательно рассматривающего у себя под ногами горбуна. Внутри давно не крашенные полы скосились, словно палуба севшего на мель корабля, так, что первое время даже ходить страшновато, в голове кружило и казалось, что дом вот-вот окончательно загнётся и рассыплется. Но помаленьку гостьи попривыкли и даже забавлялись тем, как с каким точным учётом крена хозяевами подпилена разноногая мебель.

А ещё вчера Оля сама уговаривала Викиных и Лениных родителей отпустить подружек посмотреть бабушкины и прабабушкины вышивки бисером. И это почти путешествие — по хорошему морозу через всё село к берегу, а потом по кривой санной дорожке пару километров через продуваемую пойму речки Полы сюда, на выселки — того стоило. Прабабушка Оли, Антонина

Маврикиевна, была самой известной в Перми вышивальщицей. Правда, при переезде почти всё осталось на Урале, но даже несколько её последних, созданных уже здесь, цветочных натюрмортов вводили в состояние немого восторга. Пышно-алые и пурпурно-фиолетовые розы в каплях росы, желтоватые лилии, фиалки и маки, сине-белые анютины глазки и объёмная сирень — что там! — даже самые обыкновенные ромашки и васильки, казалось, нежно дышали, переливаясь неярким живым блеском в тёплом электрическом свете. Были тут и птицы — ласточки, щеглы, голуби. Особо поразил лебедь, одиноко плывущий по чёрному фону в окружении венка из тёмно-малиновых маков. Дочери Лизе, теперь бабушке, Антонина Маврикиевна передала технику шитья, приёмы и принципы, но такого таланта в композиции и сочетании перетекающих и чередующихся цветов, у той уже не было. Баба Лиза работала грубее, проще, и, сама понимая это, оговаривалась потерей старинных тонких игл и нехваткой нужного бисера, так что кое-где дорогое стекло приходилось подменять мутной пластмассой. К тому же с возрастом и руки изработались, перестали слушаться пальцы.

Бисер — окрашенное металлами прозрачное или эмалевое свинцово-щелочное стекло, нагретое и вытянутое в толстостенных трубках, с последующей насечкой в кольца специальной гильотиной. Техники: вышивка, вязание крючком и на спицах, плетение, ткачество, мозаика на воске. Для одного произведения используется до пятидесяти сортов разной окраски и величины, с тратой на среднюю работу до десяти тысяч штук. Хотя техника европейского «тканья» — изготовление на станке нитяной основы с нанизанными стеклянными бусинками способом простого перебора — ведёт свою родословную из Египта, но таким же точно способом украшались одежды древних ацтеков и майя. С самой разнообразной вышивкой по уже готовой основе — коже, холсту или бархату — мы встречаемся повсеместно по всей Евразии. В Сибири с первых лет русского присутствия бисер, наравне с железом, являлся драгоценым предметом торговли-мена.

Когда-то и на Руси бисер был товаром византийским — «грецким», бесценным; им украшали бармы и поручи, пояса и кошели, кокошники и кички только очень состоятельные семьи; им, наравне с натуральным жемчугом и золотым витьём, шили подарочные иконы, напрестольные украшения. Особо высоко ценился бисер из колдовской, как для христиан, так и для арабов, Венеции — яркий, цветный, игристый. В Средние века тайны окраски стекла строго хранились и охранялись, семейно передаваясь от поколения к поколению, иногда умирая вместе с мастерами. Однако химия с трудом, но распутывала загадки и вскрывала запоры алхимии. Для России неоценим вклад Михайлы Васильевича Ломоносова; его гением были найдены способы окрасок стёкол, его стараниями в 1752 году Сенат принял решение открыть мастерскую по отечественному изготовлению бисера и стекляруса.

Издревне использовавшаяся для выделения только контура узора или выполнения отдельных деталей декора, европейская бисерная вышивка собственно как самостоятельный и массовый вид прикладной живописи, с поражающим разнообразием форм и сюжетов, родилась и процветала с конца XVIII века до 80-х годов XIX. К сожалению, русские коллекционеры поздно обратили внимание на «женское рукоделие», и многое оказалось вывезеным за границу, но даже то, что собрали Г. Гальнберг, С. Троицкий, Е. Брюллова, Ф. Плюшкин, М. Ларионов и А. Пожарский, вызывает сегодня искреннее восхищение.

В России никогда не было мастеров, производивших товар на продажу специально, и все работы у нас делались как подарочные: праздничные одежды и кисеты, скатерти, салфетки, кошели, чубуки, ружейные чехлы, оклады и тесёмки нательных крестиков. С 60-х годов XVIII века практически при каждой помещичьей усадьбе заводились свои мастерские: «вот эту рубашку подвенечную две девки вышивали год и два месяца», «чепчик — две девки полгода», «пеньюар — двадцать девок два года». Знание передавались из рук в руки, для этого девчонок лет десяти баре отправляли на выучку к уже известным мастерицам, по договорённости с их хозяевами. Высшее мастерство определялось не только тонкостью проработки рисунка, но и изнанкой — чтобы не было видно ни узлов, ни концов. Кроме того, крепящие бисер нити всегда укладывались параллельно нитям основы так, что становились практически неразличимыми.

Зачастую рядом с крепостными девушками-«пялешницами» работали и их хозяйки-барыни. Знаменитый ящичек для сигар лейб-медика Николая Первого имеет вышитую подпись: «Его превосходительству Николаю Фёдоровичу Арендту трудов княжны Ромодановской-Лодыженской в знак истинной признательности 1839 года майя 9-го числа». Сохранился и стол карельской берёзы с бисерной вышивкой по кругу около метра диаметром, с датой 1831 года и за подписью княгини Засекиной.

Много, естественно, вышивали в монастырях.

Когда в XIX веке вышивка бисером стала повальным увлечением горожанок, то в большинстве случаев образцами служили уже готовые рисунки и руководства, выпускаемые как в России, так и привозимые из-за рубежа. Особо известна брошюра 1848 года «Новоизобретённый способ вышивания по канве со всяческого непереведённого рисунка и приложение этого способа к фабрикации ковров, скатертей, салфеток и других узорчатых материй с рисунками» Ивана Герасимова. Кроме устойчивых обязательных сюжетов — букетов и венков, пасторальных сцен, охоты, троек, детских и девишных хороводов, постепенно разрабатывалась и своя внутренняя мелкая символика, позволявшая «читать» подарок. Например цветочная: мирт означал твёрдость духа, барвинок — верность чувству, шиповник — неспособность противиться любви, жёлтая настурция обещала сохранение тайны навеки. Согласно времени,

многие вышивки несли масонскую символику: крест — дух, роза — бессмертная материя, циркуль — солнце, корона — премудрость. Странно, но развитие буржуазных отношений в России не перевело, как в Европе, это истинно народное творчество на коммерческую основу, а просто погубило.

Вика срезала шкурку с картофеля по-городскому, тоненько, забывая, что нужно оставлять свиньям или в пойло корове. Ей уже не в первый раз на это указывали, но, что поделаешь, если папа офицер? Сам с пяти лет учил — чистить без прерыва, единой стружкой и чтоб «как бумага». А ещё у Лены Бек получалось в два раза скорее. Молчаливая, абсолютно правильная отличница и аккуратистка, Лена, вслед за Олей, искренне и открыто привязалась к Вике после того, как несколько раз сходила с ними к Ираиде Фёдоровне, и теперь опекала её во всём, постоянно и до мелочей. Пока Оля восторженно о чём-то щебетала, Лена, молча морщась, починяла карандаши, поправляла шарф или воротник, отгоняла от парты мальчишек, чуть ли не провожая Вику до дома. Словно для младшей сестры старалась. Вика пыталась отвечать чем могла, но… только чем могла.

Дед Никита Авдеевич маленький, розово лысый, с какими-то смешными морщинами на темени, но в пегой, до самых глаз щетине, и весь такой круглый-круглый, словно повидавший свет колобок. Протиснувшись спиной, дед внёс здоровенную, морозно пахнущую охапку крупно поколотых дров, громко сбросил её на железо около печи. Покрепче затянув обитую старым одеялом дверь, накинул крюк:

— Всё, боле не выходим. Вам, девки, ведро под умывальником.

Долго и тщательно разувался и раздевался, с довольным покряхтыванием определяя на просушку растоптанные до неведомого размера серые валенки, штопанные-перештопанные верхонки, засаленную солдатскую ушанку. Потом так же внимательно вымыл огромные ладони, и устало подсел к столу под низко свисающую без абажура лампу, ярко забликовав потной лысиной, обрамлённой тончайшим, как у младенца, белым пушком.

— Ну, слышь, и пометелилось. По всему, мать, наша соседка опять дуркует.

Баба Лиза бросила тревожный взгляд на девочек. Дед ответно махнул рукой:

— А чего? Не боись, нас уже не раскулачишь. Старые. Да и пионер нынче не тот, родных не выдаст.

— А мы и не пионеры. Мы уже два месяца как все комсомолки.

— Во, старая, слышишь? Умные уже.

— Никита Авдеевич, а что значит это, ну, про соседку?

— Да, дед, что? — Оля тут как тут. Глаза и рот круглые, а пальцы застыли в опаре.

— Что «дуркует»-то? Колдует. У нас же тут ведьма на краю живёт, вот и балуется. Ныне ж как раз сочельник. Ейный праздник. Из трубы аж искры летят.

И уже не только Оля замерла, а и Вика, и даже невозмутимая Лена потянулись к деду.

— И что?.. И как?..

— По-разному.— Никита Авдеевич вынул из заткнутой за опалубку окна пачки порезанной газетной бумаги один листок, промяв середину, насыпал из красной железной подконфетной коробки табаку и, ловко вокруг жёлтого пальца завернув цигарку, как следует прослюнявил.— По-разному. Она же ранее со своим мужиком на другом краю жила, ближе к Оби. А как муженёк-то потонул, перебралась от реки подалее. Бают, мол, она ему сама утонуть помогла, вот он и стал приходить оттуда, совесть тревожить.

— «Бают»! Да я сама, собственными глазами его видела.— Баба Лиза с особой силой шлёпнула тестом об обмученный стол.— Ты, это, старый, прибери-ка свой табак подале. Не ровён час, в хлеб напакостишь.

Дед трудно разогнулся и с табуретом передвинулся к печи. За ним потянулись и девочки.

— Будешь приходить, коли не готовым помер. Да ещё вопрос, как он с ей вообще-то жил? Тоже ведь мужик не прост был, царствие ему небесное, ох, не прост. Знал же, что потомственную ведьму берёт.

— И что с того, что знал? Она любого за себя окрутит. Вон, на Бориску Громова посмотри. Каков парень был, а присушила и высушила. Кости да кожа. Как из Бухенвальда.

— Я не против, что ведьма много может. Но, вспомни обратно, мой-то брат, Федя, устоял. Вон, как его тогда обрабатывали, а устоял. Помнишь?

— Я-то помню, а девчонки совсем мне не помогают. Заснули или чего? Кончайте с картошкой, сковороду ставьте. Олька, закрой рот и неси масло.

Какой там «закрой рот»! Бутылку с пахучим «алтайским» Оля достала, но если бы не Лена, то налила бы мимо сковороды прямо на плиту:

— Деда, а что такого было? Как он устоял? От кого?

Никита Авдеевич раскурил, щурясь, пустил струйку дыма в поддувало.

— Мой брат в сорок первом сильно ранен был. Наступил на пехотную мину и ему стопу оторвало. И так ещё посекло. Четыре госпиталя сменил, пока залечили — Зарайск, Киров, Нижний Тагил, Ачинск. Вот, почти что через год после ранения и добрался из Ачинска сюда, да только родители наши к тому уже померли, и дом отдали эвакуированной учителке с её матерью и кучей маленьких братьев и сестёр. Ну, значит, увидел брат, что прибылой детворы по самую крышу, не гнать же, и попросился, раз такое дело, чтоб его от конторы на квартиру куда определили. У нас же тут в тридцатые-то годы хохлов, поляков и белорусов сосланных селили, а в войну латышей и волжских немцев подогнали. Тогда наш Заполой, почитай, поболее сотни домов был, своя школа, магазин, даже культурный клуб и комендатура. При комендатуре-то интернациональное

отделение колхоза и было, «Восьмое марта» называлось. Фёдор у нас грамотный, с малолетства уехал и при шахте выучился, а раз из-за покалеченной ноги физически работать не мог, то его записали в бухгалтеры. И как сложно бы ни было, но определили на постой в отдельную хату. Да только к ведьме. Какой? Самой обыкновенной.

Фёдор заканчивал «сидение» над бумагами только около десяти. Проклятая теория учёта давалась трудно, и подсказать толком никто ничего не мог: Сёмушкин, у которого он принимал дела, похоже, даже таблицы умножения не читал и складывал и делил трудодни, прибыль и расходы многоэтажными столбиками, с такими ошибками, что хоть сейчас под трибунал. Да и сама сдача была чисто символической — четыре папки по бригадам, одна общая по ферме и конюшне, одна по лесу и ещё две по зерноскладу и инвентарю разложили по столу и вместе с председателем Кузьминым просто и крепко выпили за Федино возвращение. Счастливый Сёмушкин на следующий же день умчался на лесозаготовку, а у нового бухгалтера голова вспухла от загадок ведения учёта. Как ни странно, помогала боль. Отсутствующая стопа ближе к вечеру ныла невыносимо, и единственным способом отвлечься становилось дополуночное сведение проклятого баланса между дебетом и кредитом.

Возвращаться по полной октябрьской темноте приходилось практически на ощупь. Вдоль заборов, то и дело перебираясь через растоптанную раскисшую глину поперечных проулков. Народ ложился рано, на всю улицу пара чуть желтеющих керосинками окошек. И одно из них всегда в его родительском доме. Бывшем его.

Как бы Фёдор ни старался, но возвращение постояльца всё равно слышали. Только вида не подавали. На кухне всегда дожидался какой-нибудь ужин — распаренная перловка или картофель «в мундире» с тарелкой вяленых ельчиков или куриной грудкой, молоко или простокваша, варенье. С едой тут напряжёнки не было — хозяйка, Катерина Гавриловна, «подрабатывала» повитушеством и знахарством. Естественно, кроме помощи в родах, она также помогала скрывать кое-какие бабские грехи. А так как главным виновником в то и дело приключавшихся бедах молодых вдов и солдаток был начальник комендатуры, доносить на неё никто не собирался. Умела Катерина Гавриловна заговаривать грыжи у взрослых и загрызать их у младенцев, снимать горячку, слабость, ревматизм и подбирала травные настои от живота и язв. Да, мало ли. И отученный войной от излишней стыдливости, иссушенный госпиталями чуть не до чахотки, постоялец понемногу стал входить в тело. Фёдор в темноте подъедал оставленное, ставил левый ботинок на просушку, отстёгивал протез и, как мог неслышно, приваливался за синей сатиновой занавеской на противно скрипучую кровать. И слышал, как в соседней комнате перешёптываются сорокалетняя мать со своей двадцатилетней дочерью Лялей. Надо же, какое имя.

Цыганское, что ли? Не похожа. Шёпот тихий, мягко грудной, невнятный, как мурлыканье.

Седьмое ноября сорок второго отмечали и торжественно, и надрывно. Сводки с фронта приходили, мягко говоря, двусмысленные, но двадцатипятилетие Октября не пропустишь. Поэтому после несколько затянутой торжественной части с вручением грамот передовикам тылового труда и просмотра фильма «Чапаев» в перечне мероприятий значились танцы.

— Смотри, Федюня, не смойся. Нельзя обижать слабый пол, у нас кавалеров нынче по пальцам, да и то одни сопляки.— Головастый, кряжистый начальник комендатуры Симчик поправил на застиранной до белизны гимнастёрке Фёдора медаль «За отвагу».— Тем более, героев войны вообще только двое. Я для такого дела собственные пластинки принёсу. Что б не под гармонь, а по-культурному.

— А чего мне на танцах-то делать? Юлой вертеться? На одной ножке.— Фёдор смотрел чуть выше бровей успевшего заметно уже «принять» энкэвэдэшника.

— Хоть волчком. Как получится, а баб не смей обижать. Им тоже праздника нужно, сам знаешь, как они вкалывают за мужей и братьев, всё отдают на кузню победы. И в славную двадцать пятую годовщину пролетарской революции наши советские труженицы имеют право на счастье. Считай это заданием Родины. А я прослежу за исполнением.

Пластинка щёлкала и всхрипывала, но грудной, искренний голос Клавдии Шульженко охватывал всё щедро освещённое двумя десятками пятилинеек пространство зала до самых дальних уголков. В обитую крашеным железом большую круглую голландку подбрасывали и подбрасывали крупные поленья, но тепло в зале более исходило от самих людей, плотно сидящих на отодвинутых к стенам лавках, стоящих кружками или танцующих посредине. Старшие мужики важно кучковались у сцены под большим портретом главкома Сталина, украшенного по раме цветами из синей бумаги. Справа от портрета провисал слабо прокрашенный красноталом транспарант «25 лет Великому Октябрю». Разговоры, как всегда, самые серьёзные — о положении на фронтах, о Сталине, Сталинграде, Тимошенко и Жукове. Молодняк, которому вот-вот подходил срок на эту самую войну, не сходя с центра, плясал без устали, громко хохоча и отмачивая грубоватые шуточки. Парни не столько выпили, сколько куражились, демонстрируя подругам своё бесстрашие и наступившую независимость. Совсем молодые стайкой тёрлись у дверей, готовые смыться по первому же цыку, чтобы через пять-десять минут, выкурив самокрутку со мхом «на воздухе», появиться вновь.

— Фёдор Авдеевич, вы позволите вас пригласить?

Он удивлённо обернулся на тоненький переливчатый голосок. Молоденькая учительница, которую заселили в родительском доме, смотрела

снизу вверх на него так внимательно, что казалось, она даже привстаёт на цыпочки. Худенькое личико светилось огромными голубыми глазами. «Как у Снегурки».

— Так… это же…

— Я знаю. Это ничего, я подстроюсь. Главное, мне с вами поговорить очень нужно.

— Я вам ноги отомну.

— Не получится. Я ловкая. Меня Инной звать.

Они на несколько шагов выдвинулись к центру, потеснив удивлённых и восхищённых подростков: она их учительница, а он инвалид и награждённый медалью. Федор, стараясь не морщиться, переминался почти в такт, а Инна, невесомо положив руку ему на плечо, делала вид, что всё у них получается просто замечательно.

— Я знаю, вы каждое утро и каждый вечер мимо своего дома проходите. Я даже чувствую, когда. Особенно вечером. Это трудно, наверно, очень вам трудно — проходить мимо. И вот я стала бояться, что вы нас возненавидите. И хочу…

— Инна, Инночка, не говорите глупости.

— Нет, дослушайте! Мы из Харькова, там у нас тоже был свой дом. Папу эвакуировали вместе с почтой, где он служил начальником райотделения. Он договорился, и к нашему дому подъехала машина, мы закинули узлы, сели в кузов, а он на минуту вернулся за своей пишущей машинкой. И в этот момент прилетел снаряд. Какой-то очень большой, издалека. Один, говорят — случайный. И папа погиб. Поймите, мы знаем, что значит терять родителей и дом. Поэтому приходите, когда пожелаете, приходите к нам. То есть, простите, к себе. Мы стараемся ничего не трогать. Разве что дети. Но их наказывают. Не ненавидьте нас! Приходите! Приходите же!

Голубые глаза стали серыми, ярко блестящими, и Федор едва не склонился, чтобы губами убрать этот лучистый, наверное, солёный блеск. Ай-ай, Снегурка начала таять.

И в этот момент он ощутил ещё один взгляд. Злой, очень злой, до прожигающего озноба. Нервно вскинувшись, Фёдор успел заметить, как, стоявшая у печи среди нетанцующих девушек, опустила ресницы дочь его хозяйки. И пластинка окончилась.

— Я даже в мыслях такого не держал.

— И вы придёте?

— Обязательно. Завтра. А…

— Что?

— А сегодня я вас провожу. Позволите?

Фёдор возвращался напевая и «подтанцовывая». Напевал, естественно, от понятного душевного состояния, что-то вроде «скажите девушки подружке

вашей», а приплясывал невольно, на обильно выпавшем и ужасно скользком снежке. Пока народ в клубе праздновал, улицы и крыши начисто завалило белым пенистым пухом. Сразу стало светло и… вот так напевно. Он был уже в метрах двадцати от калитки, как здоровенная чёрная кошка бесшумно выпрыгнула из-за штакетника и, стремительно пересекая дорогу, сильно ударила головой прямо в протез. Фёдор с маху распластался на спине, чувствительно стукнувшись затылком. Даже на несколько секунд в глазах потемнело. Собравшись с силами, поднялся, подобрал фуражку и отряхнул шинель. Вот же мерзавка! Уже без песенок добрался до дома. Боль в затылке не проходила, и он впервые не тронул оставленное ему на столе.

Боль не проходила и утром. Он тяжело встал, умылся. Что же с ним вчера такое приключилось? Постоял, прислушавшись: в доме мёртвая тишина. Неужели ушли? Осторожно сдвинул занавеску и, отпрянув, густо закраснел. Вот, ядрёна вошь, ну кто дёргал на хозяйскую сторону заглядывать? Чёрт! Там, на размятой постели, поверх одеяла, в сбившейся до середины бёдер сатиновой ночнушке, разметалась пышненькая Ляля. Глаза вроде бы и закрыты, но губы-то чуть подрагивали в едва удерживаемой улыбке.

Работа требовала внимания, а он словно температурил. В голове кроме шума бродили какие-то незнакомые грязные мысли, обрывки как бы чужих фраз. Они путались с собственными и, перебивая их, то и дело самостоятельно соскакивали на язык тяжёлыми матами. Фёдор, судя по недоуменным взглядам сдававших отчет конюхов, на самые простые вопросы отвечал не всегда впопад. А когда после обеда понемногу голову стало отпускать, навалилась новое искушение. Начальник комендатуры Симчик, не раздеваясь, даже не снимая каракулевой, с синим верхом, папахи, медлительно намерял шесть шагов диагонали конторы и почти шёпотом мытарил:

— Ты, Демаков, явно что-то недопонимаешь. У тебя, по всему видать, в голове раздрай и саботаж. Я тебе вчера чего приказывал? Чтобы ты со всеми танцевал. Со-все-ми. А ты как к одной приклеился, так и держался. Обиделись на тебя женщины. Всем коллективом. Но есть и ещё одно отягчающее твою вину обстоятельство. Я на этой молодой учителке сам глаз держу. Пока просто не трогаю, потому как к семейным узам не готов. Вот погуляю ещё чуток, тогда и замуж возьму. Очень хочу интеллигентку, чтоб в доме, ну, культурно было. Демаков, слышь: чего я хочу, того добиваюсь. Всё понял? И имей в виду, в этом деле я без жалости, на ранение скидки не сделаю.

Впервые Фёдор закончил работу в шесть часов. Запер сейф, сдал ключ от конторы сторожихе бабе Дусе. И отправился спать. Проходя мимо родительского дома, невольно задержал шаг. Чтобы не сильно хромать. И тут же тёмные двери из сеней отворились, высветив на крыльце Снегурку.

— Фёдор Авдеевич, вы к нам? Простите, к себе?

Он усмехнулся, прижав ладонями калитку.

— К себе, Инночка. Но мимо вас.

— Простите. А можно вас на минутку задержать?

— Можно. Даже на десять. Ну, слушаю тебя внимательно.

Снегурка по неровно разметённой дорожке подошла вплотную, крутанула вертушку. Но он крепко держал калитку, не давая открыть.

— Да я, собственно, только спросить хотела.

— Спрашивай.

Пауза слишком долгая, слишком красноречивая.

— Там, на заднем дворе… у вас колодец. Он… чистый? Или только для стирки вода пригодна?

Теперь помолчал он. Сколько ж сотен, а то и тысяч раз он черпал из этого колодца? Восемь оборотов барабана, бадья в полтора ведра. Тяжёлая лисвенничная крышка.

— Пить можно. Почистить, разве, надо бы. Если до воскресения подождёте, я помогу.

— Конечно, конечно подождём.

— Тогда, до свидания.

— До свидания, Фёдор Авдеевич.

Он был уже почти дома, как здоровенная чёрная кошка бесшумно выпрыгнула из-за штакетника и, стремительно пересекая дорогу, сильно ударила в протез. Федор, широко взмахнув шинелью, неловко завалился на спину. В глазах опять потемнело, и из носа потекла кровь.

В третий раз кошка сбила его в воскресенье, когда он потемну возвращался после чистки родительского колодца. И впервые она не исчезла сразу, а, остановившись в двух шагах, выгнув спину, злорадно зашипела. Федор, из последних сил удерживая сознание, успел разглядеть злой, прожигающий, совершенно не кошачий взгляд. И опять из ноздрей обильно хлынула кровь.

Мудрая и никогда ни во что обычно не встревавшая сторожиха баба Дуся выслушала его скорбно-внимательно и, подкинув пару вопросов, окончательно посмурнела. Взглянув в красный угол, где вместо иконы висела репродукция с профилями Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, несколько раз наскоро перекрестилась.

— Вот что, Феденька. Научу тебя, хоть мне и достанется. Выдерни-ка ты из метлы черенок и прихвати его, когда нынче домой пойдёшь, взаместо посоха. Якобы от хромоты. А по пути пренепременно зайди к своей учителке, покалякай чуток. Коли ведьма тебя караулит, так она опять в том же месте накинется. И тут ты, милок, не оплошай: бей её по хребту, бей, что есть силы. Коли перешибёшь хребёт-то, то она от тебя отстанет. А нет — до смерти преследовать будет. Не оплошай. Я-то про твоих хозяек сразу это поняла, как оне в позапрошлом годе только приехали. Ещё те знахарки! И сама Катька

колдует, и Ляльку свою обучает. Но ты всё правильно уразумел — это оне на твою мужицкую силу глаз поклали. Страшное дело. Сначала они тебя подкормят, как боровка, а потом сожрут. Ведьмы мужиков до живых костей высасывают. Только мы им хрен выкажем! Пускай Симчика пользуют. И ещё, постой, погоди, главное выслушай: как ударишь, вертай поскорее назад, в контору. Я те на лавках постелю, тут пока поспишь. Далее посмотрим, чем всё дело кончится, на чём сердце успокоится. Ну? С Богом!

Фёдор сидел на своей кухне, на родной, до той самой мышиной норки в углу под кадкой, кухне и давился гневом. Вокруг всё было так же, как помнилось с самого детства, но и всё не совсем так. Чуть-чуть как бы сдвинуто. Или уменьшено. Пульс гремел в виски горячими безжалостными молотками, но мучительнее всего томил этот проклятый, около сердца, колючий ком. Вера Степановна, Иннина мать, бледная до окаменелости, сплошь поседевшая, хоть ещё и не старая женщина, молчала за столом напротив, а сама Инна стояла к нему спиной, вроде как смотря в окно, и всхлипывала:

— Фёдор Авдеевич, что мне делать, что делать? Мама и я… мы его боимся.

— Правильно, что боитесь.

— Но и замуж я за него ни за что не пойду.

— Да. Не крепостное право.

— И что? Что делать?

Фёдор боялся повернуть голову и увидеть её вздрагивающие под косо накинутым пуховым платком плечи.

— Я думаю, что ничего. Просто потянуть время.

— И это всё? Всё?! — Она резко повернулась, пытаясь заглянуть ему в лицо.— Спасибо, Фёдор Авдеевич, спасибо. За совет. И… заходите в любое время. В ваш дом. Заходите. И… до свидания.

Инна, сгорбившись, почти выбежала в комнату, где подозрительно тихо, якобы спали, таились четверо её младшеньких братьев и сестёр.

— До свидания.

Вера Степановна всё так же молча встала его проводить и закрыться. И словно что-то шоркнуло по тёмному окну снаружи.

Когда кошка выпрыгнула из-за штакетника, первый удар пришёлся ей прямо в лоб. Опрокинувшись, она, рефлексивно вывернувшись, вскочила и получила ещё раз. Теперь как учили, сверху по спине, и сильно, до хруста. А потом Фёдор отступал, пятился, а агонизирующее животное, широко разевая шипящую зловонную пасть, судорожными рывками ползло на него, подтягивая несгибающиеся задние лапы. Он отступал, отступал. Даже когда кошка далеко отстала, он всё никак не мог повернуться к ней спиной.

Симчик едва не сорвал дверь, так плечом шарахнул. Кряжистый начальник комендатуры сдёрнул под себя стул, сел, широко расставив колени, махнул головой сидящей за соседним столом Райке-кассирше: «Поди, погуляй». Поиграл желваками, перегнулся поближе и рыкнул:

— Ну!

— Что?

— Ты чего, Демаков, себе позволяешь?

— А что такое?

— Да? Ты ещё и невинность строишь?

— Не понимаю, о чём речь.

— А о том, что ты руки распускаешь за пределы дозволенного. Криминал! Подстатейное дело. И ведь «там» не посмотрят ни на какие былые заслуги, если добром не кончится. В районе врачи говорят, что Ляля может так и остаться парализованной.

— Кто? Ляля?!

— О, какой ты артист. Прямо Бабочкин. Или Жаров. Да, она! Которой ты жениться обещая, пил, жрал, спал забесплатно, обстирывался, обштопывался, а теперь вот так зверски избил. Не пучь глаза, не на свидетелях. Я бы давно конвойку вызвал, да Катерина Гавриловна умоляет полюбовно всё порешить. Она сама дочку выходит, вылечит, но чтобы ты от женитьбы не отказывался. Иначе — по этапу. Из Сибири в Сибирь. Она, Демаков, Сибирь-то, ой, какая ещё большая да далёкая.

Фёдор не решался даже шевельнуться — от предельного напряжения изнутри его начали потряхивать хохотушки. Стоит только что-то сказать или просто переменить положение, и не удержишь.

— Чего примолк? Даже не раздумывай. Бери бутыль и подарок какой для невесты и приходи вечерком с повинной. А я вашим примирителем стану.

— С подарком? Угу. А если я и Катерине Гавриловне голову проломлю? Ты разве не в курсе, что я контуженый? Справка есть, что сознание теряю. Сознание теряю, а руки действуют. Вот приду сегодня вечером, а вместо бутылки под мышкой топор прихвачу. Семь бед — один ответ. Посижу годик-другой в психушке. Нервы подлечу, отосплюсь. Кашка, компот, витамины. Потом на могилки приеду.

— Почему… на могилки?

— Кто знает, одна будет или две. А то и три. Я ж в беспамятстве, согласно справке.

После того, как половодье отступило, земля просыхала буквально по часам. В такую пору в посёлке никого, все, кто не в поле, тот на огороде: майский день год кормит. И только Фёдор уже, наверное, час одиноко топтался под осыпающейся черемухой, отбиваясь от наседающих в густой ароматной тени комаров. Но всё же дождался.

— Инна, постой. Погоди. Когда нынче школа кончается? На каникулы?

Снегурка резанула затравленными холодными льдинками.

— Через две недели. А зачем это вам, Фёдор Авдеевич?

Как же она исхудала, истаяла. Совсем прозрачная.

— Инна, да постой ты! Милая, да что ж ты никак не уразумеешь? Да разве я от тебя бегал из трусости? Ну? Я от этого гада вас оберегал. Чтоб он не забесился до поры. А мне-то ж давно всё равно, я отвоевал и смерть вот этими руками не раз за рога дёргал. Вам, вам бы он мог жизнь попортить. Но и я же не просто так прятался, я писал, куда мог. Во все края. А сегодня ответ на запрос получил. И вызов на работу по специальности, в Кузнецк. На шахту телефонистом. Ну? Обо всём ли вслух надо? Собирайтесь, пакуйтесь помаленьку, и через две недели уезжаем. Ничего толком не обещаю, но там, на месте, думаю, как-нибудь да обустроимся. Уж учителки, поди, везде нужны?

Голубые глаза стали серыми, ярко блестящими, и Федор, склонившись, губами собрал этот лучистый, солёный блеск.

Дед Никита Авдеевич улёгся на высоких печных полатях, Оля стеснилась с бабушкой на панцирной кровати, а Вику с Леной широко расположили на широкой самодельной деревянной. Правда, жестковатой. В темноте после рассказа наступила особая, пережидающая метание мыслей, нестойкая тишина, в которой только облезлые ходики с тремя медведями продолжали на стене отклацкивать маятные секунды. Да снизу, из полуподвала, отчётливо доносились тяжёлое, в ожидании скорого отёла, воздыхание коровы и лёгкое топотание неугомонных овечек.

— Дед, а ещё? Расскажи ещё что-нибудь. Такое же.

— Об любви?

— Ну, деда! Ты чего? Про ведьм. И колдунов.

— А чего про них? Живут помаленьку. Знай кто, да оберегайся.

— А ты сам их видел? Видел?

— Нет, вы спать, тарахтелки, нынче будете? Или я матери скажу, что бы вас больше не отпускала? — Баба Лиза сердито повернулась в стену.— Полдвенадцатого, а они, знай, бормочут и бормочут. Из-за этого лысого заводилы, что б его. Завтра ведь до обеда не встанут!

— Встанем!

— Ага! Знаем, видели: с вечера-то молодёжь, а с утра так не найдёшь.

— Баб, ну, не ругайся! Нам же так интересно, так интересно. Где ещё такое узнаешь? Деда! Рассказывай, а не то больше до весны сами к вам не придём.

— Напугали! А чего ещё рассказать-то? Ведьмы, они и есть ведьмы. Днём, вроде, как просто баба, разве что глаз тяжёлый, мутный и всё в пол прячется. А ночью — раз, то собакой, то свиньёй обернётся. И давай соседскую скотинку портить. Коли собака — то овечек порежет, кур подавит. А свинья молоко у

коровы высосет да вымя так накусает, что не залечишь опосля. Хотя при нужде и днём может сорокой летать.

— А вороной?

— Вороной нет. Ворона колдуну прислуживает, только как помощник.

— Деда, а ты сам видел?

— Что?

— Как оборачивается.

— Сам нет. Сказывали. Мол, в пень нож воткнёт и перекувыркнётся через него.

— А, «сказывали»! Это нечестно. Мало ли кто что наврёт. С точки зрения науки никакое физическое превращение невозможно. Молекулы в одну секунду не изменишь.

— Нет, Оль, а вдруг это простой гипноз?

— Гипноз? Да-а, такое, Лен, очень даже может быть. Как бы видимость, мираж. Дед, и, правда, эти твои колдуны и ведьмы, наверное, только гипнотизируют людей.

Никита Авдеевич помолчал. Потом, кряхтя привстал, забелев лысиной:

— Людей, говоришь? И какой-такой «гипноз», если он и на лошадей также действует? Вот, как счас помню, мне годков десять-одиннадцать было, когда мы с отцом по первопутку поехали в Былино на свадьбу. Мать как раз Фёдором дохаживала, мы одне и отправились. Там отцову племянницу выдавали за сына тамошнего мельника. Родни с обоих сторон собралось множество. Весь день пировали-праздновали, а ближе к вечеру моему батяне вдруг что-то обидным показалось, чем-то его не уважили. Он губу надул и послал меня запрягать, чтобы домой вертаться. Лошадь в хомуте стояла, только прослабленном, ну, я затянул, взнуздал, оглобли заправил и жду. Выходит бятяня, а за ним мельник, хозяин дома, значится, и всё упрашивает остаться. Мой ни в какую, всё кого-то ругает. Сели мы в санки, развернулись во дворе, а мельник и говорит: «Не хочешь по-хорошему, оставайся по-плохому». И вдруг наша Лыска перед воротами на колени падает, храпит до вскрика, а со двора выйти не может. Батяня её хлестать. Бьёт, бьёт уж до крови, а она то на дыбы — оглобли выворачивает, то на колени припадывает. «А! — говорит батяня,— ты на ворота медвежью шерсть нацепил»! Сам взял Лыску под уздцы и силой — он здоровенный был — почти волоком вытащил. Плюхнулся в сани, махнул кулаком хозяину и заснул. А мне страшно стало: про хозяина все знали, что он, как всякий мельник, колдует, и его обижать никак нельзя. Ладно, выехали мы за околицу и порысили к дому. Едем, едем, смеркается. Вдруг лошадь сворачивает и той же рысцой дует прямо в поле. Смотрю, а там одинокий стожок чернеется. Вот Лыска до стога добежала и давай вкруг его кружить. Бежит ровно, споро, я её за вожжи, а она не слушает, круг за кругом режет. У меня-то, чего ж, силёнок оттянуть её не хватает, а батя спит, даже не похрапывает. Я тогда выскочил, повис на узде, остановил и кое-как вывернул к дороге. Пока рядом топал, всё

нормально, а как в сани запрыгнул, так Лыска развернулась назад к стожку и снова посолонь закружила. Я второй раз её на дорогу вытянул, третий. Темно уж совсем, страшно. И холод стал пробирать. А отца-то никак разбудить не могу, лежит бледный, ровно мертвец, лицо строгое. Лошадь уж мокрая, в пене вся, а бежит, бежит, с заколдованного круга никак не сходит.

Никита Авдеевич снова разгорячился, сел, свеся намозоленные до черноты ноги в застиранно-голубых солдатских кальсонах. Опасно перевесившись, жестикулировал, балансируя на грани падения. Потом разом как бы увял. Эхнул, откинувшись, прилёг и, натужно вздыхая, стал поправлять простынку, подушку, лоскутное одеяльце.

— Деда, ну, дед! А дальше? Чего дальше было?

— Чего-чего. Батяня проснулся, вывел силком на дорогу, плюнул, и поехали домой.

— И всё?

— А мало?

— Мало-о-о!

— Тогда, вон, поди-прогуляйся по улице. Сёдня соседушка точно собакой рыщет.

— Какой собакой? Настоящей? Или гипноз?

— Всё бы вам наукой щупать. Может, оно, по-вашему, и гипноз. Да её я своими глазками видел, и во второй раз не заставишь.

— Чёрная, агромадная,— не выдержав бойкота, бессонным голосом вдруг вмешалась баба Лиза.— У Юркевичей этой осенью четыре овцы зарезала.

— Так, наверняка, это просто собака? Обыкновенная, хоть и большая.

— Всё бы так. Пусть просто. Да отчего-то днём этой собаки вроде и нет нигде. Ни лая, ни шерсти. Только ночью бегает. Ведьма это оборотенная. Спите. Нельзя про них вслух говорить, тем боле, ни в коем разе по имени называть. Они это чуют и злятся. Спите!

Вика и Лена одновременно потянули на себя коротковатое одеяло, оголив ноги, и прыснули. За ними зафыркала и Оля:

— Ага. Слушаемся.

— Ох, глупые вы какие. Потому, что деревенские. Дикие. Хоть и в школу столько лет ходите, и косомолки уже, а ровно петиканторы какие.

— Да, бабушка, да, питекантропы! А ты, Вик, в колдовство веришь?

— Верю. У меня же папа слепым родился. А одна бабушка три раза его на закат вынесла, что-то пошептала, и он прозрел. Врачи, знакомые не верят, а мы знаем.

— Вот так, баба, а она-то городская. Кстати! А почему мы сегодня не гадаем?

— А сопливы ещё. Рано про женишков мечтать. На будущий год, может, и научу.— Баба Лиза сладко и долго зевнула.— Аха-ха! Господи, помилуй, во, слышите?

С улицы раздался ясный, с переливами и подзёвываниями, протяжный вой: «Воуоуу! Воууу!»

15

Олег, наблюдая, как братец, высунув язык, его копирует, то забавлялся, то заводился: он на футбол, и Леха за ним, он на лыжах, и тот сзади. Шапку на нос заламывает, пятками подшаркивает, на обложках учебников битлов рисует, ну, как мама приговаривает — «что крестьяне, то и обезьяне». Даже заказывая в Доме быта клёши, весь извёлся, что его материал на Олегов не похож. Ладно бы дома, но иной раз он и во взрослые разговоры встревал, перед ребятами приходилось краснеть. И главное, когда ему говорили об этом по-хорошему — никак не понимал. Приходилось иной раз, и по-плохому.

Почему Лёшка не дружил с одноклассниками? Например, на кой ему, малолетке, каждый раз липнуть, когда они с Килей и Михасём к Демаку намыливаются? Ясно же, что они-то в такую даль по косогору прутся из-за того, что к Ромковской сеструхе подружки приходят. Там все почти ровесники, разве что пара-тройка девчонок пятнадцатилеток, девятый заканчивают. Свои разговоры, интересы, можно нормально посидеть, побалдеть до темноты. Ну, и зачем там Лёшка? В догонялки они не бегают, в классики тоже давно не скачут. Валил бы к своим Ределю или Попову и там доигрывал бы в Зорких Соколов.

Новоотстроенный, светло-брусовый под белой шиферной крышей дом Демаковых стоял по улице последним, на самом краю с логом, и топать туда, конечно, удовольствия немного. Особенно после того, как снег стаял, а потом навалил заново и опять растёкся. Синюшная глина не закреплялась ни опилками, ни шлаком, и сапоги приходилось выдирать руками почти на каждом шагу.

Зато перед самыми воротами, у проулка, узко спускающегося в заросший берёзами лог, на покрытой плотной короткой травкой поляне удобным полукругом лежали невысокие, по пять-десять штук, штабеля берёзовых же хлыстов. Брёвна вполне просохли, под весёлым апрельским солнышком успевали за день прогреться, и если не ёрзать, то и не пачкались. Место было заповедное, сюда, через грязь, не добирались взрослые парни, и поэтому никто ни перед кем не выделывался. Тут, если подходили Маллер, Власин, Сурков, Майборода, Литос, Малиновский, Бауэр, Костик Лавров и Вовка Былин, а к девятиклассницам Демаковой Ольге с её неразлучными Викой Лазаревой и Ленкой Бек прибавлялись Алка Татырза, Танька Карпова, Ленка Макарова, Людка Розанова, Людка Голдовская, Наташка Штумпф и Наташка Амирханова, то иногда собиралось до двадцати человек. Ребята и девчата стайками рассаживались напротив друг друга и начинали перебрасываться шуточками и анекдотами. Заводилой, как всегда, выступал Литос, белые крупные кудри которого Пузырьку не удавалось никак обкорнать. Всеобщий любимец, Литос за словом никогда в карман не лез, так что ему на комсомольских собраниях учителя слова категорически не давали, а выступления с места затыкали хором и сразу. Конечно, под заведённый им перекрёстный разговор кто-то играл себе в

карты, кто-то в ножички, но компания не распадалась, всегда держались общие темы. И, вообще, почему-то здесь, «на брёвнах», всё казалось особенно важным или смешным — истерика ли химички, выбитое ли в столовой стекло, справедливость распределения по классам заданий на субботник, новенькая литераторша. Веселила любая дурь:

«Петька забегает и орёт:

— Василий Иванович, сюда белый танк ползет!

— Возьми вон гранату на печке!

Через полчаса Петька возвращается. Василий Иванович спрашивает:

— Ну, как, готов танк?

— Готов!

— Молодец, Петька! А гранату на место положи».

А время летело! Только-только вроде собрались, как за блестящими, с уже набухшими почками вершинами нисходящих в лог берёз небо стремительно густело тёмной голубизной, по горизонту выстеленной сиреневыми, с золотыми прорезями, полосками закатных облаков. Под обступающей прохладой весенних сумерек звуки обретали особую округлость и сочность, и веселье само собой теряло задиристость, сменяясь обострённым вниманием к тональности произносимого. Или непроизносимого. В этой сырой густоте вечера хотелось чего-то… серьёзного, настоящего, просторного. А тут ещё из лога подавала свою незамысловатую трель прилетевшая позавчера из Экваториальной Африки горихвостка-лысушка. Где она, эта Экваториальная Африка?.. Девчата, замыкаясь, принимались негромко напевать, а парни, пряча в кулак сигаретные огоньки, умно обсуждали преимущества «Минска» перед «Восходом». К тому же некоторые уже видели у охотоведа Корчука настоящую «Яву». В доме давно горели все окна, и демаковская мама уже не раз нарочито недовольно гремела во дворе вёдрами. Ближе к востоку робко прокалывалась первая крохотная звёздочка. За ней вторая. А когда неловко обрывалось последнее просящее: «Неси меня туда лесной олень», то половинка красной луны выбиралась из совершенно уже чёрных облаков под общее молчание. И?.. О, эти минуты последней особой тишины перед расставанием: все приготовились к тому, кто и с кем будет провожаться.

Киля первым насмелился задружить, с Татьяной, ещё на Новый год. И тогда все пацаны неожиданно разглядели — какая она, оказывается, красивая. И взрослая. Это было какое-то чудо: вот, училась, бегала и прыгала рядом девчонка, самая обычная девчонка, которую с детского сада все знали как облупленную, чуть ли не на горшке рядом сидели, и на неё посмотреть как-то вот так даже не догадывались — но! — кто-то пошёл её провожать, и остальные словно прозрели.

Потом, после двадцать третьего февраля, и Майборода задружил со Штумпф. А за ними, с восьмого марта, просто как плотину прорвало. Так что теперь, перед первомаем, недружащих, как и некурящих, можно было по

пальцам пересчитывать. Олега в числе тех и тех. Ну, а с кем ему теперь? В их десятых классах в один миг свободными остались только плоскогрудые дылды, вроде Ольги, или жирокомбинаты, как Макарова. К тому же, чтобы задружить, нужен какой-нибудь приличный повод. Вот, даже если ему, по-честному, очень нравилась Людка Устюжанина из параллельного «а», но, ведь, просто так не подойдёшь же на перемене и не пригласишь в кино. Ещё и обсмеют с подружками. Вдобавок возле её дома в последнее время постоянно ошивался Муха.

А ещё, как только весенний ветерок вербно повеял первыми влюблённостями, все сразу побросали хоккей и футбол и принялись качаться. Так как гири, гантели и штанги имелись только в каморке школьного спортзала и в ДОСААФ, то ребята качались, кто чем мог. В ход шли куски рельс, старинные угольные утюги, ломики, тракторные треки, и, конечно, каждый приспособил дома какой-никакой турник — подтягиваться меньше десяти и отжиматься меньше двадцати пяти раз считалось западло. Они с братишкой тоже укрепили и обмотали синей изолентой над огородной калиткой трубу, которая, правда, оказалась хиловатой и сразу прогнулась. Зато батя привёз им из гаража колёса от вагонетки — получилась маленькая такая, замечательно удобная штанга в тридцать килограмм. На переменах все соревновались в объёме напряжённых бицепсов — у кого двадцать восемь, у кого тридцать два сантиметра. Конечно, без мухляжа не обходилось, но настоящей легендой стали сорок сантиметров Вовки Бембеля. Сорок! Хотя, понятно, откуда: у него отец чемпион области по гире, сто сорок килограмм живого веса и маменька тоже весьма внушительная. Когда Бембели купили один из первых пяти привезённых в райцентр «Жигулей», то картина их посадки вызывала ухмылки у всех свидетелей. Так-то «Жигули» машина ничего, не хуже «москвича», но малость хлипковата. И когда первым внутрь её втискивался Бембель-папа, переделанная из импортной малолитражки с резким выдохом оседала налево. Потом рядом плюхалась Бембель-мама, и обрезанный, круглофарый нос грустно тыкался в землю. Положение несколько выравнивал сынок, своими шестью пудами отжимавший задок. Однако Вовка при своих фантастических банках даже «выход силой» сделать не мог.

Мышцы мышцами, но важно и как ты выглядишь. Идеально это клетчатый пиджак с закруглёнными фалдами, клёши до кончика ботинок, широкий, с какой-нибудь особо фигурной пряжкой, ремень. На худой конец, офицерский. А тут, как назло, в школе объявилась борьба с «проявлениями тенденций, позорящих облик советского человека». Учителя каждый урок начинали с того, что, вместо вопросов о домашнем задании, требовали, чтобы галстуки были не яркие, рубашки не цветные, юбки не выше колен. А причёски! Секретарь райкома Мосалов даже попытался устроить специальный диспут о моде и современности, надеясь наглядно и доказательно разъяснить нелепость «капиталистических хиппозных ужимок» в нашей стране. Но диспут,

естественно, у него и у заготовивших цитаты из Чехова и Брежнева классных комсоргов выиграл Серёга Литос, за что на следующий день получил пять, из пяти возможных, двоек. Полный абзац! Пузырёк лично ударился в борьбу с «лохмами». Грозно катаясь на переменах туда-сюда по этажам, директор то и дело останавливал в коридоре какого-нибудь несчастного старшеклассника, командовал «кругом» и, если волосы касались воротничка, вручал двенадцать копеек и отправлял в парикмахерскую. Но, опять же, Литос-то каким-то образом умудрился и патлы отрастить так, что они почти закрывали уши, и Пузырьку не попадаться.

Димка Власин подговорил Олега, чтобы, когда будут расходиться «с брёвен», вместе пойти провожать Вику Лазареву и Ленку Бек. Хе-хе, наверное почти отличнику Димке занравилась круглая отличница Ленка оттого, что, как и он, она легко усваивала точные науки. Родство душ, хоть и на класс младше. Шутка, конечно. А что Олег? Это же только так, для товарища, поддержать компанию до автовокзала. Почему нет? Ну, и начинать с кого-то всё равно нужно, иначе ребята скоро смеяться станут. Собственно, Вика ничего, на лицо симпатичная, только для своих пятнадцати совсем дохленькая, ножки как спички. С Устюжаниной не сравнить…

Пока перебредали грязь, Лена шла под ручку с Викой, а Димка с Олегом в двух шагах за ними громко шуршали одинаково коричневыми болоньевыми куртками. На сухом перестроились, и Димка с Леной пошли вперёд, всё более отрываясь. Олег, касаясь локтем Викиной руки, угрюмо сутулился, никак не находя нужную тему разговора. Хорошо, что в темноте не видно, как он, наверное, дико покраснел. А о чём ей будет интересно? Опять, что ли, по Золотую бабу? Как тогда, в детстве?

Предстоящая луна приподнялась и побледнела. Редкие уличные фонари кругами выжелтили под собой доски тротуара, рельефно лепя зубцы штакетника. От фонаря до фонаря — метров по пятьдесят, а то и сто кривых прерывистых лунных дорожек в колеях проезжей части. Вика шагала мелко, и Олег периодически притормаживал, стараясь идти рядом, но не прилипать. О чём бы заговорить? Ну? Ну? Всё равно, лишь бы не молчать, как идиоту. О чём же заговорить?!

— Олег, а ты на каникулах что обычно делал? — Вика точно так же, как и он, упорно смотрела прямо перед собой. И голос ровный-ровный.

Что отвечать? Тут, в деревне, все развлечения — рыбалка и охота. Кроме кино. Это она везде поездила, мир посмотрела, а ему в Томске только один раз довелось погостить.

— Так ты охотился? А как? На кого?

— Чаще капканами. И петлями. На Старой Анге зайцев и колонков зимой ловил. Там у нас леший фартовый.

— «Леший фартовый»? Это как? — Она впервые скосила на него глаза. Неужели тема?!

— Ну, ему же все звери подчиняются. Лесному деду. Как бы тебе это объяснить? В каждом урочище есть свой хозяин, он там за всем следит — и за деревьями, и за животными. Вроде егеря. Всё совершенно как у людей, поэтому у одного полный порядок, а у другого… «Федорино горе». Вот наш, который за Остяцкой горой, очень хозяйственный, у него всего всегда взапас. К тому же ещё и в карты удачливый. Что, ты не знала? — лешие же страсть, как азартны в подкидного играть. На интерес. Они в карты совсем больные, могут проигрываться до последнего. А на кон обычно белки и зайцы ставятся.

— Смешно! Ты так говоришь, как будто в самом деле веришь.

— Так чего верить, когда это правда! Охотники сколько раз замечали, как иногда все зайцы разом перебегают с одного места в другое.

— Сказки!

— Никакие не сказки! В тайге довольно часто бывают миграции, ничем внешне не оправданные. И корм есть, и всё как обычно, а звери уходят. Вроде без причин, а, на самом деле, потому, что их один хозяин проигрывает другому. Кстати, сама почитай — я тебе журнал дам — в тысяча восемьсот пятьдесят седьмом году наши сибирские лешие проиграли российским всех белок. И через Урал пошёл живой вал, белки тысячами пробегали через сёла и города, так что, прыгая по крышам, даже падали в трубы. Зафиксированный факт!

Вика заливалась тоненьким колокольчиком.

— Лешие… сибирские… проигрались…

Олег тоже ухмылялся, но другому. Молодец он, здорово нашёлся.

— А какие они, лешие? Маленькие, как домовые? Я один раз домовёнка видела.

— Ничего себе «маленькие»! Это ты лесных с полевыми путаешь, насмотрелась мультиков. Полевой — да, он как ребёнок, в высокой траве может спрятаться. А лесной, о-го-го,— высотой метра три-четыре, весь в белом, в широкой и высокой шляпе. Борода и волосы длинные, седые. Нос здоровенный, и брови очень мохнатые.

— Как Лев Толстой. Ты будто сам видел?

— Не я, дядя Коля. Он на отбившегося лосёнка позарился, хотел поймать, погнал через кусты и лесному прямо чуть в живот не ткнулся. Тот на него как рявкнул, так дядю Колю потом несколько месяцев от немоты заговаривали.

— А что он… такого рявкнул? — Теперь они смеялись вместе. Смотрели друг другу в глаза и смеялись.

— Этого никто… не знает. Леший, он же… ну, гунгливый, то есть говорит всегда неразборчиво. Как с полным ртом.

— В точности Лев Толстой!

Никого не встретив, они прошли мимо тёмного клуба, детской библиотеки, школы. Вот и автовокзал. Напротив — белокирпичный дом с двумя

рядами неровно светящихся различными шторами окон. Три с угла — Лазаревские. Два розоватых, а одно моргающе-голубое — телевизор. Всё, можно прощаться?

— Ты что, Олег? Так странно вдруг улыбнулся.

— Вспомнил вдруг: вчера над Обью лебедей видел. Знаешь, они, когда летят, громко трубят, перекликаются. Звонко, как горны, но с нежностью: «Гонг-го, гонг-го»…

— С тобой интересно. Даже расставаться не хочется.— В её глазах влажно растворились оконные разноцветья. Действительно, красивое лицо.

— Ну… а… пойдём завтра на танцы?

Ох, и дёрнуло же его!

— В клуб? Я ещё ни разу там не была. Пойдём! Я и Лену позову. Хорошо?

Дёрнуло же!

Танцы в школе всегда приурочены только к каким-то конкретным мероприятиям или датам, а в клубе по пятницам-субботам-воскресеньям они постоянно. Но ходить туда… непросто. Почти обязательно кто-нибудь из поддатых «стариков» привяжется, покобенится, постращает в своё удовольствие. Ударить, может, и не ударит, но настроение на весь вечер испортит. А «молодым» нужно терпеть, не отвечать. Так уж сложилось. И никакая сила или кодла тут не поможет, ибо все старшие всегда против всех младших. Самое надёжное приходить в компании тех, кто уже в армии отслужил, опять же ты сам для них получаешься такой же обузой, как тебе Лёшка с Кулаем. То ли дело Сашке Маллеру — у него и отец, и старший брат милиционеры, поэтому он в клубе с восьмого класса ошивается. И с девчонками уже танцевал.

Всё начиналось с крыльца. Высокое, во всю ширину фасада, под поддерживаемым брусовыми колоннами портиком, на нём загодя тусуются на «кто чьи», чтоб сразу понятно — больше ли сегодня пришло «совхозных» или «береговых», а то, может, кое-кому и вовсе заходить не стоит. «Береговые» — это и с берега, и с горы, и с кирпичного завода, все, кто справа от клуба, построенного ровно в центре. Их отличало ношение модных покупных пиджаков в клетку, полосатых нейлоновых рубашек и, в последнее время, широких галстуков. Особый писк — брюки заглаживались сзади по икре на три стрелки. «Совхозные» одевались по-старинке: в длинные, почти до колен двубортные пиджаки местного пошива, с двумя разрезами по бокам и большими железными пуговицами, в цветастые, расстёгнутые на груди, рубахи. У некоторых пиджаки, лишаясь протёртых на локтях рукавов, перешивались в жилеты, получалось точь-в-точь как у пиратов с острова сокровищ. На клёши они пристёгивали брошки и цепочки. А ещё «совхозные» почти пополам делились на немцев и остальных. Приходили на танцы ещё с хлебокомбината, но те как-то сами по себе, мирные, и к ним не лезли и они никогда на чужой территории не выделывались.

Рассортировавшись на крыльце, потом все так и танцевали — нижние, более дерзкие, возле эстрады, верхние, берущие числом,— справа около окон, хлебокомбинатовские — посредине. Но так, чтобы кто-то с кем-то не перемахнулся, почти ни одного вечера не случалось. Поэтому покурить всегда выходили человек по пять-десять, не меньше, особенно если у кого не закрыты счёты. Это вам не школа, где всегда только «двое в драку, а третий в сраку» и до первой крови или слёз.

На афише «завтра» — «Табор уходит в небо». Кино никто не видел, но все уже знали, что там голую цыганку покажут.

— Привет, молодой! — Олегов пятиюродный дядя Женька Литвиненко, хоть и женатик, но, пока бездетный, ходил с женой на танцы постоянно. И зачем?

— Чего «молодой»? Я уже девять месяцев как паспорт получил.

— Ого! Ну, прости, старик, я не подумал.

Не задерживаясь на крыльце, Олег и Димка проскользнули внутрь. Хорошо, что у кассы столпились «береговые». Поздоровавшись кое с кем за руку, купили билеты и осторожно вошли в зал.

«У той горы, где синяя прохла-ада, У той горы, где моря перезво-он…».

Видимо, это не стихающий уже несколько дней, тёплый юго-западный ветерок, разбудивший по южным склонам мохнатые синие подснежники и подавший сигнал движению берёзовому соку, надул сюда стольких желающих потанцевать. В самом деле, толпища, будто государственный праздник какой-то. Воздух, крепко напитанный «Русским лесом» и «Ландышем серебристым», казалось, не только светился, но и грелся от двух старых, тёмно-бронзовых серпасто-молоткастых двадцатирожковых люстр, нависавших с высокого потолка, растрескавшегося ровно напополам. На эстраде проигрыватель, магнитофон, усилитель, несколько больших, обклеенных по бокам вырезками из журналов колонок перепутаны разноцветными проводами. Распоряжался этим хозяйством Толя Кулик. Сам с ноготок, голова с чугунок, тощенький, с перетянутой, как у муравья талией, и пышными чёрные кудрями до плеч, почти как у Анжелы Дэвис, казалось, что он вот-вот перевернётся под их тяжестью. Толю все в райцентре любили и уважали — он старательный до самопожертвования, самолично то и дело гонял в Томск на «толчок» покупать новые пластинки и магнитофонные записи. Сам паял, ремонтировал. Поэтому у него всегда звучало самое последнее из советской и зарубежной эстрады.

«У той горы, где синяя прохла-ада…»

Оглядываясь, Олег с Димкой притулились у дальней стены, где с облегчением столкнулись с Маллером.

— А вы чего тут? — На Сашке братова милицейская гимнастёрка без погон и широченные чёрные клёши — тоже братовы, ещё флотские, с пришитыми для красоты внизу крупными, в два провиса, жёлтыми цепочками.

— Да, с бабами договорились. Ты никого из наших не видел?

— Не, с «брёвен» никого.

— Подождём. Куда денутся.— Димка равнодушно прищурился поверх танцующих.

— Пошли, что ли, пока разомнёмся?

— Да, ладно, успеется.

Олег и Димка с завистью смотрели на Сашку, который сходу встроился в круг взрослых и самодовольно задёргался, шейкуя наравне со всеми, нисколько не стесняясь. М-да! Кто знает, как уж там Димка, но Олег сегодня полдня провертелся перед зеркалом. Лишь только родичи выходили, он тренировался, тренировался, забивая перед маминым трюмо в тело непривычные движения, которые недавно подсмотрел у новенькой математички. Маленькая, вёрткая, сама ещё недавно из института, Наталья Васильевна — Натали — заманивала старшеклассников в свой открывающийся кружок тем, что, кроме «полечки» и «хололо», обещала научить современным танцам. Олег бы пошёл, но надо же кого-нибудь ещё сблатовать. Из пацанов.

«Всё свершилось просто бы, просто бы, просто бы, Двести лет назад, а может быть и сто…» На следующую мелодию разогретая толпа неохотно отжималась к стенам, так как вальсирующих набралось только четыре пары. Но зато одна — их математичка Натали и Толя Кулик. Одного ростика, до смешного тощенькие, они так ловко закружили и завыделывали разные невиданные фигуры, что вскоре другие пары остановились и вместе с остальными только восхищённо следили за умелыми танцорами. Длинные подшагивания по диагонали сменялись резкими, неожиданными вращениями в разные стороны, расхождениями и схождениями, паузами жеманно-причудливых поз. «За одни глаза тебя б сожгли на площади, потому что это колдовство…». Ну, обалдеть! Всё, замётано, Олег и Димка в кружок идут.

«В свой вагон вошла она, Улыбнулась из окна»,— опять по залу разнобойными волнами заколыхались разновеликие кучки разномастных голов. «Поезд тронулся, а вслед, Лишь рукой помахал я в отве-ет…».

В их и так сжатую, толкаемую со всех сторон стайку из почти одних школьников робко втиснулись Вика и Лена. На Вике была белая пуховая кофточка с вывязанными плетёнками и серебристо-блестящие, широко клешеные брюки. Свободно отпущенные по плечам, с лёгкой золотинкой, волосы, чёрно подкрашенные, сияющие диковатой смесью робости и восторга глаза, ало припомаженные губы. На мгновение взгляды сомкнулись. Серо-зелёный её и зелёно-серый Олега. И оба вспыхнули. «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся… а мне не везёт в этом, просто беда, ну, просто беда…» Пока Толя Кулик менял пластинку, толпа вновь неохотно отступала от центра. Вика, продолжая быструю переглядку с Олегом, отошла в девчачью компанию. Красивая, она же такая красивая! И чего он, идиот, на самом-то деле, клинился на Устюжаниной?

«Песни у людей разные. А моя одна на века…» — всеобщий выдох, и в одну минуту, наперегонки обходя друг друга, пары заполнили всю танцевальную площадку,— «Звёздочка моя-я ясная, Как ты от меня далека-а…» Они чуть скорее, чем сами это осознали, сомкнулись в полуобъятиях и, от густоты незбежных чужих касаний и покачивания полутора сотен пар, всё ближе и откровеннее придвигались друг к другу. Олег закостенел от холодка её волос, чуть щекотнувших его вчера впервые выбритую щёку.

Необходимо было отдышаться, и он, потеряв бдительность, вышел на крыльцо один. Отирая пот наодеколоненным дома платком, Олег после яркого освещения зала слепо глотал сумеречную свежесть и, когда потянули за отворот пиджака, даже не сразу сообразил, кто это и что это. Инстинктивно отклоняясь, пропустил мимо лица размашистый кулак, и Яшка Паульзен, потеряв равновесие, пьяно повалился вслед своему промаху.

— Ты чего, молодой? На старших руку поднимаешь? Да за такое… — С двух сторон к Олегу двинулись Ваня Бендер и Гриша Гейзель. Они тоже были крепко датые и целенаправленно настроены на законный кураж, так как догуливали последние денёчки перед призывом.

— Ваня, ты чего? Я же не бил! Я только увернулся.— Отшагивая спиной, Олег оступился и, чуть не полетев со ступенек, неловко запрыгал вниз на одной ноге, ловя воздух руками. Ваня прощающе хмыкнул:

— А чего ты уворачивался? Потерпел бы, не помер. А теперь иди, иди подальше, иди, пока, в самом деле, не схлопотал.

— Ах, ты, мать твою! — Поднявшийся с помощью Гейзеля Яшка опять, было, рванулся в бой, но Ваня перехватил его порыв, сильно крутанув за рукав на себя. Однако, когда вслед за Яшкой на него намотался и Гриша, не удержался, и будущие защитники Родины, все вместе, кряхтя, морщась и матерясь, как-то медленно прокувыркались с крыльца мимо Олега.

Вот освежился, блин.

То, что Яшка ему так не оставит, Олег нисколько не сомневался — не настолько тот был пьян, чтобы не запомнить свою оплошность, нет, он на крыльце больше наигрывал, чтобы не так позорно выглядеть. Вообще, из пяти братьев Паульзенов, старшему из которых почти тридцать, он самый младший и самый говнистый. Вечный второгодник, к восемнадцати годам кое-как закончивший восьмилетку, Яшка даже в школе предпочитал измываться не над своими одноклассниками, которые и так на пару-тройку лет были моложе, а над теми, кто ещё и учился младше. Дохляк-недоросток, он, чуть что, прятался за четверых таких же мелких и злых «брудеров», которые стеной стояли друг за друга. Дрались братья слабо, но, как бараны, просто бросались на обидчиков, тупо терпя разбитые носы и зубы, и поэтому с ними просто старались не связываться, так как всё равно дуракам ничего не докажешь.

Если кто-то где-то куда-то шёл со своей девушкой, его железно не трогали. «Совхозный» ли провожал «береговую», «береговой» ли

«хлебокомбинатовскую»,— можно было неспешно пройти по чужой территории, постоять у калитки, безалаберно и весело болтая, томно пошептаться и подождать, пока она войдёт в дом. А вот затем как повезёт.

Чем дальше от клуба, тем меньше парных теней, сопровождаемых рубиновыми огоньками папирос и пощёлкиванием каблучков по доскам тротуара. После горячки танцев на улице знобило. Да и погода за три часа переменилась. Небо, перекрытое сиренево-пепельной рябью, быстро гонимой порывами северного ветра, то и дело роняло редкие-редкие запоздалые снежинки. Бель лужиц и чернота грязи подёрнулись тончайшей ледяной корочкой, и снежинки скользили по ней, собираясь полупрозрачными пенками по вмятинам и закуткам. Эх, только-только понежились, и вот опять заморозки. А как там бедная горихвостка? После Африки? Димка с Ленкой давно завернули на Маркса, и к автовокзалу Олег с Викой подошли одни. Раскачиваемый ветром фонарь скрипуче жаловался на вернувшуюся непогоду и на своё одиночество из-за нерадивости электриков, сердито пророча скорое угасание и самому себе.

— Ну, до завтра!

— До завтра? — Она, наверное, ждала от Олега чего-то большего, чем вот такое простое прощание, но….

— В школе увидимся.

— И?

— И…

— Всё, тогда пока! — И забежала в подъезд.

Да! Да! Да! Можно было бы, конечно, даже нужно было зайти вместе с ней и ещё поболтать, пошептаться, а может, даже и что-то ещё на тёмной лестнице. Да! Но тогда братья Паульзены подошли бы вплотную, заперев Олега в ловушке: не поворачивая головы, краем глаза он давно отследил терпеливо курящих в тени вокзала. Теперь же между ними было не менее тридцати метров форы, и когда хлопок двери заменил выстрел стартового пистолета, в догонялки они ломанули одновременно. «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся… а мне не везёт в этом, просто беда… ну просто… беда…». К сожалению, бежать пришлось в противоположную от дома сторону, а так-то ничего, преимущество некурящего и непьющего было несомненным.

На следующий день даже мельком поговорить не удавалось — всё время рядом кто-то вертелся, да и не особо тянуло афишировать самое начало их дружбы на бурлящих разновозрастной дурью переменах. А после уроков в раздевалке к нему подвалил семиклассник Вовчик Бендер, брат Вани, и, важно зашептал:

— Олег, слышь, тебя Паульзены ловят. Двое с главного входа, трое с заднего. Ты бы с кем-нибудь из учителей вышел?

— Да, ну. Обойдусь. Яшка-то где?

— С главного. Прямо на крыльце. Смотри, а то, давай, скажи, я кого из ребят свисну. Маллера и Килю?

— Спасибо. Я же сказал — обойдусь.

— Как знаешь. Моё дело предупредить.

Яшка, самодовольно улыбаясь, шаркал вразвалочку, за ним Олег, а замыкал самый старший, двадцатисемилетний Паша-Пауль. Под любопытствующими взглядами младшеклассников они прилично отошли от школы, прежде чем началось докапывание. Олег оправдываться не собирался. Зачем? Всё равно всё всем ясно. Он безответно выслушивал пахнущий перегаром словесный понос, весь, какой только могла выдать крохотная, обтянутая серой конопатой кожей черепушка, и тосковал: нужно было сначала выслушать, после вытерпеть пару зуботычин, и только потом уйти. Таков закон.

И Олег бы его исполнил.

Но, когда он, зажмурившись, принял первый шлепок, совсем рядом, за его спиной раздался искренний крик:

— Да что же вы делаете?! Не троньте! — у Ольки Демаковой даже слёзы от возмущения выступили.— Оставьте его, сволочи!

— Пошла на хрен! — Успел тявкнуть Яшка, прежде чем Олег четыре раза подряд влепил ему с обеих рук. Не ожидавший такого, лёгкотелый Яшка с первых двух ударов откачнулся на край тротуара, а потом, удивлённо разведя ладони, смачно и глубоко сел в жидкую грязь. Зависла пауза, в которой даже яростно чирикавшие в клумбовой ели воробьи испуганно затаились.

— Ты?.. Меня?.. Второй раз?

— Первый.

— Ты?.. Моего брата? — Начало доходить и до Пауля.— Второй раз!

Олег отступал — Пауль вытащил из кармана ярко заточенную отвёртку. Олег отступал, совершенно не зная, что в таком случае делать, а от школы набегали ещё три Паульзена.

Оля, уронив портфель и зажав уши ладошками, громко визжала, и, эх, если бы не она, то можно было бы сорваться, но тогда б ей точно досталось вместо него.

Пауль, вытянув перед собой отвёртку, близился бочком, а за ним подоспевшие братья за рукава вытягивали из грязи Яшку, у которого из рассеченной губы струйкой хлестала кровь.

Вдруг Олега сзади кто-то крепко взял за плечи и отодвинул к забору. В белесых глазках Пауля во второй раз блеснуло удивление, и теперь уже он, вместе со своей заточкой, плюхнулся в лужу. Двое, одетых в одинаково крытые тонким зелёным брезентом меховые куртки, широкоплечих, длинноволосых парней в два смычка опрокинувшие старшего, через секунду молча валили и остальных «разборщиков». Паульзены поднимались, с яростными вскриками бросались на молотивших их незнакомцев и падали, поднимались и падали.

Забытые Оля и Олег изумлённо минут пять смотрели на тяжёлую, но спорую работу. Здорово! Как в кино. Постепенно братья стали подниматься всё реже, больше отлёживались или отсиживались, пропуская друг друга вне очереди, пока окончательно не скисли и, зажавшись в кучку, только матерились из-под забора.

— Ты, главпетух, ещё раз его тронешь,— более тёмный мотнул мелкими кудрями в сторону Олега,— замочу. Понял?!

Пауль поднял ненавидящий взгляд и хотел чем-то ответить, но получил пинок в зубы. Пыром!

— Но, ты чё? Кончай! Не по правилам так: он же на земле. Чего пинать-то…— законючили остальные.

— Значит, ты понял.

И незнакомые парни, как ни в чём не бывало, пошли дальше.

Пятьдесят «химиков» привезли в райцентр на строительство перекачивающей станции нефтепровода «Александровское — Анжеро-Судженск». В двух километрах от Лаврово поставили в два ряда несколько вагончиков, сколотили барак-баню и барак-столовую для них и вольнонаёмных, организовали комендатуру-надзорку для милиции, возвели дощатые склады, брусовую контору. Потом понагнали экскаваторов, бульдозеров, десяток «Уралов» и «КрАЗов». Вкопали ёмкости под соляру. Когда была забетонирована площадка, с пристани двумя ракетными тягачами-«ураганами» подтащили на салазках огромный трансформатор. И начали капитальную стройку.

«Химия» — всесоюзное название условно-досрочного освобождения или условного осуждения с обязательным привлечением к зачастую вредному или тяжелому труду на объёктах социалистического производства или строительства. Этот вид наказания был связан с этапированием в спецкомендатуру, где заключенный обязан проживать в специальном общежитии и работать на указанном ему предприятии. Выход на «химию» предполагал, что осуждённый «твёрдо встал на путь исправления», то есть по заключению соответствующего сотрудника исправительно-трудового учреждения (ИТУ) перестал быть криминальным. На практике же это означало лишь то, что заключенный сотрудничает с администрацией и не относится к группе отрицательных. Условно-досрочное освобождение совершивших преступление в несовершенном возрасте применялось после фактического отбытия ими не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести; не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление; не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление.

Согласно понятиям уголовного мира, заключенные подлежат кастовому делению — «мастям»: верхнюю ступень занимают «чёрные»–«блатные», ниже

идут «серые»–«мужики», за ними — «красные»–«козлы» и в самом низу «голубые»-«опущенные». Кроме того, каждая каста внутри имеет свою иерархию. Тюремная субкультура чрезвычайно консервативна, вертикальные переходы с повышением статуса практически невозможны. «Блатной» — представитель высшей по статусу группы в иерархии, обычно является профессиональным преступником. Это реальная власть в ИТУ, власть, которая активно противостоит администрации. Любое, даже случайное отношение к госструктурам, её политическим институтам (например, членство в партии или комсомоле), навсегда закрывало перед преступником «блатной мир», какую бы высокую криминальную квалификацию он впоследствии ни приобретал. «Мужики» — самая большая группа заключенных, работающих в зоне на обычных должностях, кроме грязных и административных. Ни на какую власть они не претендуют, никому не прислуживают, но и в дела «блатных» не вмешиваются. «Козёл» — представитель группы, образованной по признаку открытого сотрудничества с администрацией ИТУ. Эта группа выделилась в сообществе заключенных в 60-х годах, до того «козлами» называли пассивных гомосексуалистов. Для основной массы заключенных «красные» являются предателями, коллаборационистами. У представителя самой низшей касты неприкасаемых — «опущенного» нельзя ничего брать, нельзя его касаться, сесть на его нары. Так, человек, даже случайно вошедший в недозволенный контакт, сам попадает в «голубые». Однако хранители воровских традиций утверждают, что наказание в виде перевода человека в касту «опущенных» по «правильным понятиям» недопустимо: касту «опущенных» придумали «органы» и ввели ее с помощью беспредельщиков в тюремный мир. Действительно, администрация ИТУ охотно пользуется институтом «опущенных» для ломки непокорных.

Названия «воспитательно-трудовая колония» (ВТК) и «исправительно-трудовое учреждение» (ИТУ) несут в себе педагогическую заявку, но на практике это более чем насмешка: именно «малолетки» и колонии «общего режима» являются местами развращения или слома личности «первоходочников», где им абсолютно не обеспечена защита ни жизни, ни здоровья, ни человеческого достоинства от «блатных» и «блатнящихся». Истязания, избиения, издевательства, пытки, изнасилования — повседневность ВТК, причём с ведома администрации, с помощью такой «педагогики» поддерживающей порядок, обеспечивающей необходимые показатели и выполнение производственного плана. «Малолетка» — самая страшная часть ГУЛАГа, с самой высокой долей «опущенных», доходившей в 70–80-е годы до трети лагерного состава. Да и «колония общего режима» не зря на воровском жаргоне звучит как «спецлютая».

Существование среди заключённых непреодолимых каст — вековая реальность. Почему же этот столь устойчивый социально-психологический фактор до сих пор не послужил основой для понимания обществом

собственного отношения к своим осуждённым? Почему до сих пор не разграничены подходы к психически неспособным на созидательную жизнь «блатным» и «опущенным» и действительно готовым к покаянию и искуплению своей вины «мужикам» и «козлам»? Ведь очевидно, что если в отношении «серых» и «красных» действуют человеческие понятия «наказания» и «исправления», то к садистам «чёрным» и мазохистам «голубым» применимы только «кара» или «изоляция». Отсюда же объяснима порочность существующей практики амнистий, когда лишь по формальным признакам статей Уголовного кодекса на волю выпускаются неисправимые, в силу врождённых личностных качеств перманентные рецидивисты, воспринимающие окружающих людей только как средство к собственному существованию.

Большую часть прибывших в райцентр «химиков» составляли вышедшие с «малолетки» по достижению совершеннолетия «бакланы» с «двести шестой». Воров, пожалуй, и вовсе не было. Поэтому, нахлебавшиеся в зоне от «блатных» и «шерстяных», бывшие хулиганы достаточно серьёзно относились к работе, без прогулов и кипежа вырабатывали норму, бережно используя каждую возможность выйти «на волю» в магазин, на почту, в поликлинику. Да просто пройтись бесконвойником по жилухе, сняв шапки, расстегнувшись, жуя из бумажного кулёчка халву и слегка подкалывая опасливо косящихся встречных молодух. Так как отмечались они в восемь вечера и на танцы в клуб не поспевали, то все стычки с местными происходили спонтанно, без предварительных заготовок. «Совхозные» попытались пару-тройку раз нажать на «химиков», с колами подъезжая к ним ночами на мотоциклах, но, не сумев достаточно организоваться и встретив умелое сопротивление такими же жердями, сникли. Сникли — с черепно-мозговыми травмами — и немногочисленные собственные приблатнённые, попробовавшие, было, восстановить на стройке зоновские отношения.

Олег стоял на крыльце продмага напротив того злополучного автовокзала. Солнце, отражаясь в окнах придремавшего через улицу жёлтого автобуса, слепило и задиристо щекотало нос. Вот-вот расчихается! Отвернувшись, неожиданно прочитал на зелёном брусовом столбе свежо нацарапанное: «вика+олег=любов». Кто это?! Ну, блин, узнает, руки оторвёт по самую майку! Наверное, какой-нибудь сосунок из её девятого класса. Но, с другой стороны, даже чуть-чуть приятно. Знают. А ещё приятно, что после того случая прошло более двух недель, а на него никто не рыпался. Вообще: ни в школе, ни на стадионе, ни в клубе. Наверное, Паульзены и другие «старики» просто не знали, как к нему теперь относиться, и делали вид, что не замечают.

Через Олега в кентовку к «химикам» прописались и Серёга Власин, и Вовка Халифуллин, Серёга Майборода, Серёга Сурков и Олег Малиновский. Что могло свести и связать семнадцатилетних школьников и

девятнадцатилетних осуждённых? Нет, для подростков эта дружба ни в коей мере не была просто покровительством, просто физической защитой. Гораздо важнее для сельских ребят, готовившихся вскоре покинуть свою малую родину, была открывавшаяся через это общение с мурманчанами, самарцами, душанбинцами, вологжанами и костромичами огромная, пугающая и восхищающая своей безбрежностью география Советского Союза — от Беломорья до Средней Азии. География, которую они, сибиряки, носили в таких разных своих фамилиях, которая томилась и пузырилась в их генетических запасниках родовой памяти, неясно бередя сны и маня фантастическими видениями. А для обожжённых, покалеченных зоной парней в этих чистых, наивно-доверчивых мальчишках, наверное, открывалась возможность ещё чуть-чуть, капельку-капельку доиграть не доигранное, дотянуть так неудачно оборванное собственное детство. Болтая и дурачась за бутылкой мутного дагестанского портвейна, ходя на дневные сеансы и обмениваясь книгами, гоняя в футбол или шутливо-бережно злоязыча с девчонками из их классов, «химики» категорически избегали темы «блатной романтики». В какой-то неловкий момент умело замыкались в свой непередаваемый, страшный опыт, куда поднимавшие лишние вопросы «молодые» попасть не могли. За той границей тоже шла активная жизнь, но это уже со взрослыми парнями, мужиками и тётками, работавшими на нефтепроводе, с вороватым начальством, блатнящимися бригадирами, алчными ментами и затасканными шлюхами, где королили совсем другие, совсем недетские ценности.

Заступившиеся за Олега Вовка-Кефир и Вовка-Татарин никогда не расставались, более того, похоже, что и думали они практически синхронно, хотя внешне препирались по любому поводу. Вот и сейчас, выходя из магазина, опять горячо спорили. В руке у Татарина побрякивал Олегов портфель, в котором учебники заметно теснились двумя огнетушителями «777». Он всё пытался всучить его Кефиру, но тот предпочитал нести свой тяжеленный красно-белый «Романтик» только потому, что Татарин купил не тот сырок, какой он просил. И что за проблема — «голландский» или «перечный»?

За ними к дверям, тяжело дыша, прислонилась грузная старуха в зимней пуховой шали. Прикрывая лоб пухлой ладонью, она поочерёдно слепо всматривалась в их лица.

— Ты, мать, чего-то хотела?

— Откудаво, ребятки, будете?

— Кто как. Он из Ярославля, я из Астрахани. А что?

— Издалече. Вот, надо же, дожила я до новых ссыльных.

— «Ссыльных»? Ты, мать, нас за декабристов, что ли, принимаешь? Мы ж не политические.

— Не я, сынки, а Сибирь вас принимает. Декабристов, не декабристов. Она всяких местом наградит, ей просторов ни для каких не жалко. Нате-ка, возьмите конфеточек.

16.

Вика легко поднималась по краю осыпающегося пластами глинистого крутика, нависающего над расквашенной долиной недавно вошедшей в берега Полы. Молодая светлая зелень только что распустившихся развесистых берёз на фоне сплошной ивовой сизости низинки истекала в ясный, почти безоблачный полдень вяжущей слюну духовитостью. Старая коровья тропка просохла, но отросший по обеим сторонам папоротник поблёскивал сохранёнными в тени розовыми росинками. Худой шмель сердито метался под ногами взад и вперёд в поисках неприметных сибирских ирисов. Вот дурашка, они там, левее! Вика почти дошла до Заполоя, когда вдруг расхотелось видеться и с Олей, и с её бабушкой и дедушкой. Расхотелось — и всё! Сама не зная куда, она просто повернула влево от мостика и пошла, пошла по бровке вдоль заросшей ивами долинки-култука со сплошь лимонными полянами распустившейся куриной слепоты, мимо растерзанных дятлами берёзовых скелетов, всё дальше и дальше в сгущающийся листвяник. Куда? Ну, так повела эта тропинка.

Однако за плавным, протяжным поворотом дорожка нежданно оборвалась, пресекшись неглубоким, но крутым овражком, по заваленному буреломом, пышисто хвощаному дну которого в Полу сбегал красно-рыжий журчавый притёк. На той стороне овражка начиналась негустая еловая таёжка. Наверное, Вика вернулась бы, но там, промеж разновеликих ёлок щедро пылали оранжевые жарки. Если смочить платок в ручье, то цветы можно было бы донести до дома живыми. Поставить букет на письменный стол и наблюдать, как вечером лепестки сожмутся вокруг пестика, чтобы вновь раскрыться на рассвете. Ярко огненный, крупно осыпающийся факел на тёмной полировке стола. Да! И она сбежала вниз в падун, придерживаясь за ветви завалившихся полумёртвых ив.

Вместо тропы дальше был след. Вытоптанный рыбаком или охотником в разряженной хрупкой сныти, он также упорно вился между хвойными островами, заполненными птичьими хлопотами. Крохотные корольки, необычно яркие воробьи-овсянки и блеклые гаечки — чего-чего, а насекомых на прокорм тут хватало с избытком.

А вчера они впервые целовались. В школьном саду, под уже осыпающейся, но ещё головокружительно дурманящей кипенью черёмух. Тёмное небо сквозь частые листья влажно искрилось разноцветными звёздочками, и первые мелкие комары безнаказанно кусали и кусали ненамазанные ноги. Сад чуть слышно шуршал, шепеляво шевеля верхними лёгкими ветвями, засыпая головы и плечи крохотными белыми лепесточками, и где-то совсем рядом, в нерасцветшей ещё плотности сирени выдавала свои счастливые трели малиновка: «Ти-та, ти-та, ти-тии. Ти-та, ти-та, ти-тии». А они целовались. Сколько Вика ни готовилась к «этому», сколько ни представляла «это», но «оно» получилось как-то не так. Немного скомкано, немного… ну,

экспериментально. Вика, закрыв глаза, подставляла лицо, отвечала губами и — внимательно вслушивалась, вчувствовывалась в собственное тело. Как бы со стороны. Точнее, как-то изнутри. И что? Было чуть-чуть щекотно, чуть-чуть удушливо. И очень тревожно. Самым приятным ощущением оказались сильные объятия. А ещё вначале мешал нос. Холодный нос. Меж горячих щёк.

«Ти-та, ти-та, ти-тии. Ти-та, ти-та, ти-тии».

Но всё равно, всё случилось прекрасно, чудесно, сказочно!

И главное, «это» теперь уже было: они целовались.

Бежево-серебристый нарост замшевого гриба мощно, в обхват надломленного непогодой тополя, опоясал затрухлявевший остов, успевший напоследок выпустить десятки молодых побегов. Остановившись, она осторожно погладила это чудо. Холодное шершавое чудо. И услышала трубно звонкое и одновременно нежное: «Гонг-го, гонг-го!» Звук раздавался близко, очень близко — за полупрозрачной ширмой мелкого тальника. «Гонг-го, гонг-го!» — повторилось широко и пронзительно. И хлюпающие удары по воде. Вика, задержав дыхание, сделала несколько медленных неслышных шагов, попробовала что-нибудь увидеть сквозь тонкие, пружинистые прутья, выпустившие парные узкие листья. Подождала. Нет, отсюда не видно и не слышно, одно комариное зудение. Ещё глубже протиснулась в заросль, пачкаясь серой жирной пыльцой, приподнялась на полупальцы и — о, да! да! — увидела на тёмном, криво вытянутом зеркале чвора двух белоснежных птиц! Это сплошь заросшее водокрасом и многолетними листьями кубышек озерцо, из которого вытекала Пола, запрятанное в утопистых берегах заболоченной согры, словно серая неприметная раковина, вот так близко, в каком-то километре от людей, таило и лелеяло волшебный живой жемчуг.

Белая пара неторопливо плыла вдоль дальнего берега, царственно высоко держа головы с жёлто-чёрными клювами. Изысканные линии округлых крыльев, острые флажки хвостов. И шеи. Лебединые шеи.

Первый лебедь приоткрыл, а потом разом полутораметрово распахнул могучие крылья и, приподняв над водой широкую грудь, откинул голову и вострубил. Звенящий звук, отразившись от чуть колышущейся, непрозрачно-тёмной плёнки чвора, широко разнёсся и вознёсся под густое синее майское небо, часто подпёртое острыми упругими тычинами чёрных елей. А в ответ оттуда, с холодного неба, стремительный прорыв ветерка в одно дыхание вырябил блёстками узкую длинную дорожку.

Ветка под рукой треснула, Вика ойкнула, ловя равновесие, и лебеди, разом повернув головы, напряжённо всмотрелись и, развернувшись, быстро поплыли в дальний угол озерца, сердито выговаривая друг дружке: «Клик-клик-клик, клик-клик». Выравниваясь, Вика хрустко шагнула из тальника к самой воде. Топкий бережок, поросший белокрыльником и калужницей, полукружьем охватывал маленький, но явно глубокий заливчик, сором примыкавший к длинному, чуть кривому овалу лесного озера. Лебеди спрятались в

прошлогоднем буром тростнике, и чвор сразу омертвел. Обычное болотное блюдце. И всё даже как-то потемнело: отстоявшаяся, чёрно-рыжая вода до мелочей срисовала раздёрганное облако, одиноко выплывшее на середину неба и перекрывшее солнце. Неужели всё? И даже не верится, что она только что наблюдала здесь царскую чету кликунов.

Со дна на поверхность выскользнула серебристая цепочка мелких пузырьков. Они вздувались и лопались с лёгким, клокочущим смешком. Несколько секунд тишины, и новый смех вспенился ближе к берегу.

Осторожно, чтобы не зачерпнуть в сапоги, Вика заступила в ледяную воду и склонилась к своему отражению. Её голубая куртка в окрашенной железом и илом воде странно преобразилась смутно белым. И волосы вдруг самовольно разбежались длинными прядями вокруг как-то неузнаваемого, незнакомого её лица. Чем внимательнее Вика всматривалась в неясное, кривящееся зеркало, тем более цепенела, не в силах ни выдохнуть, ни просто откинуться, оторвать взгляд от воды. Тело, каменея, отказывалось слушать уже и не команды, а просьбы, мольбы отчаянно цепляющегося за ненужность, опасность веры в столь невозможное, меркнущего сознания. А навстречу из глубины, сквозь растворяющиеся остатки реального отражения, всё явственней всплывал образ девушки непередаваемой красоты. Длинноволосая, в свободной белой рубахе, она лежала «там» с закрытыми глазами и чуть улыбалась уголками плотно сомкнутых губ. Жёлтые цветы кубышек колыхались в зеленовато-русых локонах. Красный, с блеском, плетёный поясок мелкими складками обжимал тонкий белёный лён под просвечивающими сосцами. Когда до поверхности оставалось совсем немного, девушка вдруг широко открыла светло-ледяные глаза и медленно-медленно приложила палец к бледным губам.

Солнце вывалилось за край тучки, щедро зарябив брызжущими зайчиками подкову залива.

— Ма-ма… Мамочка-а!! — выдох прорвался криком, и, распрямляясь через боль, Вика спиной отшагнула к берегу, зачерпывая обоими голенищами. Отступая, она видела, как её подводный двойник вновь погрузился в чёрно-рыжую непроглядность. И услышала пузырящийся смех.

Отдышаться удалось только за овражком, в березняке. Обняв ствол, прижалась влажным лбом к шёлковой, взорванной нутряными токами, коре. И рассмеялась.

— Сказка. Почудилось. Просто почудилось.

Из-за заовражной таёжки дальне прозвенело: «Гонг-го, гонг-го».

— Нет. Этого не может быть. Не может.

Вика смеялась и смеялась, выкашливая, выталкивая из себя холодные, липучие комочки страха.

«Выбежала сестрица в чистое поле и только увидела: метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за тёмным лесом. Тут она догадалась, что это они унесли

её братца. Про гусей-лебедей давно шла дурная слава — что они пошаливали, маленьких детей воровали».

А почему? Почему белые птицы служили нечистой силе?

Если вспомнить, что Баба Яга Руси и Золотая баба Оби, Яма и Кали, Деметра и Артемида, Геката и скандинавская Хель — все наследницы единой Праматери Кибелы и что Баба Яга когда-то была не ужасной злодейкой, а строгой Матерью рода, подвергавшей юношей испытаниям инициации, то «похищение» братца уместно увязать с ритуалом этого его посвящения в мужчины. По А. Мазину, «лебеди являются неотъемлемой частью шаманских обрядов, и считалось, что именно они несут душу шамана в нужном направлении». В этом «нужном направлении» Ермаку-Василию Аленину его ручные лебеди указывали путь в Зауралье. И в «Калевале», в подземном царстве старухи Лоухи, на реке Туони плавает волшебный лебедь.

Образ лебедя летит через историю — от петроглифов Онежского озера и лебедя-ковша III–II тысячелетия до нашей эры, со Среднего Урала, от полтавских древних огневищ, что окаймились вырезанными из земли и раскрашенными в белый цвет двухметровыми фигурами лебедей VI–V веков до нашей эры, до «гуськов» современных олонецких крыш. На шумерской стеле XXII века до нашей эры, рядом с богинями, изображена крупная водоплавающая птица. Гусь был священной птицей древнеегипетской Исиды, у греков Аполлон улетал на зиму в свою Гиперборею по небу в колеснице, запряжённой лебедями. Среди археологических находок изображение солнечного колеса, влекомого лебедями, встречается у этрусков и в местах расселения западных славян.

Птицы и кони — по А. Афанасьеву — обычные метафоры ветра. Б. Рыбаков указывал, что в прикладном искусстве древности идея суточного движения солнца выражалась при помощи животных: днём светило везут по небу кони, а ночью по подземному океану утки, лебеди, гуси. А при прохождении из мира Дня-жизни в мир Ночи-смерти никак не миновать вратарницу Бабу Ягу. Вот и служат ей гуси-лебеди, и пасутся у неё волшебные кобылицы. Об этом же говорит сравнение коней с речными птицами и в ведическом гимне коню, и смысловая взаимозаменяемость коней и гусей-лебедей в русском прикладном искусстве.

Замыкая время, сказочные кони часто сами становились крылатыми. Эпос тюркоязычных народов сохранил образ *тулпара*. Летающими *тулпарами* были конь Алпамыша Байчибар и Гыр-ата народного героя Кёр-оглы. Но, кроме того, Гыр-ата ещё и «водяной конь», вышедший из моря. Кстати, как и крылатый конь воеводы Момчила Ябочило, из южнославянского эпоса, тоже происходит от жеребца, жившего в озере. И у этих коней всегда были лебединые шеи.

В лебедя превращался Белобог. Культ лебедей, по свидетельству этнографа Кайдаша, сохранился в славянских землях и после принятия христианства. Так, в областях Русского Севера еще недавно существовал

обычай в день Рождества Богородицы — двадцать первого сентября выпускать на волю лебединую пару. С. Токарев писал: «Самой священной птицей считался в народе лебедь. Есть поверье, что эта птица была прежде женщиной. Стрелять лебедя грех, говорили на Севере, это поведет к беде». По немецким народным верованиям, в лебедей превращались души юных дев, особенно чистых и добродетельных. Почитание лебедя отмечено у бурятских родов, башкир, казахов, туркменов, киргизов и шорцев. У якутов, зырян, гиляков, селькупов и эвенков лебедь также священная птица. Его считают в прошлом человеком сибирские угры и кумандинцы, а остяки, нганасаны, селькупы — божеством. Для айнов лебедь — «дух снега». У кетов Мать-Томэм, совсем как наша Царевна-лягушка во время танца, весной выходит на берег Енисея и потрясает рукавами над рекой, и сыплется из них пух, и превращается в гусей, лебедей, уток, улетающих на север. Монголы верили, что первые люди были сделаны из лебединых лап.

«Тогда пущает (Боян) десять соколов на стадо лебедей; которые дотечаше, та преди песнь пояше…» А далее «въстала Обида в силах Дажьбожа внука, вступила девою на землю Трояню, всплескала лебедиными крылы на синем море у Дону…».

Валькирии, вилы, самовилы… Лебединые девы — любимые героини славянских и германских народов — живут и в других культурах по всей Евразии. Многие княжеские роды славян, монгол, угров и тюрков выводят себя из лебединого тотема. В древнеиндийском сказании о Пурурвасе и Урваши смертный Пурурвас имел женой лебедь-деву апсару Урваши; от белой вилы, пойманной кралем Вукашином у студеного озера, родились Марк Кралевич и его брат Андрияш; женился на Настасье-Лебеди белой и русский Михайло Потык; созвучно этой легенде предание о генеалогии полян Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди.

Согласно «Младшей Эдде», Веланд вместе с двумя старшими братьями подстерегли у озера трех валькирий, сбросивших свои лебединые одежды, и, украв их перьевые сорочки, принудили их стать своими женами. В киргизском эпосе сын Манаса Семетей добывает лебединую деву — дочь афганского хана Ай-Чурёк, а у казахов род Едигея (из которого князья Юсуповы и Урусовы) ведется от мусульманского народного святого Баба-Тукласа, что, совершая омовение у источника, увидел трех лебедей, сбросивших платья и превратившихся в прекрасных женщин. Святой похитил одежду младшей из них, и она согласилась стать его женой. Исторический Едигей происходил из племени Мангыт, которое явилось в Среднюю Азию с монгольским нашествием. Скорее всего, сказание о предках Едигея представляет тотемистический миф о происхождении рода «белых мангытов» (ак мангыт).

Лебедь-невеста — постоянный образ свадебных обрядовых песен. «В Москве и по сие время дарят молодых парой живых гусей в ленточках, а даже иногда и лебедей. А в старину на столах княжеских молодым подавали жареных

лебедей. Есть поверье в народе, что только и можно есть лебедей новобрачным»,— писал Забылин в 1880 году.

Дева Обида-Распря-Победа. Крылатая Ника — родная сестра валькирии Сигрдрифы (Sigrdrifa — «возбуждающая к победе»). Прекрасные и воинственные девы, их только силой добывали в замужество… Свадьба и Смерть… Странная, неловкая связь. На Югане, в знак траура по умершему, мансийские женщины носили на голове специальный мягкий обод, который, если родственник умер зимой, снимали только весной — с прилетом лебедей (!), а если летом, то носили до их осеннего отлета.

А ещё Лебединые девы всегда вещие. Своей птичьей ипостасью принадлежа подземному миру, миру потенций обратного времени, они причастны тайнам прошлых смертей и будущих рождений. У древних греков людские судьбы прялись тремя сёстрами Мойрами — Клото, Лахесис и Атропос, которые когда-то были лебедями. В балтийской мифологии в корнях мирового древа Иггдрасиль сидят точно такие же три судьботворящие сёстры-пряхи — Норны: Урд, Верданди и Скульд.

По солнечной стороне живой пульсирующей струйкой вверх-вниз деловито спешили пахучие рыжие муравьи. Вика отпустила ствол, осторожно стряхнула с рукава очумелого солдатика. Вытерла тыльной стороной глаза:

— Почудилось. Просто почудилось.

И нежно-зелёный мир снова зазвучал и расцветился майской ласковостью. Знакомая дорожка успокаивающе возвращала через прозрачный, мелкоперистый папоротник, тонко поблёскивающий сохранёнными в тени розовыми росинками, а под ногами всё так же, как и час назад, в поисках неприметных медуниц сердито метался худой шмель. Рядом по лимонной от куриной слепоты низминке как ни в чём не бывало кривилась лукавая Пола. Вот и мостик. И куда же теперь? В Заполой или домой?

Сверху из выселок, изо всех сил удерживая тяжёлый велосипед, спускалась Оля. Наверное, она совсем не ожидала встретить тут, на полпути от райцентра, Вику, так что даже вдруг приостановилась метров за десять и только бестолково дёргала скатывающийся «Урал», пока он не завалился на бок. Вика помогла собрать рассыпавшиеся мокрые бумажные свёртки домашнего творога. Оля, суетливо укладывая привязанную к багажнику высокую корзину, как всегда что-то, было, заговорила, совершенно необязательное, неинтересное, при этом не поднимая на подругу глаз.

И неожиданно строго:

— А ты откуда? Чего в лесу делала?

И, в самом деле, чего? Вика растерянно улыбнулась.

— Так. Гуляла.

— Одна?

— Одна. Конечно! — И враз залилась горячей краской.

— Ладно, я это просто. Ни к чему.

Они некоторое время шли молча, с двух сторон придерживая велосипед.

— Понимаешь, хотела жарков нарвать. А потом забыла. Так чудно было. Как в сказке. Там же озеро.

— Да есть чвор. Только, ну, туда ходить не нужно.

— Почему?

— Ты разве не поняла? На нём же последняя пара лебедей гнездится. Если их спугнуть, всё, больше их в нашем районе не будет.

— А! Я, было, про другое подумала.

— Про что?

— Так. Пустое.

И опять молчание. Это совсем не походило на обычную Ольгу, но Вике нисколько не хотелось вникать в чужие проблемы. Со своими бы разобраться. Но, на всякий случай, всё же спросила:

— Оль, ты вечером на брёвна выйдешь? Вчера-то не была?

Та как-то крупно вздрогнула и отвернулась.

— Голова болела.

— А сегодня?

— Поглядим. Ну, пока, а я здесь, через проулок поеду. Спасибо, что помогла.

Ольга, растолкав «Урал», с педали легко перекинула через раму тощую, в синем трико, ногу и, чуть виляя, покатила между длинными поленницами.

— Пока.

На её подоконнике всё ещё стояла пустая алюминиевая клетка с перевёрнутой поилкой. Это как-то в начале марта отец принёс домой высохшую до невесомости, едва живую галку с переломанным, повисшим правым крылом. Черная, с серым горловым ожерельем, длинноносая птица несколько дней отчаянно щипалась и пряталась под шифоньером, выходя к блюдцам с хлебом и водой, только когда Вика была в школе, а родители на работе. Но постепенно природное любопытсво брало верх, она понемногу переставала бояться и дней через десять поддалась купанию и подстриганию цепляющихся за всё маховых перьев на так и не восстановившемся крыле. А через месяц у них началась настоящая дружба. Гала, помещаемая на день в клетку, сонливо поджидала её прихода, утопив голову в плечи и равнодушно жмурясь, как вдруг, заслышав в прихожей Викин голос, с радостным вскриком сама легко открывала задвижку и, смешно подпрыгивая, бочком выбегала навстречу. И потом, после совместного обеда, опять терпеливо сидела на письменном столе, внимательно следя то одним, то другим голубо-серым глазом за выполнением уроков. Иногда, что-то невнятно выговаривая, осторожно трогала клювом ручку, перебирала пенал, проверяла крепость блестящего замка на портфеле. Любила, чтобы ей в ответ ерошили мелкие светлые пёрышки на шее, чтобы, когда она, немного

больновато уцепившись острыми коготками, сидела на плече, а Вика ходила по квартире. С удовольствием угощалась пельменным фаршем. Единственная неприятность доставалась маме — Гала обожала смотреться в зеркало, разбирая и разбрасывая на трюмо цветные флакончики и коробочки.

А в мае, когда окна расклеили и помыли, галка открыла клетку до её прихода. Наверное, её позвали другие, здоровые и вольные. Гала запрыгнула на приоткрытую форточку и пропала. Вика проискала покалеченную, беспомощную против собак и кошек птицу несколько дней.

И только в эту ночь она впервые открыла окно.

Заснуть удалось только когда всходящее солнышко розово оконтурило макушки молодых берёзок. А до этого Вика сотню раз перевернула подушку холодной стороной наверх, то закрываясь с головой, а то совсем откидывая потяжелевшее одеяло. Чесались накусанные ноги, потом душил настоявшийся запах распустившейся в горшке белой герани. Потом… в распахнутое окно вместе со свежестью, знакомо и теперь так по-родному влетало «ти-та, ти-та, ти-тии». Пауза, и вновь звонкое — «ти-та, ти-та, ти-тии». Малиновка. Милая ты моя. Закрыв глаза, Вика, опять как бы со стороны, увидела: они целовались под осыпающейся черёмухой, а тёмное небо влажно искрилось разноцветными звёздочками. «Ти-та, ти-та, ти-тии. Ти-та, ти-та, ти-тии». Это теперь уже было.

Она долго и сладко спала и, там, в неведомой глубине или вышине, подставляла лицо, отвечала губами, одновременно вслушиваясь, вчувствовываясь в собственное тело. И мама, по случаю выходного в халате и бигудях, осторожно войдя в её комнату, словно догадалась о чём-то и не стала будить. Поправив угол сползшего на пол одеяла, отошла к открытому окну. Не закрывая створок, тихо-тихо сдвинула белые шторы, на которых мимо напечатанных зелёных развесистых берёз и домиков мчали напечатанные зелёные же стремительные автомобили. В комнате притемнело, и громче застучал круглый синий будильник, выставленный на десять. Елена Дмитриевна придавила кнопку: «Спи, моя маленькая, спи». И присела на край табурета.

Разбросанные по полу чулки, на столе её старая, полупустая косметичка. Из светло-жёлтого шифоньера выкатился серый клубок козьего пуха: так она за зиму шарфик-то и не связала! Эх, безрукая растёт, что шить, что готовить — всё из-под палки. И как такую замуж выдавать, чтоб не припозорили?

По потолку дремало несколько надувшихся комаров. Чем бы достать?

Вика, не открывая глаз, протянула к ней руки:

— Ма-ма… Мамочка-а.

— Что маленькая?

— А почему берёзы только около людей растут?

— А потому… потому, что так только в Сибири. В России они везде.

— А почему в Сибири так?

— А потому, что берёзы пришли сюда с русскими крестьянами. И растут вокруг пашен, так как на вырубках лиственные деревья успевают подняться раньше хвойных и вытеснить.

— Березняк красивый. В нём всегда легко. И никого не страшно.

— Да, не страшно. Только очень пусто. Мертво.

— Как «мертво»?

— В нём же нет ничего съедобного, никаких семян, ягодок, семечек. И поэтому звери березняк обходят. И ещё белый цвет — для многих народов цвет савана.

— Фу-у!

— Ладно, тебе яйца сварить или зажарить?

— Зажарить. Два. Только переверни, не люблю в глаза вилкой тыкать.

— Я помню.

Елена Дмитриевна, подхватив клубок, встала и шагнула к двери.

— Мам! А тебе папа стихи читал?

— Папа? Да. Да, читал.

— А какие?

— Маяковского, конечно. Багрицкого. И Асеева.

— Не проходили такого. А ты что-нибудь помнишь?

— Много помню. Но читать не буду.

— Почему?

— Те были для меня. Пусть у тебя свои будут. Совсем другие.

— Ммм… Спасибо, я поняла. И ещё, постой! Погоди. А что, и Марии Петровне Пузырёк, ой, Владимир Николаевич, он, что — тоже читал?

— И читал, и писал. Да, да, молодой Пузырёк писал стихи юной Мамаше.

— Мама!

— Да, да! Это не смешно, или же, не очень смешно. Увы, но мы, родители, помним всё, что ты сейчас чувствуешь. И, увы, сравниваем.

Ещё неделю назад они с Олей на пару пели в школьном концерте в честь тридцать первой годовщины Великой Победы для учащихся, учителей и родителей. Было много почётных гостей, и от медалей и орденов первых рядов просто в глазах рябило.

— Рано утром на рассвете заглянул в соседний сад,

Там смуглянка молдаванка собирала виноград…

Дуэту хлопали искренне и горячо, вызывая на повтор. Дальше они исполнили:

— По берлинской мостовой,

Кони шли на водопой.

Шли, потряхивая гривой, кони-дончаки.

Им были хорошо видны слёзы ветеранов, даже Владимир Николаевич то и дело открыто утирался большим сине-клетчатым платком.

Но самые громкие аплодисменты собрал крохотный Витя Белаш из пятого «б». Учительница музыки Таисия Ивановна на мандолине, Генка Моисеенко на баяне и Санька Карташов на гитаре подыгрывали, а вихрастый, белоголовый Витя, приподнимаясь на цыпочки, очень серьёзно и прочувствованно выводил срывающимся от волнения высоким голоском:

— Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Отблагодарив за замечательный и совсем профессиональный концерт, взрослые неохотно разошлись, а секретарь райкома Аркадий Мосалов и пионервожатая Светочка Харина тут же, в спортивном зале, наскоро провели совместное пионерско-комсомольское собрание. Где не только никого не ругали, а, наоборот, всячески нахваливали за активное участие в общественной жизни школы и села и торжественно, с вручением вымпелов, перечислили места, занятые классами по итогам соревнования в сдаче макулатуры, металлолома и берёзовых почек. Ну, положим, про места все и сами знали, однако комсомольцы всё высидели смирно, терпеливо, без подколов и выпендрежа, так как после собрания старшеклассникам обещали танцы.

Пока Сашка Маллер и Серёга Власин соединяли и устанавливали проигрыватель и колонки, счастливые восьми- и девятиклассники растаскали по классным комнатам скамейки и стулья, в десять минут освободив тихо гудящий зал, а «старики» из десятых отловили и повыкидывали в коридор прятавшихся по закуткам и за девчонками наглых мальков-семиклашек.

Для разогрева первым поставили «быстрый танец», и триста человек, пугая своей страстью дежуривших Таисию Ивановну и Лидию Яновну, разом счастливо задёргались под «Скорый поезд».

А потом Сашка Маллер ну совсем неожиданно и ни к чему объявил «белый танец» и со сташным всхлипом опустил иглу на старую-престарую «О, мами». Чего он хотел? После естественной заминки первыми пошли приглашать своих парней те, кто давно и открыто дружил. Вика отыскала глазами Олега, который стоял почти напротив, под зарешеченным окном, среди таких же деланно равнодушных ребят. Они все одинаково щурились вполоборота друг к другу, особо медлительно выговаривали неслышные здесь, сугубо мужские фразы. А щурились-то, чтобы не выдать ревнивых игл вслед уже приглашённым товарищам.

«О, мами, о! О, мами, о!» — и Вика уже решилась, уже набрала побольше воздуха, чтобы хватило без передышки пересечь зал, когда увидела, как Олега заслонила Оля. Он удивлённо вскинулся, оглянулся, кивнул и пошёл, согласно пошёл, ведомый за руку в гущу тангующих. А Вика так и застыла, забыв выдохнуть. Ну, подруга! Как же так? Зачем?

Музыка тянулась и тянула слащавой приторностью, и медлительно вращающиеся пары всё наворачивали и наворачивали на себя леденцовую патоку мелодии с бесконечными придыхающими повторами. Да когда же она затихнет?! Ольга замкнула пальцы за Олеговым затылком в замок и, прижимаясь всем телом, что-то спрашивала в приклонённое ухо. «О, мами! О, мами! О, мами, о! О, мами, о!» — бессмысленная, идиотская шарманка! Зачем?!

Олег, придерживая Ольгу под локоть, ритуально проводил её после танца прямо к Вике. И растерянно ёжась, как-то по-щенячьи улыбнулся-оскалился:

— Пойдём, потанцуем?

От такой откровенной повинности обида мгновенно испарилась, оставив почти неприметное пятнышко на белом воротничке. В самом деле, он-то причём?

— Пойдём.

И грянул Ободзинский! «Эти глаза напротив… В калейдоскопе дней!» — и вокруг всё растворилось, разлилось, разметалось в бесформенные яркие пятна и бессмысленно восторженные, извивающиеся линии. «Эти глаза напротив…» — и серо-зелёный и зелёно-серый взгляды опять сомкнулись. Его правая рука крепко удерживала смело откинувшуюся Вику под спину, а левая втягивала, вела во вращение, и раскрученный властной мелодией мир, подчиняясь вдохновенному, ликующему силой и страстью голосу, летел, искря и пенясь, разлётно плескался вокруг них. Неужели это и есть счастье? Вот только от пиджака Олега ещё чуть-чуть тянуло «Дуэтом». Тем самым «Дуэтом», который Вика подарила на день рождения подруге. Отвратительные духи.

А потом… потом они целовались.

Именно потому, что вчера сад чуть слышно шуршал, шепеляво шевеля верхними лёгкими ветвями и осыпая им головы и плечи крохотными белыми лепестками, а где-то совсем-совсем рядом, в нерасцветшей ещё сирени выдавала счастливые трели малиновка, потому, что между ними «это» уже произошло, Вика и захотела сегодня открыто поговорить с Олей. И пошла в Заполой. Но… не произошло. Стало вдруг заранее понятно, что разговор не получится. И дело вовсе не в привидении на лебяжьем озере, не в испытанном страхе, а… просто после первых поцелуев всё теперь стало не так. Всё по другому, по взрослому. Бедная Ольга. Подругами уже они ни за что не останутся. Тяжело, словно в чём-то виновата.

17.

Лёшка с совершенно излишним усилием колол сухие бессучковые чурбаки и в промежутках между придыханиями ворчал, вслух изводился от зависти. Да когда ж кончатся эти обноски?! Всю жизнь ему после брата всё достаётся. Всю жизнь. Хорошо, хоть подъедать за ним не заставляют, собаке отдают. А могли бы. Чего уж.

Бурление обиды вызвал вчерашний дедов подарок. Старинная, полутораметровая бердана, очищенная от ржавчины, обильно смазанная

трансформаторным маслом по стволу и с затвора, с новеньким брезентовым наплечным ремнём и затёртым, самошитым кожаным подсумком, в котором тяжело желтели двенадцать заряженных гильз двадцать второго калибра,— и это Олегу. Только! Про Лёху и не сразу-то даже вспомнили.

Чоп! Чоп! Нетолстые берёзовые кругляки с лёгким стоном разлетались со второго-третьего удара, но никакого удовольствия спорая работа не приносила. Дед давным-давно из этой гладкоствольной, безмагазинной винтовки Бердана № 2 забивал только свиней, а так-то она уже сто лет бесцельно валялась под кроватью. Они с братом, когда были маленькими, бывало, потихоньку вытаскивали её оттуда и упражнялись на сеновале в сборке-разборке и прицеливании. Но потом дед берданку куда-то перепрятал, а вот — вчера подарил Олегу. Самолично привёз. Не поленился. А чего было дарить-то, чего? Всё равно тот летом учиться в город уезжает, и эта берданка, как и всё и всегда, опять Лёхе по наследству перейдёт. Сам же Филиппок любил напевать:

— Ты плыви, пузырь, покеда,
Надувайся грозно.
Всё равно моя победа –
Рано или поздно.

Брат-то уже скоро уедет. Этот логический поворот словно крышку с кипящего котелка скинул — и гневная пена бесшумно осела. Так, осталось на дедовскую недалёкость лёгкое бульканье. Тем более, если вспомнить, как и почему тот поклялся отдать берданку внукам ещё в ноябре. Вот-вот, после того, как они с соседом и главным собутыльником Полу-Палычем «забили» на праздник его борова.

Павел Павлович, пятидесятилетний мужичок с ноготок, прозванный Полу-Палычем за свои около полутора метра роста, держал свиней особым способом. Он их просто прикармливал. В самую меру, лишь бы те иногда заходили во двор. Всё лето три-четыре его порося молчаливо промышляли травой и мелким воровством на чужих огородах, а с осени уже просто жили на зернотоку, где Полу-Палыч сутки на трое дежурил, а другие сторожа не могли их изгнать никаким дрыном. Вдобавок с наступлением холодов поджарые, быстро бегающие звери покрывались длиннющими белесыми волосами, так что издали вполне даже смахивали на белых медведей. Зарезать такую полудикую свинью было весьма непросто, ибо с раннего детства битые-перебитые, обиженные-переобиженные, заматеревшие в постоянном выживании стокилограммовые волосатики недоверчиво относились даже к хозяйским заигрываниям.

Перед убоем Полу-Палыч всю неделю выставлял во дворе корыто с запаренным комбикормом и варёным в мундире мелким картофелем. Внимательно кося злыми малюсенькими глазками, нервно похрюкивая, свиньи каждый день всё глубже заходили за ворота. Полу-Палыч ласково сюсюкал, мелкими шажочками подбираясь поближе, и через пять дней даже почёсывал их

палочкой, соскребая со спины крупные чешуйки перхоти. Теперь дело было за отделением одной из особей. Когда избранник или избранница впервые оказывались запёртыми во дворе, сутки никакие уговоры и угощения не действовали. Разъярённый зверь с разгона таранил и таранил ворота, а снаружи диким визгом его поддерживали озадаченные родственники. Только после того, как они, оголодав, всё же уходили на ток, можно было пытаться осуществить задуманное злодейство. Полу-Палыч, как бы налаживая утраченный контакт, осторожно «чух-чухая», подливал в корыто запарку и, улыбаясь, чуть отступал, пряча за спиной тяжеленный, почти как Одиссеев меч, источенный на середине тесак. А из-за высокого, но хилого огородного забора медленно высовывались винтовочный ствол и шапка Филиппка. Но дальше события разворачивались весьма по-разному.

В то утро соседи, заговорщицки шушукаясь, выскользнули из-под бабского надзора раньше положенного и успели-таки накатить до «охоты». И накатить предостаточно. Поэтому Полу-Палыч чересчур решительно вышел во двор и широким жестом навалил дымящийся паром комбикорм. «Чуша-чуша-чуша!» — Боров недоверчиво стоял в углу. «Чуша, пррошуу!» — Ох, не надо было подходить к нему так близко. Что-то в движениях человека настораживало, что-то раздражало. Заподозрив неладное, хряк вдруг угрожающе рявкнул и развернулся с явным намерением атаковать.

— Филя! Стреляй!

Дымный порох заполнил двор, и, раненный самокатным свинцовым шариком в плечо, боров, дико визжа, завертелся волчком. Он только слегка задом зацепил хозяина, но тому оказалось достаточно. Потеряв нож, Полу-Палыч на карачках пятился к забору, за которым Филиппок срочно клацал затвором.

— Стреляй! Промеж глаз стреляй!

Болевой шок сменился приливом смертельной ярости. Второй заряд отрикошетил от толстенного лба, только на несколько секунд откинув набегающего зверюгу, и свинец по касательной усвистел в морозное небо. Но Полу-Палычу удалось вскочить с четырёх конечностей.

Спас его толстенный подшитый валенок, в который боров вцепился и махом сорвал с ноги вместе с портянкой. Полу-Палыч отличным физкультурным приёмом успел сделать «выход силой» на забор, но тут зверь ударил снизу всей массой. Полу-Палыч мгновенно перевернулся, заостренные концы двух досок, скользнув по телогрейке, глубоко зашли за кожаный солдатский ремень. Теперь он крепко висел вниз головой и вверх ногами, прижатый к забору так, что в щёлку хорошо видел, как истекающий кровищей боров опять несётся таранить хилую загородку прямо на уровне его лица.

А рядом точно так же, только перевалившись головой через забор на другую сторону, махал в воздухе ногами уронивший берданку Филиппок.

Если б не подоспевший на выстрелы, визги и крики директор МТС, с первого раза из своей мелкашки попавший хряку точно в ухо, ещё неизвестно, кто кем бы в тот вечер поужинал.

Снёсшиеся пораньше куры опасливо обходили разбросанные по всему двору поленья, неодобрительно переговариваясь с петухом, с вылизанного телятами корыта внимательно следящим за возможной воздушной тревогой. Чёрно-красной «орловско-голосистой» породы, за эту зиму заметно погрузневший красавец Питер ответно успокоительно квокал, пошаркивая для порядка ножкой, но своего серьёзного глаза с неба не опускал. Ага, вот если бы сейчас да бабахнуть в высоко парящего над их улицей тетеревятника!

— Здорово, Лёха! Ну, ты прям как Стаханов, уже куба три точно натрескал.— На забор навалились вечно улыбающиеся Вовка-Кефир и Вовка-Татарин.— А чего один пашешь? Где Олежек?

— Здорово. А они сегодня с ранья на рыбалку с Димкой-Власом, Халифуллиным и Майбородой укатили, с ночевыми, до послезавтра. Заходите. Молока будете?

— «Молока» — это бы замечательно.

Неразлучные друзья даже в калитку попытались войти одновременно.

— Ну и ладно, тогда мы к тебе.— Татарин отпил прямо из двухлитровой банки и передал Кефиру.— Слышь, я знаю, чем вашу ведьму достать.

— И я знаю,— булькнул в молоко Кефир.

— Да и я.— Лёха накинул рубашку, заправился.— В дом-то пойдём? Чего мнётесь? Говорю: родичи на работе.

— Пошли.

Они сидели на веранде и ждали, пока в калимой синеватым газовым пламенем огромной бугристой сковороде двенадцать яиц, посыпанных по ярко оранжевым желткам тёмнозелёными квадратиками лука, мутно не загустеют.

— Лёх, слышь, нам мужики с речпорта про твою собаку рассказали. Точно всё так же. И про то, как ночью овец режет, и как коров высасывает. Чёрная, лохматая. А днём её как бы и нет нигде. Короче, без балды, ведьма это. А ещё она каждое полнолуние около мостков через Полу крутится, её там не раз видели. Ведьмы же всегда или на перекрёстке, или на мосту шастают.

— И чего?

— А ничего! Сегодня как раз срок, луна круглая, её можно там подкараулить и кончить. Ты верь: у меня бабка тоже кое-что такое знала, рассказывала. Серьёзно! К ней все приходили, она разные болячки заговаривала. Зубы, животы. Кровь останавливала. Так вот, оборотня можно завалить двумя способами: либо осиновый кол в сердце вогнать, либо серебряной пулей подстрелить. Мы эту собаку на кровь с живой курицы поймаем. Есть у вас чёрная курица? Бабка говорила, что мимо неё ни одна ведьма не пройдёт. И ваша тоже.

— Во-во, я уже представляю: ты её крепко так за ноги держишь, а я кол вбиваю.— Татарин нарезал хлеб удивительно ровными тонкими ломтиками.

— Лучше наоборот.

— Чем лучше?

— Не «чем», а «кому». Поясняю: мне.

«Химики», было, бурно заспорили, но Лёха, закручивая вентиль баллона, почти шёпотом перебил:

— А пулей как? Откуда серебра столько взять?

— Ну, это-то мура, проблема не в серебре.

— У него есть монетка! Царский полтинник.

— А вот ствол-то где взять?

— Да, ствол?

Лёха опять тихо, раздавая вилки, признался:

— Найдём.

Малина, Олег Малиновский, был у них «на берегу» вроде Геккельбери Финна. Безотцовщина, старший над двумя сестрёнками при слабохарактерной и пьющей матери, он с первых классов привык сам хозяйничать, ответственно определяя необходимые на их семью запасы дров, картофеля, огородных солений-варений и организовывая «промышленную» заготовку рыбы, грибов и ягод. За это он всегда открыто курил, матерился, держал на продажу вонючий самогон и гонял по селу на оставшемся от умершего восемь лет назад отца древнем, малооборотистом «Урале» безо всяких прав. И ни милиция, ни школа к нему не прикапывались.

По недавно отсыпанной, ещё плохо укатанной и поэтому активно бьющей щебнем фары и лобовики трассе они подъехали поближе к освещённой четырьмя мощными фонарями стройке нефтеперекачивающей станции и, выключив движок, прямо по упругой траве бесшумно скатились в темноту пологого кювета. Комары как тут и ждали. Лёха, словно Айвенго от сарацинов, широко отмахивался хлёсткой берёзовой веткой, а Малина, как черепаха, втянувшись в брезентовую с замшевым нагрудником сварщицкую робу, старательно дымил «Севером» и шлёпал себя по неспрятанным лбу и запястьям, шёпотом кроя тупо лезущих на явную смерть кровопивцев. Закат ещё блёкло досвечивал север, когда с юга уже вздулся огромный пузырь низкой луны, неспешно выбирающейся из-за острозубой чёрноты тополькoв, серебрящихся под нечувствительным ветерком вершинками. Из-под лесополосы сильно пахло зацветшей смородиной, а с косо высветленной низким ночным светилом поляны какой-то не в меру заботливый перепел активно призывал: «Спать пора, спать пора, спать пора».

— А тебя Олег точно не пришибёт?

— Не ссысь.

— Мне-то что? Я за тебя. Мало ли.

— А чего ей будет? Ствол весь в таких раковинах, что дробью уже всё равно не постреляешь. Старая она, да и дед ей отродясь не занимался. А для пули как раз годится.

— Всё равно, лучше б было Олега дождаться.

— Так полнолуние пройдёт.

Ага, вот по трассе, нагоняемые красным в габаритках облаком пыли, запрыгали приближающиеся фары. Это менты закончили вечернюю проверку на «химии». Синий «уазик» лихо проскакал мимо, завернул и натужно пошёл на дальний подъём. Теперь можно не прятаться.

Безначально-бесконечную перепелиную песенку оборвали приближающиеся шорох приминаемых трав и веток и приглушённые голоса. Ну, конечно же, Татарин и Кефир опять о чём-то спорили.

— Привет! — Закусанный до истерики Малина сразу поставил ногу на откинутую педальку стартера.— Всё нормально?

— Всё отлично.— Кефир протянул Лёхе патрон.— Закатали как родную.

— И я для верности на ней крест нацарапал.

— А чего ж не полумесяц, а? Ты же из мусульман? Или не помогает?

— Да пошёл бы ты! — Татарин занял заднее седло.

— Куда-куда?

— В люльку.

— Ну, нет, я никому на колени ни за какие пряники не присяду.

— Неужто ещё девочка?

— Уж ты-то точно не узнаешь!

В конце концов Кефир пристроился сверху на запаске, и они, утробно рокотнув, потихоньку стронулись. Мотоцикл хоть и страшный на вид, весь битый, но за двигателем Малина ухаживал.

Закатив тяжёлый «Урал» во дворик Кокошиной хибары и щедро обмазавшись от наглого комарья прихваченной Кефиром тюбичной «Тайгой», они двинулись по заполойной дороге. Первым почти рысил Лёха с завёрнутой в брезент длинной берданкой на плече, за ним, с равномерным циканьем слюной через дырку в зубах на каждый столб электролинии, широко вышагивал Малина, за спиной которого в засаленном и просоленном рюкзаке испуганно икала связанная курица. Замыкали Кефир и Татарин, толкаясь и заступая друг другу путь. Болотце, со обеих сторон зависающее над колдобистой глинистой колеёй непроглядными сплетениями тальников, верб и ольхи, звенело комариной злобой, пересвистывало мышиными перекличками, бурчало, чмокало и раскатисто квакало. Надо же, какая тут по ночам жизнь!

Вот и мостки.

Вознёсшаяся почти до зенита круглая луна играла густой короной протяжных голубо-зеленоватых лучей. Такая же чёрная, как небо, чуть кривящаяся Пола отвечала широкой бело-рябящей дорожкой, а по берегам дымилась серая шкурка лёгкого тумана, курчаво прорастающего сквозь

блестящие хвощи и замкнувшиеся до утра цветки куриной слепоты. Они взошли на предательски залитый неверным полуночным светом мостик и все вместе оглянулись — вслед из оставленного болотца пронзительно прокричала выпь.

— И чего?

— А доставай.

Курица, широко разевая рот, молча вырывалась из рук Малины. Ей освободили крылья и одну ногу, а за вторую толстой леской привязали к торчащему из балки здоровенному болту. Кефир короткой финкой надрезал ей гребешок — густые капельки крови, не смачивая доску, бусинками покатились по пыли.

— А теперь чего?

— Прячемся.

— Так крови-то мало. Поди, не учует?

— Не меньжуйся. Поглядим.

По коровьей тропке они отошли в сторону на полсотню метров и присели. Здесь было самое удобное для засады место — над ближним краем глинистого крутика, широко развернувшийся в тени мелких берёзок папоротник позволял незаметно расположиться всей компании, при том, что и сам мостик с привязанной курицей, и поднимавшаяся к спящему в полукилометре Заполою пустынная дорога просматривались великолепно.

Расстелили брезент, присели. Минут пятнадцать вместе потаращившись на ни в чём не меняющуюся панораму, шёпотом договорились об очерёдности наблюдения. Хищно клацнувший затвор заглотил начищенную гильзу с запыжованной серебряной пулей — первым, естественно, оборотня караулил Лёха. Ладони мгновенно взмокли, под животом кололись мелкие острые ветки, не ушедший в землю корень мешал вытянуть левую ногу. Он только сморщился, когда за спиной закурили, и промолчал.

— Тихо вы, блин! — Малина цыкнул на Кефира и Татарина, изумлённо всплеснувших руками при виде того, как он вытащил из рюкзака двухлитровую банку мутного самогона.— Тихо. Ночь длинная, от речки холодно. Ну и прихватил.

— Справедливо скумекал. А вот из чего мы её будем?

— Блин! Забыл…

— Не боись, мы бывалые и запасливые. Алле-оп! — Татарин жестом фокусника раскрыл составной пластмассовый стаканчик.— Как раз охотничий.

— Ништяк! — Кефир уже нарезал вынутое из недр сказочного мешка вслед за огненной водой залипшее мусором сало и разламывал на зубки мелкие головки чеснока.— Эх, от грязи микроб дохнет, а глист сохнет.

— Лёха, ты как-то не совсем прав.— После того, как чуть-чуть протекающий стаканчик дважды очертил равносторонний треугольник, неслышно подползший Татарин осторожно потянул берданку за приклад. От

ударившей жуткой смеси запахов самогона и чеснока ближние листики мгновенно увяли.— Давай, теперь я покараулю, а ты пойди, поддержи компанию.

Следующим дежурил Малина. Между тем банка опустела более чем наполовину, сало кончилось, только чеснок оставался в избытке. Луна, теряя жгучесть сияния, заметно сползла вниз, и разноцветные звёзды всё смелее подступали к ней, прорисовывая знакомые сочетания.

— Смотри, от Ковша по двум передним звёздочкам проводишь линию, примерно пять раз — это и есть Полярная.

— Такая неяркая, а над всем небом смотрящая.

— Правильный блатной никогда не понтуется.

— Зато козырный фраер издаля рисуется. Вон, зырь, как мигает.

— Да, и на небе свой закон.

— А снизу косишь — там воля.

Разговор всё больше как-то нехорошел. Слишком быстро и противно захмелевший Лёшка ещё пытался задавая вопросы Кефиру про его бабку, Татарину про полнолуние, но те в ответ только отмахивались. Тревожность от тумана, наполнившего речную низминку, давящая своей надменностью звёздная плотность, а главное, никому неперсказуемая неловкость от всей этой фантастической авантюры в жуткой смеси с пятидесятиградусной мутью вызывали у «старших товарищей» защитную агрессивность. И Лёха, впервые видевший «химиков» такими, впервые слушавший такую густую феню, вскоре перестал улавливать смысл произносимого, только тошнотворно ощущая прибывающую ненужную, враждебную себе блатную браваду.

— Слышь, братаны, срок катит, а где наша заочница?

— Так может и вовсе не нарисуется. Прочухала мутку.

— Да и хрен ей под кожу. Давай ещё по одной.

— Давай. Малина, бросай винтарь, ползи сюда. Лепота-то какая. Вот костерка только не хватает. Ещё малёха посидим, потом заберём курицу и зажарим.

— Зашибись!

— Кайф.

Стаканчик опять пошёл по рукам. Закусить больше было нечем, оставалось занюхивать. И Лёшке «не пошло». Давясь рвотными приступами, он на карачках отполз в сторону.

— Ты, это, с обрыва не шлёпнись!

— Ага, блюй тут.

— Кефир, а чего твоя бабка про это толкала? Ну, про курицу. Может, её уже западло хавать, может, она, ну, опущенная? Зашкваришься — ещё прохватит.

— Не прохватит! Только пронесёт. Ха-ха-ха!

— Хи-хи-хи!

Это было очень смешно. Шикая друг на друга, они почти поровну выпили ещё.

— Малина, ты почему такой щекотной фуцан?

— Не гони порожняк!

— Во, уже верно фенишь, по-братански!

— Тсс! Хи-хи-хи! Тихо!

И опять взаимно приглушаемые смешки.

По макушкам прикрывающих их берёзок сильно и коротко прошелестело сырым дыханием от реки. И в тот же момент с дороги от Заполоя раздалось звонкое: «Воууу!»

— Атас!

«Ваоууууу»! — резонирующий в солнечном сплетении вой повторился гораздо ближе.

— Блин! Не видно ни шиша…

— А кто шмальнёт? Татарин, у тебя ж батя снайпером был.

— Нет, лучше ты.

— Ни фига, Лёхина волына, пусть он и валит.

— А где он?

«Ваоуууууу!» — Совсем рядом.

— Лёха, ты где?!

Курица на мостках слепо заметалась, гортанно крича и колотя крыльями. Кувыркаясь, она кружила по радиусу лески, как вдруг мутная тень, слишком скорая, чтобы быть правдой, переметнулась через мост, и замолчавшая курица, агонизирующими хлопками обивая веера зацепляемого папоротника, стала стремительно приближаться прямо к засаде. Кефир, Татарин и Малина, вскочив на ноги, оцепенело слиплись, когда мимо них, буквально в нескольких метрах, чёрной торпедой пролетела огромная лохматая собака. Длинными скачками она прошила травную бровку и мимо светящихся растерзанных дятлами берёзовых скелетов растворилась в темноте листвяника.

— Чего? Чего было-то? — Растирая трясущимися ладонями по лицу и груди слёзы и слюни, почти протрезвевший Лёха кое-как выкарабкался на осыпной крутик.— Вы видели?!

— Сквозанула, сука!

— Косяк, мужики, вышел.

— Ну, а чего ты не стрелял?!

— Ага, пальнёшь в собаку, а потом там тётка лежать будет. И что? — Кефир не мог унять нервного хихиканья.— Прокурор-то про оборотней вряд ли послушает.

— Так сразу бы не подписывался.

— Я и не верил в эту лабуду, просто для балды ввязался. Ну, и ради курятины.

— Даже так? Просто похавать на природе? И туфту про свою бабку нам, как лохам, гнал? — Татарин от пережитого страха тоже завёлся, и его правая рука медленно погрузилась в карман куртки. Как бы чего не вышло — Малина встал между ними:

— Ладно, не гоношитесь: этот свороток в тупик ведёт. К чвору. А вокруг болото. Мы её там запрём. И добудем.

Малина двигался впереди легко, смело, не наступая ни на сучки, ни на шишки, словно видел в темноте. За ним хрустел Татарин с берданой за плечом, потом шлёпал Лёха. Кефир шёл с нарочитым отставанием, не вполне уверенный, что ему нужно забыть всё услышанное перед этим в свой адрес.

Луна, окончательно ужавшись, присела в низкие облака, а напротив, вдоль горизонта уже чуть-чуть выбеливался северо-восток. Они перебрались через ручей в байраке, вышли в таёжку. Навстречу резко дохнуло парной сыростью. Малина молча вскинул руку, и все остановились: «Тихо. Пришли». Лёха знал этот чвор, они здесь с Петькой Ределем всего пару недель назад были и спорили — можно ли безнаказанно взять яйцо лебедя? В смысле, не случится ли что с оставшимися? Так вот кряква, у которой они вынули всего одно из восьми, всё же учуяла запах человека и бросила всю кладку.

Дело в том, что за эти три весны они с Петькой собрали самую большую в школе коллекцию. Кроме всяких трясогузок, щеглов и дроздов, кроме чирков, шилохвостей, чаек, чибисов и прочих бекасов и дятлов, кроме кедровки и свиристели, у них было и яйцо филина, и даже выпи — всего сорок семь видов! Проколотые с двух концов иголочкой, выдутые и высушенные, разноцветные и разноразмерные скорлупки рядами наклеивались на картоны с подписями и числами. Кстати, как бы пригодилась бердана им в прошлом мае, когда обирали гнездо коршунов. Тогда лёгкий и ловкий Петька «мауглем» по зарубкам взбирался на гигантскую, в четыре обхвата, сосну, растущую в Чёрном логу, а Лёха с прачём караулил внизу, у корней. Он хорошо помнил свой мандраж ожидания, что вот-вот раздастся похожая на ржание трель и появится вилохвостый планер в два метра размаха — и что он тогда со своей рогаткой? Вздутый, в застывших токах смолы, ствол легко держал распластанные, тревожно шуршащие верховым ветром, змееобразные ветви. Сосна, росшая на самом дне, метров на двадцать ниже своих собратьев, взобравшихся на рёлки, зажимающие узкую логовину своей кроной, размером с приезжий цирк-шапито, была вровень с ними. Там, в вышине, качалось неряшливое, почти метровое, отчаянно воняющее тухлятиной гнездо чёрных коршунов. И почему «чёрных», если они бурые? А рядом и ниже пристроились со своими плетёнками несколько дроздов, используя это соседство как самую надёжную защиту от ворон и филинов. Счастье тогда улыбнулось им с Петькой: птицы, способные ударом когтей сбить с дерева не только мальчишку, не прилетели. Кроме нескольких точных попаданий от дрищущих возмущением рябинников,

никаких иных протестов против разграбления не последовало, и бело-рябое, величиной почти с куриное, яйцо стало главным украшением их коллекции.

А тут они порешили — лебедей не трогать. Последняя же пара.

— Мы в Астрахани на Красноармейской жили: отец, мать и я. Отец прорабом на стройках работал, так что семью материально вполне обеспечивал. Даже очень, как сейчас понимаю — и каждый год к морю ездили, и дом наш самый большой на улице был, с садом. Потом машину купили. «Газ-двадцать-один». Белую, с оленем. И вдруг мать начала пить. Она же завотделом в гастрономе работала. А там… Сначала просто время от времени напивалась — придёт за мной в детский сад, а ей не хотят отдавать. Я реву, она орёт. В конце концов заберёт и по дороге злость на мне выместит. А через время стала каждый день поддавать. Отец, понятно, как мог, её вытягивал. И саму приколачивал, и «друзей» гонял. Он здоровый бугай у меня, один раз кому-то руку сломал, другой голову пробил, так что его через это из партии выгнали. Лечили её в ЛТП два раза. Да толку-то. Развелись. Меня, тогда уже пятиклашку, ему присудили, да и я сам хотел. А куда с ней? В общагу, где этих алкашей, как селёдок в бочке? Два года мы с батей прожили вдвоём, то есть мать приходила, подарки приносила, если трезвая, а пьяная, наоборот, денег клянчила. Но потом он женился. Взял вдову, тётю Нину, а у неё своих двое было: Люська старше меня на три года, а Венька младше, тоже на три.

Вовка-Татарин свободно обустроился на старой струхлявевшей валежине. Лёха присел рядом, но как-то неудобно — и сук колол в бедро, и под ногами простудно хлюпало. Берданка с рюкзаком ненужной тяжестью стояли между ними. А мелкие серые комары, прочуяв, что «Тайга» потеряла силу, лезли даже в рот. Они сидели «в засаде», а Малина с Кефиром, вооружившись кольями, пошли прошариться по берегу. Восток побелел окончательно, значит, часа четыре уже точно. Пора была заканчивать и выбираться, чтобы успеть отвезти «химиков» в барак до проверки, но загонщики где-то застряли.

— Про тётю Нину что сказать? Любви особой не чувствовалось, но она так со всеми: кормила, стирала и штопала всем ровно, что для своих, то и для меня. Ничего плохого не вспомню, никаких никому тайных подачек. А ещё что ж? Люське я вообще был по фиг, у ней подружки и кавалеры были на уме, но вот Венька сразу ко мне прилип, как пиявка. И кровь сосал. При отце и тёте Нине он вроде как моим лучшим другом рисовался. Те даже радовались — «ах, малыш брата нашёл, ну, совсем как родной!» Только откуда они могли знать, что стоило им уйти, каким он становился. Каким? Фиг знает, пиявка и всё. Это даже не объяснить, отчего меня в его присутствии всегда давило, раздражало. Ну, навроде того, как два музыканта бы разные мелодии одновременно наигрывали. Душу рвёт.

А ещё, понятно, мне самому неловко с тётей Ниной было: и за мать, которая, хоть редко, но приходила, позорилась, и за отца, что совсем потерялся

оттого, что на работе, после изгнания из партии простым бетонщиком работал. Я всё время стыдился, что она мои трусы и носки стирает. Для вида важничал, в то же время, понятно, что какой-никакой ласки ужасно хотелось. А тут Венька: как придём со школы — старших нет, он и начинает. Ходит за мной по пятам и измывается, чё попало собирает, зудит, что ни попадя буробит, лишь бы говорить, говорить. Прилипнет и совсех сторон подсматривает, что я делаю: «А это чё? а это зачем? а куда это?»… Люська на минуту забежит, форму переоденет, глазки накрасит и смоется. Венька ей сладенько так подсерет, и опять начнёт меня доставать. Ни откупиться, ни отогнать. Я из дому — он за мной вяжется. И злопамятный, гадёныш, как кот. Потом, вечером родителям ноет: «А Володя со мной играть не хочет, а Володя меня в доме одного грозится запереть». Или наоборот: «А Володя меня отвлекает, я уроки не успел сделать». Те давай меня увещевать.

А потом… в августе… мать опять поддатая зашла, мы все в саду падунки собирали, и гараж нараспашку. Она закрылась в нём и завела двигатель. Ну, и задохнулась выхлопами. То ли нарочно, от тоски, то ли, в самом деле, не соображала, что делает. В общем, похоронили. А когда домой пришли с кладбища, то тётя Нина впервые меня обняла, поцеловала и после все дни со мной подчёркнуто нянчилась.

Тогда козлёныш совсем одурел. Стал каждый день потихоньку, пока никого нет, выставлять в сервант за стекло фотографии, где покойная мать и отец. Или я с ней. Он этот душняк творил, чтобы тётя Нина заревновала. Я отцу сразу сказал, что не моё это дело, но он не поверил. Зло так себя повёл. Нехорошо наехал, с угрозами. Мол, он всё старается, чтобы у меня семья была, а я такой-сякой, канителю. Тогда я постарался и застукал-таки Веньку. Со школы раньше сорвался и в окно подглядел, как он из альбома фотографию вытащил и меж стёкол вставил. Может быть, я бы и стерпел, по-другому разобрался, но он на неё перед этим плюнул. Несильно, так, без слюны, но плюнул.

В общем, я его отметелил по полной. Пока он не обосрался. В прямом смысле. По всему дому вонища с кровищей, всё, думаю, теперь копец, и решил свалить. Нашу машину сосед купил, через три дома. Отец в неё всё равно бы никогда уже не сел, поэтому за полцены отдал. Ну, я к соседу забежал, смотрю — «Волга» во дворе стоит. Дёрнул дверку — открылась, только ключей нет. Чтобы я бывшую свою машину да не завёл? В два счёта! На звук сосед выбежал, да поздно, я с маху ворота вышиб, они же из штакетника, фигня. Вывернул на улицу и по газам.

Повязали уже за городом, и то потому, что в кювет слетел. Отец и тётя Нина за меня просили, что угодно сулили, но сосед, гад, упёрся, заявление забирать не стал. Судили. Приговорили. И адвокатиха старалась, молодец тётка. Даже Люська на приговоре рыдала. А я на суде прямо сказал — как вернусь, замочу фуфлыжника за беспредел. Не за себя, за мамину память.

Татарин выдернул из рюкзака банку и прямо через край допил:

— Эх, зачем я на свет появился? Эх, зачем меня мать родила?! Ха! Судьба дура — шерстяная шкура!

Вонючая влага обмочила подбородок, затекла в рукав. Татарин сильно качнулся:

— Тпру, стоять! Вот тебе, Лёха, и семейная жизнь. О которой отец столько буровил.

С дальнего края озера затрещал прошлогодний камыш.

— Да что же они? Там же гнездо.— Лёха, перепрыгнув через валежину, ломанулся сквозь тальники к берегу.— Назад! Спугнёте, олухи!

Из камышей с сердитыми клёкотом, топорща спинные перья выплыли лебеди. «Кли-клик, кли-клик» — вытянув шеи вдоль самой воды, они часто замахали крыльями и, цепляя ими воду, побежали, разгоняясь для взлёта. Розовая вода под чёрными лапами морщилась и крупно разбрызгивалась, а они бежали, бежали. «Кли-клик, кли-клик».

Выстрел бахнул над самой головой. Передняя птица сильно ударилась грудью и на несколько секунд замерла. Второй лебедь, чуть мельче — видимо, самец — продолжал разбег, пока, наконец, не взлетел и не перевалил за кромку елей.

Убитая лебедь вдруг забилась, закружила, толкая маслянистую волну и судорожно полоща левым крылом. Голова ушла в глубину и белый вспушённый островок хвоста наматывал на себя чёрные пряди окружающих кубышек. Агония продолжалась мучительно и долго. Долго, пока начерпавший воды и грязи Лёха не выбрался назад, на сухое. Татарин сидел на валежине скрючась, сжав голову ладонями, и ныл:

— По приютам я с детства скитался… бла… не имея родного… угла.

— Ты это зачем?

— А похер.

— Фашист! Какой же ты фашист! — Лёха подхватил лежащую берданку за ствол, тяжело размахнулся и шурхнувшим по макушкам винтом перебросил через кустарник в чвор.

18.

«Нефть — это маслянистая горючая жидкость, обладающая специфическим запахом, обычно коричневого цвета с зеленоватым или другим оттенком, иногда почти чёрная, очень редко бесцветная». «Среди всех видов топлив нефть и её производные обладают наивысшей теплотой сгорания».

Существуют две теории происхождения нефти: биогенная и абиогенная. Сторонники первой — органики — считают, что нефть сформировалась в осадочном чехле земной коры в результате глубокого преобразования животных и растительных организмов, живших миллионы лет назад. Неорганики доказывают, что нефть образовались в мантии Земли

неорганическим путем. Суть неразрешимости спора кроется в том, что по уровню термодинамического потенциала нефть занимает совершенно особое положение в природе Земли и никакого подобного ей вещества более не существует.

Сторонники органической концепции утверждают, что исходным веществом для нефти явились растения и животные и что нефть является продуктом процесса осадконакопления, ибо её залежи находятся в линзах проницаемых пород, окруженных непроницаемыми плитами. «Увериться можем о происхождении сих горючих подземных материй из растущих вещей их легкостью» — писал М. В. Ломоносов.

Умирая, остатки растений и животных организмов планктона тысячелетиями выпадали на дно морей, образуя толстый слой ила. С этого подводного состояния начиналась самая первая, биохимическая стадия образования нефти, с образованием метана, углекислого газа и немногих углеводородов. Затем, по мере уплотнения осадка, биохимические процессы затухали и под действием температуры и давления происходил диагенез. Сложные вещества разлагались на простые, которые вступали во взаимные химические реакции. Можно ли представить, насколько чудовищно возрастает давление с каждой сотней метров погружения? И температура. Сотни килограмм на квадратный сантиметр под сотнями градусов. Под их воздействием на глубине до полутора километров начинается газообразование, а далее уже образуются жидкие углеводороды — микронефть.

По мере уплотнения осадочных пород и приближения их к стадии полного окаменения, жидкая микронефть выжимается назад в вышележащие песчаники или глину. Это процесс первичной миграции. Затем микронефть перемещается по плоским пористым пластам, порой на огромные расстояния. Это вторичная миграция, которая заканчивается формированием «месторождения». Конечно же, «месторождения» только с точки зрения добытчиков, обнаруживающих места скопления мигрирующих углеводородов в природные резервуары, способны аккумулировать и отдавать нефть через пробуренные скважины. Обычно это либо пористая линза под вспученным непроницаемым поверхностным слоем, или тектоническая трещина, где смещение пластов запирает губчатый, насыщенный нефтью слой.

Биогенная традиция как-то странно параллелится с видением нефти в излитой крови поверженного былинного Змея Горыныча:

Услыхал Добрыня голос с небес:
Ты бей копьем о сыру землю,
Сам копью приговаривай:
«Расступись-ка, Матушка-Сыра земля!
Пожри-ка всю кровь змеиную!»

Остаётся, правда, один неудобный вопрос: как «живая» нефть смогла мигрировать на глубину до восьми километров, где ужасающие давление и

температура должны изменять все её физические свойства? Это то обстоятельство, из-за которого, казалось бы, предельно разработанная теория органического происхождения вынуждена терпеть альтернативную гипотезу абиогенного происхождения. И ещё, например, в Пенсильвании и Канаде нефть встречается в девонских и силурийских пластах, не имеющих в себе угля, но только из животного жира эта нефть никак не смогла произойти, ибо он дал бы азотистые соединения, которых в данной нефти мало. Вдобавок, её запасы здесь столь велики, что для их образования потребовалось бы неисчислимое количество неведомых животных.

Основной абиогенной теорией является минеральная (карбидная) гипотеза Менделеева, полагавшего, что вода, проникая глубоко в землю и встречая там углеродистое железо, реагировала с ним и создавала окислы и углеводороды, которые, возвращаясь к холодным слоям, образовывали нефть. Кроме этой, существует и космическая гипотеза неорганического происхождения нефти: планета Земля на ранних стадиях своего формирования и остывания, захватила водород из первичной газовой материи. Этот-то глубинный водород, перемещаясь на поверхность, вступает в реакцию с углеродом жидкой магмы и образует нефтяные углеводороды.

И всё же что, нефть — это впитавшаяся кровь Змея Горыныча или же сочащаяся плазма самоей Матери-Сырой Земли? То есть организм ли наша планета? Со своей самостоятельной, самобытной жизнью? Оглянувшись, нет ли поблизости коллег, из опрошенных пяти геологов пятеро шёпотом сказали: «Да». Земля — живая.

Состав и строение нефтей всего мира с их единой внутренней организацией и элементным составом настойчиво наталкивают на мысль о том, что поверхностный животный мир и нутряная нефть объединены неразрывной связью эволюции: «И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, и скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так».

Нефть как топливо начали добывать на берегу Евфрата за шесть тысячелетий до нашей эры. Древние египтяне применяли асфальт (окисленную нефть) для бальзамирования и в качестве лекарства, нефтяные битумы шли на строительные растворы. Нефть входила в состав «греческого огня». Армия Чингисхана успешно применяла гранаты с нефтью и «огневые» стрелы против флота и крепостей Китая. В средние века нефть использовалась для освещения в ряде городов Ближнего Востока и Южной Италии. Но со времён первых промыслов Междуречья и после в греческой колонии Керчи и в китайской провинции Сычуань вплоть до середины XIX века она добывалась самым примитивным способом из колодцев в местах естественного выхода на поверхность.

Как каменный уголь в прошлом, так сегодня нефть и газ есть и на ближайшее будущее определённо останутся основой обеспечения человечества энергией и сырьем. Кроме получения жидкого, газообразного и твёрдого (нефтяной кокс) топлив, основными группами получаемых продуктов являются: смазочные и специальные масла, парафины и церезины, битумы, ароматические соединения, ацетилен, этилен, нефтяные кислоты и их соли, высшие спирты и пищевые кислоты, консервирующие средства. Из нефти и газа человек получает пластмассы, синтетические волокна, синтетический каучук, клеи, хлороформ, формалин, аспирин, а также стимуляторы роста, протравители семян, ядохимикаты и азотные удобрения.

А что без бензина сегодняшний мир?

И что без него сегодняшняя война?

Война. Изобретение двигателя внутреннего сгорания принципиально изменило характеристики наземных военных действий, захватив и связав их в единый рокочущий клубок с морем и воздухом.

В начале сентября 1914 года линия западного фронта протянулась на 125 миль между Верденом и Парижем, где с обеих сторон в окопах скопилось около двух миллионов человек. Автоматическое оружие, траншеи, мины и проволочные заграждения не давали шансов атакующим — и выходом из обозначившегося тупика позиционной войны могло быть новшество, позволившее бы передвигаться по полю боя под надежной защитой. Британский полковник Эрнест Свинтон, служивший во Франции в качестве официального наблюдателя в ставке главнокомандующего, высказал идею неуязвимого для пулеметного огня бронированного экипажа, с двигателем внутреннего сгорания, на траках без труда справляющегося с проволочным заграждением. Впервые танк был использован в 1916 году в битве при Сомме, а его триумф состоялся 8 августа 1918 года под Амьеном, где 456 танков разорвали германский фронт. Траншейной войне пришел конец.

Англия и Америка первыми поняли перспективы нового двигателя в обеспечении быстрого перемещения войск и снаряжения. Так, британский экспедиционный корпус во Франции с августа 1914 года к последнему месяцу войны увеличил свой автопарк с 827 автомобилей и 15 мотоциклов до 56 тысяч грузовиков, 23 тысячи автомобилей и 34 тысячи мотоциклов и мопедов! Кроме того, Соединенные Штаты в апреле 1917 года поставили во Францию еще 50 тысяч машин.

В 1903 году братья Райт совершили свой первый коротенький полет на «Китти Хок», а в 1911–1912 годах итальянцы уже использовали аэропланы в бою против турок за Триполи.

Постепенно нефть из составной части войны становилась её первопричиной.

Железнодорожно-бронепоездная Германия, получив жесточайший автомобильный урок и выгребаясь из революций и контрибуций, довела

доктрину новой войны до идеала: тысячи, тысячи танков и самолётов, сотни подводных лодок для непрерывно атакующей армии. Таких темпов развития машиностроения Европа ещё не видела. Но применение новой военной техники требовало и непривычно огромного количества горючего, которого у немцев не было и для производства которого Германия не имела даже источников натурального сырья. Поэтому к сентябрю 1939 года, когда Германия напала на Польшу, у неё уже на полную мощность работало 14 гидрогенизационных заводов, производивших бензин из бурых и каменных углей и сланцев, и к 1940 году производство синтетического топлива превышало 70 тысяч баррелей в день. Но, несмотря на постоянный рост производства синтетического горючего, Гитлер отчаянно искал натуральные источники. Отсюда вытекала идея «блицкригов» — стремительных ударов мощными механизированными группировками, приводящих к победе до возникновения проблем со снабжением нефтью. Вслед за Польшей, благодаря этой доктрине, Гитлер с изумляющей легкостью захватил Норвегию, Бельгию, Голландию и Францию. Там немецкие войска получили запасы нефти, значительно превышавшие те, которые были израсходованы в ходе военных действий, и излишне уверовали в свои силы.

Ночные факельные шествия, эсэсовские ритуалы поклонения прометеевскому огню. Новый зороастризм заново взмолился на вырывающийся из-под земли огонь.

«Мои генералы ничего не знают об экономических аспектах войны» — с самого начала захват Баку и других кавказских нефтяных месторождений входил в число основных целей гитлеровской стратегии. В начале 1942 года Берлин планировал в России операцию «Блау», основной целью которой была кавказская нефть, затем месторождения Ирана и Ирака и оттуда предполагалось продвижение на Индию. Германский министр вооружений и военной промышленности Альберт Шпеер сообщил на допросе в мае 1945 года, что «потребность в нефти, несомненно, была основным мотивом» при принятии решения о вторжении в южную Россию.

К концу июля 1942 года, когда был взят Ростов, поставки нефти с Кавказа для Советской армии и оборонной промышленности оказались перекрыты. Девятого августа фашисты заняли Майкоп, но перед отступлением русские разрушили нефтепромыслы со всем оборудованием, так что только к январю 1943 года немцы смогли кое-как добывать там около 70 баррелей в день.

«Я хочу выпить за русский народ…». Зороастризм и православие. Война людей не есть только война моторов. Несмотря на логику планирования и блестящее исполнение молниеносных моторизированных атак и глубоких тыловых бомбёжек, СССР упорно не сдавался, да более того, через два года сплошных отступлений и ужасающих разрушений уже советские танки, самолёты и подводные лодки оказались многочисленней и качественней немецких. И фронт после титанического напряжений с обеих сторон

оттолкнулся от Москвы и Сталинграда и далее всё стремительней покатился назад, на запад.

Когда русские солдаты штурмовали рейхсканцелярию, Гитлер покончил жизнь самоубийством. Для выполнения его последнего приказа потребовался всё тот же бензин: эсэсовцы-огнепоклонники ритуально сожгли тело своего вождя.

А войны за нефть продолжаются.

1637 год. Первое упоминание в рукописях Пушкарского приказа о «казанской чёрной нефти».

1745 год. Сооружение «нефтяного завода» и начало добычи и перегонки нефти архангелогородским рудообыскателем и купцом Федором Савельевичем Прядуновым.

1823 год. В Моздоке братья Василий, Герасим и Макар Дубинины сооружают и пускают первый промышленный куб для перегонки тяжелой вознесенской нефти.

В долине реки Кудако Краснодарского края отставной уланский полковник А. Н. Новосильцев начал бурить скважину, из которой в 1864 году ударил первый в России нефтяной фонтан.

1873 год. Астраханский купец Н. И. Артемьев впервые организовал перевозку из Баку в Астрахань нефти и нефтяных остатков наливом в цистерны на морских судах.

1899 год. В Казахстане ударил первый нефтяной фонтан на Кара-Чунгуле. И к началу двадцатого века Россия заняла первое место по добычи нефти в мире. В пресловутом 1913 году мы добывали приблизительно 11 миллионов тонн.

1914 год. Вводится в эксплуатацию нефтепровод Грозный — Порт-Петровск (Махачкала).

1922 год. Открытие Охинского нефтяного месторождения на Сахалине.

1937 год. Открыты Туймазинское и Сызранское нефтяные, Бугурусланское газовое месторождения, кембрийская нефть в Якутии.

1949 год. Открытие первого морского месторождения Нефтяные Камни на Апшеронском шельфе.

1953 год. Первый газовый фонтан у посёлка Березово в Западной Сибири.

Новорожденная Советская Россия, саморастерзанная Гражданской войной, нуждалась в иностранном капитале для разработки, добычи и продажи угля и нефти, и с 1920 года Москва пошла на предоставление концессий иностранным инвесторам, а в марте 1921 года Ленин объявил о новой экономической политике с расширением рыночной системы и восстановлением частных предприятий, а также продажей концессий, в том числе и за границу. С помощью крупномасштабного импорта западных технологий и средств советская нефтяная промышленность начала восстанавливаться, и к 1928 году

СССР снова вышел на уровень добычи тех самых довоенных одиннадцати миллионов тонн.

Истощавшиеся запасы Бакинского и Северо-Кавказского, Западно-Украинского и Галицинского месторождений не могли удовлетворять запросы развивавшейся сталинской промышленности. К тому же Великая Отечественная война нанесла сильнейший ущерб этим районам. Назрела острая необходимость в поисках новой нефти. И наступил золотой век советской геологической разведки. Так были открыты и введены в эксплуатацию месторождения Пермской, Куйбышевской областей и Башкирии, объединённые Волго-Уральской базой, которая в 1960 году давала уже более 70 процентов нефти страны. К 1972 году по добыче нефти СССР занимал второе место после США, правда, зарезервировавших большую часть своих месторождений с целью создания стратегических запасов.

Поиски нефти и газа в Сибири начались с 1947 года. В 1958 году геологи вышли к реке Конде. В составе экспедиции были И. Нагорный, М. Вытрыкуш, В. Гершаник, А. Черепанов. Они первыми провели разведку и выявили Мулымьинскую и Трёхозёрную структуры и определили места установки скважин.

И вот, в июне 1960 года от скважины № 6, пробуренной бригадой бурового мастера Семена Никитовича Урусова в самом сердце кондинской тайги, начался отсчёт большой нефти Сибири. Так сбылось пророчество академика Ивана Михайловича Губкина, который ещё в тридцатые годы предсказывал наличие здесь месторождений. В 1974 году нефтегазоносный бассейн, расположенный в пределах Западно-Сибирской равнины на территории Тюменской, Омской, Курганской, Томской и частично Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, площадью около трёх с половиною миллионов квадратных километров, вышел на лидирующие позиции в мире. Запасы разведанной на сегодня нефти в Западной Сибири составляют 13,8 миллиарда тонн, это примерно столько же, сколько в Ираке, ОАЭ или Иране. Большая часть залежей находится на глубине двух-трёх тысяч метров в отложениях юрского и мелового возраста, и Западно-Сибирская нефть характеризуется низким содержанием серы и парафина, при высоком уровне бензиновых фракций и повышенном количестве летучих веществ.

На сегодня разведанные запасы Западной Сибири оцениваются: Самотлорское — 6,7 миллиона тонн, Приобское — 2,0, Федоровское — 1,8, Мамонтовское — 1,3 и Лянторское — 2,0 миллиона.

«Расступись-ка, Матушка-Сыра земля! Пожри-ка всю кровь змеиную!» Наверное, нефть — это счастье бескрайней Пустыни. Но нефть излилась проклятием для Великой тайги. Одновременно с началом освоения природных

ресурсов началось и разрушение исторически сложившегося природного пользования.

Разработка месторождения нефти и газа в Западной Сибири позволила увеличить экспорт топлива в Европу, оплачивая встречный ток современной техники и потребительских товаров. Щедрое золото брежневских звёзд героев соцтруда отражалось в жирной плёнке «чёрного золота», затянувшей вонючие мёртвые болота и речки. Цены на электротовары снижались, в распределителях «выбрасывались» то итальянские сапоги, то испанские рубашки. Однако в области развития собственных наукоёмких технологий Советский Союз все больше отставал от Запада, особенно в сферах транспорта, связи, электроники, и, несмотря на беспощадную эксплуатацию природных богатств, всё больше увязал в займах, пока к 1976 году внешний долг СССР не достиг шести миллиардов долларов. Кто и что говорит о несостоявшихся косыгинских реформах? История не ведает сослагательного наклонения. И в истории Советской России рабовладельческая экономика ГУЛАГа сменилась колониальным грабежом провинции.

Вместо того, чтобы решать назревающую проблему принципиально, Советская Россия всё увеличивала и увеличивала, увеличивала и увеличивала нефтяной слив.

«ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА», январь1970 года:

«Тюменские нефтяники перевыполнили план четвёртого года пятилетки, добыли 20 млн тонн нефти. Такое количество нефти на таёжных промыслах Сибири получено впервые». «Бригада Героя Социалистического труда Семена Никитича Урусова имеет на своем счету 32 250 метров, а план бригады — 23 000. Сейчас она ведет проходку 44-й скважины на Толумской площади». «Замечательно поработала бригада прославленного мастера, Героя Социалистического труда Анатолия Дмитриевича Шакшина. Есть 56 тысяч метров проходки! Результат, которого не достигла еще ни одна буровая бригада страны».

С открытием нефти в Сибирь началась новая волна переселений. Если после войны обские угры составляли чуть меньше половины населения нижней Оби и её притоков, то в настоящее время их тут только полпроцента! Нашествие пришельцев-временщиков и катастрофическое загрязнение грабимых национальных территорий навсегда лишило хантов и манси возможности продолжать традиционный образ жизни. На памяти одного поколения в тайге необратимо исчезал промысловый зверь, в разы уменьшалось количество рыбы в реках. В лексиконе нефтяников впервые появляются слова «вахтовый поселок». Это «идея» министра нефтедобывающей промышленности В. Д. Шашина. Учитывая, что большинства «покорителей Севера» вахтовым методом,

имели уголовное прошлое или авантюристский характер можно понять, как нередко промысловиков лишали лабазов, где хранился жизненно необходимый охотничий припас и продовольствие, что новые поселенцы воровали капканы, отстреливали охотничьих лаек. При этом бросаемые при отработанных буровых установках собаки нефтяников становились ужасом для оленеводов.

«ДОСТИГНУТОЕ — НЕ ПРЕДЕЛ!

Наш корреспондент В. Дюкина встретилась с главным инженером управления Георгием Самуиловичем Арнопольским и задала ему несколько вопросов.

— Чем знаменателен минувший год для мегионских нефтяников? И какими успехами они встретили 1970-й?

— Если говорить о больших событиях 1969-го, то, в первую очередь, следует отметить три самых важных для нас: переход на круглогодовую добычу нефти, начало эксплуатации Самотлорского нефтяного месторождения и первый миллион, взятый у Самотлора. Кроме того, сдано в эксплуатацию много крупных и нужных нефтяникам объектов. Построен пусковой комплекс центрального товарного парка, куда идет нефть с Мегионского и Самотлорского месторождений. Введена в действие газотурбинная электростанция. Автоматизировали блочную кустовую насосную станцию, а также водозаборные сооружения в поселке Нижневартовский. Все это позволило нам добыть 875 тыс тонн нефти сверх задания, что составило более половины всей сверхплановой нефти, добытой по плану».

Физическое насилие над миром Великой реки сопровождалось кощунственным разорением его мистической географии: вырубкой почитаемых деревьев и рощ, преднамеренным заливом сырой нефтью — чтобы не было комаров! — священных озёр и болот.

Старики помнили, как белый бобёр *ма* вывел хантов на реку Васюган, и они предсказывали, что исчезновение бобров ведёт за собой исчезновение народа.

Пророчество восьмидесятидвухлетнего Кузьмы Молданова из посёлка Юильска Тюменской области:

«Раньше ханты всегда хоронили головой на полуденную сторону, и если сделать наоборот, то умершие с того света не возвращаются на этот свет. И вот хантов теперь становится мало, потому что хоронят они по-русски. Но зато много стало машин, самолетов, и все машины вытягивают нефть. И земля умирает. Постепенно от всей земли останется только оррас — тень, но если тень человека жива на том свете, то у земли нет того света, ей некуда уйти.

Это будет то последнее время, когда от всех сейчас умирающих стариков останется только оррас. Но и машины и пароходы станут безжизненными, то же как тень, потому что в земле кончится нефть, как если бы комары высосали всю кровь из человека. Русские будут обессилены без машин, потому что они не

умеют делать луки, ловушки на зверей, варить из чешуи клей и делать крепкую тетиву для лука.

Тогда тени хантов поведут на русских тени пароходов и самолетов, а русские ничего не смогут сделать, потому что они хоронят не по-хантыйски и их тени безжизненные: русские закапывают глубоко и дороги назад нет. Ханты, как слопцом глухаря, придавят безжизненные тени русских тенями их пароходов и машин.

Тени пароходов и машин не смогут вернуться на этот свет, так как не будет нефти, и они уплывут по Оби, как гробы, в царство мертвых, откуда нет дороги на этот свет».

ПРАВДА. 22 апреля 1970 года в газете опубликовано сообщение о присуждении Ленинской премии группе работников нефтяной промышленности в составе: Б. Н. Крючкова, В. П. Максимова, О. А. Московцева, С. А. Оруджева, Ю. Б. Файна, В. Ю. Филановского — «За разработку и внедрение метода опережающего ввода нефтяных месторождений в эксплуатацию и других высокоэффективных технико-технологических решений, обеспечивших ускоренное развитие добычи нефти в Западной Сибири».

Централизованное — за четыре с лишним тысячи километров — управление не могло не привести к быстрому ухудшению положения с добычей углеводородного сырья: к 1980-м годам были добыты первично доступные ресурсы практически всех видов, то есть «сняты сливки» при минимальных затратах, относительно простых технологиях и экстенсивных методах освоения. Обычно продолжительность всего цикла работ на буровой площадке не превышала более одного года. Самый «дешёвый» способ извлечения нефти — выдавливать её водой. Плевать, что при этом большая её часть закупоривается практически навсегда. И вот сегодня в России около 700 тысяч брошенных обводнённых скважин, не выработанных и на треть. А нефтяники упорно продолжают «снимать пенки» с новых месторождений, забираясь всё дальше на Север и Восток, в глубь неосвоенных регионов. Как следствие, добыча нефти требует всё больших затрат, и, самое главное, подобная практика чревата угрозой энергетической безопасности страны.

По чрезвычайным техногенным ситуациям Тюменская область лидирует не только в России, но и в мире. Тут ежегодные объемы аварийно разливаемой нефти составляют 50–70 тысяч тонн — в среднем до двухсот случаев! Это от 3 до 7 процентов добычи. По официальным данным, в одном только Нижневартовском районе 2560 гектаров замазученных земель.

Выравненность рельефа и высокий уровень грунтовых вод западносибирского ландшафта способствуют широкому распространению нефтяной плёнки в разные стороны от места разлива. Такое расползающееся

пятно вызывает снижение численности или полное исчезновение мелких млекопитающих. При этом у животных, оставшихся в местах загрязнения, заметны нарушения половозрастной структуры: сырая нефть, попадая в пищеварительный тракт, вызывает отравление организма, нарушает их репродуктивные функции. Установлено также, что некоторые фракции нефти с оперения насиживающих кладку уток и куликов легко проникают через скорлупу внутрь яиц и в зависимости от количества приводят к гибели эмбриона или нарушают его развитие. Попавшая в реку нефть растекается по поверхности, теряя свои летучие компоненты. До 15 процентов её углеводородов способны растворяться, но основная же часть нефтяного состава остается в виде взвеси и постепенно оседает на дно, где накапливается в осадках.

В среднем за год Обью переносится около 120 тысяч тонн нефтепродуктов. Под воздействием нефтяных загрязнений почти полностью потеряла рыбохозяйственное значение река Надым, на грани полной утраты нерестового значения находятся знаменитые сиговые реки Пур и Собь. В ходе химического анализа проб рыбы были обнаружены вещества, вызывающие раковые заболевания. За последние пять лет в Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Радужном в два раза возросло количество онкологических заболеваний, увеличился процент рака трахеи, бронхов, легкого, щитовидной железы.

«Нефтепровод, комплекс сооружений для транспортировки нефти и продуктов её переработки от места их добычи или производства к пунктам потребления или перевалки на ж.-д. либо водный транспорт. В состав Н. входят трубопроводы, насосные станции и нефтехранилища. Скорость движения нефти — 10–12 км/ч. Стандартный диаметр — 1,2 тыс. мм.». «По эффективности с нефтепроводами могут соперничать только морские перевозки танкерами. Стоимость строительства магистрального нефтепровода обычно окупается за 2–3 года. Для сооружения Н. применяют трубы из углеродистой и низколегированной стали, в основном сварные, с продольным и спиральным швами. По всей длине Н. устанавливаются линейные секущие задвижки. Расстояние между задвижками определяется в зависимости от рельефа местности, но составляет не более 20 км».

В 1863 году русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев публично изложил принципы строительства трубопровода для транспортировки нефти и нефтепродуктов и представил убедительные аргументы в пользу данной идеи. Но первый нефтепровод длиной шесть километров сооружен в США в 1865 году. Спустя только тринадцать лет на Апшеронском полуострове был введен в эксплуатацию отечественный, разработанный знаменитым русским инженером В. Г. Шуховым, трубопровод протяженностью двенадцать километров для перекачки нефти от Балаханского месторождения на заводы Баку. Однако уже к концу столетия общая протяженность трубопроводов районов Баку составляла

230 километров, с ежегодным объёмом перекачки в миллион тонн. Причём в 1897–1907 годах был построен самый протяженный на то время в мире магистральный трубопровод Баку–Батуми длиной 835 километров, который продолжает эксплуатироваться и по сей день.

16 июля 1964 года. Под Тюменью, недалеко от деревни Ембаево, уложена в траншею первая плеть первого в Сибири нефтепровода Шаим–Тюмень. Параллельно со строительством нефтепровода началось строительство нефтеналивной станции. А 21 декабря 1965 года, в 14 часов в поселке Антипино состоялся митинг, посвящённый сдаче в эксплуатацию нефтепровода.

Система магистральных нефтепроводов на территории СССР сформировалась в особых условиях размещения пунктов добычи и переработки нефти. В Западной Сибири нефтепровод Усть-Балык-Омск, протяженностью более 950 километров, приняли в эксплуатацию в 1967 году. Через болота, большие и малые реки, ручьи и овраги также проведена 250-километровая ветка нефтепровода Нижневартовск–Усть-Балык. Чрезвычайно сложным стал почти двухкилометровый переход через реку Обь. Возведенный в кратчайшие сроки, пересекший крупнейшие в мире Васюганские и Инкинские болота, гордостью страны явился трубопровод Александровское–Анжеро-Судженск; продлённый до Иркутска, он, бесспорно, заслуживал тех восторженных эпитетов, которыми его награждала советская пресса.

Сейчас западно-сибирская нефть транспортируется от Сургута до Нижневартовска к знаменитейшему трубопроводу «Дружба» — через Украину в Чехословакию, Польшу, Венгрию и Германию, а ещё на Северный Кавказ, в порт Новороссийска, а также в Казахстан и Восточную Сибирь до Ангарска.

«Постепенно от всей земли останется только оррас — тень, но если тень человека жива на том свете, то у земли нет того света, она вся здесь».

«Но и машины и пароходы станут безжизненными, то же как тень, потому что в земле кончится нефть, как если бы комары высосали всю кровь из человека. Русские будут обессилены без машин, потому что они не умеют делать луки, ловушки на зверей, варить из чешуи клей и делать крепкую тетиву для лука».

За 60–80-е годы объем перекачки по нефтепроводам увеличился вдвое, грузооборот в пять раз, протяженность нефтепроводов составила 65 тысяч километров, число нефтеперекачивающих станций — 585. «Стоимость строительства магистрального нефтепровода обычно окупается за два-три года».

И при этом государственный долг продолжал расти.

ТЕТРАДЬ ЧЕТВЁРТАЯ

19.

Олег часто дышал в самый затылок Килею, но и его самого то и дело пихали промеж лопаток — очерёдность перед турником соблюдалась с большим трудом. Разгоряченная почти сотня десяти- и девятиклассников по спортивному залу равномерно, как это планировали в учительской физрук с военруком, ну никак не распределялась. Конечно же, если, например, на сборку-разборку выложили только четыре автомата, а подтягиваться можно вообще лишь по двое, то давка на этих этапах создавалась естественная. Зрители и болельщики, густо сидящие и стоящие вдоль стен, так дико орали и визжали, потрясая разномастными транспарантами, что даже зарешеченные окна заметно дрожали. Жюри нервничало, классные наводили дисциплину, почётные гости натужно улыбались, а участники соревнований «А ну-ка, парни!» уже второй час никак не могли выделить по три финалиста от их двух десятых классов и от двух девятых.

Чтобы выйти в эти пятнадцать, нужно было разобрать и собрать «калашникова» в полторы минуты, прыгнуть в длину за два семьдесят, потом подтянуться не менее десяти, а десятиклассникам лучше двенадцать, раз, без ошибки в уме перемножить два двузначных числа и перепрыгнуть через «коня». Далее уже только финалистам предлагалось очистить на скорость десять картофелин, сделать не менее пяти выходов силой или переворотом, прочитать с выражением отрывок из «Тёркина» или «Бородино» и напоследок вытолкнуть пудовую гирю, кто сколько сможет.

Запах старого и свежего пота, перегорая в дыхании и криках, заполнял жаром спортзал до самого потолка, но окна не открывали категорически — боялись сквозняков и ОРЗ, так как на носу выпускные экзамены.

Килей легко, почти без рывков, подтянулся шестнадцать раз, Олег за ним — четырнадцать, тоже без мухляжа. А вот висевший рядом с ним Ермолай ну весь издёргался, турник аж скрипел. Пятнадцать-то, оно пятнадцать, да только после десятого Ермолай уже вовсю ногами подмахивал, а судьи, ох, надо же, вроде как и не видели. Знаем, догадываемся: он же не просто косморг, но ещё и сыночек пионервожатой из начальной школы, а кто с ней связываться захочет? Так, ладно, теперь умножение. Главное условие, чтобы вслух с первого раза. Можно тридцать секунд подумать и отвечать.

— Тридцать два на восемнадцать? — Наташка Амирханова выкрикнула, даже не оторвав взгляд от бумажки. Хоть бы посмотрела, что перед ней свой, может, чего попроще бы выдала.

Так, так. Так. Три на восемнадцать… тридцать и двадцать четыре… пятьдесят четыре… нет, пятьсот сорок! И плюс тридцать шесть.

— Пятьсот семьдесят шесть!

— Правильно!

Фу! Чуть, балда, за пятьдесят четыре не посчитал.

Коня у них в классе только Мазин перепрыгнуть не мог, и Олег, как финалист, отошёл к застеленному красным столу с почётными гостями.

Оглянулся — эх, Килей всё же отпал. Да, математика не его стезя, а жаль. Итак, из их класса прошли он, Ермолай и Маллер, от «ашников» Михась, Власин и Сурков. Интересная компания, и даже не скажешь, что это самые здоровые. Скорее, кому повезло. Так Литос на прыжках сломался, сделав все три заступа.

Ведущий программу физрук Владимир Лаврентьич, в народе Вол — кроме имени и шея соответственная, так что замок на «олимпийке» даже до середины не застёгивался, поблагодарил не прошедших во второй тур участников за «попытку-не-пытку» и попросил им похлопать. Под радостный или разочарованный гул, крики «ура» и утешительные аплодисменты, те, помахивая руками и кривляясь для впечатления нерасстроенности, отошли и смешались со зрителями.

Где-то там, почти напротив, ближе к шведской стенке, сидела Вика. Разглядеть, конечно, в этой сутолоке невозможно. Но Олег всё равно знал, что она там, среди своих одноклассниц, очень за него переживала.

Среди оставшихся самое сложное будет обойти Маллера и Михася. Одно счастье, что подтягивание уже позади, а то Михась по двадцать пять раз каждое утро перед школой разминается. Выход же переворотом такой дурной силы не требует, и про «переправу, переправу» они совсем недавно проходили, а в гире он Ермолаю, уж при любом раскладе, не уступит.

Ведь она там переживает за него.

Олег всегда имел только золотые значки БГТО — и за «Смелых и ловких», когда нужно было пробежать шестьдесят метров за девять и две десятых секунды, плюс подтянуться семь раз, и за «Спортивную смену» для подростков с обязательной стометровкой за тринадцать с половиной секунд, плюс километровый кросс за три и две десятых минуты, с двенадцатью подтягиваниями и пятью кэмэ на лыжах за двадцать пять минут. Что здесь-то такого особого? На лыжах он вообще за двадцать три и две приходил, даже в межрайонных соревнованиях общества «Урожай» участвовал. Серебро, между прочим, а там и из Шегарки, и из Кривошеино, и даже из Колпашево ребята бегали.

По отмашке Вола на середину выставили пять табуретов, на каждом по две тарелки: в одной — несколько помытых картофелен, в другой нож. Первое место — три очка, второе — два, остальным по одному. С картошкой он опростоволосился жутко, чего-то завозился с глазками и оказался предпоследним, то есть заработал всего очко.

Турник. Здесь за пять выходов давали одно, за семь — два и за больше — три. Олег из стратегических соображений легко сделал свои восемь переворотом и соскочил. Хватит, силы ещё потребуются на гирю.

Далее начиналась читка с выражением. Или же «пытка с вытяжением». Но ещё в младших классах Олег играл в школьном драматическом кружке Витю Малеева и был постоянным чтецом на пионерских концертах, да так, что даже несколько раз выступал по районному радио. Тут-то можно и нужно набирать!

Первым декламировать выпало Михасю. А тот половину согласных отродясь не выговаривал, и не выговаривал очень громко. Свои-то давно привыкли, не замечали, но на беду к этому моменту страсти болельщиков перевалили какую-то запретную черту, и после первого же мощного михасевского возгласа: «Сази-ка, дядья, вель ведагом…» по залу, как горошинки, дружно рассыпались мелкие смешки. Ничего от волнения не замечавший, Михась искренне ревел дальше: «Быа фасузу отлана!» Да ещё и руками разводил, показывая, как именно. Прокатившись от ближних к дальним, смешки, ударившись о дальнюю шведскую стенку, нарастающим эхом смеха вернулись к столу жюри и гостей и уже настоящим хохотом повернули по второму кругу. Даже когда первого чтеца сменил второй, вполне вразумительный, зал уже не мог остановиться. Вол и военрук пытались призывать к вниманию, шипели, давили на совесть, гавкали, грозили и упрашивали. Бесполезно. Ну, в самом-то деле: чем искренней ребята старались читать патриотические стихи с неизбежным для данных текстов пафосом, тем зрители всё больше и больше укатывались. Смех местами переходил в истерики, с тонкими взвизгиваниями и падениями со скамеек. Даже почётные гости и те стали поддаваться всеобщему безумству. В конце концов, один за другим захмыкали и сами исполнители. Невольно тоже кривя губы, Олег с нарастающим тайным обмиранием следил, как близилась и его очередь.

Сжимая и разжимая кулаки, он из последних сил старался не забыть, не утерять ни строчки из заготовленного отрывка. Как? А просто, очень просто. Он будет читать для неё. Только для неё. И наплевать на всех ржавших, гоготавших и усыкавшихся.

Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая в даль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
На медаль, и то не к спеху…

Но сидевших на дальней скамейке девятиклассниц перекрывали отсеявшиеся с первого тура, и тогда Олег, неожиданно для самого себя, вдруг повернулся вполоборота к жюри и выставился на Викиного отца, просто впёрся взглядом. Антон Николаевич не сразу почувствовал вызов, даже первое время едва заметно согласно кивал в такт строчкам, потом удивился Олегову напряжению и вроде как немного забеспокоился, стараясь что-то припомнить. Не найдясь, разозлился. Сощурился, ответно заиграл желваками.

…Где мальцом под лавку прятал
Ноги босые свои…

Чего ж злиться? Просто потерпи! Ибо зацеп тут вовсе не за то, что ты офицер, мастер спорта по вольной, начальник ДОСААФ, уважаемый и состоявшийся, а перед тобой какой-то сопливый допризывник, с первым юношеским по лыжам, сын шоферюги-пьяницы. Нет, дело в том… в том… что

твоя дочь слишком восторженно произносит «папа». Слишком почтительно. Почти как «папа римский». Да, всё именно в том, что Вика может гордиться своим отцом, а Олег не может. Но, только что, что из этого? Это же только сейчас важно, сию минуту, пока ему семнадцать. Ибо неужели в нашей советской стране человек не сам делает свою судьбу? В нашей самой лучшей, самой могучей, самой справедливой и честной стране? Не своими силами? Да стоит только захотеть… Маленькие холодные глазки под широкими белесыми бровями не выдержали давления, заметались, соскользнули вниз, якобы что-то там Антон Николаевич стал в тетрадку записывать. А ещё — зал затихал. Это Олег не понял, а почувствовал — его слушают. Слушаются. И заканчивал в полном внимании:

…Не загадывая в даль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.

Вика шла посредине между Олегом и Лёшкой и верила, и не верила. Ребята наперебой засыпали её лесными страшилками. Про осенних женихающихся лосей, которые ничего не боятся и готовы убить любого, кого встретят, и про покалеченную рысь, которая воровала собак на окраине села. И про филина, у которого егерь забрал филинят, а потом тот два года набрасывался на одиноких людей в чёрных шляпах.

— Филин же человеческую речь понимает. И вместо эха иногда передразнивает!

Да мало ли что такого же, дорога-то дальняя, километров десять с лишним, поболтать есть о чём. Основная группа немного отстала: восемь человек, точнее, четыре пары предпочитали идти по лесу не спеша и под музыку. «Синий, синий иней» доносился всё глуше, а одномерные, как на подбор, берёзки, плотной щёткой заполнившие низинку между рёлками, наоборот, с подъёмом к вершине под встречным южным ветром шумели свежей светлой листвой сильнее и протяжнее. Ещё в Чёрный лог собирались и Ленка с Димкой, но Ленка вдруг приболела, а без неё Димка скис и не захотел, придумал что-то про ремонт батиного трактора. Хозяин-барин. Хотя зря: послезавтра уже начнутся выпускные экзамены, и если сегодня не погулять, то когда же тогда ещё?

— А помнишь, как в прошлом году здесь бурундучат ловили? — Лёшка, впервые милостиво принятый в компанию старших, от восторга аж наперёд забегал и пятился перед Викой и Олегом.— Ну, тогда-то? С Васькой Ветровым.

— Каких бурундучат? Как ловили? — Вика заранее прыснула.

— Обыкновенно: руками. Чего ты смеёшься! Это как делается? Строго научно. На основе многовековых наблюдений. Бурундуки и так очень доверчивы, а малыши вообще человека не боятся. Их поэтому и берут руками. В верхонках, конечно.

— Точно, точно! Главное, это их удивить, как следует. Чтобы они обалдели. Для этого кто-то один перед ними на полянке концерт устраивает, а другой в это время вокруг потихоньку прокрадывается и подходит сзади поближе.

— Они же как дети. Садятся на задние лапки на валежине и смотрят, не мигая, пока перед ними пляшут и поют.

— Ага, только петь нужно негромко. А плясать, наоборот, поразмашистей.

— Можно и на руках ходить, и колесом. От этого бурундуки в полный восторг впадают.

— Только свистят и цокают.

— А тут их по одному тихонько берёшь и — в мешок!

Лёшка так вошёл в азарт, показывая, как нужно плясать, что запнулся и упал, вскинув пятки в небо. Вика с Олегом подняли, отряхнули. Олег прощупал Лёхин рюкзак:

— Вот балда, кажется, яйца подавил.

— Ну и чего? Сам всё съем.

— Все? Один? Да там же полведра!

— Съесть-то, может, он и съест. Но кто ему даст? — Олег ножом срубил большой прошлогодний дудник, отсёк макушку, продул. Подал Вике — «флейта». Она попыталась протрубить, но ничего не вышло. Зато получилась отличная подзорная труба.

— А почему Чёрный лог называется Чёрным?

— Говорят, что в нём постоянно, практически каждый год низовые пожары бывают. И всё до черна выгорает. Всё, кроме одной сосны.

— Да, ладно ты! Это объяснение для октябрёнков. На самом деле там другое. Таинственное. Всегда, когда подходишь к логу, тревога какая-то на душе. Словно вот-вот что произойдёт.— Олег заглянул в трубку с другой стороны.

— Правда! А, если не шуметь, то как будто бы голоса звучат. Правда-правда! Я сам слышал: слов не разберёшь, но то с одной стороны, то с другой тихий такой шёпот раздаётся. По бокам в лесу кто-то меж собой лепечет, а вверху, в ветках сосны словно постанывает.— Лёха опять споткнулся, однако, помахав руками, устоял.— Полное ощущение, что вокруг невидимки тихонько переговариваются.

— Почему невидимки? Вечером и тени мелькают.

— Ну, вас! Запугали совсем. Может, мы лучше остальных подождём?

— А чего менживаться? Шорохов? Подумаешь, я там сто раз бывал, никто меня не надкусывал.

— И меня.

— Для этого же и ходим, чтобы немного побояться.

— Ага, как в мультике про котёнка и щенка.

Они выбрались наверх, на широкий материковый холм, вбирающий в себя сходящие в сторону реки поперечные мыски рёлок, и подставились ровному тёплому ветру. Редкие розовые сосны, подбитые мелким серым осинником, свободно раскидали тёмные шелушащиеся ветви, сонно покачивая хвойными пучками.

— Вот, Вика, смотри!

Внизу, до самой далёкой тёмной полоски Оби, километра на два распласталась светло-зелёная приболоченная долина, сплошь прошитая сиренево-синими, без блеска, блюдцами мелких озёр. Отсюда, сверху, земля казалась тонкой плёнкой, непрочной, временной, в частых разрывах которой звенящее тёплой голубизной небо вовсе и не отражалось, а это навстречу ему просвечивало другое небо, нижнее, тёмное. Небо вверху и небо под ногами. Так близко, так явно. И так хлипко между ними. От этого откровения слегка закружилась голова.

— По этой кулиге раньше река текла, ну, в древности, когда воды в десять раз больше было. Да и сейчас паводком всё заливает.

— Сколько же тут озёр? Пятьдесят?

— Наверно.

Олег спрятал за спину вдруг вспотевшие ладони: эх, зачем он Лёху взял? Вика, приподнявшись на полупальцы, раскрыла руки встречному, поднимающемуся от далёкой реки, ветерку и замерла, чуть-чуть покачиваясь. Тоненькая фигурка с воздетыми, распахнутыми руками-крыльями. Вот-вот взлетит. Это же опасно — так стоять на самом краю! Он шагнул, встал почти вплотную, но прикоснуться не посмел. Вика обернулась медленно. В сжавшихся зрачках жалоба:

— Почему-то всегда тянет. Когда стоишь на высоте, тянет. Хочется раствориться.

Сзади послышалась догоняющее «говорила-мама-мне-про-любовь-обманную…», и чувство приближения к какой-то очень важной тайне смялось, пропало.

— Двинули?

— Ага.

Они споро пересекли присыпанную оранжево-бусой, прошлогодней хвоёй прозрачную сосновую рощицу и углубились в темноту пихтача. Надо же, всего несколько шагов, а как в другом мире! Тишина и сумрак. Здесь бы сказки снимать. Про сестрицу Алёнушку и братца Иванушку.

— А вы про сосну не договорили, которая в Чёрном логу растёт. И что она?

Лёшка открыл, было, рот, но Олег тычком в плечо оборвал. Выдержав паузу, он вдруг надулся, сложил на выпяченном животе как бы укоротившиеся руки и точь-в-точь пузырьковским голоском надтреснуто затенорил:

— Сосна, по латыни — «пинус», род хвойных вечнозелёных деревьев семейства сосновых, состоящего примерно из ста видов. Дикорастущие бывают двухвойными и пятихвойными, то есть кедровыми. Корневая система имеет глубоко идущий главный корень и широко расходящиеся боковые. Размножается семенами, женские шишечки вырастают одиночно или группами и опыляются ветром. Но в шишках часто развиваются личинки жука-долгоносика — шишковой смолёвки, а хвоей питаются гусеницы соснового шелкопряда, совки и пяденицы. Живут сосны от ста пятидесяти до пятисот лет, но на юго-западе США одна сосна растёт примерно шесть тысяч лет. Это, по-видимому, самое долгоживущее дерево в мире. И… всё, больше ничего не знаю.

Шутка с копированием директора прошла на брата, а вот Вика только покивала, даже не улыбнувшись.

— Нет, в самом деле, есть такие особенные деревья, жизнь которых никак не подходит под общие правила. Такая и эта сосна из Чёрного лога. Она не просто большая, а очень большая. И сколько ей лет неизвестно. Может, она ещё Ермака помнит? — Олег взял Вику под руку и, заглядывая в лицо, всё более пригибался.— А, вообще-то, здесь раньше сплошь кедрачи шли. Сосны только в окраинах росли, да вокруг еланей. А потом, в лесоповал — он ещё до войны начался и к шестидесятым закончился — кедры подчистую вырубили. Все. Вон, в Могочино завод, так туда через Ледовитый океан корабли приходили из Швеции и Англии. За нашей древесиной.

Лёха понимающе стал отдаляться, забирая вправо и громко насвистывая песенку из «Генералов песчаных карьеров». Что, он чего-то не понимает? Не полный идиот: «…и увидав меня, не прячьте взгляд…», его задача рюкзак носить. С яйцами.

Обойдя очередную сростку из нескольких пихт, он остолбенел:

— З-здра… здрасьте, Антон Николаевич.

Викин отец в расстёгнутом офицерском бушлате поверх патронташа, в галифе, заправленных в японские зелёные сапоги, на голове фуражка с неблестящей полевой кокардой. А на плече новенькая вертикалка ИЖа.

— Зрасьте! Антон Николаевич!

Услышали они его или нет?! Лазарев тоже удивлённо-внимательно оглядел Лёшку с головы до ног:

— Здравствуй. А ты чего здесь делаешь?

— У нас это, турпоход. В рамках БГТО.

— И куда? Сколько вас? — вопросы жёсткие, приказным тоном.

— Это… ещё десять человек. В Чёрный лог идём.

— Виктория с вами?

— Да. Она с нами. Вика! Вика!! Тебя папа зовёт!! — Лёха прокричал в раструб ладоней, ещё надеясь на братову сообразительность. Но те вышли чуть ли не за руку.

Антон Николаевич не сощурился, а как-то сжал глаза под сошедшимися в линию бровями. Но Олег вроде бы и не среагировал на никак нежданную встречу. Буднично буркнул-поздоровался и подошёл к брату, повернувшись к директору ДОСААФ почти спиной. Только о чём спросить Лёху не мог сообразить. Не дорогу же к библиотеке уточнять.

Вика почти подбежала к отцу, приложила ладони к его груди:

— Пап! А ты чего здесь?

— У Лены узнал, куда вы. Выехал наперехват.— Он с трудом разжимал узкие губы и с трудом удерживал взгляд на ней.— Где остальные? Немедленно выходите на дорогу и в грузовик, в кузов.

— А что случилось?

— Медведь. Куда-то сюда раненный медведь направился. Торопов? Который «А ну-ка, парни» выиграл?

В ответ на его косую молнию, Вика поспешно кивнула:

— Да, Олег.

— Торопов! Где остальные школьники?

Олег поворачивался нарочито медленно, всё ещё не соображая, как бы вести себя поестественней и понаплевастенней.

— Они там. Сейчас подойдут.

— А как ускорить?

— Ну, можно же выстрелить.— Лёха уже тут как тут. От ружья восхищённый взгляд на кокарду и обратно.

— Нельзя стрелять. Остальные, кто в облаве, подумают, что шатун здесь. Пойдёмте лучше им навстречу.— Антон Николаевич так же, как перед этим Лёха, сложил ладони рупором:

— Ефремов! Логунов!

На призыв из недалёкой, густо заросшей черёмухой и ольхой круговой логатинки откликнулись дуэтом, а потом и вышли двое мужиков в старых телогрейках, резиновых сапогах и с опущенными вниз стволами, видавшими виды ружьями. У одного на длинном поводке дёргался и нетерпеливо поскуливал здоровенный серый кобель хаски. Если б поводок не был накрепко привязан к поясу, то этот потомок любви волка и лайки давно бы только своим пушистым хвостом на прощанье мелькнул! Но сейчас в лесу спущенной собаке нечего делать — и гнездование вовсю, и у коз отёл начался.

— Я отойду! Школьников встречу!

Но встречать не пришлось. Переносной проигрыватель пластинок, наверное, по третьему кругу, сладеньким бюльбюлевским голоском гулькал про «синий-синий иней». Ребята всей кодлой через пихтач вывалили прямо сюда — а куда бы ещё? Дорога к Чёрному логу одна, и известна практически всем сызмальства. Там каждый парень из «нижних» по нескольку раз побывал. Но все всегда только добирались до сосны и сразу возвращались, надолго никто не задерживался. И никто не мог объяснить почему. Ну, неловко, неуютно.

Тревожно. Действительно, то ли кто-то шепчется за спиной, то ли просто недобро наблюдает из зарослей. В общем, чертовщина какая-то.

В кузове все сидели возбуждённо возмущённые: конечно же, кроме яиц в поход взяли всё, что требуется. И вино, естественно. Теперь оно булькало и звякало на кочках и рытвинах пыльно вихляющейся полевой дороги. И чего делать-то? Просто разойтись? Проклятый медведь, откуда он взялся? Летом — и шатун. Бред. Перед дорогой шофёр на все расспросы разводил руками: вроде в Майково, вроде напал на корову, местные стреляли, но ранили не сильно, только разозлили. Следы повели в эту сторону. Вот и нагнали народ, прочёсывают. А милиция коров караулит. Водила явно расстроился от неожиданно лишнего задания отвезти школьников и вернуться, и пути не выбирал, пёр, как придётся, грузовик аж подпрыгивал. И как только заваливавшиеся направо или налево парни бедного медведя не обзывали! И майковским горе-охотникам тоже досталось. Лучшая шутка получилась, конечно, у Литоса: «Человека, встретившегося в лесу с медведем, очень легко отыскать по очень яркому следу». Наконец с полевых колдобин выкатили на трассу и, обогнав собственную пыль, помчались к райцентру, да так, что ни платочки, ни кепки не держались. Литос и Киля, перекрикивая надрывающийся «газоновский» двигатель и хлещущий ветер, убеждали хотя бы просто попалить костёр где-нибудь возле нефтеперекачки. Поесть, попить. Потанцевать. И так далее. Большинство с ними соглашалось, и Лёха, которого как раз и не спрашивали, дадакал практически первым. А вот Олег, качаясь плечо в плечо на низкой деревянной скамейке, молча перебирал Викины пальцы. Чего ему этот костёр, если её отец приказал шофёру доставить дочь прямо к дому. Кое-как отговорилась, чтобы не ехать в кабине.

Киля, вцепившись в мотающийся борт, присел на корточки напротив:

— Олег! Ну, ты чего молчишь?

— Нет. Я не пойду. Лёха вместо меня.

— Как знаешь.

В подъезд из открытого подвала щекотливо несло грибной плесенью. Олег, понуро съёжившись, сидел на краешке межэтажной площадки, а Вика, на две ступени ниже прислонившись спиной к стене, осторожно ерошила его новомодную «кукушку». За соседскими дверьми тишина — рабочий день, только в последней шестнадцатой квартире на всю катушку звучала забытая радиоточка. Какой-то писатель вдохновенно вспоминал про стопятидесятилетие восстания декабристов. «И я бы мог…» Периодически звучала красивая струнная музыка.

— А ты медведя видел?

— В лесу? Нет. Следы часто встречал. Совсем свежие, на малинниках. И, извини, вот такие кучи. У медведей слишком быстрое пищеварение.

— Страшно было?

— Есть такое. Но, скорее, неприятно. Умом ведь понимаешь, что он сытый неопасен, а в спине всё равно холодок. Вот на этот холодок и злишься. На свою трусость.

— А они большие бывают?

— Наши нет. Килограмм сто двадцать. Это полярные или гризли здоровенные. Послушай, чего ты так за своего отца волнуешься? Он же весь из себя такой военный, в галифе, в фуражке, да ещё и Ефремов с Логуновым прикрывают. А дядя Ваня Логунов, между прочим, самый известный в районе медвежатник, он больше двух десятков косолапых добыл. Так что не боись, в обиду твоего папочку не даст.

— Олег, почему ты всегда так резко говоришь о моём папе?

Что ответить?

— Словно злишься на что-то. Вот сегодня он едва сдержался. Я хорошо знаю: его очень обидело твоё поведение.

— Какое ещё поведение?

— Ну… демонстративно недоброжелательное. Почему ты так?

Вопросы, вопросы. Он вздохнул, встал. Притянул её, крепко прижал к груди. Беззвучно шепнул в самое ухо:

— Так-по-лу-ча-ет-ся.

— Мне неприятно.

— Погоди.— Олег не отпускал.— Наверное, я просто завидую. Понимаешь, вот мой батя. Он ведь тоже служил, и даже в десанте. Правда, шофёром. С такого возраста помню, как он нам с братом рассказывал про то, как их на Кубу перебрасывали, революцию от Америки защищать. И я, маленький, к нему, как сейчас ты к своему, относился. Верил каждому его слову, как собачонка наперёд желания старался угадывать. Он мне казался таким сильным, смелым, надёжным. А потом перестал. Потому что всё болтовня. Про дедов-морозов. Вот и завидую: ты-то ещё в своего веришь.

— Почему «ещё»? А ты в своего?

— Да слабак он! Мой батяня. Нутром слабак. Бестолковый. Ещё и пить всё больше начал. Словно сдурел. Весной как-то у нас его кореша гаражные с ним на кухне бухали, а потом, когда стали уходить, прихватили во дворе Тайгу. Нашу лайку, она же молоденькая, не поняла и пошла с ними. Я ему кричу: «Верни! Воруют!», а он уже наквасился, слюни распустил. Ну, выскочил он всё-таки на улицу и начал стыдить. Кого? Чего? Тайгу уже в кабину втаскивают. А батя только гундит, правда, за дверку держится. Тогда его сменщик развернулся и хлесь его, хлесь по скуле. И батя — ведь не пацан, не должен, а стерпел. Нет, не стерпел, струсил! Только ныл чего-то. Я тогда схватил скобу и разбил им лобовое. Я — разбил, а он — струсил!

Теперь уже Олег попытался освободиться из её рук.

— Ладно. Проехали.

По радио передавали новости из Анголы, чья молодая коммунистическая партия при активной поддержке СССР стала главным препятствием для апартеида. Вика опять прислонилась к стене, а Олег присел. Только теперь Вика не касалась его волос. Луч, сквозь немытое с субботника стекло, бледно-лимонной диагональю разделил лестничную площадку, зацепив выкрашеные серым суриком ступени. Он — на свету, она — в тени.

— Олег, мы не договорили про сосну. Почему она особая? Начали и не договорили. Ты знаешь, отчего-то вдруг вспомнилось: была такая балерина Анна Павлова. Я читала, что она, хоть и русская, но жила за границей, в Англии. И вот как-то она приехала к своей подруге, не помню — то ли во Францию, то ли в Италию — и застала подругу в саду за прополкой цветов. Павлова взяла тяпку и окучила куст розы. И вдруг сказала: «Когда я умру, этот куст засохнет». Прошло несколько лет, и в одно утро хозяйка увидела, что куст ночью увял. Вечером был зелёным, а к утру весь почернел. А после обеда пришла телеграмма, что Анна Павлова умерла. Может это и смешно, но отчего-то я верю, что есть какие-то особые связи между человеком и природой. Не знаю, как они называются, как объясняются, но они есть.

— Есть. Я тоже это знаю. Не зря же о каждом дереве свои легенды складывали. И о сосне тоже. О ней и у греков есть предания, и у викингов. Помнишь? О Марсии, фригийском сатире? Ну, то, как сатир вызвал Аполлона на музыкальное состязание. Сам он играл на флейте, а бог — на лире. И проиграл. Тогда Марсия привязали к сосне и содрали с него кожу. С висящего на дереве! Это такая особая, древняя казнь, и не только в Греции и Риме. В подобную же жертву через повешение на священных деревьях предавали людей, посвященных богу Одину. Поэтому Одина назвали богом висельников и часто изображали сидящим под виселицей. А ещё из стихов «Гавамалы» известно, что через повешение его принесли в жертву самому себе! Ну, Один как бы сам описывает это: «Итак, на дереве, колеблемом ветрами, Девять ночей висел я, посвященный Одину, чьим копьем я был поранен — Сам самому себе». Я, честно говоря, так тут ничего и не понял: как Один сам себя себе в жертву принёс? И почему от этого стал великим богом? Но! Висел не просто на дереве, а на хвойном, скорее всего на сосне! Может быть потому, что сосна всегда связана с особой природной силой, с лечением. Ты же «серку» жевала? Полезно для дёсен. И раны заживляет. А под водой живица становится янтарём, тоже лекарственным камнем. А орехи от малокровия? Кедры — это те же сосны, разновидность, просто их русские неправильно назвали, когда в Сибирь пришли. Так что не зря и раньше считали, и в современной медицине пишут, что сосны укрепляют волю, придают стойкость, помогают сосредоточиться. Что ты так смотришь? Я опять завёлся? Да, завёлся? Ну, вот такой я берсеркер. Ладно-ладно, по крайней мере, к твоему отцу это уж точно никак не относится. И, кстати, аромат сосняка очень полезен капризным детям.

— Я не капризная!

— Да, да, конечно! Даже наоборот — чересчур послушная.

— Олег! Пожалуйста!

— Я уже семнадцать лет «Олег». Но почему-то после десяти со мной гулять нельзя.

Вика сняла с шеи ленточку с ключом и, бочком проскользнув мимо Олега, быстро взбежала на второй этаж.

— Мы не будем повторять пройденного. Если ты мне в чём-то не веришь, то это вольному воля.

— Что значит «не веришь»? — Он попытался удержать, но не успел.

— А зачем твой Лёшка постоянно возле нашего дома вертится?

20.

Вика хорошо помнила, как шесть лет назад отец точно так же замкнулся, когда уличил дочь во лжи. Она и сама себе до сих пор не могла объяснить, с чего вдруг тогда впала в какую-то неотвязную страсть к сладкому. Просто до истерик. И вот однажды она, как-то незаметно для самой себя, съела все конфеты «Кара-Кум», купленные к маминому дню рождения и ссыпанные в высокую хрустальную вазу в серванте. И, съедая очередную, необыкновенно вкусную, плоско-остроугольную в золотинке конфету, аккуратно сворачивала фантик и складывала «как было». Подмена обнаружилась гостями, когда вазу с пустышками выставили на середину праздничного стола. Почему Вика вдруг упёрлась и упрямо твердила, что это «не она»? Под общий хохот маму со всех сторон утешали, вспоминая подобные истории из собственного детства, ну разве что тогда таких конфет не было, а папа просто окаменел. После ухода гостей были разборки, но Вика так и не смогла признать свою вину. Даже когда он её выпорол ремнём и объявил молчаливый бойкот. Противостояние продолжалось недели две. Что мешало просто подойти и так же просто попросить прощения, как уговаривала мама? Нет, не стыд. Словно чья-то чужая воля перекрывала все мысли, голова каменела, и Вика только тупо смотрела под ноги, искренне не понимая — чего от неё хотят. Это состояние вовсе не было упрямством, которое отец пытался сломить. Это было… несвоей волей. Бедная мама, сколько же она тогда вытерпела! В конце концов, Вика пробубнила «простите», но не из признания вины, а по её слезам.

Теперь всё получалось по-иному. Она прекрасно осознавала, что от неё ждут, но сама, собственным решением не желала идти ни на малейший компромисс. Родителям пора удостовериться, что всё, она уже не маленькая и вполне может отвечать за своё поведение сама. Сама принимать решения и отвечать — с кем ей дружить и до скольки.

Они с Леной договорились встречать новосибирский теплоход. «Мария Ульянова» причаливала к их дебаркадеру в десять тридцать вечера, поэтому встретиться они запланировали полдевятого около школы. Во всём здании

непривычная тишина и окна не горят — восьмиклашки уже экзамены сдали, а у выпускников завтра сочинение. Они же, после девятого, только отрабатывали две недели в саду или на ремонте и — честно гуляли, гуляли! Хотя это самое гуляние первое время было простым сном до обеда. Сладким, досыта и даже до одури.

Вдруг дверь с толчка отворилась, и из школы вышла учительница литературы Галина Григорьевна. Попрощавшись со сторожем, она торопливо направилась к калитке, у которой неприметно за тенью сирени стояла Вика.

— Добрый вечер, Галина Григорьевна

— Добрый,— удивлённо откинулась учительница.— Ты что здесь делаешь? Или уже соскучилась без занятий?

— Странно, но, действительно, вроде чего-то не хватает.

— Тогда приходи завтра в кабинет, поможешь с книгами и портретами писателей — их оформить и развесить нужно. Да мало ли? Приходи, тебе «отработку» засчитают. Вместо сада-огорода. Договорились?

— Договорились.

— Ну, до завтра.

Вика долго, словно завороженная, смотрела, как молодая, пышно черноволосая женщина, бодренько постукивая каблучками, удалялась в сторону автовокзала, за которым жила на квартире в такой же, как и у них, кирпичной двухэтажке. Галина Григорьевна приехала в райцентр почти в середине учебного года, но как-то легко «вписалась» и в коллектив педагогов, и в процесс обучения. Её полюбили сразу и все. А их класс она покорила совсем неожиданным Павкой Корчагиным. Которого задала совсем не по программе, факультативно

— Что влечёт человека на самопожертвование? Чувство самонеудовлетворённости, недовольства собой. А отчего человек самокритичен? От сравнения. Сравнения с идеалом, когда он смотрит на себя и честно говорит: нет, такой «нехороший», каков я есть, я даже себе не нужен и такой «никчёмный» я годен только в жертву на алтарь чего-то по-настоящему прекрасного и великого. Что есть идеал, откуда и как он появляется? Чтобы понять, почему для нескольких поколений не только советских людей, но и революционной молодёжи всего мира Павел Корчагин стал идеалом бескомпромиссной жертвенности за социальную справедливость и всеобщее счастье, нужно проследить, на какую высоту и каким образом Николай Островский вывел своего героя. Прежде всего, необходимо помнить, что любое произведение литературы в каком-то смысле автобиографично. Не только главный, но даже второстепенные персонажи высказывают авторское миропонимание и мироощущение. Пушкин явно разделяется и на циничного Онегина, и на романтического Ленского; и как в Печорине, так и в докторе Вернере мы узнаём Лермонтова. Болконский, Пьер и даже Наташа Ростова —

это всё частички единого Льва Толстого. Но одно дело мысли и чувства затхлого царистского общества, а иное — конкретные жизненные истории свидетелей, а тем более, участников великих потрясений. Первые советские писатели, порождённые революцией и гражданской войной, не могли не использовать в своём творчестве свои непосредственные жизненные переживания. Так Фадеев, автор бессмертного «Разгрома», сражался на Дальнем Востоке с атаманом Семеновым, как делегат десятого съезда партии штурмовал по льду Финского залива контрреволюционный Кронштадт. Автор «Чапаева» Фурманов действительно служил комиссаром у легендарного комдива, Аркадий Гайдар в шестнадцать командовал революционным полком, а Всеволод Вишневский был пулеметчиком Первой конной. Сила образа Павла Корчагина — в правде. Конечно, Островский при написании своего романа «Как закалялась сталь» менял местами факты, сдвигал во времени события. Но в этом беспрерывном потоке действий вымышленного Павки он очень подробно пересказывает свою жизнь, переполненную настоящего риска, реальных опасностей и проявлений истинного мужества. Единственное, в чём он сильно отошёл от натурализма, так это в уменьшении своего реального недуга.

Мы все помним юношескую подпольную деятельность Павла Корчагина, его участие в боях Конармии, комсомольскую работу по восстановлению народного хозяйства, борьбу с бандитизмом, кулачеством и нэпманством. Но я хочу поговорить с вами немного о другом: о Павке, который за свою яростную, но такую короткую жизнь успел четыре раза влюбиться. Это позволяет нам утверждать, что Корчагин у Островского не какой-то там фанатичный «сухарь», способный лишь на исполнение приказов, а вполне и даже очень эмоциональный, остро чувствующий юноша, парень, мужчина. Четыре девушки отметились в сердце, это: Тоня Туманова, Рита Устинович, немного Анна Брохард и его жена Тая Кюцам. Писатель выводит очень разные, практически несравнимые женские характеры, но самое для нас важное, что он показывает принципиальное различие отношений к своим увлечениям самого Павла.

Первая, искренняя и очень долгая любовь — Тоня Туманова. Это девушка не просто высокого образования и культуры, она обладала смелым и независимым характером. Например, не побоялась спрятать в родительском доме Павку, которому грозил расстрел за освобождения матроса Жухрая. Тоня искренне полюбила мужественного романтичного юношу, но ей оказались совершенно чужды его интересы, его мечты о справедливости, о равенстве и братстве. «Меня ты полюбила, а идею не можешь полюбить» — горько называет причину невозможности их счастья Павел, и его любовь постепенно угасает. И действительно, позднее Тоня совершенно враждебно выступает по отношению к коммунистическим преобразованиям в нашей стране.

Второе большое чувство Павла Корчагина — Рита Устинович. Профессиональная революционерка, настоящий комсомольский вожак, казалось бы — они идеальная пара. Разве что-то теперь сможет помешать соединению

двух влюблённых? Ведь кроме их взаимных чувств, у них есть общая великая идея. Но тут Павел, неожиданно для читателя, идёт на искусственный разрыв. Почему? А потому что в результате мучительных раздумий он приходит к выводу: если любовь заставляет революционера хоть на минуту забыть о революции, то необходимо вырвать её из своей жизни. Вы слышите: «хотя бы на минуту»! Здесь мы присутствуем при озвучивании писателем Николаем Островским важнейшего нравственного закона всего человечества. Этот закон гласит: общественное важнее личного. И второе не может, не имеет права мешать первому. Так за своих товарищей лёг на амбразуру Матросов, за спящую Москву пошёл на таран Талалихин. И совсем недавно за нашу великую Родину погибали пограничники на Даманском. Так вот, Павел Корчагин, поймав себя на том, что в период яростной борьбы за дело революции его отвлекают мысли о любимой, сам вырывает её из своего сердца. Это его подвиг, может быть, более трудный, чем участие в атаке, в строительстве узкоколейки, борьбе с кулачеством, потому что внешне он никому не заметен. Это подвиг тайный, он настоящая жертвенность.

Уже позже, когда гражданская война закончилась полной победой Красной Армии, когда стало ясно, что Советскую власть империализму теперь никогда не сломить, Павка позволил себе немного личного счастья с Таей Кюцам. Немного, потому что чувствовал, как слабеет от ран и контузий, и, возможно, даже догадывался, что безнадёжно болен. «Много, ещё много борьбы, и надо крепче держать знамя Ленина» — писал он и эту свою физическую слабость воспринимал не иначе, как невозможность приносить столько же, как и раньше, пользы для дела революции. Да, в описании Островского Тая значительно проигрывает в сравнении с Тоней и Ритой, она не так ярка, в общем-то не развита, даже не очень красива. Но у неё есть истинно женское качество — быть верной. И вот через эту Таину верность даже тяжело больной Павел продолжил своё служение партии, обретя в Тае преданного товарища и неоценимую помощницу в написании книги. И одновременно этим он наполнил жизнь простой девушки высшим смыслом, смыслом воплощения идей коммунистического будущего всего человечества.

Ребята, дорогие, вы вступаете в возраст, когда каждого из вас обязательно коснётся это прекрасное чувство — любовь. И вы обязательно испытаете, насколько сильно оно может заполнить собой всё, так, что иной раз кажется, что ничего и никого в мире, кроме вашего избранника или избранницы, не существует, что остальное всё — друзья, родители и даже Родина — второстепенно. Но я хочу, чтобы вы поверили вот этому трудному, мучительному, но единственно истинному опыту Островского-Корчагина: личные отношения между людьми рано или поздно кончаются ничем, если они не устремлены к единому великому и вечному идеалу. Почему же это действительно опыт, а не просто прекрасный вымысел? Да потому, что сам автор утверждал: «Я работал исключительно с желанием дать нашей молодёжи

воспоминания, написанные в форме книги, которую я даже не называю ни повестью, ни романом, а просто „Как закалялась сталь“». Так что данную книгу можно безошибочно называть автобиографией поколения молодёжи двадцатых годов.

Вам повезло: вы родились и выросли в первой в мире Советской стране. Вам нет необходимости, как при капитализме, выбирать между совестью и наживой. Ибо ваши деды и отцы построили и отстояли для вас самую великую, прекрасную и передовую в мире державу — Советский Союз, и вам нужно лишь подхватить эстафету прежних поколений, эстафету, которую начинали Островский и Гайдар, Фадеев и Серафимович. От той киевской узкоколейки протянулся знаменитый Турксиб, а теперь продолжается БАМ. Сколько же прекрасных имён и названий за уже почти шестьдесят лет связаны этим единым порывом! Впишите же и вы свои имена и поступки в их череду. Это великая цель, ради которой от каждого, наверное, потребуются большие и малые, публичные и тайные жертвы.

Вы только-только начинаете жизнь. У вас всё впереди, в том числе и любовь, и семья, и… радости и потери. Но чтобы с вами ни случилось, какую бы трудность вы ни встретили, стремитесь брать пример с Павла Корчагина и помнить его завет: «Мы — партия действия. Если приняли решение, то все должны приводить его в жизнь. Иначе быть не может. Иначе мы перестанем быть непоколебимой силой».

— Вик, ты чего так застыла? — Появившаяся со спины Лена даже немного напугала. Нет, конечно же, не внешним видом: глаза и губы подкрашены, кончики распущенных по плечам волос подвиты. Кофточка-лапша с короткими рукавами, мини-юбка, за которую в школе бы немедленно вызвали в учительскую. Ох, и достанется же ей от комаров, когда мазь перестанет действовать. Вика-то предусмотрительно брюки надела.

Они пошли под руку — у парней завтра сочинение, и наверняка Галина Григорьевна так же допоздна к нему готовилась. А ещё Ольга продолжала упорно избегать Вику, как бы Лена ни пыталась их соединить. Потемневшее, уже не слепившее солнце красно цеплялось за сиреневые верхушки берёз, а над самой дорогой парами проносились стрижи. Неужели завтра будет дождь? С одной стороны, вроде как хорошо — огороды не поливать, а с другой — хотелось бы ещё чуток понежиться, не так уж и часто май радовал сухостью. Возле клуба толпились знакомые школьники — только что кончились «Джентльмены удачи», настроение расслабленное, и расходиться народ не спешил. Пришлось постоять, перекидываясь ничего не значащими фразами и разгоняя ладонями суховатый дымок «Родопи». Нет, они в кино лучше послезавтра сходят, когда будут «Сто дней после детства» крутить. Кто-то говорил, что фильм стоящий, хоть вроде и для детей.

Когда деревянный тротуар, постепенно возносясь на столбах-опорах, стал расходиться с дорогой, сразу спрямляясь к дебаркадеру, их догнал Лёшка. Он с разгона ударил по тормозам, привалив велик так, что заднее колесо с шипом занесло вперёд по гравию. Довольный своим красивым выкрутасом, он счастливо улыбался, не выпуская из зубов сигарету.

— Привет! «Ульянову» встречаете?

— Привет. А ты чего, курить, что ли начал?

— А что?

— Да дурак. Брал бы пример с брата, спортом б занимался.— Ленка потянула Вику.— И книжки бы читал.

— Так я и так читаю. На днях районную библиотеку добил, всю, одни журналы остались и Ленин с Марксом.

— Врёшь!

— Не вру. Я — лучший читатель библиотеки. Так и написано.

— Проверю.

— Хоть завтра!

Лёшка кричал им уже вдогонку, так как проезжая дорога выгибалась влево на крюк мимо заросшей осокой лужи-озерца, над которым и возвышались мостки тротуара.

— И чего он за тобой всё время следит? — Лена подправила волосы, и, оглянувшись, перекрутила юбку.— Олег, что ли такой ревнивый?

— Я сама его об этом спрашивала.

— И?

— Возмущается. Мол, не понимает, о чём я.

— Слушай! — Лена даже приостановилась.— Слушай! А может, и он в тебя тоже втюрился? Младшие же часто старшим подражают.

— Ну тебя!

— А чего? Треугольник — дело известное. Только ты, это, лучше сразу его отшей. Скажи чего-нибудь пообидней. Олег-то горячий, если на эту тему призадумается — дров наломает.

— Лена, заканчивай!

— Да всё, всё! Мне же только Лёшку жалко. Он хоть и молодой, дурачок ещё, но тоже человек. Будет. И симпатичный.

Странно, небо вверху было ещё совсем светлым, только по востоку над тем берегом тяжёло залегли сиреневые, с лилово-синим подбрюшьем, дождевые облака, а тут, у воды, давно уже хозяйничал сумрак. Мутно-свинцовая Обь размеренно тяжко плюхала под железный скос под носом дебаркадера, мятущимися зигзагами отыгрывала нависший над ней, пока не набравший яркости фонарь. Река наслаждалась тёплым парным безветрием и, отходя ко сну, то там, то здесь выстреливала над гладкой своей поверхностью гоняемой окунями и щучками рыбьей мелочью. Справа на верхнем извороте, откуда

ждали теплохода, далеко и остро чернела по серебру лёгкой ряби обнажившаяся песчаная коса, отмеченная слабо мигающим в неплотной полумгле белым бакеном. Ближе сюда, в мелком заиленном заливе томились накопленные за май плотные плоты сосняка, ожидавшие отправки в Могочинский лесозавод и дальше, в порты аж Тюменской области. Из берегового тополятника на свет бесшумно налетала крохотная ушастая сплюшка, хаотично кружила, отлавливая вокруг фонаря жирных ночных бабочек, и так же беззвучно исчезала.

Вика, облокотясь на железные перила, стояла одна — Оля отошла поболтать с Наташкой Штумпф и Наташкой Амирхановой. Ну конечно же, целых три дня не виделись, новостей накопилось… Впрочем, чего это она? У кого какое настроение. Да и то, что Вика стояла одна, это громко сказано. Прямо за её спиной деловито сматывали свои сильно пахнущие свежей рыбой донки пятиклассники из «береговых». Почему пацаны здесь всегда такие чумазые? У самой реки-то? Слева же по борту, дальше за шепчущимися девчонками, толклись незнакомые взрослые парни и девушки, наперебой что-то рассказывая и то и дело громко хохоча, а внутри их компании кто-то под шумок настраивал гитару. Справа, в темноте около рубки, где днём продавали билеты, на крашенной белым скамейке замерла, плотно прижавшись друг к другу, неразличимая пара влюблённых. Всего на дебаркадере собралось человек тридцать, а ещё молодёжь и подростки подходили по мосткам, гонялись на великах по краю воды, светили чинариками внизу на перевёрнутом ржавом баркасе.

И всё равно Вика была одна. Так она теперь себя чувствовала без Олега.

Вначале из-за поворота пробивался узкий луч мощного прожектора. Белесый от наполненности речными испарениями, он прошаривал противоположный берег, отмечая навигационные знаки, а затем, обежав всю ширь уснувшей уже Оби, упирался в пристань. В это время его догоняла музыка. И выплывало светящееся облачко. Далёкий белый теплоход всё отчётливей переливался правильными рядами мелких желтоватых огоньков кают и палубных подсветок, но под ним узко отражалось только это искристое облачко. По самой поверхности лёгкая волна доносила приглушённый шум двигателей, а в воздухе сгущалась, сладко тревожа, приближавшаяся мелодия вальса. Красивый мягкий тенор пел по-иностранному, раскатисто изливаясь припевом: «Май, май-май, Дилайла… Вай, вай-вай, Дилайла» — это там, на открытой верхней палубе, танцевали невидимые пока, но, несомненно, прекрасные и счастливые пассажиры. Ближе. Ближе… Шипение машинного отделения утихало, теплоход, замедляя ход, проплывал немного ниже по течению, величаво разворачиваясь, чтобы пришвартоваться правым бортом, а за ним тонкими линиями двоился, догоняя и перехлёстываясь, волновой след.

Басовый короткий гудок, и от нависающих ослепительных световых гирлянд на сразу таком низеньком и простеньком дебаркадере все затаённо переставали дышать. Вода, зажатая сближающимися бортами, протестующее

вскипала, шипя и пенясь, пока едва-едва ощутимый толчок вдоль развешанных старых тракторных шин не подтверждался мегафонной командой принять швартовые. Матросы и служащие с напускной важностью суетились около креплений спускаемого трапа. Несколько бледно-усталых человек, придерживаясь за хлипкие перила, в очередь стаскивали многочисленные казённые тюки и личные чемоданы. Встречно нетерпеливо топтались откомандированные ещё дальше на север нефтяники и ЛЭПовцы. Последним поднялся пожилого вида лейтенант милиции.

Трап пережимом песочных часов отмерял пределы соединения несоединимого. А вдоль всей границы на десять минут состыковавшихся миров расширенные взаимным любопытством зрачки искали, искали, искали друг друга… И Вика нашла…

Навстречу из световой глубины всплыл образ девушки непередаваемой красоты. Длинноволосая, в свободном белом платье, она стояла «там» с полуприкрытыми глазами и чуть улыбалась уголками плотно сомкнутых губ. Контровой жёлтый свет отражённо колыхался в зеленовато-русых локонах. Красный, с блеском, плетёный поясок мелкими складками обжимал тонкий белёный лён высоко под грудью… Вдруг она широко открыла светло-ледяные глаза и медленно-медленно приложила палец к бледным губам.

Спи, душа, и сон смотри.
Ночь, как чёрная наседка,
Звезды склёвывает с ветки
Синих кружевных гардин.
Где-то дремлют корабли,
Разметавшись, спят дороги.
Бродит день в своей тревоге
На другом краю Земли.
Тишина, лишь скрип дверей.
Спи. В подушку не реви.
От любви до нелюбви –
Век как час. Усни скорей.
Будет утро, будет дело.
От одной слезы твоей
Мир не злей и не добрей –
Спи до утра смело-смело.

Галина Григорьевна сидела, придерживая ладонью непослушно ссыпающиеся чёрные локоны, и слишком долго читала Викино стихотворение. Каких-то шестнадцать строк. Вика, мывшая, было, стёкла для рамочек под писательские портреты, честно села и ждала. Чего?

Наконец учительница с какой-то неохотой отодвинула листок, подняла глаза:

— Вика, у тебя есть ещё стихи?

— Есть. Семь. Но это мне больше всех нравится, другие не хотелось бы показывать.

— Хорошо, Лазарева, что ты сама себе строгий цензор. Это предпосылка к возможному профессионализму.— Галина Григорьевна обрела обычный тон.— Кто сейчас знает, вдруг ты себя найдёшь именно в литературе? Я б только не хотела, чтобы ты слишком долго наслаждалась пессимистическими настроениями. Это, конечно, сладко — себя жалеть. Но от сладкого… сыпь бывает. Посмотри вокруг: сколько прекрасного, сильного, творчески напористого совсем рядом! Насколько хорошо и радостно жить и любить в нашей стране, в нашем обществе. И ещё, разве ты одна страдаешь? Уверяю тебя, что трудности переживает практически каждый. Но если бы все зацикливались на своих болячках, что бы стало с нашим миром? Он бы рассыпался на индивидуальности и перестал развиваться, утерял стремление к будущему.

— Да, да. Я помню: «Если любовь заставляет революционера хоть на минуту забыть о революции, то необходимо вырвать её из своей жизни».

— Лазарева! Вика. Ты подозреваешь меня в неискренности? Я ведь совсем о другом, о том, что многое в нашей жизни проходимо. Преодолимо. Нужно только не терять бодрость духа. Эх ты, девчонка! Знала бы, на кого огрызаешься.

Пауза. Галина Григорьевна отвернулась к окну, словно по клавишам постукивая пальцами по краю подоконника. Потом заговорила быстро и как бы даже насмешливо:

— Вот я одна без мужа воспитываю сына, и что — я несчастлива? Ничего подобного, Лазарева, ничего подобного: у меня есть вы. Пускай в какой-то момент я оказалась не нужна одному человеку, правда, очень много для меня значившему. Да и значащему до сих пор. Но я была, есть и буду нужна сотням других. Других, которым без меня хоть на чуть-чуть, на капельку, но в жизни холоднее, пасмурней. Глуше. Я действительно реально, а не выдумано счастлива своим делом, своей профессией воспитателя. Тем, что участвую по мере сил в важнейшем и прекраснейшем деле — общем созидании светлого будущего. А ты про капли в подушку.

— Не знаю, не могу понять. Но, мне кажется, Галина Григорьевна, у вас есть какая-то подмена. Неправильность. Я сказать не могу, но чувствую. Простите.

— Конечно прощаю! Это неизбежный возрастной эгоизм. Поэтому я не стану сейчас с тобой дискутировать. Рано.

— Пусть! Но, ещё! Мне рассказывала… ну, неважно, рассказывала одна пожилая женщина, которую вполне можно назвать ровесницей Тони Тумановой, о том, как она в юности очень любила читать в саду за родительским домом. Выйдет на рассвете, сядет на скамью под грушей и читает, пока все спят. И вот стал каждое утро за забором проезжать верхом молодой красивый командир. Он

приостанавливался, шутил, говорил комплименты, а потом лихо скакал дальше по проулку. А ещё у него была необыкновенная улыбка, такая, что она, эта девушка, конечно же, не могла не влюбиться. И вскоре уже не представляла, что не увидится с ним в какой-то день. Тосковала, ждала. И тут однажды он вдруг перебросил к ней в сад убитого лебедя. И говорит: «Пусть его приготовят. Я завтра на тебе женюсь». У них там считалось, что лебедей могут только молодожёны есть. Но девушку как ледяной водой облили, всё наваждение прошло. Она смотрела на мёртвую белую птицу и думала: разве может один человек за двоих решать? Пусть командир, революционер. Хоть кто, это же оскорбительно. Если Тоня отказала Павке оттого, что они на самом деле были очень разными, то почему он, в свою очередь, оттолкнул Риту? За что, по какому праву? Потому что «он так решил»? Он один… Простите, но для меня он не во всём герой… И эта девушка. В общем, она потом вышла за совсем другого. С которым прожила много лет душа в душу. А лебедей вообще убивать нельзя. Они же верны друг другу до конца, ведь прежде чем пара заведёт гнездо, птицы ещё подростками дружат два или три года. И если одного убьют, то и второй кончает с собой, не живёт более.

— Птицы птицами, а люди людьми. Должны быть.

— Должны? Кому?

— А спроси об этом Марию Петровну. Спасибо ей за чудесную историю.

— Вика! Бежим! Обувайся — автобус через двенадцать минут!

Лена сама подавала ей кеды, сама вставляла её ключ в дверной замок.

И они помчались на автовокзал. Жёлто-красный «ЛиАЗ» стоял закрытым — шофёр отмечался в диспетчерской, а полтора десятка пассажиров и провожающих курили в автобусной тени, нетерпеливо наскоро лузгали семечки, без обычного интереса рассуждая о погоде и ценах на молочные продукты в областном центре.

Ольга со своей матерью стояли в стороне, на углу здания и спиной ко всем. У ног грелся под солнцем старый чёрный, с металлическими уголками, чемодан, с наброшенным поперёк синим болоньевым плащом. Длинная худая Ольга, высоко подняв лицо, что-то твердила полушёпотом, почти не шевеля опухшими губами, а обычно тоже не маленькая, но теперь как-то сильно сгорбившаяся мама в ответ молча плакала. Лена с разбега обняла Ольгу, вжалась лбом в ключицу и тихо заныла. На них обернулись.

Оленька, милая, ты сразу же напиши. Напиши всё, как есть, мы тут ждать будем.

Вика переминалась сзади, исподлобья виновато заглядывая в хлопающие слезами белесо-голубые глаза Олиной мамы. Наконец Лена отстранилась, держа Ольгу за руку своей левой, а правой потянула Вику:

— Да помиритесь вы! Нельзя же так больше!

Девчонки сошлись ближе и обнялись.

— Прости.

— Ты прости.

С шипом раздвинулись складчатые половинки дверок, и народ плотнее стеснился у переднего входа, по одному, с котомками, корзинами и мешками, продираясь на лучшие места. Лена подержала чемодан, пока Ольга последний раз обнялась с матерью и поднялась по ступенькам, с натугой подала вовнутрь.

— Пиши!

Водитель, перегазовав, стронулся и по кривой потихоньку выкатил на дорогу. Они успели разглядеть приплюснутые к последнему правому стеклу лицо и ладошку Ольги. Вика и Лена ответно замахали, а мама несколько раз стыдливо мелко перекрестила автобус.

— Пиши!!

А дело было так.

Коса серо-бежевого песка с каждым днём всё глубже зарезалась в оливковое тело реки, криво отхватывая длинные узкие лужи, кипевшие мальками, и снежно белые колонии чаек, крикливо оберегавшие недавно вылупившихся пуховичков от серых ворон и коршунов, пировали тут же, рядом со своими гнездовьями. Фарватерный стреж, отступая от выпирающих мелей, отгонял под противоположный обрывчатый берег часто играющие барашковые волны, занося сюда, под колено, тонны жирного бурого ила, в котором зимовали белые карасики и вызревали речные раковины.

Почти стоячая вода в заливе под косой прогревалась за пару солнечных недель, и, хотя сама Обь оставалась холодной до июля, здесь ребята купались уже с конца мая. Чуть ли не половину поверхности залива в начале лета занимали плотно подогнанные плоты. Огромные связки сосен выводились сюда паводком по Тибишке, Болчаку, Вольной и другим притокам и отстаивались до планового спуска. И каждый день мятый-перемятый буксирчик что-то перетаскивал, переставлял, тасуя лес по времени заготовки и качеству, определяя порции отправки на ближние и дальние лесозаводы.

Щекотливо рябящая щель между берегом и плотами калилась солнечными лучами до парной нежности, и в ней споро набирали рост и вес мириадные стада мальков, подъедаемые из затенённой глубины жадными окуньками, травянками и ершами. Бесчисленные крохотно-серые тени удивительно слаженно в полсекунды серебристо разбрызгивались от ног сходящих с берега купальщиков, чтобы через минуту вернуться и с любопытством общипывать волоски и пузырьки далеко белеющей кожи. Иногда из-под брёвен по самому дну осторожно выходили на мель пары молоденьких длинноносых стерлядочек и тут же опять исчезали в непроглядности Великой реки.

Напротив протараненного ледоходом угольного сарая несколько первоклашек с азартными криками играли в рыболовецкие траулеры, майками-

тралами производя «добычу». Часто подёргивая длинными хвостиками, рядом бегали так же весело перекликавшиеся трясогузки, облавливая подбирающихся к мальчишкам редких в полдень комаров. А ближе к началу улицы, прямо на плотах расположились выпить несколько молодых мужиков. Белые, незагоревшие тела, все в одинаково синих «семейниках» до колен, приятно обдувались ровным ветерком, и ослепительное зенитное солнце ласково подпекало впервые оголённые шеи и плечи. Тяжёлые, в обхват и более, брёвна под ними едва ощутимо вздыхали, излучая аромат запекающейся живицы. Укрепив по центру скомканной одеждой бутылки и стаканы, мужики сидели неровным кругом, курили, щурясь то на реку, то на берег, сплёвывали и вяло обсуждали недавнюю облаву облрыбнадзора, незло материли дирекцию совхозной автоколонны и недружно хвалили гимнастку Ольгу Корбут, то есть всячески оттягивали начало процесса. А куда спешить? И так благодатно.

После литра зелёно-бутылочной томской «экстры» на пятерых, занюханного и загрызенного проросшими луковыми головками и чёрной, липкой полубулкой, разговоры пошли активнее и доверительней. Сдвинувшись, они вполголоса делились сомнениями в реальной пользе принятия «там» великих пятилетних планов, ибо здесь, на местах, они всё равно превращаются в одно сплошное очковтирательство. Начальство только выслуживается друг перед другом, а о простом народе нисколько не думает. Вот опять этой весной двадцать тонн лишних удобрений просто свалили в байрак за птицефермой, а лучше бы людям на огороды роздали. Ну, а сколько в прошлый год пшеницы под снег ушло? Да столько же, сколь и в позапрошлый. И всё списали. А зачем вообще пшеницу тут сеять, если она никогда на Севере не вызревает?

— Эх, почему русскому Ивану вот нигде жизни не дают? Ни раньше, при царе, ни теперь, при коммунистах? Сидим в лесу, а то и гляди, что за какую-нибудь берёзку срок влепят. Нельму поймал — штраф и конфискация сетей, за несчастную крякву столько взносов и лицензий заплатишь, что золотой покажется.— Бауэр деланно поднимал белые брови, а удивительно рано начавший сплошь седеть Халиллутдинов ответно тряс копчёно неотмывающимся указательным пальцем:

— А всё потому, что мы, русские, бессловесны, как, блин, коровы. Вот нас и доят, все, кто хотят.

— А чего нам, мычать, что ли?

— Бодаться.

— Бодливой корове Бог рогов не даёт.

— Так чего тогда трепаться попусту? Давай лучше прикинем, кого в «кооп» зашлём?

— Как кого? Толяна. От него Зинка млеет, может второй пузырь в долг даст.

— Даст-то, она ему даст. Но нам от этого ну никак не перепадёт.

Похохотав, зарядили всё-таки Толяна, а на контроль ему приставили Бауэра. Избранники, натянув брюки и прихватив ботинки, неохотно направились к ближайшему магазину, а трое оставшихся решили «опробовать воду». Метрах в пятидесяти от берега связки плотов расходились, образовав приличную, почти круглую лагуну. Там одиноко сидела какая-то молоденькая девчонка с книгой и газетной пилоткой на голове.

— И чего, красавица? Купаться-то будем? — Улыбаясь в свои «тридцать три зуба», Халиллутдинов заглянул под газету.

— Купайтесь. Вода совсем тёплая.

— О, да это ж Демакова. Ольга? — С другой стороны склонился Борис Громов.

— Я.

— Так ты её знаешь? — Халиллутдинов разочарованно отшагнул к краю, присел, раздвинув за спину длинные татуированные руки. И с маху, громко всем животом плюхнулся, веером окатив отшатнувшихся Ольгу и Бориса. За ним ровным столбиком всхлюпнул тридцатилетний невысокий качок Вован, тоже работавший в их речпорту.

— Знаю. С такого возраста и такого роста.— Показал в пустоту Борис.

Мужики долго не выныривали, по-пацански соревнуясь на задержку дыхания, а Борис ждал, чтобы засвидетельствовать победу. И краем глаза зацепил, как совсем рядом поднимается, словно по-щучьему велению вырастая, высокая девочка, нет, нет! совсем уже девица. Ольга сняла подмоченную пилотку, взмахнула жёлтыми, с предзакатной солнечной рыжинкой, вольно распущенными волосами.

— Мама милая! Да ты совсем уже взрослая! Невеста, хоть сейчас замуж пора.

— Как скажешь.

— Что «как скажу»?

— Ну, как позовёшь.

С какой-то непривычным смущением или, точнее, тревогой Борис взглянул в зелёные, прямо смотрящие на него глаза. И почувствовал, что краснеет.

— Ну… Тебе сколько?

— Семнадцать уже.

— Семнадцать — это много. Через год, действительно, можно и позвать.

— Так позови.

Высокая, ростом почти с него, но совсем ещё не созревшая, не оформившаяся, остроплечая и узкобёдрая Ольга напряглась, натянулась плетёной струнко́й, непонятной силой не отпуская его взгляда. И Борис, не моргая, ответно втягивал и втягивал в грудь совсем уже ненужный воздух, краснея всё гуще.

— Ну и жди. Я приду. И постучу в окошко.

Из-под воды одновременно вынырнули две блестящие головы, слепо отдыхиваясь и отплёвываясь.

— Через год. Договорились? — облегчённо вырвался из её глаз Борис.

— Кто? Кто? — фыркали в друг друга Халиллутдинов и Вован.

— Ничья.

— Тогда заново. Раз, два, три!

И головы, надув щёки, опять скрылись.

— Не придёшь.— Ольга тоже приотвернулась, опустив лицо.— Тебя эта не отпустит.

— Которая? — Голос Бориса даже обрёл напускную игривость.

— Та, которая тебя присушила.

— И ты туда же! Никто меня не держит. Захочу — приду, ты жди.

— Нет, не сможешь. Никогда не сможешь, пока совсем, до смерти не иссохнешь или не утопишься! Как её первый. Ты никогда не придёшь!

— Да не кричи ты! Как вы мне все надоели со своими бабскими глупостями. «Не придёшь!» Что ж у меня ног нет?

Борис шагнул к Ольге, протягивая руку.

Бревно, оказавшееся под ним, было намного тоньше других и свободно провернулось, сдвигаясь и обнажая щель в две ладошки. Провалившись почти до колен, Борис завалился на спину, закричал. И именно в этот момент под плотами тугой невнятной судорогой прокатилась слабая двойная волна от давно и далеко, почти за поворот, ушедшей «ракеты». Брёвна сомкнулись. С пронзающей мозг отчётливостью Ольга услышала хруст ломаемых костей, за которым наступило страшное Борисово молчание.

Ольга сидела в тошняще пахнущей хлоркой и эфиром приёмной. Низенькая, в одно оконце, узкая комнатка-пристройка с пошарпанным жёлтым, со сплошными бумагами под толстенным стеклом, шатким столом для принимающего фельдшера, с двумя табуретами и застеленной тускло-красной клеёнкой кушеткой для поступающих. Крахмальная марлевая штора наполовину перекрывала равномерно раскачивающийся за окном и играющий блёсткими изнанками листьями огромный тополь. Под самым потолком забыто желтела не выключенная с утра «сотка», вокруг которой кружили две одуревшие от ожогов мухи.

Ольга изо всех сил давила затылком в жирно выбеленную стенку, стараясь избавиться от наплывающих под веки картин. Словно фотографии кто показывал. Помимо воли… Мужики, с матерной натугой отжимающие брёвна… Захлёстанные кровавой водой, разошедшиеся раны с бело зубящимися осколками… Восковое обострившееся лицо, на котором, словно на черепе, только чёрные пятна вместо глаз. Голубых, прекрасных, чистых, нежных и столько уже настрадавшихся глаз… Она уже отревела, сколько смогла, вроде как и полегчало, но эти картинки. Зачем же они?!

Санитарка баба Люся с четвёртого захода перестала гнать чудачку в вывернутом наизнанку, промокшем на груди и заду рябом сарафанчике, убеждая, что «дохтур ужо сделал, но пущать всё одно не велено — больной теперича спит». Но Ольга-то видела, как в отделение прошли Борисовы родители — тётя Нина и дядя Коля Громовы. «Дык то родичи! А ты, девка, чья ему будешь?» Действительно? Закат подкрасил изнанку оранжевых тополиных листьев сизо-сиреневым. С потускнением окна лампа набирала силу, и мухи наконец-то успокоились. «Чья ему будешь?..» За входными дверями взвизгнули тормоза, громким хлопком отключился двигатель, и в приёмный покой ввели охающую толстую бабку. Шофёр сразу же пошёл курить, а мятая медсестра со скорой недовольным голосом стала занудно долго пересказывать историю болезни появившейся в приёмной с недоеденным пирожком фельдшерице. Оля наконец-то встала и бочком выскользнула на крыльцо.

«Чья ему будешь»?

«Там, в стране далёкой, буду тебе…»

Женой, сестрой, рабой, чужой…

Утром ей удалось, накинув прихваченный из дома белый халат и подвязав косынку, незамеченной проскользнуть в коридор хирургического корпуса. Время пересменки — сёстры, фельдшер и врач собрались в своём закутке, и она беспрепятственно заглядывала во все палаты подряд. Борис лежал в предпоследней, самой маленькой. Вторая кровать была пуста, и она присела на краешек синего колючего одеяла. Несмотря на духоту, окно было наглухо закрыто, и из невынесенной с ночи «утки», и от особенного медицинского тазика с завёрнутыми внутрь краями, переполненного окровавленными ватками, и от открытой банки с фурацелином воздух в палате слоился даже на цвет.

Борис лежал на спине, укрытый от плеч до колен грубо-складчатой застиранной простынею с нахально лезущей в глаза печатью, и почти не дышал. Толсто нагипсованные лангетки с торчащими щепками и жёлтыми от мази бинтами. Свесившаяся рука с синяком от неточного попадания в вену. Пробившаяся за сутки щетина пепельной штриховкой очерчивала его бледность.

— Миленький ты мой. Родной, хороший. Ты спи, спи. А я просто посижу рядом. Просто посижу. Я ведь знаю — тебе сейчас больно, очень больно, но ты потерпи. Потерпи. Всё пройдёт. Зато она над тобой больше не властна, теперь ты свободен. А ноги — это искупление. Больно, но ты потерпи, постарайся. А я тебя вынянчу, выхожу. Сколько надо будет, столько и буду рядом. Разве что только сам прогонишь. А пока спи. Родной, хороший. Ты уже сделал шаг, сам его сделал, а остальное… я отмолю.

Так как, несмотря на антибиотики и постоянные перевязки, в течении трёх суток температура ниже тридцати девяти никак не падала, а раны открытого перелома обеих голеней начали активно гноиться и чернеть, Бориса срочно отправили машиной в Томск. Что произошло у Демаковых в семье, можно только гадать, но в тот же день Ольга вместе с мамой заявились к директору

прямо на дом, оттуда уже вместе с ним перешли в школу, где забрали документы об окончании девяти классов. Пузырёк, подписывая необходимые бумажки, хмурился, но молчал, пока Ольга быстро-быстро говорила о своём неизменном решении немедленно уехать в город, где будет поступать на санитарные курсы, чтобы можно было сразу же поддежуривать в областной больнице. Раз решила и мать согласна — что ж, поезжай, только сняться с учёта и получить комсомольскую характеристику раньше понедельника не удастся. Перешлют попозже, ладно. А поздним вечером, почти уже ночью, Ольга прибежала к Лене и попросила передать Вике: она вовсе не собиралась отбивать Олега у подруги, а, наоборот, совсем даже хотела другого — думала так вот вернуть Викину близость. Потому что, когда они все, кроме неё, стали дружить с парнями, она вдруг прочувствовала тоскливый, липко безумящий страх перед собственной ненужностью. Как бы это смогло «вернуть» Вику, Ольга теперь толком объяснить не умела, но раньше у неё всё было продумано. Раньше. А теперь всё совсем по-другому, всё теперь будет хорошо у всех. И у Оли тоже.

21.

Лёшка откармливал самку крестовика уже недели три, если не больше. За это время из робкого, от всего удирающего восьминогого малыша за верандным окном выросла приличная горошина, с хорошо различим крестом на тёмном брюшке, которая через месяц обещала стать новой чемпионшей. Взамен прошлогодней. Тогда паучиха раздулась побольше напёрстка, так, что под её тяжестью едва не обрывалась собственная сеть. А секрет-то в простом соблюдении режима питания: первое время в день два комара, потом неделю по одной серой мухе, а затем можно подавать и синих навозных. Только им нужно отрывать крылья — объевшаяся паучиха ленилась подновлять сети, так что иной раз до того доходило, что болтались сплошные махры, и Лёха не знал, куда подцепить подачку. Тогда он безжалостно сметал прутиком остатки тенет, оставляя только раму, и на пару дней делал перерыв в питании. Крестовичиха, то ли оголодав, то ли устыдясь, на третий вечер начинала натягивать в рамке новые, пересекающиеся в центре, толстые диагонали. Затем на этой лучистой основе ею закреплялась тончайшая и очень липкая спираль, а от середины к гнезду-укрытию, тоже спелёнатому из паутины, протягивалась сигнальная нить. Через неё крестовичиха контролировала колебание ловчей снасти прямо из щели оконной рамы. Но в хорошую сухую погоду она выбиралась в самый центр и, чуть покачиваясь в лёгком ветерке, через сеть, словно через радарную тарелку, самозабвенно вслушивалась в какие-то сигналы из неведомого далёка. Может быть, даже со звёзд, всё плотнее заполнявших юго-восточную темноту неба. Лёшка, вплотную разглядывавший её в это время сквозь стекло, впадал в немой восторг от совершенства механизмов паучьей конструкции, и никак, ни за что не мог поверить в то, что настолько сверхрациональное создание не обладает таким же идеальным «разумом»: понятно, что это должно было быть

не такое мышление, как у людей, но оно… не могло не быть. А вдруг пауки, действительно, через свои сети-антенны перекликаются с другими пауками — с других планет и галактик?

«Внезапно вырос целый лес; сухие ветви деревьев сплетались, их стволы шатались, как пьяные. Потом деревья расступились, и между ними образовались широкие прогалины. Из всё ещё ходившей ходуном почвы возникли духи земли, из чащи леса — духи деревьев, из моря — духи воды.

Далее взору Уленшпигеля и Неле явились гномы, что сторожат подземные сокровища,— горбатые, криволапые, мохнатые, кривляющиеся уроды; владыки камней; лесовики: этим рот и желудок заменяют узловатые корни, которыми они высасывают пищу из недр земли; властелины руд, отсвечивающие металлическим блеском, лишенные дара речи, не имеющие ни сердца, ни внутренностей, движущиеся самопроизвольно. Тут были карлы с хвостами, как у ящериц, с жабьими головами, со светлячками на голове,— ночью они вскакивают на плечи к пьяным прохожим, к боязливым путникам, затем спрыгивают на землю и, мерцая своим огоньком, который злосчастные путники принимают за свет в окне своего дома, заманивают их в болота и ямы…» — Лёшка всё словно наяву видел. Или, точнее, вроде как бы видел такое раньше, давным-давно, в самом раннем детстве, потом забыл и вот теперь вспоминал опять, картину за картиной. Смущало, что по книге для видений нужно было лежать голым и натереться волшебной мазью. Рецепт Лёшка всё же выписал: «Смешай равные доли stramonium'a, solanum somniferum'a, белены, опия, только что сорванные головки конопли и белладонну. Благодаря этому снадобью ты сможешь взлететь на солнце, на луну, на звёзды, побеседовать с духами стихий, возносящими к богу молитвы людей, пронестись над всеми городами, сёлами, реками и лугами». Но когда он стал спрашивать в аптеке у тёти Зои Гашиловой про латинские названия, то чуть оплеуху не получил — оказалось, что всё это сплошные наркотики. А как ей объяснять, для чего он выспрашивал? Чтобы, мол, на луну и звёзды полететь? Вот, вот.

«Тиля Уленшпигеля» Лёшка перечитывал на четвёртый раз. Впервые открыл книгу ещё зимой, перед Новым годом. Но тогда он, честно говоря, ничего толком не понял, а просто почувствовал, как какая-то заноза вошла в затылок и, через шею проникнув в спину, растворилась холодом меж лопаток. И началась непроходимая тоска. И на уроках, и на катке. И дома. Как будто чего-то не хватало. Через месяц он взял книгу в библиотеке снова. А потом ещё и ещё. Приклеив пластилином к квадратной батарейке лампочку от фонарика, Лёшка ночи напролёт внимательно вчитывался в каждую страницу, сверяясь со сносками и зубря комментарии, выныривая из-под одеяла, чтобы набрать побольше свежего воздуха и вновь нырнуть в военные действия и морские приключения, в зверства инквизиции и колдовство Катлин. Дюны Фландрии должны были походить на февральские сугробы, а вербы — они же везде вербы.

Эх, неужели времена Вильгельма Молчаливого, принца Оранского никогда уже не вернутся? Так и придётся всю жизнь провести в спокойной, благополучной стране, на которую никто никогда не осмелится напасть. Вот, если бы на самом деле существовала машина времени! Он даже сшил из кусочка кожи маленький мешочек и повесил на шнурке на шею, только в его сердце стучал не пепел Клааса, а сосновый уголёк.

И ещё, грустно сидящая на рисунке Кибрика Неле очень походила на Вику.

Неле, которая, как и её мать Катлин, умела колдовать и показывать невидимое.

Нет, он нисколько не обижался, просто… Ну, как только Олег уедет в город, всё и в его жизни тоже переменится. Тьфу ты! Получается, что своим взрослением Олег опять его судьбу меняет. Может быть, в последний раз, но меняет. Из-за него и Лёшка со своим детством попрощаться должен.

Ну, он младший. Навсегда что ли? Они же рано или поздно отучатся, пойдут работать, тогда это совершенно без разницы будет. Может, ему придётся даже чаще брату помогать, если денег больше получать станет. У взрослых-то не главное, кто сколько раз подтягивается. Пусть младший, пусть… Раньше Лёха как-то не задумывался на эту тему, жил-был и даже радовался, что вот есть Олег, который своим старшинством решал некоторые его проблемы. Хотя Лёшкины и Олеговы проблемы не всегда так просто было различать. Разве что, если куда-то залетал Олег, то залетал за собственный заводной характер, а вот тихоне Лёшке почти всегда перепадало за просто так. А иной раз и откровенно из-за братовых инициатив.

Ему исполнилось девять, а Олегу одиннадцать, когда они очередными летними каникулами гостевали у дедов. Счастливая бабка внучков баловала — с утра, до жары, часа три на огороде пополют, потом воды натаскают, в стайке почистят и до темноты свободны. За неделю с местными мальчишками братья облазили всю подболоченную таёжку вдоль неспешно петлявшего Татоша, зоря дроздиные и сорочьи гнёзда, пару незабываемых ночей провели у искристых костров на луговых лошадиных выпасах, раскопали невыносимо вонявшую лисью нору, вытащив четырёх, недавно прозревших тупорылых щенков, родители которых кормились наглыми налётами на местный птичник. Но на этом развлечения кончились, если не считать прорванного клеёнчатого экрана над вызывающе новым бильярдным столом в крохотном клубе, где вечерами крутили почти бесцветных, рябо исшарканных «Неуловимых мстителей», «Трембиту» или «Фанфана-тюльпана».

Расслабляющим солнечным полднем, когда делать было абсолютно нечего, они сидели на скамейке в узкой тени у самых ворот дедова дома и, царапая дёсны, щёлкали пересушенные прошлогодние орехи. Счастливые куры

купались в горячей рассыпчатой пыли, а сомлевший на солнцепёке телок завистливо вздыхал на короткой, не пускающей в тень привязи.

Мимо братьев, тоненько, как евнухи из «Багдадского вора», подвизгивая и покряхтывая, гуськом протрусили три здоровенных лопоухих кабана. Олег задумчиво посмотрел им вслед и вдруг встрепенулся, отряхивая с колен скорлупу:

— Прокатимся?

— А кто хозяева? Не нарвёмся?

— Так нет же никого, все в поле.

Они встали и потихоньку стали нагонять свиней, присматриваясь и примеряясь. Те может, что и почувствовали, но, уверенные в своей силе, только вопросительно закосили соловыми глазками, ни скорости, ни направления не меняя. Тогда Олег, поравнявшись со средним хряком, стал осторожненько, боком, боком, как бы невзначай сближаться, поджимать его к забору. Тот терпеливо не реагировал. Зато задний, предназначенный для Лёшки, насторожился и предупреждающе захрюкал.

— Даё-ошь!! — Олег в один прыжок оказался на свиной спине, изо всех сил ухватившись за скользкие от жира и грязи уши, затыкал пятками под брюхо. Отчаянно визжа, осёдланный боров с места аллюром в три креста рванул вдоль штакетных и дощатых заборов, калиток и поднавесных ворот, мимо бесколёсных телег, промеж недоколотых дров и полуразобранных «Беларусей». Лёха, так же максимально приблизившийся к «своему», прыгнул почти одновременно с братом, но — это проклятое почти! Заподозревавший подвох заранее, хряк метнулся в сторону, и Лёшка, только скользнув ладонями и правой щекой по шершаво-волосатой спине, коленями и животом больно плюхнулся в пыль. И, соскальзывая, зачем-то крепко вцепился в свинячий хвост. Раздался хруст надорванного хряща, и через паузу полной тишины в белесое небо вознёсся дикий вопль. Только ор испускал не помчавшийся со сломанным хвостом боров, а визжала его хозяйка — прямо напротив ворот которой всё и произошло. Старая, несмотря на жару одетая в крытый плюшем ватный шушун, белоглазая толстуха, выдав невоспроизводимую ни на каком, кроме русского языка, трель, махнула кулачком, и вдруг тихим, медово ласковым голосочком просюсюкала: «Миленький, постой туточки, погоди, голубчик». И отступила задом в свою калитку. Вот тут-то Лёхе и стало по-настоящему страшно. С низкого старта он рванул догонять ускакавшего за сотню метров брата. А его самого догоняла спущенная с цепи собака. Хорошо, что не очень здоровая.

А ещё как-то они семьёй собирали смородину на Былинском острове. Остров-то немаленький, километра четыре-пять в ту и другую стороны, сплошь заросший молодым сосняком, раздутыми осокорями и гибкими береговыми тальниками, с редкими, но просторными полянами, на которых оплетённые льнянкой купена и шалфей вымахивали выше пояса — просто идеальное место для лосёвых отёлов: медведи сюда никогда не забирались. Но главное, от

Подгорного до самого Томска славился Былинский своими неисчерпаемыми сборами дикой смородины и груздей. Наверное, оттого, что в половодье его ненадолго и неглубоко заливало, удобряя торфом и илом,— сколько бы сотен лодок сюда в начале августа ни причаливало, а в день по паре вёдер мелко-чёрной, с бурыми хвостиками и пупками, густосочной, запашистой и вяжущей настоящей лесной ягоды на человека уж всегда всем доставалось. А потом, в сентябре, развернувшись редкими цепочками, тщательно шевеля посохами каждый бугорок пожухлой травы и мшаника, остров на десятки раз прошаривали ссутуленные грибники. Первый раз на рассвете, а второй — ближе к вечеру. И утром, и вечером молоденькие, крепкие, светло-серые, ещё чуть волосатые груздочки один к одному рядами укладывались в корзины и заплечные короба. В каждой семье на зиму литров по двадцать-сорок в обязательном порядке засаливали. А как хорошо те грузди елись с хлебом. Просто с хлебом. И… ладно, не об этом.

Лёхе тогда уже двенадцать стукнуло, но он продолжал свято верить в правду искусства.

Как только днище врезалось в заваленный ветками, дресвой, угольным крошевом и прочим речным мусором мягкий глинистый берег, он по-десантному спрыгнул с носа и вытащил за собой штырь со скрутившимся сталистым тросиком. Заякорив лодку, успел сбегать в кусты, пока Олег с батей замыкали мотор и багажник, а счастливо не замолкавшая мама, выставив вёдра, подвязывала к ним и подгоняла по длине верёвочки, чтобы было удобно носить на груди, освободив обе руки для сбора ягоды. Южный ветер порывами гнал по-над рекой рябую влажную облачность, но дождя не предвиделось. Более того, почему-то верилось, что, наоборот, вот-вот развеется и к обеду ещё прижарит как следует.

Согласно маминому плану, батя отправлялся направо до заросшего ивами култука, вдоль которого в материк уходила гривка со сплошными кустами смородины. Так как от краю всё могло быть уже выбрано, бате предписывалось сразу шагать вглубь, там-то ягоды наверняка рясно. Они же втроём закосили влево, веером прочёсывая разряженную тополёво-осиновую забоку с плотными сростками смородиновых полянок. Лешка шёл посередине, больше всматриваясь и вслушиваясь в августовскую жизнь размеренно шелестящего раскачивающимися вершинами леса, чем сощипывая в ведро мелкие буро-чёрные бусины. Да и явно здесь уже прошли не одни сборщики — чтобы сорвать пару-тройку кисточек, нужно было втискиваться в самую гущу жёстко пружинящих, пачкающих энцефалитку веток. Мама, найдя необобранный участок, звала их, но братьям хотелось безнадзорности, они отнекивались и заглублялись прочь от её призывов. На каждый ветряной напор высоченные тополя отвечали согласным хором, словно рыбьими боками серебрясь изнанкой трепещущих листьев, а понизу зеленоватые стволики осинок в тон им оранжево лепетали про скорую уже осень. Под деревьями было густо навалено преющего

валежника, на который нельзя наступать — под предательски целой коркой пузырилась изъеденная усачами труха. Отцветшее мелкотравье проредело и посерело, то там, то сям промеж дозревающих яснотки и кандыка дерзко краснели молоденькие острые мухоморы, и только вымахавшие под два метра стояки таволги продолжали добеливать метёлками соцветий.

Облака поднимались и светлели, в их всё чаще появляющихся прорывах пронзительно синело обветренное небо. В какой-то момент оттуда почти отвесно ударили солнечные лучи, и в распахнутом светом пространстве Лёшка прямо перед собой увидел выпуклый остров плотно сросшихся кустов, сквозь растопыренные трилистники сладко сиявших полновесными гроздями. Вот это да! Он через путаницу жил высохшего хмеля ломанулся к смородине, приподнимая ведро над головой. А ведь следовало бы подумать, что, если листья смородины не обсосала тля, и ягоды не ободрали люди, это явно неспроста. Крупные, вызревшие до выступающей сиропной испарины кисточки в одну минуту почти закрыли дно, когда Лёшка краем глаза отметил нескольких замелькавших вокруг головы здоровенных ос.

Первый удар прижёг левое запястье, словно током дёрнуло. Второй укус пришёлся в шею. «Ой, блин, ой!» — он бросился наутёк, размахивая над собой руками, а ярко-жёлтые хранители самых сладких и красивых ягод неотступно гнали нахального вора, выискивая незащищённые брезентовой курткой места для наказания.

Почему Лёшка в двенадцать лет продолжал верить в правду искусства?

Согласно неоднократно виденному в разных мультфильмах, он в несколько секунд достиг старого тополя и, обежав мощный неохватистый ствол, резко отпрыгнул. Однако осы вместо того, чтобы продолжать летать вокруг дерева, пытаясь догнать потерянного из виду беглеца, неправильно сразу метнулись за ним, и первая же жиганула в верхнюю губу. Пронзительно визжа, Лёха метался, сламывая кусты и зашибаясь о деревья, пока на крик не выбежал Олег. Брат толчком сбил его на землю и собой накрыл нестерпимо пылающие голову и руки. Не находя жертву, осы сделали несколько нервных облётов и исчезли.

Ссорились они периодически, иной раз и по-крупному. И перепадало Лёшке, да, бывали и поджопники, и подзатыльники. Но только один раз Олег действительно по-настоящему ударил его кулаком по лицу. Это когда узнал про утопленную берданку. Потом они целую неделю месили лёдяной ил — где по пояс, а в иных местах и под горло. Бесполезно. Взбаламученное топкое дно чвора, в котором, как назло, сплошь пузырились холоднючие роднички, выдало несколько коряг и даже пожелтевший коровий мосол, а вот заброшенную Лёшкой безмагазинную гладкостволку времён русско-турецкой войны они так и не нашли. В округлых листьях калужницы, уже вознёсшей свои жёлтые цветки, на самой границе с водой мёртво топорщилось маховое перо из крыла лебедя.

Да о чём он? О том, что вчера вечером Олег, задумчиво раздеваясь, вдруг встал, шагнул к Лёшкиной кровати и, сдвинув книгу, зло заглянул в глаза:

— Ты в пятницу что в школе делал?

— Ничего. Я вообще в неё не заходил.

— Не гони, тебя литераторша Галина Григорьевна видела.

— Да не был я в школе! Ну, через двор разве что прошёл. Срезал.

— Точно?

— Зуб даю!

Олег вернулся на свою половину, опять как-то задумчиво медленно стянул трико до пола и присел на скрипнувшую сеткой койку.

— Не был, так не был.

Теперь уже Лёхе стало не до чтива:

— А чего ты спрашиваешь? Случилось что?

Олег забросил трико на стул и, не укрываясь, молча отвернулся к стене. Опыт совместного проживания подсказывал, что доставать его из такого положения — дело гиблое. Лёшка быстро перекрутил в памяти пятницу, но ничего за собой такого вот особенного не припомнил. День как день, причём тут литераторша? Он ещё раз покосился на спину брата и поправил настольную лампу так, чтобы свет падал только на страницы.

«Уленшпигель смотрел на Неле, и улыбка любви озарила великую его печаль.

А Неле, не долго думая, обвила ему шею руками. Она тоже как будто сошла с ума — плакала, смеялась и, залившись румянцем несказанного счастья, всё лепетала:

— Тиль! Тиль!

Уленшпигель, в восторге, не сводил с неё глаз. Потом она разжала руки, отступила на шаг, вперила в Уленшпигеля радостный взор и вновь обвила ему шею руками».

Лёшка раза три пытался перерисовать Неле из книги, пока не убедился, что ничего у него не получится. А ведь по «рис-нию» с первого класса только пятёрки, и стенгазета всю жизнь на нём. И за победу на конкурсе «Подвиг наших отцов», где он в красках изобразил подбитую «сорокапятку», на которую наезжал «тигр», а забинтованный солдат замахивался на фашистов гранатой — растроганный Пузырёк торжественно перед линейкой вручил ему толстенную книгу. Вон она: Ганс Фаллада «Каждый умирает в одиночку». С числом и подписью. Так что, рисовать он умел.

А тут раз за разом выходил полнейший затыр. Сидящая Неле, которая так походила на Вику, просто никак не по-лу-ча-лась.

С утра Олег опять куда-то тихо слинял, и Лёшке достались и обе столитровые бочки воды на поливку огорода, и чуть ли не ежечасное кормление

безнадёжно голодных цыплят замешанной с запаренным комбикормом сечёной крапивой. И навоз за стайкой.

А потом в дом зашёл участковый.

Среднего роста, но очень широкоплечий лейтенант Роман Маллер был старшим братом Олегова одноклассника Сашки. Он после службы на Тихоокеанском флоте отучился в новосибирской школе милиции, и теперь являлся главным поверенным во многих местных семейных разборках. То есть от его упреждающих профилактических действий зависело, на сколько процентов снизятся или же повысятся бытовая преступность и мелкое хулиганство в райцентре. А так как за это повышение или понижение перед областью отвечал его отец — начрайотделения майор Маллер, то, по возможности, виновники переулочных беспорядков и домашние дебоширы отделывались ушибами скул и рёбер и публичными раскаяньями перед пострадавшими. Романа, конечно же, особо не любили, но уважали.

— Здорово живёшь! Один, что ли, дома? — Участковый, со света слепо осматриваясь, прошёл к кухонному столу, сел, широко расставив колени, за блестящий лаком козырёк аккуратно снял и положил на край клеёнки красиво заломленную фуражку. Как у Штирлица, наверное, проволоку в околышек вставлял.

— Здрасте. Один.

— Родители как? Не болеют?

— Нет, работают. Ну, у бати радикулит бывает. А так всё нормально.

— Значит, говоришь «нормально»? Это хорошо. Только что-то не особо верится.

Лёшка сразу же вспомнил вчерашние расспросы брата, его странное поведение и от нехорошего предчувствия стал краснеть. И ладони взмокли.

— А чего? Случилось разве?

— Это ты у меня спрашиваешь? — Роман высоко поднял белесые брови, мелко наморща лоб.

— Н-нет. То есть да!

— Молодец ты, однако, Алексей Торопов! С ходу инициативу перехватить решил, мол, лучшая защита — нападение. Молодец. Но только зря всё это, бесполезно. Лучше уж сегодня вопросы буду задавать я. А ты станешь отвечать. Честно и подробно. Понял?

Лёшка, наверное, уже фиолетовым стал, аж в ушах застучало. Но собравшись с силами, сел прямо напротив участкового. Через стол.

— А чего я сделал?

— Вот сам и расскажи.

— О чём?

— А, и не знаешь?

Неужели это может доставлять удовольствие? Такая игра в кошки-мышки взрослого с ничего не понимающим подростком.

— Торопов, если я возьму ордер на обыск и проведу задержание по форме, тебе ж от тюрьмы не отвертеться. Шестнадцать есть?

— Пятнадцать.

— Ладно, раз малолетка, то получишь год-два условно. Да ведь всё равно жизнь будет загублена. И из комсомола выпрут, и никуда учиться не возьмут. А вдруг за это время с кем подерёшься? Тогда всё по полной впаяют, как рецидивисту. И покатит кутерьма: тюрьма-воля-да-тюрьма. Чего молчишь? Зря время не тяни, тебе раздумывать-то особо нечего — спеши, пока я добрый, выкладывай!

— Да о чём?!

— Не «о чём», а «что». Кошелёк давай.

В этот момент убеждённому собственным красноречием участковому показалось, что допрашиваемый в ответ излишне наигранно, чересчур театрально изобразил на своём лице оскорблённую невинность. Он решительно встал, резко шагнул к поднимавшемуся навстречу Лёшке. Но не бить же пацана! А вот привздёрнуть за грудки и встряхнуть нужно.

— Отдай по-хорошему.

— Какой кошелёк? Чей?

— Ты, сучок берёзовый, не заводи меня, а то на части порву!

Лейтенант отбросил Лёшку назад, на стул, и отшагнул, успокаивая дыхание. В момент налившимися страшной белизной глазами жадно отследил, как тот, цепляясь за край стола, всё-таки удержался, вернул равновесие.

— Значит задержание и обыск?

— Да не понимаю я, о чем говорить!

— Ах, не понимаешь? Ладно, доигрался. Вставай, бери ключ и запирай дом. А непонимание в отделении продолжишь.

— Никуда он не пойдёт.— Как они, сидя у окна, просмотрели вошедшую во двор Лёшкину мать, просто непонятно. Но теперь она плотно вросла в проём, спиной подперев свеже выкрашенную тёмно-синей эмалью дверь:

— Давай, Ромка, кончай придуряться, говори: чего он наделал.

— Здравствуйте, Любовь Филипповна. Вот, веду предварительное дознание по полученному заявлению.

— Я же сказала: кончай. Дело говори.

— Дело печальное. Сами должны были догадаться, что дружба с «химиками» до добра не доведёт.

— Ну, чего ты финтишь?

— Любовь Филипповна, ваш сын обвиняется в краже кошелька.

Лёха увидел, как у матери обмякает лицо, округляя глаза и рот, закричал, ударив кулаками по столешнице:

— Мама!! Врёт он, врёт! Не знаю я ни про какой кошелёк!

И, сам того не ожидая, разрыдался.

— Сынок, а я и не поверю. Никогда не поверю.

— А… он… пугать начал… тюрьмой… и за грудки схватил…

Быстрый шорох, и мама, квохтушей над цыплёнком, склонилась над Лёшкой, прижимая трясущиеся плечи:

— Тихо, тихо, сынок. Значит — пугал?

На всякий случай Роман уже стоял навытяжку, пальцем аккуратно устанавливая кокарду.

— Ах, ты гад! Да как ты посмел пытать ребёнка? Мальчик после молнии и так не в себе, а этот фашист припёрся с доносом. Чего губы съел? Напугать меня хочешь? Меня? Так я в своём доме. А вот ты поди вон, ныне не ежовские времена, палач драный! Успокойся, успокойся, Лёшенька, ляг, сыночек, попей и ляг. Мало-то я ему в детстве уши обрывала. Ты помнишь про уши, Ромка? Когда ты наши огурцы воровал? Что «тёть Люб»? Катись отсюда по-скорому, пока поленом поперёк шеи не огрела! Пошёл вон!

На вечерней кухне семейный совет напряжённо заслушивал доклад Олега, задавая короткие вопросы-уточнения. Бездельничал только Лёшка, зажавшись в щёлку между умывальником и холодильником, где, насупившись, из последних сил терпел обещание не грызть ногти. Мама грозно намотала на мокрую голову красное полотенце и, сотрясаясь всем телом, излишне мелко рубила посреди стола на винегрет варёные свёклу, морковь и картошку, батя, как всегда вечером уже клюкнутый, строгал в открытую топку топорище, а Олег, чистивший в тот же винегрет лук, рассказывал:

— Сашка Маллер, как услыхал за ужином братов и отцов разговор, так сразу рванул меня искать. Но чего делать, мы сразу не сообразили — да и поздно уже было, все пацаны спать разошлись. Сёгодня с ранья опросили нескольких, ну, тех, кто в школе мог вчера быть на практике или так болтаться: никто ничего толком не помнит. К тому же они все или в тракторном гараже толклись, или в саду тяпали. Получается, что литераторша одна Лёшку и видела. Как он из калитки выскочил. И всё. Сашка же от Романа слышал, что она, Галина Григорьевна, вышла из класса в полдвенадцатого, а спохватилась и вернулась в четверть второго.

— А где она почти два часа болталась? Может, там и посеяла свой кошель? — Батя, видимо, решил быть умнее милиционера.

— В поликлинику она ходила. Давление мерила. Да только она сумку-то в школе оставляла. Проверено уже: с пустыми руками была.

— Всё одно, пусть там тоже ищут. Мой им совет.

— Ладно, как-нибудь без советчиков разберутся. А в классе была только Лазарева, ну, Вика из девятого «а», помогала старые обложки клеить. Она-то и вышла в магазин за булочками, не заперев дверь. Магазин открылся с часу, значит, кошелёк свистнули в эти самые пятнадцать минут. Тётя Нина дежурила около главного входа, так что вор мог войти только через двор, сзади.

— А ты, Лёш, сам никого не видел?

— Сто раз же объяснял: бежал я! Пулей через двор, и даже литераторши никакой не заметил.

— Да я ж так. Уточняю к делу.— Батя наконец-то порезался. В сердцах бросив нож и заготовку, трудно встал и, стянув с бечёвки сушившуюся марлю для процеживания молока, начал неумело бинтовать левый указательный палец.

— Вся фигня в том, что какой-то козёл позвонил в учительскую и заявил, что видел, как пропавший кошелёк украл конкретно Лёшка. И что, мол, он боится назвать своё имя из-за того, что тогда мы, то есть я и Лёшка, его изобьём. Представляете? Да я бы этого гадёныша не просто бы, а… Короче, Сашка меня уверял: раз прямых свидетелей нет, а анонимка не считова, то, если Лёшка не признается, никто ничего и не докажет.

— Забыл поинтересоваться, денег-то много пропало?

— Сто пятьдесят.

— Ух, кто-то погуляет. Вот тут всё и откроется. Без кипежу такие дела не обходятся.— Кажется, батя мог оказаться правым.

— А я считаю, что это та самая Лазарева украла! — Мама ссыпала в миску слоистую овощную горку с разделочной доски и стала перемешивать.— Она. Почему об этом никто не думает?

— Ты, мам, чего?! — Через секундное замешательство — не то небо треснуло, не то пол просел — к ней разом потянулись Олег и Лёшка.

— А того! Украла и какого-то дружка науськала, чтобы позвонить. Вот теперь у милиции и есть кого пытать.

— Ты, мам, совсем того. О чём несёшь-то?

— Правильно, Любань! У той теперь железное алиби.— Батя, затянув зубами узелок, со всех сторон любовался своим санитарным искусством.

— А я сразу на это подумала. Только зря она на нашего Лёшку свалить решила. Лучше бы молчала. А теперь ей это дорого обойдётся. Ох, дорого. Я вот сейчас же пойду и выведу эту Лазареву на чистую воду!

— Ты чего, мам? — Лёшка окончательно выбрался из укрытия.— Да ты хоть знаешь, какая она?

— У Вики же отец офицер! — Олег тоже встал.

— Эк, напугал! Да я и с этой Викой, и с её отцом зараз разделаюсь. Они у меня надолго свою подлость запомнят. Да я их сейчас так припозорю, так припозорю! Мало не покажется.

— И правильно, Любань, поди, выдай им, как умеешь!

Мама свернула с волос полотенце, отёрла им руки. Поправив невысохшие ещё волосы, пошарила возле умывального зеркальца помаду.

— Мама, не смей! — Олег закинул крючок в кольцо и заслонил спиной дверь.

— Ещё как посмею. Отойди, Олег, отойди по-хорошему. Ну!

— Мам, постой.

— Лёшенька, а ты, сынок, не бойся, я тебя в обиду никому не дам.

— Нет, мам, не то. Это… я взял.

Лёшка перестал бежать уже за огородами. Мягкая пылевая дорога, обогнув жердёвую изгородь, широким виражом спускалась в лог, чтобы напрямки, через пару-тройку километров березняка вывести к совхозной птицеферме. Но в лес ему не хотелось. И не потому, что солнце уже полчаса как село и загустевшие зелёно-сиреневые сумерки наполнили влагой кочкастую логатину, а он был в домашних тапочках, а потому… потому, что идти ему по этой дроге некуда. Зачем ему птичники? С их блевотным запахом аммиака. Лёшка присел на вывернутую нижнюю жердь и завздыхал. Удостоверившись в тишине и безопасности, совсем рядом возобновила свою песенку зарничка. Над головой пискляво ныла эскадрилья мелких трусливых комариков, нерешительно приближаясь в неодолимой жажде крови, а он только вздыхал.

И что теперь? Хорошо было во времена Уленшпигеля или графа Монте-Кристо. Тогда каждый сам творил свою судьбу. Без всякого обязательного среднего образования, без комиссии по делам несовершеннолетних, даже без паспорта. Захотел — живи так, захотел — иначе. А тут всё равно возвращаться придётся. Все это понимают и особо за него не беспокоятся. «Человек — кузнец своего счастья!» — ну-ну, держи карман. А вот взять бы сейчас лодку и поплыть, поплыть куда подальше. От всех их нравоучений, поучений и поручений. Опять же, ведь не в Ледовитый же океан! Блин! Ну почему все нормальные реки на юг текут, а сибирские на север?

Прихлопнув куснувшего в плечо комара, Лёшка встал и по тропке пошёл вдоль изгороди. Разросшиеся лопухи оттопыренными листьями поглаживали трико и тапочки, за полулысой метёлкой старой ветлы нежно улыбался тончайший новорожденный месяц, с остывающих огородов пахло цветущими подсолнухами и укропом, а на душе было погано-погано. И куда крестьянину податься? Вот так бы сейчас раздались дробные перестуки конских копыт, и его стремительно б нагнали три тёмных всадника, а четвёртый бы конь для него. Чтоб на пустом седле лежали ботфорты, шпага, расшитый плащ и шляпа с длинными перьями. Лёшка б в секунду оделся и, как равный, в полный галоп поскакал бы с ними вдогон догорающей бледно-розовой полоски.

Мимо её окон.

Село всё же заснуло. Из облепившей землю мягкой тишины возносилось лишь редкое перебрёхивание собак, да где-то уж совсем у реки дозванивало слабое стрекотание мотоцикла. Он чуток приоткрыл калитку, бочком, чтобы не заскрипеть пружиной, заскользнул во двор. В сенях свет — для него оставили. А вот фига вам! Лёшка прокрался по настильным доскам к стайке, поискал на верхнем венце припрятанную сигарету. Из будки, звякнув скользкой цепочкой, выбралась Тайга. Недоумённо покачала скруткой хвоста и, сладко зевнув, сильно потянулась сначала передними лапами, потом задними. Ещё раз сонно

вильнув, забралась обратно. Спи, собака, спи! Обойдя стайку, прикурил, навалился на выгородку загона. Чёрно-пёстрая Марта продолжала безразлично пережёвывать, а вот нынешний телок Борька, впрочем, один к одному с прошлогодним Мишкой, даже звёздочка на лбу такая же, любопытно повернулся и, поджав ноги, сделал вид, что сейчас встанет.

— Лежи. Лежи, ничего у меня нет.

Бычок, на всякий случай понюхав сморщенным носом бесполезный табачный дымок, согласно расслабился. Повернувшись задами к ветру, корова с телёнком расположились на бугре, в дальней части вытоптанного и унавоженного загона, а из черноты под стеной стайки недоверчиво блестели нехорошими зелёными огоньками неразличимо слипшиеся овцы. Чтобы их не беспокоить, Лешка тщательно втёр в землю окурок и, с трудом выбирая куда ступать, правда, уже всё равно испачканными тапочками, отошёл и перелез через ограду около ощипанного старого-престарого стожка. Выдрав охапку щекочущего трухой, ломкого позапрошлогоднего сена, подстелил его под Борькин бок, присел, навалившись спиной на вздутый сытым внутренним теплом, жёстко-волосатый живот. Телёнок вздрогнул, но противиться не решился.

Борька, пережевав дневные запасы, честно спал, а Лёшка то западал в какое-то бесчувственное и безмысленное небытие, то, содрогаясь всем телом, резко входил в себя от уколов никак не отпускающей сердце обиды. Зябко втираясь спиной в телячье тепло, вслушивался в нежное «ти-та, ти-та, ти-тии» свившей своё гнездо в черёмухе малиновки, трудно разлипающимися глазами отмечал всё разрастающееся над северо-востоком голубое свечение и снова проваливался в глухую темноту.

Хвостатый Ковш черпанул тумана у горизонта и, заводимый коловодом звезды Седавы, стал потихоньку возносить выстужаемый земной хмель к пиру Сварога и Лады. Напротив его клонились долу Коляда и Радуница, на утужившимся востоке блудным серпиком игралась Чигирь-звезда, и под трёхяхонтовым Яриловым опоясьем уже узко и длинно высеребрились в празелени перистые облака, вещуя скорую петушиную славу грядущему Хорсу.

А Лёшка всё выныривал и проваливался, скукожившись на бычьей спине, широкими волнами яви и нави пересекая безлунный ильмень, всё дальше и дальше уплывая от жалости к себе.

Марта тяжко поднялась и тихонько мыкнула навстречу хозяйке. За коровой затопотали и заблеяли овцы, и только Борька, слегка повернув голову, продолжал лежать, оберегая сон своего друга. Мама прошла мимо весело танцующей на цепи Тайги, мимо высыпавших к хозяйкиным ногам говорливых кур и крикливых гусей, поддакнула приветствующим её из-за плотной выгородки свиньям, ласково почесала лоб главной ярки и… уронила в навоз

начисто вымытый и вытертый подойник. Лёшка в очередной раз вытолкнулся на свет и прошептал:

— Ма-ма.

Припав на колени, мама обнимала его за выскальзывающие плечи, прижимая к себе горячую, бессильно болтающуюся голову.

— Ма-ма, про-сти ме-ня.

Изгрызенные мошкой до кровавой корки губы не слушались, и слова вышёптывались по частичкам, по слогами. А сверху на лицо закапало тёплым и солёным.

— Да что же вы так, сыночки мои? Да это вы меня простите, вы, безрассудную! Что ж вы так? Простите! А я более вам не пастух, не указчица. Вы ж у меня такие большие, совсем-совсем взрослые стали. Как я не углядела? Простите меня, безглазую, не кляните только, помилуйте.

22.

Олег, прежде чем надеть новую городскую майку, несколько раз подтянулся — чтоб бицепсы поднадулись. А майка была ну просто обалденная: мандаринового цвета с натрафареченным на спине синей масляной краской худым волосатиком и полукруглой подписью «The Rolling Stones». И сидела как влитая. Её Олегу в подарок привёз их томский родственник, вроде как троюродный или четвероюродный батин брат. Лёхе досталось настоящее соломенное сомбреро, родителям румынская скатерть и особоточный безмен. Дядя Стас — или Стасик — кому как, был невысоким, пузатеньким тридцатипятилетним инженером-электриком, приехавшим в райцентр с комиссией что-то принимать на нефтеперекачивающей станции. Гуляла комиссия в гостинице, но ночевал он у них, для чего ребят на пять дней перекинули на сеновал над стайкой. Родственник им всем нравился, тем более, что помог бате, которого поясница почти уже не отпускала, устроиться на станцию дежурным кочегаром, сутки через трое. Основной оклад сто сорок, плюс северные со стажем, минус подоходные, итого получалось двести пятьдесят — ну и где бы отец такое непыльное нашёл, чтобы ещё и с хозяйством свободно управляться? Всё механизировано, нажимай только кнопки. Мама после этого со Стасика только пылинки не сдувала. А ребят он поразил невиданной волосатостью — кудри вились у него не только на груди, но и на плечах, и на спине. И ещё дядя Стас их очаровал неисчерпаемостью хлёстких приколов и подковыристых прибауток, вроде «много дураков, каких мало» или «закрой ротовое отверстие лицевой части головы человеческого тела».

Олег медленно шёл по своей улице к Димитрова и счастливо щурился встречному солнцу. Всё, братцы-кролики, уже всё: школа закончена. Позавчера получили аттестаты и отплясали до четырёх утра в родном спортзале. А дальше гуляли, пели, пили и целовались до восхода, который встретили на дебаркадере.

Он потом почти сутки спал. Интересно, когда сдавали экзамены, казалось, что страшнее ничего не бывает. Особенно колотило перед алгеброй и сочинением. А оказалось, что сейчас его ещё больше колотит перед неизбежностью города. Даже подумать, и то желудок тянет. Лучше о будущем не вспоминать.

Олег вразвалочку чуть шаркал по разогретым доскам знакомого до каждого сучка и гвоздика тротуара, и улыбался прислонившейся к своей калитки Людке Устюжаниной. Чуть было не сказал — «из параллельного класса». Нет, нет теперь никаких классов! И Ваську-Муху ещё осенью в армию забрили, так что Людка теперь свободна. Олег соскользнул глазами в восхитительно распёртый разрез её блузки и поднабрал воздуха.

— Привет.

— Привет. Выспался? — Людка тоже внимательно и с удовольствием его оглядела.

— Как смог. Ты когда уезжаешь?

— Через четыре дня. В понедельник.

— А куда решила?

— Решила.

— Секрет?

— Нет. Ты же не сглазливый? В Томск, в техникум лёгкой промышленности. А ты?

— В офицеры пойду. Пусть меня научат.

— Красивый будешь, весь в пуговицах.

Посмеялись. Что ещё? «Ну, пока?» — «Пока». От её провожающего взгляда лопатки сами расходились, майка аж в подмышки врезалась. То-то же, сама тогда с Мухой задружила, а ведь наверняка догадывалась, что ему нравится. Вот теперь пусть смотрит. На «The Rolling Stones».

На полуподъёме, у магазина открыто курили Серёга Майборода, Серёга Литос, Вовка Бембель и Колька Карташов. Олег пожал всем руки, что-то спросил, о чём-то спросили его. Слепящее солнце плавило оконные стёкла, прожектором выхватывая полки с рядами бутылок. Но нет, скидываться Олег не собирался, и разговор не заклеился. «Пока?» — «Пока, пока». И парни тоже засмотрелись на трафарет на спине.

Главное, что он договорился назавтра с самого ранья сгонять на молоковозе майбородовского отца в Черемшанку, к дедам: ведь, если не попрощаться, они вусмерть обидятся. Придётся просидеть полдня за столом с соседями, выслушивая бывальщины и набираясь умных советов. Да и как же в город без дедовского сала? Нашим-то ему никогда не возможно было угодить: и жёсткое, и пересоленное, и мясных прослоек маловато. А баба Тонна обязательно сама зарубит, ощиплет и обжарит «на дальнюю дорожку» самую любимую хохлатку. Эх, милые! Они и деньги будут совать тайно друг от друга.

У кирпичных двухэтажек за четыре года появились квадратные, с низенькими зелёными штакетниками клумбы, около забетонированных

подъездных площадок парами встали скамейки, из-за которых наперегонки тянулись к небу молоденькие берёзки и рябинки. Так как здесь в основном жило начальство и интеллигенция, то во дворах всегда было прибрано, прям как при уже наступившем коммунизме. Только разномастные сараи в глубине вид портили, их за это время каждый хозяин как смог перестроил и перекрасил. Вот зачем этот индивидуализм?

Олег смахнул ладонью пыль и присел на краешек скамьи. Если Вика дома, она обязательно выглянет в окно. Проверено, ей же и высовываться не нужно, только прижаться лбом к стеклу. Солнце продолжало палить, притягивая к себе щебетливых красногорлых ласточек. Они множеством едва различимых крестиков метались вокруг далёкого белого, до рези слепящего кружочка, по очереди, в несколько штук, ненадолго спускаясь передохнуть на провисших от жары электропроводах. Интересно, как для них оттуда выглядит райцентр, трасса, болото с озерками, река и луга за ней? Неужели, как карта? Засмотревшись, Олег пропустил момент, когда, тихо токоча, во двор завернул новенький «Днепр». Мотоцикл тяжело уткнулся в клумбу рядом со скамейкой и замолк. Проспал, дятел, прохлопал, теперь смываться было поздно.

— Здравствуйте, Антон Николаевич.

— Здравствуй, Торопов.— Как-то аккуратно перекинув ногу, аккуратно расстегнув и сняв красный круглый шлём, отец Вики внимательно положил в нагрудный карман светло-клетчатой рубашки ключ, и, трудно передвигая затёкшие ноги, прошагал к подъезду. И вдруг от двери:

— Пошли, пообедаем.

— Я?

— Ты.

— Спасибо, я, это, сыт. Уже ел.

— Тогда квасу попьёшь.

И вошёл. Олег даже оглянулся, но поделиться удивлением и тревогой было не с кем. И что будет-то?

Из-за задёрнутых штор в квартире было почти прохладно. Олег вслед за хозяином разулся в прихожей и, зажимая пальцами дырявый носок, осторожно прокрался на кухню, по пути успев осмотреть себя в большом настенном зеркале. Как же у них чисто и продуманно. Повсюду полочки. От плиты не воняет свинячьим комбикормом с рыбной мелочью. И пол по-непривычному светло-светло жёлтый. Он сел на указанный табурет, в угол между столом и окном. Интересно, Вика здесь обедает?

— Ты точно не будешь? А то я сейчас окрошку соберу.

— Ага, спасибо.

— Как знаешь. Но всё равно помоги.

Пока Олег натирал в кастрюлю редиску и отваренный с утра картофель, Антон Николаевич мигом накрошил крутых яиц, мелко порезал лук и петрушку. Достал из «Бирюсы» зажатый меж двух тарелок кусок отваренной говядины.

Всё тем же, похожим на огромную бритву, ножищем начал стёсывать абсолютно одинаковой толщины ломтики.

— Так говоришь, уже точно решил в Томское?

— Ну, да. Тут и близко, и с математикой у меня всё удачно прошло. На пятёрки. Мне дядя Стас даже предлагал в ТИАСУР поступать, ну, институт автоматизированных систем… Мол, сейчас будущее во всём мире за ЭВМ. Но я офицером хочу стать. Да и, я думаю, связисты теперь тоже не катушки по окопам таскают. ЭВМ и в армии есть.

— Это верно.

— Раньше-то училище артиллерийским было, жаль, что его переделали.

— Знаю, я же там последний год дослуживал.

— И ещё….

— Погоди. Помоги мне квас сцедить. В последний раз: есть не будешь? И печенья не хочешь? Тогда пей, а я пообедаю. Виктория с матерью у брата, на огороде помогают. К вечеру прибудут. А я только что из милиции вернулся. Нам же утром в почтовый ящик кошелёк подбросили.

Олег поразился, с какой равномерной невозмутимостью Антон Николаевич хлебал жирно заправленную сметаной окрошку, прикусывая чёрным хлебом. Если бы не кругло сощурившиеся, до горошин, ледяные глаза, ни в жись не догадаться, что психует.

— Это кто-то вам с Викторией решил гадость сделать. Её оскорбить, тебя на дорогу грязью облить, посеять общее недоверие к твоему брату. Подло и мерзко. Кого-то дружба моей дочери с тобой очень раздражает. Я думаю, ты догадываешься кого? Такое ведь трудно назвать ревностью, здесь скорее тайная зависть наружу ползёт. Пришлось час с участковым воду в ступе толочь, пока уговорил закрыть дело. Сейчас ещё с Галиной Григорьевной беседа предстоит. Нет, это же надо, какая низость в юношеском сознании может загнездиться!

Лазарев встал, налил под край тарелки вторую порцию. И только крышкой чуть сильнее, чем нужно, о кастрюлю пристукнул.

— Я всю жизнь с такими подонками боролся. Всегда, везде. Не взирая на погоны. Может быть, поэтому не полковником в запас вышёл.

Вот, ты говоришь: «Будущее за ЭВМ», в этом есть правда, но только частично, ибо, на самом деле, не машины, пусть самые умные, а люди являются этим будущим. Люди нового образца. Ведь для идеального общества, к которому мы стремимся, требуются идеальные люди. А они не в капусте ищутся. Они формируются, воспитываются. Селекционируются, если уж совсем откровенно, из того, что есть самого лучшего в подручном человеческом материале. И армия, офицеры — это как раз та, на сегодня самая передовая, образованная, дисциплинированная, идеологически выдержанная часть советского общества, где в первую очередь возможно появление нового коммунистического человека. Потому что офицер, как никто, всегда находится в реальной ответственности. После войны сколько ж фронтовых офицеров и

генералов, в боях доказавших своё настоящее, не бумажное лидерство, были направлены на производство, в науку, образование, искусство. Это же благодаря руководителям-фронтовикам произошло скорейшее восстановление народного хозяйства, начался расцвет нашей экономики, СССР создал ядерный щит, первым вышел в космос. А потом Хрущёв их испугался. И стал задвигать боевых генералов, отдавая правление своим чинушам. И, вдобавок, этой его кукурузной гонкой за Америкой мы бездарно растратили время — ветераны состарились, потеряли здоровье, силы. Ушла энергия победителей. Конечно, Леонид Ильич попытался выправить положение, но время-то необратимо. Теперь вся надежда на вас, молодых. Вы можете, нет! — вы обязаны наверстать упущенное! И в этом никакие ЭВМ не главное.

Антон Николаевич отставил грязную тарелку на разделочный столик, снял вафельное полотенце, что-то поискал глазами, не нашёл и бросил полотенце на алюминиевую посудную полку. Повернулся и, навалившись на руки, жёстко впился в Олега глазами:

— При чём тут вообще экономика? Об этом ещё Лев Толстой предупреждал: «Формы новые, а содержание старое». Коммунизм должен наступить вот здесь, в человеческом сознании. И не единичном, а массовом. И вы, ваше поколение, имеете этот шанс, ибо мы оказались лишь промежуточным звеном, мы только передатчики эстафеты от той революционной страсти первых советских лет, от заветов ленинской гвардии. Вглядись в основные элементы нашей символики и, если поймёшь, сути советского ритуала: путеводящая звезда, трудовые серп и молот, и, главное, красное знамя. Это же цвет крови и пламени. Цвет ярой жизни и, если потребуется, славной смерти. Славная смерть — жертвенность личности собой ради общества. Только в самопожертвовании происходит обретение истинного, а не какого-то там религиозного, бессмертия. Бессмертия в благодарной памяти народа, который присваивает имена своих героев городам и улицам, заводам и фабрикам, совхозам и школам. А самая великая честь для коммуниста — быть похороненным в Кремлёвской стене, рядом с Мавзолеем Ленина.

Поэтому, пока у тебя есть выбор, нужно пробовать и рисковать своей жизнью, напрягать все силы, чтобы попасть на передовую борьбы за созидание нового человека — идеальной личности, способной жить в идеальном обществе. Главная наука двадцатого века — коммунистическое воспитание. Хотя ещё древнегреческие мыслители ставили задачу гармоничного сочетания умственного, нравственного, эстетического и физического начал в образовании, но научные основы такой гармонии были разработаны Марксом, Энгельсом и Лениным, вскрывшими социальную природу и классово-исторический характер воспитания, доказавшими, что только в процессе трудовой деятельности происходит формирование общественной сущности человека.

Ты сам теперь свидетель тому, сколько же зла может причинить всего один только мерзавец! Поверь, что в нашей семье никто ни на секунду не

усомнился в невиновности твоего брата, но как быстро вокруг расползлись гнусные сплетни! Как же ещё сильны в людях эгоистические пережитки, когда чужая беда кажется собственной радостью. Может быть, вам слишком рано преподают в школе Кодекс строителя коммунизма, слишком наскоро, а я уверен, что к нему обязательно нужно возвращаться через каждые несколько лет жизни за переосмыслением. Это та суть, зерно, из которого и должна произрости идеальная личность: преданность делу коммунизма и любовь к Родине, дружба и братство всех народов, добросовестный труд на благо общества, нетерпимость к нарушениям общественных интересов, к тунеядству, карьеризму, стяжательству, честность и нравственная чистота, скромность. Да какой там, на хрен, американский билль о правах, когда только в нашем Кодексе сконцентрирован весь коллективизм и гуманизм: человек человеку — друг, товарищ и брат. Что можно тут добавить? Только то, что нужно страстное желание, чтобы преобразиться. Грядущий коммунизм уже сегодня, в социализме, перед каждым из нас ставит на первый план вопрос о самодисциплине, самоорганизованности. Как говорил Ленин: «Умение самому вырабатывать коммунистические взгляды — важнейшая сторона формирования нового человека». Ну, а кто не хочет по-доброму… Конечно, воспитательная работа стоит на основе убеждения, однако, по отношению к антиобщественным элементам принуждение необходимо. Формирование научного мировоззрения, коммунистической убеждённости проходит в активной борьбе с буржуазной идеологией, национализмом. Освобождение от религиозных предрассудков, всякой мистики и суеверий, раскрепощает творческие силы. Вот мы встретили XXV съезд КПСС, страна начала новый период развития, но ведь это время и твоего личного формирования как специалиста и, надеюсь, коммуниста-ленинца.

Антон Николаевич откинулся, голос его зазвучал внятно и размеренно, словно он зачитывал заранее написанную лекцию перед какой-то нездешней, только им видимой аудитории. И, предоставленный сам себе, Олег вдруг поплыл, выпадая из смысла звучания, как на уроке химии. Знакомые, на сто раз слышанные и от этого некасающиеся фразы. Так мало значащие, в сравнении с новостью о подкинутом кошельке. Неужели с деньгами? Вот это номер! Теперь круг подозреваемых очень даже сужался. Чего там, сошёлся в точку.

Каждый март все школьники, начиная с пятого класса, собирали и сушили для аптеки берёзовые почки. На лекарство. Каждому пионерскому отряду или классной комсомольской ячейке норма определялась и контролировалась в учительской по фамильным спискам. И если кто-то почему-то не участвовал, за него отдувались остальные. Мальки сдавали по пятьдесят грамм, это неполный стаканчик, постарше — по сто, а выпускники по сто двадцать-сто пятьдесят. Встречались и чемпионы, набиравшие до трёхсот грамм, но это явно был какой-то мухляж, такого колупания никакой нормальный человек не выдержит. Наверняка старики помогали.

Осторожно пригибать и нежно ощипывать веточки на живых деревьях, как это предписывалось учителями, никто никогда не собирался. Чаще всего ветви нарубались для уличных мётел, а почки уж заодно и обирались. Но это самый скучный вариант, дома, на кухне. Для девчонок. То ли дело сговориться да после обеда кодлой завалить на болото. Там мелкий березняк всё равно выше трёх метров не вырастал — корни гнили, поэтому без особой жалости срубалась пара-тройка деревцев на нос, и за разговорами, покуривая без оглядок «Интер» или «Аэрофлот», купленные в киоске «Союзпечати» под «честное слово для отца», неспешно ощипывались мёрзлые смолистые комочки в подвешенную на грудь баночку из-под консервов.

Почти весеннее солнце разноцветно игралось на корочках наста, рядом звонко пересвистывались любопытные синицы, а они кружком, кто стоя, кто сидя, пощипывали и, конечно, наперебой трепались. Темы у одноклассников самые разные: про мотопехоту и про Рукавишникова, про кострюков и про разборки за клубом. И, конечно, больше всего про баб. Прибивавшийся к брату Лёшка только успевал ушами вертеть.

Впрямую они с Валькой Ермолаевым за всю жизнь ни разу не подрались, хотя соперничали во всём, в чём только можно, с детского сада. В футболе, в шахматах, на кроссе, у доски, на танцах, в рассказывании анекдотов. А как сражались тогда, когда один был капитаном Тревилем, а второй конунгом викингов! Сколько же они тогда штакетника, что для библиотечного забора завезли, переломали! У Ермолая с тех пор на верхней губе белеет шрам, а у Олега заметны швы на правой руке поперёк четырёх пальцев.

Вот и здесь, они вроде как не глядя друг на друга, и даже не перебивая, сразу же стали силовыми полюсами, задавая совершенно противоположные направления общему разговору. Стоило Олегу начать о «Песнярах», как Валька тут же вспоминал про Бельмондо, Олег переходил на Мальцева, а Ермолай обхахатывал физрука. И ещё он, как мог, выделывался новеньким, выточенным из распрямлённой рессоры, здоровенным, как меч, тесаком. И тут именно Лёшке попалось удивительно жилистое деревце, которое он никак не мог подсёчь. Лёшка и крутил комель, и сгибал туда-сюда, но берёзка никак не заламывалась. Подойдя, Ермолай с ухмылочкой покровительски похлопал его по плечу: «Подвинься» — и засёк одним широким взмахом. Подхватив падающий стволик левой рукой, дёрнул его вверх. Но, не рассчитав усилия, широко всплеснул руками и сел в снег. Лёшка увидел, как побелело Валькино лицо, как выпали тесак и берёзка. Почуяв неладное, никто из ребят не засмеялся, более того, наступило какое-то нехорошее молчание, в котором Ермолай медленно-медленно подтянул под себя ноги и также медленно привстал. Из глаз разом и обильно покатили слёзы, и он, едва переставляя ноги, нараскаряку, мелко пошагал по тропке к селу. На заду, точно посредине шва кругло чернела дырка. Это он так точно наделся на им же перед этим косо засечённый пенёк.

Ох, и нахохотались они с Лёхой, но, конечно, потом, уже дома. Да и остальные, поди, тоже укатывались. И Ермолай затаился. Не искал всеобщего внимания, не хорохорился, как прежде, по любому поводу, не учил жить. Даже на выпускном вечере как-то очень дружелюбно помог незаметно провести в спортзал Вику. Очень уж дружелюбно.

Щёлкнув откинутой дверкой, хрипящая кукушка поклонилась три раза и снова спряталась. Олег очнулся, тряхнув головой, огляделся. Нет, все и всё по-прежнему на месте. Это просто голос, такой уверенный, без нервов, учительский голос его чуть не усыпил. И тут даже вздрогнул — Антон Николаевич говорил ему и о нём.

— И почему рекомендую тебе именно военно-политическое училище? Да потому, что, по моим представлениям, ты обладаешь необходимыми данными партработника. Я, может, и издалека, но постоянно наблюдаю за тобой, ведь мне не безразлично, с кем дружит моя дочь. Не смущайся, я одобрил её выбор. В тебе есть врождённые общительность, коллективизм, хорошо развиты ответственность и требовательность и одновременно исполнительность. Есть самоконтроль, воля к преодолению препятствий, доведению начатого дела до конца. Ты целеустремлен и устойчив к влиянию других. Откуда такая характеристика? На это существуют разработки психоаналитиков, когда общая картина складывается из мелочей. Например: ты же один некурящий в классе?

— Нет, нас трое.

— Невелика поправка. Ко всему этому добавим сельское детство, дающее человеку некий положительный консерватизм и серьёзность. Остаётся получить хорошее городское образование, чтобы развить природный интеллект. Понимаешь, как это прекрасно, когда человек занимает своё место в обществе не по принципу рождения, а за личные качества — талант, трудолюбие, волю. Тут лично для меня, тоже ведь сына шахтёра и домохозяйки, примером всегда служил наш «рабочий-полководец» Климент Ефремович Ворошилов. Представь: деревенский мальчик, отучился только два года в земской школе и вынужден был уехать в город. Там вступил в рабочее движение, примкнул к РСДРП, вёл подпольную работу. Естественно, арестовывался, ссылался. Потом были и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, и создание ВЧК, и оборона Царицына вместе со Сталиным. А вместе с Будённым он формировал Первую Конную, потом в двадцать первом подавлял Кронштадтский мятеж. И я считаю, что благодаря несгибаемой внутренней направленности на самообразование, на саморазвитие, сын простого крестьянина взошёл на самую вершину: стал первым маршалом Советского Союза, дважды Героем. При этом всегда, на всех своих постах Ворошилов выполнял функции именно политического руководителя армии. Поэтому нельзя винить его в неверной тактике обороны Ленинграда, это была не его ошибка, а Ставки — ведь он всегда и во всём оставался комиссаром, духовным вождём, а не стратегом, и его

главным, а может быть, единственным оружием была верность партии, верность заветам Ильича.

Олег, я, наверное, тебя уже примучил? Прости, заканчиваю. Политработник — это не просто какой-то там воспитатель, он имеет гигантскую, в сравнении с обыкновенным учителем, власть: в его круглосуточном веденьи находятся солдаты, принявшие присягу Родине, обязанные не только слушать его советы, но и исполнять приказы. Вплоть до отдания своей жизни. Это страшная ответственность, здесь требуется особая, уникально чуткая душа, чтобы удерживать баланс между уговором и принуждением. Про эту ответственность нужно помнить постоянно. Прекрасно, что ты решил стать офицером, он из тебя получится. Я тебе дам рекомендацию в Новосибирск, там преподаёт один мой давний хороший товарищ. Не некай! Это поможет и при поступлении, и в первое время, пока освоишься. Всё нормально. И ещё: не забывай, что Брежнев — тоже наш, политрук. Мне даже посчастливилось побывать на учениях в том самом лагере в районе станции Песчанка, недалеко от Читы, где он начинал службу.

В аэропорт они приехали слишком рано. Три «кукурузника» с прикрытыми брезентом кабинами зябко блестели под косым восходящим солнцем розовыми и фиолетовыми капельками росы. Клеверное, черноголовковое и лапчатковое поле, чуть выпукло километр на километр раскинувшееся за Полоем, пара длинных бревенчатых, под шифером, домов и будка с высоченной железной мачтой, на которой полосатым буратиновским колпаком вздувался и опадал метеорологический сачок для ветра. Касса, возле которой на реечной скамейке измученно дремали два небритых нефтяника, была наглухо закрыта, зато буфетчица в огромном марлевом головном уборе уже протирала стаканы. Несколько десятков мух прилипли к жёлтой ленте и покорно покачивались в такт движениям её накрахмаленной башни.

Батя, сделав круг по залу ожидания, сразу же вернулся к мотоциклу, а мама долго шёпотом перепиралась с сыновьями насчёт того, будить или не будить спящих, чтобы занять за ними очередь. Наконец Олег с Лёшкой уговорили её подождать на крыльце, а если кто подъедет, то там сразу и сказать, что они крайние. Свежий, со стороны Оби, ветер бодро сушил ночную влагу, посвистывая в полуголых ветвях старых осокорей, избитых и обожжённых молниями. А куда ещё им тут бить? Только в мачту и пяток этих одиноких стариков.

— Олежек, сынок, ты прямо с аэропорта дай телеграмму. И потом, как доберёшься. Почта, поди, рядом будет. Мы же тут с ума сойдём, пока весточку не получим.

— Хорошо, хорошо.

— С места письмо пошли: мол, как устроился, чего надо. Я сразу к Антон Николаичу сбегаю и узнаю, чем помочь.

— Ещё чего! Даже не смей.

— Правильно. Ты чего, Любань, думаешь, там наш первый приезжий? — Даже батя не выдержал, разогнулся от вечно засоренного карбюратора.— Да таких там из года в год со всей Сибири наваливает. Всё там продумано, по-военному. Не боись, не пропадёт.

— Да, да, конечно продумано. Это я так, не обращайте внимание.

И заглянула в лицо Олега заблестевшими глазами:

— Конечно, ты не пропадёшь, сынок. Ты у меня старший и сильный. Но имею же я право попричитать? Немножечко, как мать-то?

От райцентра на аэропортовскую дорогу выпылил уазик.

— Лётчики!

Лёшка чуть не запрыгал от восторга. Он тоже сегодня почти не спал, стараясь не крутиться и не скрипеть, прождал-пролежал до четырёх утра, пока Олег не напрощается с Викой. Потом они обсуждали план наказания Ермолая: гадёныш успел смыться поступать в московский сельскохозяйственный, но вполне мог ещё вернуться перед сентябрём. Особенно, если провалится. И только-только братья придремали, как мама внесла две почти литровые алюминиевые кружки пахучего парного молока «на посошок, в городе-то такого не попробуешь». И вот теперь, загруженный под завязку поручениями, Лёха чересчур ярко на всё реагировал, суетился, несмешно шутил, невпопад услуживал. Да-да, это же он теперь за старшего и сильного.

Уазик резво подкатил к административному дому, скрипнул тормозами. Из него, с деловито надменными лицами, неспешно выбрались четыре ночевавших в районной гостинице лётчика. Надели фуражки, вошли. А через полминуты за ними расфуфыренная буфетчица внесла большущий картонный ящик, наверное, с завтраком. И у Олега, всё время тайком слюнявившего припухшие от ночных поцелуев губы, вдруг жутко засосало под ложечкой.

— Мам, чего бы съесть?

— А чего хочешь? Может, ещё курочки?

— Ты это, Любань, поосторожнее. А то стошнит там, в воздухе.— Батя чрезвычайно добро погладил мать по руке.— Зайди-ка да погляди: может в буфете чего сладкого найдётся. Конфеточки, там, чтоб пососать.

И как только за ней хлопнула дверь, жестом фокусника вынул из люльки початую бутылку вина. Выдернул газетную затычку, протянул Олегу:

— Давай, сын.

Олег сделал два больших глотка, вернул. Батя перенаправил Лёшке. Тот тоже быстро сглотнул и закрыл рот рукавом.

— Бог тебе в помощь.— Батя допил и откинул бутылку подальше в клевер.— Олег, только запомни: чего бы, где бы с тобой ни приключилось, беда ли, конфуз или мало ли, но вот тут есть твои родители. Живые мы или наши могилки, но тут тебя встретим, утешим, примем любого. Запомни!

Отец обнял его, вжался лицом в плечо и крупно затрясся.

Самолёт, пробивая сопротивление встречного ветра, напряжённо взбирался на высоту. Из-за полузакрытой кабинной двери, сквозь закладывающий уши свист и зудящий гул, доносились не к месту весёлые реплики перекрикивающихся пилота и штурмана, а перед Олегом опять равнодушно дремали те два небритых мужика. Поёрзав на холодном, продавленном сидении, он, как смог, поудобней прижался виском к круглому стеклу, стараясь не думать о прочности стягивающих крылья тоненьких подрагивающих креплений. АН-2 выровнялся и, накренившись, пошёл на широкий разворот.

Внизу серым, в разрозненных клочьях зелени, холмом поплыла округлая спина Рыбы-Кита, широкими налимьими губами погрузившегося в изворот Оби. По спине мелкими квадратиками неровно разведённых улиц, переулков и тупиков расползлись, рассыпались полторы тысячи лавровских дворов. Нет, школу не разглядеть. И дом тоже. Больница, почтамт. Телевышка на облысевшей Остяцкой рёлке. К чёрно-коричневой плиточке дебаркадера притулилась белая семечка колпашевской «ракеты», а по песчаной косе колко просверкало отражённым в лужах солнцем.

За рекой на восток, до туманно зыбкого горизонта ровной изумрудной скатертью стелились заливные луга, с мелкими складками дальних былинских грив. Бурая нитка притёка, прошив серую тальниковую замшу, впилась в оливковое тело широченной Оби, упруго и сильно извивающееся между рябо заросшими берёзами и соснами елбанами, белоглинистыми ярами, песьяными култуками. Обь отходила на Север неспешно, тщательно собирая в себя матерички, отноги и отпары, дублируя свой ток мучинными ангами и старицами, обмывая бельняковые серёдыши.

Самолёт ровно тянул на юг, целясь в самую серёдку пышно развернувшемуся пуховому фронту. Вот немного болтануло, снизу в последний раз отблеснуло безымянное кривое озерцо, и прямо под крыльями ровно закурчавилось низкая беспросветная бель.

Мужики блаженно похрапывали. Олег потихоньку выдвинул из-под ног портфель, отстегнув замок, осторожно пошарил внутри. Ещё раз оглянувшись на спящих, раскрыл большую самодельную открытку. В зелёном картоне, как в створках раковины, лежали Викина фотография и заклеенный конверт от Антона Николаевича. Для товарища в училище. Улыбаясь и зачем-то понюхав, Олег переложил фотку в паспорт и тщательно застегнул пуговку внутреннего кармана. А конверт с письмом мелко-мелко изорвал. И ссыпал в выданный перед полётом санпакет.

Прежде чем опустить открытку назад в портфель, наверное, на сотый раз перечитал немного прыгающие буквы:

«Юный друг! Ты в начале пути.

Пред тобой все дороги открыты,
И счастливые песни звучат над родимой страной.
Ты гордишься Советскою нашей Отчизной,
Сделай так,
Чтоб Отчизна гордилась тобой.

Выпускнику Лавровской средней школы Торопову Олегу. Коллектив учителей, комитет ВЛКСМ и Совет дружины поздравляют тебя с успешной сдачей экзаменов, получением аттестата зрелости и желают быть достойным строителем коммунизма.

с. Лаврово, июнь 1976 г.»

23.

Боевой дух. Что есть боевой дух?

Выше мы говорили о двойственной роли Бабы Яги — испытальщице и дарительнице, о смешении в сказках двух инициаций — общей юношеской и избраннической жреческой или княжеской. Дж. Фрэзер в «Золотой ветви» выдвинул теорию, согласно которой во время инициации из посвящаемого вынималась душа и передавалась тотемному животному, а возвращалась она уже с иными качествами.

Термин *тотем* происходит из Северной Америки, где на языке индейцев оджибве слово «ототем» означает «его род». Тотемизм предполагает идентификацию рода с конкретным животным, растением, предметом, где тотему отводится роль оберега. А встречно тотемные животные и растения табуировались, их нельзя было убивать, обижать, употреблять в пищу. Понятие тотема едино для всего мира, так что некоторые современные русские фамилии явно произошли от названий тотемов. Интересно звуковое единство: «отец»–«тятя»–«ата»–«ототем»–«тотем». Отчество–отечество. Родовой знак-признак. «От» и «То». А что тогда «тобук»? Для различия легионов и когорт римлянами использовались значки «signa» в виде орла, вепря, льва, минотавра, коня, волчицы, носимые впереди на длинных древках. Прообразы гербов, родовые знаки и символы применялись с глубокой древности, они упоминаются в произведениях Гомера, Вергилия, Плиния. Так, шлем Александра Македонского украшал морской конь (гиппокамп), царя Нумибии Масиниссы — пёс, шлемы Ахиллеса и императора Каракаллы — орёл. Тотемная геральдика употреблялась в виде тавро, клейм, печатей. В Китае, ближе к Тибету, живут «жёлтые уйгуры», сохранившие шаманизм в чистом виде. Своих богов они называют «Ас тамга», «Йаг тамга», «Сун тамга», где «тамга» — это клеймо, высечка, тавро. Похоже, что в древности для народов Азии термины «бог» и «тамга» были синонимами. Гербом шумерского государства был орёл с львиной головой, Египта — змея, Армении — коронованный лев, Персии и Рима — орёл. Русь унаследовала своего двуглавого орла от Византии. Бунчуки, вымпелы, хоругви и знамёна,

отмечавшие местоположение полководца, олицетворяли присутствие в данном месте родовых святынь, удостоверяли связь с небесными покровителями.

«— Ура! — закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжёлое знамя, и побежал вперёд с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним.

И действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком „ура!“ побежал вперёд и обогнал его».

Не стоит напоминать, откуда это.

Создатель «Младшей Эдды» и «Хеймскринглы» Снорри Стурлусон пишет о способности Одина изменять свою форму: «Его тело лежит, как если бы он спал или был мертвым, но он становится птицей или диким зверем, рыбой или змеем и в мгновение ока достигает отдаленных стран». Экстатические путешествия Одина в зооморфном облике можно сопоставить с превращением шаманов в тотемических животных.

«Мои ти куряни… сами скачуть, акы с рыи влъци въ пол, ищучи себе чти, а князю — слав» — восхваляет своих дружинников Всеволод в «Слове о полку Игореве». А в прочтении другой фразы: «аще и в ща душа въ друзе тел, нъ часто бды страдаше», Ф. Буслаев видел, что «другое тело … означает не другого или какого-нибудь человека вообще, а именно другое тело, не своё собственное, а волчье, которое надевал на себя герой, перерыскивая путь великому Хорсу».

Волк упоминается в «Слове» девять раз, ибо и в славянском фольклоре, и в фольклоре тюркском он равно выступает как тотем. Исторический пример: в 1097 году половецкий хан Боняк участвовал в междоусобной войне на Руси. Перед битвой с союзными противоборствующей стороне венграми Боняк выл по-волчьи, а настоящий волк «отвыся» ему, предсказав победу. И действительно, половцы заманили венгерские полки в западню и нанесли им сокрушительное поражение.

Воины в шкуре волка, медведя, льва, тигра — частые персонажи мифологии. В норвежской саге рассказывается про две заколдованные волчьи шкуры. Всякий, кто надевал их, не мог сбросить и превращался на десять дней в волка. Шкуры у хозяев были украдены воинами Зигмундом и Синфьотли, которые, став волками, начали выть, нападать на людей и грызться друг с другом. В России ряжения зверем хранились в святочной и масленичной обрядности до XX века. В Тверской области «чудили» в волчьих и лисьих шкурах, набрасывая их на плечи и подвязывая морду на шапке, по двое одевались в одну выделанную медвежью шкуру, закрепляя на голове голову. Ритуал переодевания в волчьи шкуры или хождение с чучелом волка у многих народов Европы приурочивался к осенне-зимнему сезону: в чешском и латышском языках название декабря в буквальном переводе «волчий месяц».

В культах римского Марса и германского Одина волки главные персонажи. В мифологических представлениях многих народов волк или волчица связаны с предводителем боевой дружины или богом войны, являются родоначальниками племени или его воспитателями. Это и легенда о капитолийской волчице, и о волчице, вскормившей Кира, рассказ китайской хроники VII века о предке тюрок: из истреблённых врагами хуннов остался в живых один юноша, которого выходила волчица, ставшая его женой и родившая ему десять сыновей. Аналогичное предание о волке-прародителе есть также и у монголов. Да и простые воины именовались волками в хеттской, иранской, греческой, германской и других индоевропейских традициях, часто ряжась в волчьи шкуры. Согласно тексту обращения хеттского царя Хаттусили I (XVII век до нашей эры) к войску, его воины едины, как «род волка» (хеттское *uetna* созвучно древнеисландскому *vitnir*, украинскому *вiщун* — «волк-оборотень»). Это представление о единстве дружины, как волчьей стаи, хорошо известно на Кавказе и в наше время.

«Босым волком» бежал из плена князь Игорь. Г. Ильинский полагал, что праславянская форма *bes* — «демон» имела вариант *bos*. Соглашаясь, современные же этимологи считают, что форма *босъ*, тождественная форме *бсъ*, была перестроена по мотивам табу.

Бос. Бес. Бесноватость. Одержимость во время боя. Берсеркеры, или берсерки — люди-медведи. Уже один внешний вид берсерков, их дикое рычание наводили ужас, лишая возможности защищаться. Считалось, что берсерки во время боя на самом деле превращаются в зверей и бьют не топорами, а лапами. В это время они не чувствовали боли, их мышечные реакции скоростью и силой вполне соответствовали звериным. Исследователи этого феномена придают слишком большое значение напитку, содержащему галлюциногены, но у всех народов во все времена практикуются и иные техники введения воина в трансовое состояние. Например, боевые танцы так же переключают чувства на восприятие экстремальной ситуации, изменяют сознание, и поэтому в русском мужском переплясе не случайны названия коленцев: волчок, соколик, петух, горбатый (медведь).

«Начати же ся тъй псни по былинамь сего времени, а не по замышленiю Бояню» и «О Бояне, соловiю стараго времени…». Ю. Венелин высказывает предположение, что эти упоминания о Баяне относятся к сыну болгарского князя Владимира II. Слава Баяна как поэта была такой, что в представлении простого народа он своим пением мог превращать волков в людей и обратно. Веру в такие превращения колдунами даже целых свадеб в волчьи стаи фольклористы записывали в сёлах до конца XIX века.

Позволю ещё одну цитату из «Войны и мира»:

«— Песенники, вперёд! — послышался крик капитана.

И перед роту с разных рядов выбежало человек двадцать. Барабанщик-запевало обернулся лицом к песенникам и, махнув рукой, затянул протяжную

солдатскую песню, начинавшуюся: „Не заря ли, солнышко занималося…“ и кончавшуюся словами: „То-то, братцы, будет слава нам с Каменскиим-отцом…“».

Один из наиболее распространённых способов подъема боевого духа воинов — барабаны. Именно бубном-барабаном шаманы всех материков вводят в транс себя и участников ритуала. К этому же приводит и маршировка.

И ещё знакомый приём: боевой клич. В «Младшей Эдде» говорится о Тюре: «Он самый отважный и смелый, и от него зависит победа в бою. Его хорошо призывать храбрым мужам», а об Улле: «Он к тому же прекрасен лицом и владеет всяким военным искусством. Его хорошо призывать в единоборстве». В «Манасе» Кульчоро, хлестнув своего скакуна Суркоена по правому бедру, обратился к духам предков и бросился в бой с боевым кличем в честь Манаса, так как боевой клич — это заклинание, призыв предков, произношение сакральных племенных имён, разрушающее границу миров между живыми и умершими, объединяющее земных и небесных воинов рода, и отсюда наше бессмертное «Ура» — заимствованное и трансформированное *Hurra* («Уран») — тюркское «Смерть».

В эпоху средних веков боевые кличи, которыми рыцари и монархи сзывали своих бойцов под знамена, получили особое развитие как вид девизов. Многие превратились в сохранившиеся и поныне династические и даже в государственные.

«За Русь!» «За Веру, Царя и Отечество!» «За нашу Советскую Родину!» — «Ура!!!»

Смерть за святыню есть бессмертие в святыне.

Смерть за род есть бессмертие в роде.

Висы и драпы были священными песнями-заклинаниями, исполнение которых скальдами-волхвами открывало воспеваемому в них герою путь в Валгаллу, в бессмертие славных. Желание быть воспетым в жреческих стихах заставляло викинга на годы покидать родимый край, гнало в неведомое море, на край света, в обитель ледяных великанов, в царство мертвых. Этой же магической «славы князю» волхва-гусляра для обретения языческого бессмертия искал в походе к половцам Игорь, князь-отступник.

И потом каялся перед Богородицей Пригощей.

Е. Аркин повествует о наблюдениях Склифосовского: «В его клинике лежала музыкально образованная полька, и профессор имел возможность следить за колебаниями кровяного давления в её черепной полости в зависимости от слышимой музыки. Как оказалось, что для каждого композитора и даже для каждой пьесы существовал свой прилив крови, своё кровяное давление в мозговых сосудах и, что всего замечательнее, патриотическое чувство польки проявлялось в резком повышении кровяного давления всякий раз, когда играли при ней даже самые посредственные пьесы Венявского».

Английский эстетик Д. Кук вообще рассматривал музыку как язык, несущий «декодированное» содержание, заключенное в ряде мелодических образов, в мажорном и минорном ладах и в хроматизме. В корковом механизме различных эмоций большое значение имеют процессы формирования и преобразования динамических стереотипов, и лёгкость или затруднённость их формирования современными психологами связывается с генетическими музыкальными кодами. От звучащей внутренней музыки зависит не только интеллектуально-эмоциональное состояние, но и физиологическая, и химическая деятельность мышечного аппарата. От соединения же национальной музыки с заклинанием, призывом предков, произношением сакральных племенных имён воином овладевает боевой дух.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!

А кого оставляют равнодушными даже вступительные аккорды «Прощания славянки»?

Древнейшие ритмы и священные слова предбоевых кличей свиваются и сливаются в военные марши, пробуждая в нас глубинные реакции.

Древнейшие ритмы и священные слова послебоевых слав свиваются и сливаются в победные гимны.

Государственный гимн — торжественное музыкальное произведение. Наряду с флагом и гербом, он является высшим символом государства, призванным сплачивать и вдохновлять нацию. Гимн — древняя «слава», величание данной Богом власти, и поэтому Гимн — «государственная молитва». В России во время праздников хор «государевых певчих дьяков» с 1479 года и до конца XVII века исполнял православные песнопения. От Петра I встречи коронованных особ, военные победы и знаменательные юбилеи отмечались хвалебными «виватными кантами», вперемежку с пением «многая лета», функции же государственного гимна в XVII–начале XIX века выполнял общеевропейский «Тебя, Боже, хвалим».

Царь Православный,
Царствуй на славу!
Царствуй на страх врагам.

Гимн в русской армии подлежал обязательному исполнению на парадах, при освящении знамен, на утренних и вечерних молитвах армии, встречах императорской четы, во время принятия присяги, на застольях после здравиц за Императора. И 27 января 1904 года крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» вышли на свой смертный парад с пением «Боже, Царя храни».

Живущий там, на краю земли,
какою песнею, какою сказкою
ты был завлечен в эту священную страну,
куда не добежать доброму духу,
в эту чудесную страну,

куда не по силам добраться и злому духу?

Ханты — один из древних народов, расселившийся по Обь-Иртышскому бассейну от линии Демьянка-Васюган на юге до Обской губы на севере, с самой дальней точкой их пребывания на Таймыре. На юго-западе в область заселения хантов-остяков входили бассейны Конды, Тавды, Туры с прилегавшей к Иртышу частью нижнего Притоболья, восточная граница проходила по водоразделу Оби и Енисея. В период максимального этнического расцвета отдельные племена переходили через Уральский хребет, доходя до Камы. Но до сих пор остается открытым вопрос о их прародине. Согласно мифам самих хантов, некоторые их божества происходят с верховьев Оби, и достаточно исследователей признают южное происхождение этого народа, указывая на северный Алтай или Саяны.

В конце II тысячелетия до нашей эры климат в Сибири резко изменился, стал суше, и предки современных обских угров мигрировали в глубь Западно-Сибирской низменности, в направлении областей с более обильно выпадающими осадками. Ассимилируя автохтонное население, они создали предпосылки для появления новых археологических культур, возникновения собственно хантыйского, мансийского и венгерского этносов. Из доугорской истории Западной Сибири фольклор восточной группы хантов упоминает *ар-ях* — «древний, песенный народ», однако ненцы, потомки вытесненных уграми древних самодийцев, помнят ещё о неких племенах, обитавших в тундре и до их прихода — *сихиртя*.

Распад обско-угорской общности на остяков-хантов и вогулов-манси произошёл приблизительно в V веке нашей эры, а в X–XIII веках вогулы оттесняют хантов от Приуралья к востоку и северо-востоку, где Сургутское Приобье оказалось в зоне постоянных военных столкновений с самодийскими племенами самоедов в междуречье Оби и Таза. На юге тюркская экспансия отодвинула границы их ареала от степей до тайги и лесостепи. Тюркизированное хантыйское население Прииртышья было выключено из общего генезиса, а дальнейшее продвижение в XVI–XVII веках тюрок в Среднее Приобье повлияло на этническую обстановку и внутри хантыйского ареала.

Следствием явилось создание локальных этнических групп северных, южных и восточных хантов, имеющих как культурные, так и значительные языковые различия.

А. Дунин-Горкавич писал:

«Для обследования реки Лямина мною в 1901 году была снаряжена экспедиция, состоявшая изъ двух лесных объездчиков и трёх рабочих-гребцов. Объездчикам было поручено проникнуть вверх по Лямину, насколько это представляется возможным. Экспедиция за время своего следования в оба пути не встретила ни одного человека. Изредка только встречались места летних

остановок кочевых самоедов, то есть конусовидные остовы чумов и амбары на двухаршинных стойках, покрытые берестой».

«Не встретила ни одного человека». Ко времени прихода русских в Среднее Приобье постоянные жители на Лямине уже отсутствовали. Вдоль реки кочевала «кунная самоядь», ограниченная на севере Казымским, на западе Белогорским, на востоке Бардаковым остяцкими княжествами. И именно на Лямине возвышается утёс с остатками древней крепости, на территории которой некоторые археологические находки датируются II тысячелетием до нашей эры.

Первые укрепленные городища Западной Сибири (не считая неолитического городища на реке Амня, притока Казыма) появляются в конце бронзового, начале железного веков, то есть около трёх тысяч лет назад. В начале эпохи железа в Сургутском и Нижнем Приобье уже почти половина всех поселений представлена крепостями. На сегодня раскопано несколько десятков таких укреплений, и можно утверждать, что фортификационные сооружения возводились всеми обско-угорскими племенами по всей территории, только что лесные городища уступали укреплениям лесостепной зоны размерами.

Под городище в стратегически удобной для обороны местности, чаще на высоком мысу между сливающимися реками, расчищалась треугольная, квадратная или овальная площадка, в центре которой устанавливался тотем, а вокруг строились дома. Иногда таких площадок, изолированных друг от друга рвами и соединённых перекидными мостиками, было две или три. Вокруг выкапывались рвы, иногда действительно трудно преодолимые без перекидных мостков, а иногда просто для отвода воды.

Над окружавшими городища рвами кольцами возвышались земляные валы, иногда до шестнадцати рядов. В лесостепной зоне, где происходили наиболее серьёзные боестолкновения, толщина насыпных валов достигала пятнадцати метров, а высота шести. С внутренней стороны они укреплялись бревенчатой стеной, а с внешней — глиняными или каменными «крепидами». В лесных районах насыпи покрывались дёрном.

По верху валов возводились разнообразные стены, от простейшего заострённого остриями частокола до сложных бревенчато-столбовых конструкций, в которых брёвна укладывали горизонтально и с обеих сторон укрепляли вертикально врытыми столбами. Глубже ставился второй ряд, а пространство между стенами засыпалось утрамбованным грунтом.

Скорее всего, данные виды фортификации родились и развились на местной основе, но с естественным привнесением инокультурного влияния. Так в Сургутском Приобье найдены поселения со специфической керамикой и совершенно иными традициями строительства — это настоящие лесные замки с башнеобразными выступами и предвратными сооружениями, датируемые серединой I тысячелетия до нашей эры

Судя по затратности средств и тщательности исполнения, укрепления создавались как объекты долговременные, однако, исходя из того, что все

археологические находки не выходят за стены, проживание в них зачастую носило сезонный характер. Лето семьи охотников и рыболовов проводили в своих угодьях, собираясь и укрываясь в городища зимами, когда замёрзшие болота становились легко проницаемыми как для кочующих в поисках добычи отрядов самоедов или татар, так и для дружин лыжников из соседских княжеств.

Уже в раннем средневековье в искусстве таёжной фортификации наметился упадок, а к XV–XVI векам, после присоединения к России и «замирения народцев» русскими, трёхтысячелетняя крепостная традиция автохтонных народов окончательно пресеклась.

Ядром средневекового остяцкого сообщества являлась дружина во главе с князем-богатырем. Хотя князья и имели свою челядь, но не были феодалами, а являлись предводителями территориально-родовых групп. В зависимости от значимости и величины поселений и городищ, в которых жили или зимовали свободные соплеменники, князь мог выставить дружину численностью от 50 до 300 человек. Вооружение такие воины (по одному от каждой семьи) имели свое, а панцири и шлемы выдавались из княжеской казны, под расчет из будущей добычи.

Насчитывая к XVI веку до сотни родоплеменных объединений, специалисты указывают на такие крупные, как Кодское, с правящей династией Алачевых. По подтверждениям русских средневековых источников, кодские князья совершали военные набеги на соседние угорские княжества, вели войны с пермскими владыками и русскими отрядами, ходили в походы против эвенков на Енисей. Известны также княжества Обдорское, с центром в Пулноват-ваш, Казымское, с центром в Казыме и другие.

Сегодня существуют две противоположные точки зрения на причины и принципы междоусобных угорских войн Западной Сибири. Всем понятна жестокость угорско-самодийских межэтнических конфликтов: высокотехнологичные для своего времени рыболовство и охота, вкупе с превосходящим военным искусством угров позволили им оттеснить самодийцев в тундру и создали реальную угрозу их полного уничтожения. Ненцев спасло одомашнивание оленя и приспособление к кочевой жизни, и в пограничных северо-таежных районах на многие века сложилась двойственная система собственности: угодья были за остяками, оленьи пастбища за самоедами. Более того, пришлое оседлое население стало восприниматься как удобный объект грабежа, источник дополнительных средств к выживанию. На Пиме, Тромъегане, Агане, Салыме и Югане до сих пор пересказывают древние предания о нашествиях северных кочевников. Маршруты ответных военных походов бывали тоже весьма неблизкими, и жители с берегов Томи отправляли карательные экспедиции на Ямал.

Объяснимы и оборонительные меры Тайги против Степи, где слишком частые смены господств оборачивались для хантов такими же частыми охотниками за ясаком.

История учит, что войны кочевников против оседлых народов никогда не направлены на их истребление. Всадники-степняки видят в пеших обитателях лесов данников, поставщиков ремесленных изделий и растительных продуктов, поэтому при всей случавшейся жестокости по отношению ко всему народу объектом полного уничтожения мог быть только сопротивлявшийся правящий слой князей и богатырей. Поляны, малопригодные для выпасов, леса, до лета задерживавшие снега, реки, озёра и болота, ограничивавшие движение — кому они были нужны? Истребительные войны шли среди племён, конкурировавших по образу жизни.

Однако, наряду с этими понятными конфликтами, на протяжении многих столетий по всей территории Западной Сибири шли «вялотекущие» боестолкновения внутри обско-угорского этноса. Из раскопок захоронений князей, в полном боевом облачении, из культа предков-богатырей во главе с богом Мир-наблюдающим-всадником (Мир-сусне-хум), опираясь на обильный героический эпос, часть исследователей делает вывод, что в средние века манси и ханты уже имели единую развитую военную организацию, аналогичную современным им европейским и азиатским, а другие считают, что это был только процесс зарождения феодального государства. Но, скорее всего, мы имеем здесь дело с социально-национальным феноменом, трудно объяснимым аналогиями. Гигантские, трудно преодолимые таёжные и болотные пространства, редко заселённые полукочующими, полуоседлыми охотниками, собирателями и рыболовами, не позволяли создать единой системы управления и контроля, и каждый род, живший наследными угодьями и обладавший двумя-тремя защитными городищами, мог быть естественно подчинён только своему князю-богатырю, которого был в состоянии содержать вместе с дружиной. Именно природа — ландшафт и ресурсы добычи, а не производственно-товарные отношения или воля к вселенской власти определяли границы сообществ, и неустойчивое в любом ином регионе «переходное» состояние зачаточной доклассовой государственности тут оказалось наиболее правильной и стабильной формой.

Слушайте, Трои сыны и ахейцы в красивых поножах,
Что говорит Александр, возбудивший вражду между нами:
Он прелагает троянцам и всем меднолатным ахейцам
На многоплодную землю сложить боевые доспехи;
Сам же один на один с Менелаем, любимцем Ареса,
Вступит он в бой за Елену и взятые с нею богатства.
Кто из двоих победит и окажется в битве сильнейшим,
Женщину пусть уведёт за собою с богатствами всеми.

Великий Гомер вовсе не насмехался, не возводил случайность в принцип, заявляя похищение Прекрасной Елены причиной десятилетней войны царей и богов у стен неприступной Трои. Многие, очень многие походы остяцких князей на осаду соседних крепостей начинались «…из-за разных оскорблений, из видов корысти, а нередко из-за красивых женщин и девиц».

Всё те же ландшафты и природные ресурсы обязывали очень внимательно отслеживать демографическую ситуацию в регионе для поддержания равновесия добычи и восстановления зверя, ловли птицы и рыбы. Для этого необходимо было периодически ослаблять чадорождение конкурирующих племён, убивая только самых сильных мужчин и уводя «за собою с богатствами всеми» самых красивых девушек и молодых женщин. Примерно тот же смысл вкладывался в угон стада, что вело не к общей гибели, а только подрыву мощи соседей.

Длинное копье богатыря
Пронзает мое святилище.
Все перевернулось в моей голове,
Как будто от пьянящих мухоморов.
Падаю я, зверь, и погружаюсь в глубокий сон.
Просыпаюсь на седле скачущего всадника…

Военные походы могли происходить в любое время года, но друг на друга остяки чаще ходили летом реками, пользуясь долблеными обласками, дощатыми калданками, а для дальних экспедиций — большими каюками. Предания повествуют о баталиях, когда связанные попарно лодки шли на абордаж. Залогом удачного военного рейда служила внезапность нападения. Однако дозорные со стен и смотровых площадок около городищ круглосуточно стерегли окрестности, а поперек рек натягивали сторожевую бечеву с колокольцами. У каждого рода существовала особая система предупреждения о нападении. Кроме того, сторожа могли опознать приближение вражеского войска по поведению птиц и зверей. Ворота крепости сразу же закрывались, перекидные мостики уничтожались, а над стенами поднимался красный флаг. По этому сигналу соседние городища должны были присылать подкрепление. Сверху атакующих осыпали стрелами и скатывали на них бревна, в зимнее время склоны холма окатывали водой, превращая их в ледяные горки.

Зимнее же время больше подходило для карательных походов к самоедам. Воины бежали на лыжах, для оружия и трофеев использовали собачьи и оленьи нарты. Таежные дебри позволяли вести скрытую разведку, брать в плен и устраивать разного рода засады, которые широко и применялись.

Наиболее кровопролитными получались бои на открытой местности. Сомкнутого строя не знали, поэтому рубились кучей или разбивались на отдельные поединки.

Результатом поединка могла быть только смерть одного из участников. Противника нужно было не просто убить, а совершить магическое действие, чтобы он не смог воскреснуть и отомстить. По представлениям обских угров, душа больше не возвращалась в этот мир, если снимался скальп. Сила переходила к победителю, если он вырезал сердце побеждённого, а доблесть наследовалась вместе с доспехами. Показателем доблести воина являлся его боевой стаж, который определялся по длине кос. Атаки и осада предварялась жертвоприношениями, демонстрацией силы и воинского умения дружинников. Особую роль играло боевое облачение вождя, включавшее и боевые трофеи, надеваемые с рассчётом на запугивание врага.

Вообще, удивительна роль красоты в хантыйском понимании «богатырства». Физическая привлекательность равнялась физической силе, красоту лица и стать тела боготворили, считали обязательным атрибутом героя, и здесь уместно вспомнить о гимнасиях Эллады. К этому нужно добавить религиозное восприятие хантами металла, особенно серебра. Кольчуги, латы и шлемы обладали для них священной силой, и поэтому на князя перед боем надевалось несколько доспехов и шлемов один на другой, что действительно приводило противника в трепет, иногда до такой степени, что тот бежал от сверкающей красоты без боя.

В мирное время обычным занятием богатыря и его дружины была охота, состязания в борьбе, фехтовании мечами и топорами, прыжках через натянутые ремни, метании каменных глыб ногами, бег и стрельба из лука. Обучение и тренировки проходили на специальных загородных площадках для плясок. На этих же площадках для плясок или в специальном доме проводились ритуалы, в которых шаман призывал духов предков, а воины исполняли для них «танец с оружием». Ритмичный танец сопровождался резкими криками, которыми живые ратники призывали и приветствовали мёртвых родовых предков-богатырей *тонхов*, демонстрируя им своё искусство, ускоряли танец, действуя мечом или копьем. Духи, увлеченные ритмом, присоединялись к танцующим, и живые воины сливались со славными воинами былых времен. Так, по данным XVIII века остяки «болванов почитают за древних своих шаманов или волхвов, при этом и за сильных богатырей». Почитание выражалось в изготовлении ритуальных богатырских поясов и шлемов, размеры которых были столь велики, что если представить исполина, которому пришлись бы впору эти шлемы и пояса, то рост его должен быть не менее 5–6 метров. Штаб-лекарь Шавров в XIX веке наблюдал ритуальные пантомимы хантов, в которых мужчины изображали вооруженных саблями и копьями богатырей, причём женщинам видеть эти действа не позволялось.

Князь-богатырь был обязан обладать врождённым и затем ритуально инициированным личным боевым духом. Но он должен был уметь, как и шаман, приводить в боевое состояние своих воинов, отчего зависел оперативный успех сражения. В случае гибели вождя войско обязательно терпело поражение.

При необходимости, вместе с профессиональной дружиной в битвах принимало участие и родовое ополчение из всех способных носить оружие мужчин. Ополчение часто возглавлялось шаманами, сочетавшими функции военного предводителя и духовного вождя, а также врачевателя.

Войска исключительно представлялись пехотой, которая, в свою очередь, делилась на тяжёлую и легкую. Воины, вооруженные топором или мечом и защищённые костяным или, позже, металлическим доспехом, выполняли роль боевого клина. За каждым таким бойцом шли три-четыре лучника и копейщика. Сибирские богатыри не пользовались щитами, так как их учили уклоняться или отбивать стрелы даже по звуку. Поэтому самоеды для оснащения стрел против остяков применяли несвистящие перья филина.

Луки разных видов являлись самым многочисленным и универсальным оружием тайги, применявшимся как в бою, так и на охоте. С луком мужчина рождался, с луком отправлялся в потусторонний мир. По данным археологии, клеёный лук «гуннского типа» был в ходу здесь уже во II веке до нашей эры, то есть гораздо раньше, чем у сарматов. По некоторым данным дальность полета стрелы превышала двести метров.

Лев Гумилев: «Судьбы древних народов переплетаются столь причудливо, что только предметы искусства (подвиги древних богатырей, кристаллизовавшиеся в камне или металле) дают возможность разобраться в закономерностях этнической истории, но эта последняя позволяет уловить смены традиций, смысл древних сюжетов и эстетические каноны исчезнувших племен».

Юлий Помпоний Лэт. Комментарии к «Георгикам» Вергилия, 1480-е годы: «Угры приходили вместе с готами в Рим и участвовали в разгроме его Аларихом… На обратном пути часть их (уричей) осела в Паннонии и образовала там могущественное государство, часть вернулась на родину, к Ледовитому океану, и до сих пор имеет какие-то медные статуи, принесенные из Рима, которым поклоняются как божествам».

А.В. Бауло: «В полевой сезон 2000 году, работая среди северных хантов на р. Сыня, удалось услышать рассказ о том, что в доме местного жителя хранится древняя статуэтка, оставшаяся от тех давних времен, когда „ханты брали Рим". Согласно семейному преданию, дед нынешнего хозяина статуэтки в конце 1930-х годах, будучи на охоте в тайге, запнулся о присыпанную травой крышку сундука. Внутри оказались фетиши — статуэтка девушки с головой антилопы в руках, маленькие серебряные фигурки животных и птиц, а также шкурки и платки — приношения духам-покровителям. В последние годы статуэтка является семейным духом-покровителем (её называют *эви* — «девочка») и хранится в картонной коробке среди поднесенных ей кусков материи».

«Песнь о Хледе» из «Старшей Эдды»:

Знаю, что в битве Хейдрека дочь,
сестра твоя, пала, сраженная насмерть,
гунны ее убили и с нею
воинов многих из готского войска.

Легендарный вождь гуннов Аттила умер в 453 году, в своём военном лагере в Паннонии, римской провинции, ныне области Венгрии. Хроника, написанная ста годами позже, утверждает, что вождь был похоронен в стремнине реки Тисы. Аттила ни разу не был ранен в битвах, смерть пришла к нему после свадебного пира по случаю женитьбы на бургундской принцессе Ильдике. А год спустя погиб в бою его сын, наследник престола Эллак, и гунны откатились на восток, теряя по пути скот, оружие, золото и даже целые племена, некогда примкнувшие к ним.

Среди «утерянных» были и хунгары-венгры.

Югра, Угория и Хунгария.

Когда в XIX веке было установлено, что ближайшими родственниками хантов и манси по языку являются венгры, возникло понятие «угорские языки и народы». Во всех диалектах хантыйского языка термин или словосочетание *ar*, *ar-ja* переводится как «старый, древний», причем *ar* — это часто героическая песня (былинный эпос). Лингвисты считают возможным говорить о сходстве терминов хантыйского *ar* и древневенгерского *regos* (от венг. *rego* — сказ, легенда, былина). Да и сам корень слова *венгр*, *мадьяр* — *magyar mugy*, как и название одной из обско-угорских общин *монть* или *мош*, можно возвести к древнему угорскому этнониму, который мог звучать приблизительно как *манджи*, *мончьйи*. В конце II тысячелетия до нашей эры, в Западной Сибири под влиянием климатических изменений происходит разделение праугорской общности, и правенгры переходят на полукочевой образ жизни степных скотоводов. Н. М. Карамзин в I томе «Истории государства Российского», в главе II «О славянах и других народах, составивших государство Российское», пишет: «…башкиры живут между Уралом и Волгой. В начале язык у них был венгерский. Потом они отюречились. Башкирцы говорят ныне языком татарским: надобно думать, что они приняли его от своих победителей и забыли собственный». Да и современные казахи называют башкир *сары-остяками*.

Югра и Хунгария.

От *ungri* просходит соответствующий этноним в большинстве европейских языков. Именно так мадьяр назвали в византийской хронике от 839 года. В тот период они проживали в стране *Этелькёз*, раскинувшейся между рекой Дон (Этиль) и низовьями Дуная.

Удивительна полуторатысячелетняя история угорского племени, оказавшегося вдали от прародины, но сумевшего в полной изоляции не только отстоять свой язык, но и преподать на нём урок латинским, германским, славянским и турецким соседям. Боевой дух этого народа беспримерен, чего только значит для Европы термин *гусары*!

Читаем в энциклопедии:

«Гусары (венг., ед. ч. huszar), род кавалерии. Впервые наименование Г. появилось в Венгрии в 1458 как название особых конных отрядов дворянского ополчения. В 16 в. было заимствовано поляками для наименования особых частей тяжёлой дворянской конницы. Регулярные гусарские полки формируются в конце 17–начале 18 вв. во Франции, Австрии и Пруссии и используются в качестве лёгкой конницы для действий в тылу и на флангах противника, ведения разведки и преследования. В России отдельные формирования гусарских частей из иностранцев создавались в 17 в. по образцу польских Г. В начале 18 в. формируются небольшие гусарские иррегулярные отряды (в 1741–1759 полки) из сербов, молдаван, валахов и др. выходцев из соседних с Россией стран. В 1765 после ликвидации украинского Слободского казачьего войска создаются поселённые гусарские полки из бывших казаков. В 1783–1784 все гусарские полки получают наименование легкоконных и превращаются в регулярные. Наименование Г. восстанавливается в 90-х гг. 18 в.».

Гусар, Huszar — Хазар?

Лев Гумилёв видел в нашем донском казачестве потомков неожиданно «исчезнувших» со страниц исторических хроник хазар, но это уже совсем-совсем другая история.

24.

Лёшка ещё бы лежал да лежал, но из родительской комнаты заманчиво проверещало: «Орешек знаний тверд, но все же мы не привыкли отступать! Нам расколоть его поможет киножурнал „Хочу! Всё! Знать!“» Оставив раскрытую «Науку и жизнь» на подушке, он прошаркал через кухню, мимоходом прихватив со стола почищенную морковку, и прислонился в проёме. Батя, растопырив руки с шерстяными белыми нитками, покорно сидел на низенькой табуреточке, а напротив на диване мама быстро сматывала клубок, якобы сердито шикая на мешающего ей котёнка Ваську. По телевизору объясняли, почему дельфины разгоняются до скорости почти семьдесят километров. Оказывается у них кожа такая, с внутренними мышечными волнами.

— Садись, сынок.

— Ага, подмени меня.— Батя попытался приподняться.

— Не, я ещё не могу.

Какое «садись», когда и ходить-то непросто. Вчера он так нагарцевался на агрономовской лошади, пока разыскивал потерявшихся телят, что, не будь сегодня воскресенье, в школе бы заподкалывали. Телята, сволочи, удрали аж через трассу, на недавно выкопанные совхозные картофельные поля, и там за трое суток буквально одичали. Штук пятнадцать четвероногих и чуть-чуть рогатых свободолюбивых «мцырей» сбились в плотное стадо и только что бодаться не бросались. Мало того что Лёшка за четыре часа обскакал почти все

возможные места их брожения, так и потом ещё с час, как гаучо, гонял этих придурков по заколдованному кругу, пока отсёк от куч ботвы, где они объедались невыбранными клубнями. А дождь-то весь день поливал, понемногу, но не прекращаясь, и фуфайка насквозь промокла, и, естественно, штаны. Задница — в кровь. Посему теперь приходилось или стоять, или лежать на животе.

Во дворе не зло, просто предупреждающе затявкала Тайга, и, пройдя через полутёмные сени, кто-то знакомо зашарил ручку.

— Здрасьте. Лёшк, ты дома? — Дверь полуоткрылась, и в кухню смущённо заглянул Петька Редель.

— Не знаю.— Лёшка, выпучив глаза, оглянулся.— Вроде дома.

— Да ладно ты! Выйди, побазарить надо.

Тайга, по случаю жидко натоптанной в пределах цепи грязи сидевшая на крыше своей будки, увидев хозяина, замолчала, но за гостем продолжала следить внимательно. Осторожно ступая по мокрым мосткам, Лёшка и Петька отошли к калитке, где наперебой поплёвывали шелухой вкусно пахнущих пережаренных на масле семечек Колька Кулай и Толька Поп. Молча пожали руки, и так же молча Кулай отсыпал Лёшке в протянутую ладонь. Ветер мотал облетевшую и оклёванную дроздами рябину, морщил длинные лужи в продавленных колеях, погромыхивал отколовшимся куском шифера. Лешка, накинувший синюю батину телогрейку прямо на майку, прозяб в минуту, а разговор всё не начинался. Наконец Толян стряс ладони, спрятал в карманы.

— Олег чего пишет?

— Всё нормально. Второй курс уже не так дрючат.

— Понятно. А тут Ермолай нарисовался.

— Ох, ты! Интересно, он чего, бросил? Или отчислили? — Лёхе даже потеплело.

— Не. Сёдня на три дня прилетел: у него отец с инфарктом в больнице лежит.

— Ага, с обширным.

— Вот и думай, как быть. Вроде нужно отфуфырить, как заслужил, но отца-то нельзя расстраивать. Помереть может.

Ветер особо сильно громыхнул вдоль крыши, и низкая растрёпанная тучка, рыхлым подбрюшьем зацепившись за мятущиеся вершины устюжанинских тополей, высеяла мелкую липкую морось. Все разом сгорбились, пряча затылки в поднятые воротники. Эх, надо было кепку надеть!

— Ну, ты думай сам. Завтра в школе скажешь. А мы, как договаривались, поможем, чем сможем.

— Ага, решай.

Опять пожали руки, и парни гуськом почавкали вдоль штакетника к центру.

Вот так задачка. С тремя неизвестными. Лёшка вернулся к крыльцу, но входить не спешил. На смену первой туче подоспела вторая, с дождём уже настоящим. Тайга с самым несчастным видом спрыгнула и с грязными лапами забралась в будку, долго брезгливо отряхивалась там, постукивая цепью. Лёшка поскрёб калоши о скобу в крыльце, потянул туго запухшую дверь. Если в конце сентября уже так заквасило, то что весь месяц-то будет? Пока ноябрьские заморозки прихватят. В сенях сильно пахло луком, укропом и рассыпанными по столу краснеющими помидорами. Самое тоскливое в деревне время.

А перед этим в среду он почти закончил большой портрет Олега Кошевого. На натянутом на фанерный подрамник целом листе ватмана, как учил преподаватель рисования, безногий Сергей Никитич Орлов,— по клеточкам через диапроектор. Портрет ему, как победителю всех конкурсов, заказали для пионерской комнаты официально — их школьная дружина носила имя героя-молодогвардейца. После трёх дней стараний получилось очень даже похоже, заходившие в пионерскую учителя хвалили, даже сам Пузырёк заглянул, одобряюще покивал, поулыбался. Только вот глаза у Кошевого как бы чуть-чуть косили. Непонятно почему. Довольный собой донельзя Лёшка старательно зачернял волосы, косым чубом срезающие высокий лоб, когда в широко распахнувшихся дверях появилась высоченная фигура секретаря райкома комсомола. Всегда сияющий особенной чистотой лица и новизной одежды, Мосалов от порога бегло осмотрелся и, дежурно широко оскалившись, шагнул с протянутой ладонью. Но Лёшка руки как бы и не заметил — так увлёкся штриховкой.

— Здравствуй, Торопов. Заканчиваешь?

— Здравствуйте, Аркадий Вадимович. Как видите.

— Так и вижу. Молодец. Ты же в кружок ходишь?

— Да.

— Молодец. Тебя… Олегом зовут?

— Нет, Олег мой брат. Я — Алексей.

— Да, точно, точно! Олег в военно-политическом, прости, запамятовал. Ну, как он там? Успешно?

— Втягивается. Готовится к руководящей роли. Вроде вашей.

Мосалов расстегнул нижнюю пуговицу пиджака, оглянувшись, осторожно присел на край парты. На худых щеках запрыгали желваки.

— Что-то я не совсем понял.

— Ну, тоже, наверное, скоро будет всё знать. И всех судить — кто хороший, а кто дурак.

Карандаш затупился окончательно, и Лёшка, подойдя к окну, стал подстрагивать бритвочкой мягкий «кохинор» в горшок с полузасохшим фикусом. Тишина затянулась запредельно. В школе шёл первый урок второй

смены, в коридоре ни души, и только со двора изредка доносились крики играющих в салки малышей.

— Торопов, не знаю о чём думаешь ты, а я вот решаю, как с тобой говорить. Как секретарю с комсомольцем и школьником или уже по-мужски? По первому тебе поздно, по второму мне рано. Ну, и на что ты нарываешься? Я тебя где-то зацепил? Расскажи.

— Долго.

— У меня время есть. Давай, смелее.

Лёшка в третий раз сломал грифель, чертыхнулся и, наконец, повернулся к Мосалову лицом. Но, наткнувшись на насмешливо злой прищур карих, небликующих глаз, вдруг заговорил противно для себя дрожащим, чуть ли не жалобным голосом:

— Кто таким, как вы, даёт право осуждать людей? Почему вы смеете так свысока смотреть на остальных, словно у вас есть какой-то особый «знак качества»? Или, может быть, вы уже какие-то «люди будущего» из «прекрасного далёка»?

— Ты яснее можешь? Переходи к сути.— Желваки опять вздулись.

— А как вы посмели высмеивать Ольгу Демакову? Перед всеми и, главное, в её отсутствие. По-моему, это и не по-комсомольски, и не по-мужски. Когда в спину.

— Ах, вон в чём дело.

— В этом!

— Так-так-так, «в спину» говоришь. Ну, во-первых, я не её высмеивал, а глупость, которую она совершает. А во-вторых, право я такое действительно имею, так как отвечаю за вас, ваше воспитание перед партией и государством. Ты ловишь смысл высоких слов? Не с тебя, юный натуралист и районный донкихот, не с твоей Ольги, которая комсомольским билетом швырнула, а с меня, только с меня на партбюро спрашивали: «Почему у вас школьники сектантами становятся? Почему советские дети бросают школу и в семнадцать лет замуж выходят?» И каково мне было отвечать? За то, что я в первичной организации религиозную пропаганду проглядел и моральное разложение несовершеннолетних прохлопал. Хорошо, что только «на вид» поставили, хотя поначалу «с занесением» хотели.

— Она же по любви. Нет! Из жалости это сделала. Сами знаете, что Борису обе ноги ампутировали.

— Знаю, всё я знаю. Разобрался в данном вопросе досконально. А только что ей, акселератке, стоило доучиться последний год, достичь совершеннолетия? И после хоть три раза свадьбу сыграть и два раза венчаться. Ну, куда бы её калека за это время делся? Не убежал бы, уж точно.

— Ты козёл,— на шёпоте Лёшкин голос перестал дрожать.

Мосалов вскочил, освободившийся галстук длинно блеснул синими и красными парчовыми полосками вдоль белой рубашки. Правое плечо отошло для удара. Но у Лёшки в пальцах тихо щёлкнуло сломавшееся повдоль лезвие.

— Это ты… козёл! Пользуешься своим малолетством? Знаешь, засранец, что за тебя меня уже точно снимут. Ладно, я подожду, пока подрастёшь. Но характеристику после школы ты у меня ещё ту получишь. В дворники не возьмут, х-художник.

А дверью-то он не хлопнул. Прикрыл. Да, засал, такой здоровый, а засал. Чем бы только перебинтоваться? Носовой платок первого сентября был, а второго сплыл. Пойти, разве, покурить и пеплом присыпать?

Когда попадаешь в полосу неприятностей, ничего не поделаешь. Только успевай получать со всех сторон и терпи, пока звёзды переменятся. Вторым валом после стычки с Мосаловым накатил пятничный скандал из-за Тайги. И как она из ошейника вывернулась? И ладно бы просто побегала, огороды-то у всех уже пустые, лишь капуста и редька сладости добирают, так нет же — лайка на охоту отправилась! К соседям. Мать утром вышла и ахнула: около крыльца аккуратным рядком лежало шесть удавленных куриц, помеченных по белым спинам зелёнкой. Устюжанинские! Счастливая собака гордо сидела рядом и устало подёргивала скруткой пушистого хвоста: вот, мол, какая я добытчица. Миндальные раскосые глаза светились самодовольством исполненного лаячьего долга. Попробуй, переубеди, если это инстинкт. Короче, на выяснение отношений ушёл весь день. Мать покорно выслушивала соседей, потом передавала свои эмоции отцу, а он отсыпал сыну. Проклятые куркули, мало того что сами выбирали взамен самых лучших несушек, так ещё поставили условие: если собака даже зимой, даже мельком, одной ногой окажется на их территории, её застрелят. Тайга, вусмерть обиженная никак нежданными хозяйскими пенделями, только ворчала из глубины будки, а Лёшка отчаянно умолял родителей не отдавать собаку. Но родичи были непреклонны: он тоже последний год доучивается, уедет в город или в армию заберут, а им в хозяйстве охотничья совсем ни к чему. Возьмут какого-нибудь мелкого Тузика, лишь бы гавкал, и ладно. А хозяин Тайге давно есть на примете. Кто? Да детский врач Чечулин! Он охотник заядлый, и по утке, и по тетеревам, да и зимой на лося в компании ходит, так что лайка ему в самый раз, батю он уже за неё давно просил. Ах, значит, они заранее обо всём договорились!

Понедельник он прогулял. И потому, что так ничего и не смог решить по Ермолаю, и потому, что вечером должны были прийти за Тайгой. И… накопилось. Когда все против тебя, все только и стараются зацепить побольнее, пообиднее предать, царапнуть, то лучше всего взять и уйти от этих всех, уйти куда подальше. Куда? А в Чёрный лог!

Когда родичи наконец-то умотали на работу, Лёшка, отсиживавшийся за закрытым хлебным магазином, вернулся домой, бросил сумку, переоделся в ветровку и бродни и, рассовав по карманам хлеб, сало и пару здоровенных рыжих огурцов-семенников, вышел на крыльцо.

— Тайга, пойдём, прошвырнёмся напоследок.

Собака, изначально только просительно подвизгивавшая на его «лесной» наряд, от этих слов заверещала и закрутилась, заметалась на цепи от внезапно обрушившегося счастья. Едва поводок подцепил.

Чтобы особо не светиться, они споро спустились к заброшенному много лет назад, растасканному по бревнышкам воскресному рынку, завалившийся догнивающий забор которого охраняли только непроходимо-двухметровые заросли крапивы и лопухов, по плавучим стланям перешли болотце к подножию Остяцкой рёлки и, обогнув дом Ределей, углубились в тихий березняк. Осень пришла ранняя и с сильными ветрами, листва в три дня почти вся осыпалась, золотистой охряной мелочью затемняя только макушки, густо и мягко шикая под ногами. Тайга, как только Лёшка её отцепил, мгновенно умчалась вперёд, бороздя шипом невидимые заячьи и колонковые следы. Даже не оглянулась, невежа. Не в пример вчерашнему ветродую, сегодня с утра воздух даже не дышал, лес стоял напаренный подсолнечной влагой, и Лёшка ещё раз удивился полной тишине непривычно прозрачного бельника. Кроме его шагов, ни звука. Даже комары вымерли. Эх, только не догадался он взять с собой сетку — на вывернутом корневище плотной шапкой столпились разноростные опята. Сразу полведра. Потом ещё изредка встречались подберёзовики, моховички и коровники, но совсем старые, сморщенные, напрочь изъеденные червями.

Через час он, перейдя четыре ложка, выбрался наверх, на широкий материковый холм. Крепкие сосны, подбитые осиновым подшёрстком, сонно приспустили раскидистые ветви. Ближе к вершине лес мельчал и останавливался, оголяя край холма над подрезавшим его глинистым яром. Из-под обрыва, километра на два, до далёкой полоски Оби распласталась охряно-сиеновая, с лимонными и карминными крапами, заболоченная низменность, часто прорванная ультрамариновыми блюдцами мелких озёр. Отсюда, сверху, буро-ржавая мочажная долина казалась тонкой плёнкой, в частых разрывах которой бледное разряженное небо не отражалось, а как бы навстречу ему просвечивало небо иное — нижнее, густо тёмное. Слой земли — дырявая мембрана между небом верхним и небом нижним.

Лёшка стоял над обрывом и смотрел на озёра. В самом деле, сколько же их тут? Да после каждого половодья по-разному. Прямо под ногами ещё доцветали мелкие сморщенные ромашки, а за спиной, посреди посеревших лапчатки, льнянки и прострела, уже красовалась красными шариками семян татарская жимолость. Здесь, на самом краю, приятно обдувало, свежа вспотевший под чёлкой лоб, щекоча шею. Ветерок был ровным, и с ним, от далёкой реки, прямо на него надвигались мелкие белые облачка. Как стадо.

А тогда здесь стояла Вика, раскрыв руки, так что в какое-то мгновение показалось, что она вот-вот полетит. Даже вспоминать страшно.

Тайга, закончив очередной круг, выкатилась прямо под ноги. Блаженная лисья улыбка до ушей, скапывающий язык чуть ли не до колен, хвост, бока и штаны уцеплены семянками череды. Припав в траву, собака наивно хитро закосила на карман ветровки. Лешка достал хлеб, поделился. Сглотнув подачку, проследила, как он съедает вторую половину, и опять убежала. Вот так: человек идёт, а лайка, как спутник вокруг планеты, режет круг за кругом на расстоянии слышимости. Её слышимости, конечно.

Берёзняк окончательно уступил перед хвойником. Разновеликие круглоголовые сосны перемежались острыми тёмными прострелами высоченных елей, и всё густеющий урман лишь изредка подтеснялся по низминкам чахлыми куренями тополькoв и ивняка. Белые безобидные облачка, незаметно разрослись и, перекрыв небо, посерели, а ветерок под ними сразу остыл. До Чёрного лога оставалось километра три, когда Тайга кого-то зацепила. Голос был не злой, азартный, Лёшка вначале подумал, что она достала белку, но лай стал удаляться, уходить в сторону. За зайцами она обычно гонялась молча, а тогда кто? Может, косуля? Ну, эту-то хоть загоняйся, не остановишь. Ладно, устанет, вернётся.

И хорошо, что собаки не было. На узкой изгибистой елани, куда он неожиданно вышел из-за разросшейся, завитой диким хмелем черёмухи, дремал лебедь. Просто стоял посреди пробитой редкими тычками оранжево-красного шиповника, протяжной некошеной поляны, изогнув шею так, что горло касалось груди, и дремал. Лёшка оказался от него в шагах тридцати и до мельчайших подробностей разглядел жёлто-чёрный клюв, серое полупрозрачное веко, изысканно округлую линию белоснежного крыла, острый флажок хвоста. Чёрные чешуйчатые ноги. Веко опустилось, и с секунду птица недоуменно смотрела на замершего в неудобной позе человека. Потом лебедь раскинул полутораметровые крылья и, низко вытянув шею, вразвалку побежал по увядшей редкой траве. Хорошо, что собаки не было: ему потребовалось метров двадцать, прежде чем удалось взлететь. Мощными, с подхлопываниями, взмахами лебедь набирал высоту, поднимаясь вдоль чистовины к неожиданно просиявшему в облачный просвет солнцу, а за ним, тоже взмахивая руками и подпрыгивая, бежал, отставая в тяжёлых бродняx, бежал, бежал и бежал Лёшка.

Упав, он перевернулся на спину и, ровняя дыхание, с закрытыми глазами слушал, как долго под брезентом колотилось его несчастное сердце: «Ви-ка, Ви-ка, Ви-ка…»

Чёрный лог давал почувствовать себя ещё на подходе. Ветерок, незаметно обратившийся ветром, заметался, меняя направление резких, протяжных порывов. И каждый раз сосны недоуменно разводили ветвями, неловко ловя летящие красные и серые листья осины и можжевельника. Верховой гулкий

шум мятущихся крон подхватывался снизу посвистами трепещущего подлеска, то там, то здесь стукали тяжёлые шишки, а на душе так же тоскливо мутилось и скреблось. Ну, почему он один против всех? Почему ему нельзя, как другим, просто так жить, учиться, расти, гонять в футбол и хоккей, косить, рыбачить, копать картошку, подкалывать девчонок, да, в конце концов, тупо балдеть и не задаваться никакими лишними вопросами? И чтобы каждый раз его мнение не оказывалось поперечным и невпопадным. И это притом, что он-то всегда искренне стремился делать всё как все, подражая брату, его друзьям, своим друзьям, честно стараясь ничем не выделяться из класса! И обязательно выделялся.

Лёшка на минуту задержался возле спуска, круто уводящего в сумрачный байрак, громко похлопал над головой ладонями, потом присвистнул. Прислушался, но Тайга не отзывалась. Ну, жопа мохнатая, загуляла. Придерживаясь за смоляные бока и колючие ветви ёлок, перепрыгивая валежник, бочком соскользнул вниз, на заросшее кислицей и таволгой дно. Ещё раз прислушался: нет собаки, только верховой гул.

Лог великанским серпом закруглялся влево, по ходу неспешно расширяясь. Сосняково-еловый урман не решался спускаться с крутых склонов, оголяя глинистое, в засохших промоинах, плоское дно, на котором только по самым краям робко мохнатились порыжевшие хвощи. Твёрдая, как древняя дорога, кулига была пепельного, с угольными и слюдяными вкраплениями, цвета, что и породило легенду о постоянных, выжигающих её пожарах. Только ерунда это, на стволах-то никаких ожогов не заметно, просто земля тут солёная или ещё чего.

Дно заглубилось меж рёлок уже метров на десять, и если наверху ветер метался куда попало, то тут он или колол крошками пыли лицо, или толкал в спину. А ещё было хорошо видно, как порывы волнами проходят по заросшим стенам: качаясь, хвойные кроны словно предавали друг другу эстафету. Или играли в испорченный телефон. В одном из таких порывов он ясно услышал своё имя: «Лё-ёш-ша!» Но даже не оглянулся, зная, что это просто «начинается». Вот призыв повторился тише, но настойчивей, а потом в деревьях кто-то нехорошо засмеялся. Нет, это, падая, протрещала сломленная ветром ветка. Всего-навсего сухая ветка.

Образовав вокруг Сосны почти круглую, как большущая цирковая арена, поляну, над которой в сорокаметровой вышине парил, веерно подпираемый извивистыми стропилами, полупрозрачный зелёный купол, Чёрный лог далее резко сужался. Величественное дерево, наверное, помнящее ордынские разъезды и молчанские струги, своим трёхкратным ростом разрушало все законы линейной перспективы, обращая реальность в театральную декорацию. Толстенный бурый слой преющей хвои и чёрных, растопыренно мягких шишек просвечивался вздутыми венами напряжённых корней, веками питавших и удерживавших исполинский морщинисто-медный столб, противоборствующий

временам и бурям. В шагах пятидесяти от ствола из земли округло выпячивался залепленный мхом и фиолетово-красным лишайником, здоровенный валун, невесть откуда, когда и кем притащенный. Вёснами из-под этой каменной подушки цедился крохотный родничок, пересыхавший к середине лета. И сейчас за камнем зеленел островок низенького плауна.

Лёшка положил на глубоко просечённую, слоистую кору ладони и задрал голову, отыскивая гнездо коршуна. Вон оно, мохнатится в развилке далёкой мутовки. Сзади опять явственно позвали: «Лёш-шша!» Он заставил себя совсем даже неспешно обернуться. Фу, оказывается, это за пределами Сосны пошёл дождь. Мелкий-мелкий дождь парной мутью занавесил склоны, ровно увлажнил коросту кулиги, серой алмазной крошкой засветился на кончиках хвоинок непропускающей его кроны. Уперевшись в ствол спиной и затылком, Лёшка сунул скрещенные руки под мышки и, сжав готовые застучать зубы, внимательно оглядел поляну сквозь прищур: откуда же мог раздаться зов?

Как вдруг посыпался снег. Надо же, первый снег! Так рано. Редкие белые крупинки неловко летели вперемежку с каплями и, забиваемые ветром под ветви, с лёгким стоном таяли, едва касаясь дерева, одежды или земли. Снег, какое чудо.

В этот момент Лёшка почувствовал, как кора за его затылком и лопатками становится тягуче податливой, отчего он, теряя равновесие, проваливается спиной внутрь сосны. Он судорожно взмахнул руками, пытаясь упереться локтями, схватиться пальцами, но и руки вошли в какое-то рыхлое, пузырящееся месиво. Потеряв от ужаса голос, он хрипел, отчаянно вырываясь, а дерево поглощало его, всасывало, обнимая и обволакивая. Через минуту кора сомкнулась, и теперь только снежная крупка опять чуть слышно скреблась о слоистые смоляные чешуйки.

Когда падение остановилось, Лёшка приоткрыл глаза. Где он? Темно, и пахнет грибковой сыростью. Но темнота была не беспросветной — где-то впереди мигало красное пятнышко. Свеча? Или костёр? Огонёк жил, взметаясь и оседая, подрагивая острым кончиком. Да, больше походило на костер, только далеко. Лёшка тихонько ощупал себя. Вроде всё на месте. Пошевелил ногами, плечами, покрутил головой. Кстати, а удара-то не было. Падал, падал, а потом совсем нечувствительно приземлился в мягко пружинящий мох. Или шерсть? С лёгким треском вытянул из-под себя немного липнущую прядь, помял пальцами. В темноте не понять, но что-то вроде старой паутины, только очень толстой. Подтянув ноги, привстал, осторожно выпрямился. Нет, ничего не болело, только в голове кружил гул пережитого ужаса. И во рту противный привкус ржавчины. Проваливаясь выше щиколоток, он осторожно пошагал в сторону света.

Мха тут уже не было. На гладко вытоптанной площадке стоял толстенный столб с семью круговыми засечками, похожий на грубо вырубленную топором

гигантскую балясину. Рядом с уходящим вершиной в тёмноту столбом находился приглублённый в землю квадратный очаг, в котором приплясывал костерок. Из-за столба бесшумно вышел старый остяк в подпоясанном красном шабуре и осборенных, надшитых от колен тканью, кожаных черках, в подвязанном по-женски вокруг лица платком. Старик улыбался, но чёрные щёлки глаз оставались непроглядными. Лёшка деланно скривился в ответ, заискивающе кивнул:

— Здрасьте.

— Здравствуй, Лёха. Садись, грейся.

Удивиться тому, что остяк знает его имя, не получилось. Даже показалось, что и он сам вроде как когда-то видел и знал этого старика. Он сел на указанное место, подогнув под себя ноги калачиком, а старик, повернувшись к очагу, нагнулся, и Лёшка не разглядел точно, но ему показалось, что огонь в очаге вспыхнул от взмаха руки. Может, старик какого-нибудь порошка из рукава сыпанул? Пламя ало рванулось метра на два, бликами пересчитав зарубки столба, а затем осев, часто затрещало и задымило зашевелившимися ветками подкинутого в очаг можжевельника. Потоптавшись, старик задумчиво отошёл в темноту и вернулся с большим бубном, пошептал на него, погладил и осторожными пасами стал разогревать его над огнём. Куда же Лёшка попал? Судя по легко поднимающемуся дыму, если это и пещера, то огромная. Только какие в их болотах, на фиг, могут быть пещеры? Во рту опять появился противный привкус ржавчины. Чуть слышно бормоча, остяк изредка пристукивал по шероховатой коже, прикладывая бубен к уху, и снова грел. Постукивания учащались, набирали громкость, и вместе с тем постепенно усиливалось бормотание, сливаясь в подбиваемую натягивающимся бубном круговую мелодию, прерываемую резкими позывами на сторону: «Га-га-га, гай-гай-гай».

Огонь в ответ на эти призывы с шипом вздувался и опадал, выдыхая тёплую силу. Старик запевал громче, громче, и вот послушное пламя, словно маленькая женщина в оранжево-красном халате — Нэй-анки, взмахивая рукавами языков и пощёлкивая кастаньетами искр, заплясало под песню бьющего в бубен ёл-та-ку. «Га-га-га, гай-гай-гай». Чуть варьирующий монотонный мотив в частых повторах путал время, меняя «завтра» на «вчера», даже воздух вокруг уплотнялся комками, в которых узнавались то предметы, то звери. Странная песня на неведомом языке пересыпалась знакомым посвистом птичьих крыл, треском ломаемого зверем сухостоя, плеском рыбьего гона.

Рядом с Лёшкой сидела остромордая лягушка, внимательно следя за подпрыгивающим остяком тёмными, с золотой каёмкой, выпуклыми глазами. По другую сторону, слева, сгорбившись, клонясь носом до земли, к костру осторожно приблизилась выдра, а напротив, через пляшущее пламя, он вдруг увидел медведя. Да, настоящего бурого медведя! «Га-га-га, гай-гай-гай». Около замершей лягушки чистил подкрыльный пух здоровенный бородатый ворон,

изредка подмигивая Лёшке, как старому знакомому. А дальше печально клонила клюв цапля.

Лёшка всё пытался получше разглядеть медведя, но пламя прятало Священного Города Старика. Зато сквозь зыбучие токи раскалённого воздуха оживал отёсанный, семь раз засечённый столб. Столб, набухая и подрагивая, выпустил ветви, которые потянулись к вызвездившему небу, к ярко блестевшей по центру шляпке Серебряного гвоздя, вокруг которой бежала шестиногая Лосиха с вытекающим из вымени Млечным путём. Столб развернулся Мировым древом, осью единения семислойного неба Торума, людского царства Яхи и Сура теней, и земля под столбом покорно вздыбилась, округляясь Мировым холмом Кот-Мых. Семь разноцветных лун равномерно поплыли по кругу, а встречь им на белом коне скакал, серебрясь кольчугой и сверкая, как стрекоза, высоким шлемом, Наблюдающий Всадник, Вэрт.

— Колькет. Ты же Колькет! Я вспомнил, я тебя и всё, всё вспомнил! И менквов, и добрых, красивых мишей. Как ты меня у Кыня за самопал выкупил. И это ты собаку ночью прогнал. Ведьмину. Я всё теперь вспомнил!

— Вот хорошо, очень хорошо.

Остяк подшагнул к вскочившему Лёшке, они обнялись. Каким же старик оказался худым и лёгким, одна одёжка.

— Всё, вот сразу всё вспомнил: и как мы по воде шли, и как летели. Почему только сейчас память вернулась, почему, Колькет?

— Время пришло.

— Время чего?

— Мне теперь уходить пора, улетать: тень-ис к теням опустится, душа-лиль к Торуму поднимется. Видишь, гости собрались.— Он указал на окружавших очаг зверей.— Большие гости, уважаемые. Провожают.

— Провожают?

— Лебедя ждём. Зову-зову, не отзывается что-то.

— Я видел, недалеко тут, на елани спал. Это тот самый, последний?

— Он. Ему тоже больше жить на земле незачем. Жены нет, жизни нет.

— А я здесь зачем?

— Время пришло.

— Чему?

— Меня вспомнить.

Огонь согнулся под ударом воздуха. И над самыми головами раздалось трубно-звонкое и одновременно нежное: «Гонг-го, гонг-го!»

Лебедь стоял, развернув крылья и высоко подняв голову. Лёшка опять неудобно замер, разглядывая бликующую красными и оранжевыми всполохами, как бы медную птицу. А Колькет, опускаясь на колени, головой в землю поочерёдно кланялся лягушке, медведю, выдре, ворону, цапле. И после каждого поклона гость исчезал, растворялся в темноте.

— Всё. Пора.

Они опять обнялись.

— Прощай, Лёха. Жалею тебя: лебедь улетит — душа Оби улетит. Русские кровь земли качают, весь день качают, много, жадно, и к вечеру весь мир умрёт. Почему люди в завтра не верят? Жалею тебя: лебедь улетит — рыба за ним пропадёт. Лес рубят, много, жадно рубят, и родники тоже в Сур сходят, теперь реки под землёй потекут. Жалею тебя: все звери под землю уйдут, люди одни останутся. Люди и духи. Прощай.

Колькет вновь забил в бубен, теперь сильно и тревожно. От каждого удара во все стороны разливалось яркое, радужное сияние. В этом сиянии стоявший с развёрнутыми крыльями лебедь начал расти, увеличиваясь с каждой секундой. «Гонг-го, гонг-го!» А Колькет уже сидел на лебяжьей спине, так что Лёшка едва успел пригнуться, когда от могучего взмаха рассыпался на сотни искр и погас очаг, и лебедь с шаманом, освещавшим путь радужным боем, полетели к далёкой вершине Дерева, туда, где на Верхнем небе юрта золотая стоит. И, словно снег, белый-белый старик Торум огромными, как солнце, глазами смотрит на три мира, наполненные им богами, зверями, людьми и духами, рождёнными от сестры и жены его Калтащ-анки.

— Так зачем же я здесь? Колькет, зачем?!

«Гонг-го, гонг-го!»

Лёшка, не разжимая век, сплюнул загустевшую кровь. Потом, так же вслепую, оттолкнулся пятками и встал, скользя спиной и локтями по стволу сосны. И только потом открыл глаза. Дождь и снег оставили после себя крупную росу и парящие голубые и розовые лужицы. Небо почти очистилось, но тёмное солнце уже цеплялось за синий гребень леса. В двух шагах, свернувшись калачиком, недвижно лежала Тайга и только вопросительно подёргивала белыми горошинами бровей. Наверное, заждалась.

— Ну, собака-бедолага, пошли, что ли?

Первые шаги дались нелегко, мурашки вдоль вскипающих вен больно покалывали ноги, поясницу, поднимаясь вверх, остро отзывались в кончиках пальцев.

От телевышки, с Остяцкой рёлки, райцентр виден как на развернутой ладони. Это улица Димитрова, вон райком, напротив клуб. Ниже больница и почта. В крохотных оконцах слабо зажелтели первые огоньки. Чёрные обобранные огороды сплошь в стелющихся дымках догорающей ботвы. Слева, за трассой, над посечёнными берёзовыми колками и перепаханными совхозными полями в полгоризонта догорала малиново-золотая слоёная полоса зари, а справа, из сумрачного приречного болота на Лаврово, пенясь, широким полукругом наползала белая пелена.

Родина отходила в туман.

Малая милая Родина.